

1965

НОВЫЙ МИР

1965

284

НОВЫЙ МИР

9



1965

ИЗВЕСТИЯ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLI

№ 9

Сентябрь, 1965 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
А. ТВАРДОВСКИЙ — Из новых стихов	3
В. КОНАШЕВИЧ — О себе и своем деле (Записки художника)	12
ПРИМЕН ПАНЧЕНКО — Из лирики. Перевел с белорусского Я. Хелемский	60
Ю. АРАКЧЕЕВ — Подкидыш, рассказ	64
И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ — Из таймырских записей	83
О. ДРИЗ — Два стихотворения. Перевела с еврейского Т. Спендиарова	104
ДЖ Д СЭЛИНДЖЕР — Выше стропила, плотники! Повесть; Хорошо ловится рыбка-бананка... Рассказ. Перевела с английского Р. Райт-Ковалева	106
ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ	
В. КАВЕРИН — За рабочим столом	151
В МИРЕ НАУКИ	
ЛЕОПОЛЬД ИНФЕЛЬД — Страницы автобиографии физика. Перевела с польского Ю. Мирская	169
В МИРЕ ИСКУССТВА	
ЛЕВ ЛЮБИМОВ — «Пермские боги»	196
ПУБЛИЦИСТИКА	
Г. ЛИСИЧКИН — Гектары. Центнеры. Рубли (Заметки экономиста)	212
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
С. МАРШАК — Молодым поэтам	230
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	253
Л. Левицкий. Стихи хорошие и стихи случайные.— И. Травкина. Автору роман нравится...— А. Наркевич. Книга о судьбах слова.— И. Дюшен. Дневник Гонкуров	
(См. на обороте)	

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	264
М. Брагин. Не забывать час «Ч».— И. Карпенко. Намерения были благи- ми.— А. Каждан. Между революцией и диктатурой.	
КОРОТКО О КНИГАХ	275
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	281
ОТ РЕДАКЦИИ	283

Но, взяв одну такую в руки,
Ты, время,
Обожжешься вдруг...

Случайно вникнув с середины,
Невольно всю пройдешь насквозь,
Все вместе строки до единой,
Что ты вытаскивало врозь...

* * *

Дробится рваный цоколь монумента,
Взывает сталь отбойных молотков.
Крутой раствор особого цемента
Рассчитан был на тысячи веков.
Пришло так быстро время пересчета,
И так нагляден нынешний урок:
Чрезмерная о вечности забота —
Она, по справедливости, не впрок.
Но как сцепились намертво камня,
Раззять их силой — выдать семь потов.
Чрезмерная забота о забвенье
Немалых тоже требует трудов.
Все, что на свете сделано руками,
Рукам под силу обратить на слом.
Но дело в том,
Что сам собою камень, —
Он не бывает ни добром, ни злом.

* * *

Посаженные дедом деревца,
Как сверстники твои, вступали в силу
И пережили твоего отца
И твоему еще предстанут сыну
Деревьями.

То в дымке снеговой,
То в пух весенний только что одеты,
То полной прошумят ему листвою,
Уже повеяв ранней грустью лета...

Ровесниками века становясь,
В любом от наших судеб отдаленье,
Они для нас ведут безмолвно связь
От одного к другому поколенью.

Им три-четыре наших жизни жить.
А там другие сменят их посадки,
И дальше связь пойдет в таком порядке...

Ты не в восторге?
Сроки наши кратки?
Ты что иное мог бы предложить?

Все сроки кратки в этом мире,
Все превращения — на лету.
Сирень в году дня три-четыре.
От силы пять кипит в цвету.

Но побуревшее соцветье
Сменяя кистью семенной,
Она, сирень, еще весной —
Уже в своем дремотном лете.

И даже свежий блеск в росе
Листвы, еще не запыленной,
Сродни той мертвенной красе,
Что у листвы вечнозеленой.

Она в свою уходит тень.
И только, пета-перепета,
В иных стихах она все лето
Бушует будто бы, сирень.

II

На новостройках в эти годы
Кипела главная страда:
Вставали в заревах заводы,
Росли под небо города.

И в отдаленности унылой
За той большой страдой село,
Как про себя ни гомонило,
Уже угнаться не могло.

Там жизнь неслась в ином разгоне,
И по окраинам столиц
Вовсю играли те гармонии,
Что на селе перевелись.

А тут — притихшие подворья,
Дворы, готовые на слом,
И где семья, чтоб в полном сборе
Хоть в редкий праздник за столом?

И не свои друзья-подружки,
А, доносясь издали,
Трубило радио частушки
Насчет надоев молока...

Земля родная, что же случилось,
Какая странная судьба:
Не только юность, но и старость —
Туда же, в город, на хлеба.
Туда на отдых норвила
Вдали от дедовских могил...

Давно, допустим, это было.
Но ты-то сам когда там был?

* * *

А ты самих послушай хлеборобов,
 Что свековали век свой у земли,
 И врать им нынче нет нужды особой,—
 Все превзошли,
 А с поля не ушли.

Дивиться надо: при советской власти —
 И время это не в далекой мгле,—
 Какие только странности и страсти
 Не объявлялись на родной земле.

Доподлинно, что в самой той России,
 Где рожь была святыней от веков,
 Ее на корм, зеленую, косили,
 Не успевая выкосить лугов.

Наука будто все дела вершила,
 Велит, и точка — выполнять спешит:
 То — плугом пласт
 Ворочай в пол-аршина,
 То — в полвершка,
 То — вовсе не паши.

И нынешняя заповедь вчерашней,
 Такой же строгой, шла наперерез:
 Вдруг — сад корчуй
 Для расширения пашни,
 Вдруг — клеверище
 Запускай под лес...

Бывало так, что опускались руки,
 Когда осенний подведен итог:
 Казалось бы —
 Ни шагу без науки,
 А в зиму снова —
 Зубы на поллок.

И распорядок жизни деревенской,
 Где дождь ли, ведро — не бери в расчет,—
 Какою был он мукою-мученской,—
 Кто любит землю, знает только тот...

Науку мы оспаривать не будем,
 Науке всякой —
 По заслугам честь,
 Но пусть она
 Почтенным сельским людям
 Не указывает,
 С чем им кашу есть.

III. Памяти матери

Прощаемся мы с матерями
 задолго до крайнего срока —
 Еще в нашей юности ранней,
 еще у родного порога,

Когда нам платочки, носочки
 уложат их добрые руки,
А мы, опасаясь отсрочки,
 к назначенной рвемся разлуке.

Разлука еще безусловней
 для них наступает попозже,
Когда мы о воле сыновней
 спешим известить их по почте.

И карточки им посылая
 каких-то девчонок безвестных,
От щедрой души позволяем
 заочно любить их невесток.

А там — за невестками — внуки...
 И вдруг назовет телеграмма
Для самой последней разлуки
 ту старую бабушку мамой.

..*

В краю, куда их вывезли гуртом,
Где ни села вблизи, не то что города,
На севере, тайгою запертом,
Всего там было — холода и голода.

Но непременно вспоминала мать,
Чуть речь зайдет про все про то, что минуло,
Как не хотелось там ей помирать,—
Уж очень было кладбище немилое.

Кругом леса без края и конца —
Что видит глаз — глухие, нелюдимые.
А на погосте том — ни деревца,
Ни даже тебе прутика единого.

Так-сяк, не в ряд нарытая земля
Меж вековыми пнями да корягами,
И хоть бы где подальше от жилья,
А то — могилки сразу за бараками.

И ей, бывало, виделись во сне
Не столько дом и двор со всеми справками,
А взгорок тот в родимой стороне
С крестами под березами кудрявыми.

Такая то краса и благодать,
Вдали большак, дымит пыльца дорожная.
— Проснусь, проснусь,— рассказывала мать,—
А за стеною — кладбище таежное..

Теперь над ней березы, хоть не те,
Что снились за тайгою чужедальнею.
Досталось прописаться в тесноте
На вечную квартиру коммунальную.

И не в обиде. И не все ль равно,
 Какою метой вечность сверху мечена.
 А тех берез кудрявых — их давно
 На свете нету. Сниться больше нечему.

* * *

Как не спеша садовники орудуют
 Над ямой, заготовленной для дерева:
 На корни грунт не сваливают грудюю,
 По горсточке отмеривают.

Как будто птицам корм из рук
 Крошат его для яблони.
 И обойдут приствольный круг
 Вслед за лопатой граблями...

Но как могильщики — рывком —
 Давай, давай без передышки, —
 Едва свалился первый ком,
 И вот уже не слышно крышки.

Они минутой дорожат,
 У них иной, пожарный на́вык:
 Как будто откопать спешат,
 А не закапывают навек.

Спешат, — меж двух затяжек срок, —
 Песок, гнилушки, битый камень
 Кой-как содвинуть в бугорок,
 Чтоб завалить его венками...

Но ту сноровку не порочь, —
 Оправдан этот спех рабочий:
 Ведь ты им сам готов помочь,
 Чтоб только все — еще короче.

* * *

Перевозчик-водогребщик,
 Парень молодой,
 Перевези меня на ту сторону,
 Сторону — домой...

(Из песни)

— Ты откуда эту песню,
 Мать, на старость запасла?
 — Не откуда — все оттуда,
 Где у матери росла.

Все из той своей родимой
 Приднепровской стороны,
 Из далекой-предалекой
 Деревенской старины.

Там считалось, что прощалась
Навек с матерью родной,
Если замуж выходила
Девка на берег другой.

Перевозчик-водогребщик,
Парень молодой,
Перевези меня на ту сторону,
Сторону — домой...

Давней молодости слезы.
Не до тех девичьих слез,
Как иные перевозки
В жизни видеть привелось.

Как с земли родного края
Вдаль спровадила пора.
Там текла река другая —
Шире нашего Днепра.

В том краю леса темнее,
Зимы дольше и лютей,
Даже снег визжал большее
Под полозьями саней.

Но была, пускай не пета,
Песня в памяти жива,
Были эти на край света
Завезенные слова.

Перевозчик-водогребщик,
Парень молодой,
Перевези меня на ту сторону,
Сторону — домой...

Отжитое — пережито,
А с кого какой же спрос?
Да уже неподалеку
И последний перевоз.

Перевозчик-водогребщик,
Старичок седой,
Перевези меня на ту сторону
Сторону — домой...

IV

Как неприятно этим соснам в парке,
Что здесь расчерчен, в их родных местах,
Там-сям, вразброс, лесные перестарки,
Стоят они — ни дома, ни в гостях.

Прогонистые, выросшие в чаще,
Стоят они, наружу голизной,
Под зимней стужей и жарой палящей
Защиты лишены своей лесной.

Как стертые метелки, их верхушки
Редуют в небе над стволом нагим.
Иные похилились друг ко дружке,
И вновь уже не выпрямиться им...

Еще они, былую вспомнив пору,
Под ветром вдруг застонут, заскрипят,
Торжественную песнь родного бора
Затянут вразнобой и невпопад.

И оборвут, постанывая тихо,
Как пьяные, мыча без голосов...
Но чуток сон сердечников и психов
За окнами больничных корпусов.

* * *

Мне сладок был тот шум сонливый
И неусыпный полевой,
Когда в июне, до налива,
Смыкалась рожь над головой.

И трогал душу по-другому,—
Хоть с детства слух к нему привык,—
Невнятный говор или гомон
В вершинах сосен вековых.

Но эти памятные шумы —
Иной порой, в краю другом —
Как будто отзвук давней думы,
Мне в шуме слышались морском.

Распознавалась та же мера
И тоны музыки земной...
Все это жизнь моя шумела,
Что вся была еще за мной.

И все, что мне тогда вешала,
Что обещала мне она,
Я слышать вновь готов сначала,
Как песню, даром что грустна.

* * *

Изведав жар такой работы,
Когда часы быстрее минут,
Когда забудешь, где ты, что ты,
И кто, и как тебя зовут;

Когда весь мир как будто внове
И дорога до смерти жизнь,—
От сладких слез, что наготове,
По крайней мере удержишь.

Года обязывают строже,
О прежних вспышках не жалею.
Не штука быть себя моложе,
Труднее быть себя зрелой.

..*

Как глубоко ни вбиты сваи,
Как ни силен в воде бетон,
Вода бессонная, живая
Не успокоится на том.

Века пройдут — не примирится,—
Ей не по нраву взаперти.
Чуть отвернись — как исхитрится
И прососет себе пути.

Под греблей, сталью проплетенной,
Прорвется — прахом все туды —
И без огня и без воды
Оставит город миллионный.

Вот почему из часа в час
Там не дозор, а пост подводный,
И стража спит поочередно,
А служба не смыкает глаз.

1963—1965.



В. КОНАШЕВИЧ

★

О СЕБЕ И СВОЕМ ДЕЛЕ

(Записки художника)

Известный художник Владимир Михайлович Конашевич (1888—1963) оставил богатое наследие — книги для детей. Он иллюстрировал Пушкина и Лермонтова, Андерсена и Марка Твена, аббата Прево и многих других — в том числе советских — писателей. Больше всего у Конашевича рисунков к Маршаку. Непревзойденные его создания прославили советскую книгу для малышей. Детская книга в СССР — это явление истории. Такая книга не существовала бы без рисунков особого качества, каким обладали наши наилучшие мастера. Конашевич — из первых.

Не одно десятилетие Конашевич жил в Павловске. В последний час перед тем, как Павловск был захвачен немцами в 1941 году, он ушел в Ленинград, ушел в чем был. Он остался в Ленинграде и пережил там всю блокаду, работая непрерывно, помогая обороне. В блокаду, в самые безжалостно тяжкие зимы ее, он начал писать воспоминания. Он приглашал к себе на Моховую улицу друзей и читал им отрывки из написанного, нередко — когда город находился под обстрелом. Блокада, голод и холод, смерть, героика сопротивления вошли в эту рукопись воспоминаний контрастными краткими сообщениями автора о действительности, в которой он тогда жил.

Воспоминания помогли ему борьбе за жизнь. Он как бы дополнял в них паек, недоданный блокадным «снабжением». Они отвлекали его от смерти — с пером в руке он легче отводил от нее свои глаза.

Воспоминания В. М. Конашевича — в своем жанре — образец высокий, учащий литераторов, увлекающий читателя. Автор рассказывает, как созрел в нем художник, воспитывавшийся в семье старого интеллигента. Это быт прошлого, живущий в памяти уже заслуженного мастера. Великолепно описаны взрослые, старшие, уклад их повседневья, представления о «должном и сущем». Персонажи разнообразны, их немало. Герой один: мальчик-фантазер, строящий миры из игрушек. Рост мальчика как бы предвосхищал его будущую судьбу художника. Пришло время — за его картинками потянулись неисчислимыми толпами советские ребята. Рассказ доведен до поры ранних поисков художника.

Удивителен в воспоминаниях колорит изображений. В него вошли краски Украины (Чернигов), краски России (Москва), история своеобразной и в чем-то обыденной семьи, ее родственных ветвей и множество оттенков этих красок. Сами изображения возникают из сотен деталей, найти которые мог только ребенок, только этот ребенок, продолжающий жить в искусственном художнике, который уберечь ясность своего детского зрения. При этом — никакой аляповатости, которой страдают все, кто подделывается под детский язык. Никакой стилизации. Отличное чувство слова. И замечательно, что если Конашевич прежде брался за перо, то только чтобы рисовать. Он никогда не литераторствовал. Жалко, что воспоминания не были завершены: это очень хорошая проза.

Конашевич — художник глубоких, часто крутых поворотов в своих долголетних исканиях. Если бы им было рассказано о зрелых годах труда, то читателю понятнее стали бы его беглые высказывания о своем «идеале». Мне кажется, он настолько любил свое дело, что был убежден — оно само служит людям, если мастер верен долгу призвания.

Конст. ФЕДИН.

«От четырех до шести»

Декабрь 1941 года. Везут на санках некрашенные гробы — большие и маленькие. Все бело от снега. У тротуаров нагребли целые горы. Трамваи стоят на путях, засыпанные снегом. По белым улицам движутся толпы людей. Стоят бесконечные очереди — на всякий случай: авось что-нибудь будут давать. И расходятся, ничего не дождав-шись. Слышны редкие выстрелы или взрывы. Это «нас обстреливают». Радио предлагает идти в убежища, прекратить хождение по улицам и не собираться толпами. Но все так же движутся черные потоки людей, стоят длинные вереницы очередей.

Эта белая зима напомнила мне давние московские зимы, когда на улицах так же лежал снег. С тех пор, как автомобиль окончательно вытеснил лошадь с санями, уже много лет снег сгребают до самого асфальта мостовых, до самых плит тротуаров. Он незаметно исчезает, и в городе всю зиму стоит унылая, черная осень. Прежний зимний вид города понемногу забылся.

А вчера, когда я шел домой, перебираясь через сугробы, мне так ясно вспомнились московские зимы моего детства. В Петербурге я уже не помню старых белых зим, может быть, потому, что живу здесь из года в год, — облик города постепенно изменялся на моих глазах, и последние годы прочно заслонили в моей памяти все прошлое. А в Москву я наезжаю теперь редко, и она легко вспоминается мне такую, какой я видел ее в детстве...

Так же, как сейчас, шел снег. И становилось тихо. В комнатах стелили ковры и голоса звучали по-иному: глуше, тише. На улицах тоже как будто делалось тише. Грохот телег и пролеток, на которых редко тогда были резиновые шины, сменялся беззвучным движением саней. Голоса прохожих и кучеров, покрикивавших на лошадей и заезжавшихся прохожих, как и в комнатах, звучали по-иному: мягче, но явственнее.

Я помню раскрасневшееся на морозе лицо тетки, которая всегда вела нас с сестрой гулять, и засыпанные снегом деревья, и решетки Цветного бульвара.

Но начну свои воспоминания по порядку. Успею ли только?.. Ведь это Ленинград. Идет зима 1941 года...

Фантазия

Несколько лет тому назад, по предложению одного издательства, я написал автобиографию, очень сжатую, которую начал приблизительно так (говорю — приблизительно, потому что не могу восстановить точно: все списки этой рукописи остались в моей квартире в Павловске, откуда в середине сентября мы с женой выбирались уже под огнем немецкой артиллерии. Возможно, что там все погибло). Так вот как я ее начал:

«В углу, где я устроился — между маминим комодом и шкафчиком с нашим детским бельем, — был уютный полумрак. На коленях у меня лежала книжка, которую мне подарили недавно ко дню рождения: мне исполнилось четыре года. Читать я начал в пять лет, через год, а теперь рассматривал только картинки. Переворачивая страницу за страницей, я стал замечать, что всякий раз, как я приподымаю лист книжки, в моем углу становится светлее. Это заинтересовало меня, и я стал доискиваться, в чем дело. Оказалось, что листик книги на мгновение становится так, что свет из окна над моей головой, отражаясь от чего, падал на темную стену под окном. Это мне показалось настоящим волшебством:

я могу «повернуть» свет из окна, «заставить» его освещать темные углы, куда он сам заглянуть не хочет.

Мои опыты и изыскания в этом направлении никогда бы не кончились, если бы не голос тетки: «Вставай, вставай, Володя! Пора идти гулять. Что за манера по два часа сидеть на горшке!»

На дворе была весна (я родился 7 мая 1888 года), в саду чирикали воробьи, цвели желтенькие одуванчики, на кустах сирени распускались почки. Но меня ничто не занимало. Все мои мысли были в темном углу под окном, у маминого комода.

Вернувшись домой, я стал продолжать свои опыты. Когда мне подвернулась книжка в зеленой обертке, моя темная стенка озарилась зеленым светом. Так я совершал все новые и новые открытия. Когда потом (и довольно скоро) я узнал, что луна освещает наш мир ночью так, как можно осветить по вечерам нашу темную детскую светом из столовой, если белую дверь приоткрыть и повернуть, как надо,— это уже не было для меня большой неожиданностью.

Потом в реальном училище на уроках физики учебник Краевича только привел в порядок мои знания. В том, что угол падения равен углу отражения, новости для меня тоже не было: это я знал уже по первым своим «опытам» в углу детской.

Так вот как торжественно я начинал свою автобиографию! Почти как Владимир Мономах свои завещательные поучения: «На санях сидя»... Но у меня, как у гейневского Гиршка-Гиацинта, принявшего английскую соль, было «иное седалище».

Вот эта-то слишком житейская подробность очень не понравилась редакторам издательства, для которого я писал свои заметки.

А вместе с тем этот трон, время, проведенное на оном всегда одновременно с сестрой, которая на полтора года была моложе меня, были для нас моментами, когда особенно пышно работала наша фантазия. Тут именно получила начало бесконечная история про «гадкого мальчишку».

История эта — вернее, целый ряд историй, связанных одним героем,— рассказывалась без конца и начала, с массой все новых и новых вариантов, новых и новых добавлений, пока не была решительно запрещена мамой, случайно ухватившей ухом рассказ о каких-то действительно мерзких проделках нашего героя. После этого «вето» наша история про «гадкого мальчишку» перешла на некоторое время в подполье, пока не забылась вовсе.

Этот герой наш в самом деле заслужил свое имя за год или полтора своего существования в нашем детском воображении. Он был почти нашего возраста — ну, может, чуть старше: мальчишка лет шести. От обыкновенных детей он отличался тем, что его не привлекала обыкновенная детская еда: ни манная каша, ни булочки с маслом. В особенности же он не терпел ничего самого для детей лакомого: ни пирожных, ни конфет, ни варенья. Его тянули к себе всякие гадости: все садятся за стол, где кипит самовар, красуются сдобные крендельки и варенье, а он бежит на помойку. Он ел все самое отвратительное, что только могла выдумать наша фантазия. Кроме того, он был злой, озорник и непослушный мальчик. Мы с сестрой никогда не вздумали бы послушаться старших, не были озорными. Я думаю, что этого «героя» мы и создали в противовес нам, пайнкам.

Гадкие склонности нашего «гадкого мальчишки» были тяжелым крестом для его мамы, которую мы искренно жалели. Она была обыкновенной женщиной и даже «тонной дамой», у которой бывали в гостях другие дамы с хорошими детьми. Вообразите, какой подымался пере-

полох, когда нянька притаскивала «гадкого мальчишку» за шиворот или за ухо с помойки. Место действия мы брали из какой-нибудь нарядной и благонамеренной детской книжки — по контрасту. Это была или гостиная, или садовая беседка, где мама сидела с гостями. Тут появлялся обычно папа или дворник со свистком, и дело кончалось поркой, которая, кстати, вовсе не действовала на нашего героя.

Другая бесконечная эпопея — еще более фантастическая — «История про лилипутиков».

Мы рассказывали ее друг другу по вечерам, за ужином. Обедали мы и пили вечерний чай, когда не было гостей, за общим большим столом в столовой. Ужин же нам всегда подавался в детской. Тут стоял круглый камышовый столик, обитый сверху желтенькой клеенкой с рисунком под дуб, и два таких же маленьких креслица. Вот тут, за этим «круглым столом», и родились наши легенды о маленьких человечках. Мы твердо верили в существование таких маленьких человечков с наш детский палец, не больше. Ведь жила же когда-то Лизок с вершок, почему и другим таким же не появиться у нас в детской? И мы ждали, затаив дыхание, что вот-вот выскочит такой малыш из щели двери, которую неплотно закрыла за собой тетка. Каша стыла, а мы все сидели, не отрывая глаз от этой щели. Вот уже тетка появилась снова с горячим молоком. Мы получали легкий нагоняй за несъеденную кашу и по кружечке молока. Как хорошо я помню эти кружечки! Одна была розовая с надписью «Соня», сделанной славянскими буквами на белой полоске наискось. Другая голубая такая же — с надписью «Володя». Я был аккуратен и сохранил эту кружечку, пока не вырос. Много лет стояла она потом в буфете, пока не попала в лапки моей двухлетней дочери — она ее и разбила.

Как-то я раздобыл ножницы, к которым не полагалось прикасаться, намереваясь что-то вырезать из бумаги. Их с ужасом у меня выхватили, боясь, что я себе уже искромсал руки. Но руки мои были целы, зато клеенка на нашем круглом столике оказалась порезанной. Потом я заглянул туда обгорелую спичку, взятую из пепельницы. Я вспомнил о ней за ужином и, показав сестре, сказал: «Соня! Соня! Вот маленький человечек!» И сейчас же сам, по крайней мере наполовину, поверил своей выдумке. Какое это было сложное, более чем двойственное чувство! В глубине-то души я знал, что это всего-навсего спичка, потому и оттягивал всячески появление ее на свет божий. Вместе с тем, видя почти полную веру сестры в то, что под клеенкой живой человечек, я сам начинал в это не то что верить, но сильно надеяться, что спичка какими-нибудь чарами в него превратилась. Потом долгие усилия тихонько вынуть его, не повредив тонких ручек и ножек, сделали его невероятно драгоценным и совсем убедили нас в том, что это он — долгожданный крошечный человечек! Разве же стоило тратить так много усилий на простую спичку?! Мы останавливали несколько раз нашу «работу», споря чуть ли не до драки, кто это: мальчик или девочка (я, конечно, хотел вынуть мальчика, а сестра девочку), долго обсуждали, куда «его» денем, где «он» будет спать, как «его» зовут.

Мне и сейчас не хочется писать о нашем разочаровании, когда из прореза клеенки появилась спичка. Какое это было горе, горе до слез! И горе неожиданное даже для меня.

Тетка, кормившая нас ужином, совершенно была сбита с толку, не понимая, что за игру мы затеяли и кто кого обидел.

И вот начались рассказы о похождениях маленьких человечков, теперь уже невидимо живших около нас. Каких только приключений не пережили в нашей детской эти малыши, которых теперь стало много.

Игры. Знакомства

Наш день, как и у всех детей нашего времени, начинался с молитвы. Прочтя короткую молитву, составленную для нас отцом, в которой заботе бога поручались «папа, мама, бабушка, дедушка и все родные и знакомые», мы мылись, одевались и шли в столовую пить чай с молоком и розанчиком — другой формы булочки мы не признавали. Попив чая, мы возвращались в детскую и прежде всего, пыхтя и толкая друг друга головами, выдвигали из-под кровати ящик с игрушками, вернее с обломками игрушек, потому что в это почетное помещение попадали только заслуженные, любимые, испытанные друзья. Здесь были куклы без ног или без рук; лошадки, потерявшие подставки и колесики; деревянные кучера без лошадей и санок, которые валялись тут же отдельно; разные драгоценности иногда непонятного нам назначения, так как они происходили из обихода взрослых. Все это было перемешано с разрозненными кубиками разных величин.

Общими усилиями мы вытаскивали наш ящик и опрокидывали его на середину ковра, занимавшего почти всю нашу маленькую детскую. Ящик убирался обратно под кровать, а куча нашего хлама красовалась посередине детской весь день до ужина, когда мы сами должны были ее убрать. Иногда какие-нибудь домашние события или интересные гости отвлекали нас от нашей кучи. Но вывернуть ее на ковер мы не забывали и делали это непременно сейчас же после утреннего чая — таков был обычай.

Когда появились у нас в детской маленькие человечки, они участвовали во всех наших играх. Мы строили для них дома, помогали им перебираться через всякие препятствия в виде гор из кубиков и воображаемых рек, спасали их от разных зверей.

Для тетки и мамы настала тяжелая пора! Входя в детскую, они всюду рисковали растоптать кого-нибудь из наших дорогих крошек. Ну, что делать, если детскую залил потоп и единственное место, где могут спастись малыши, — высокая гора — стул перед маминым рабочим столиком, — на которую они лезут, подсаживая один другого, и вот уже достигают вершины... А мама входит и садится на этот стул!

Наша квартира на Садовой-Самотечной из четырех комнат помещалась на антресолях старого дома, когда-то бывшего, по-видимому, чьим-то особняком. В исторические, уже близкие нам времена в нем помещалась лошадиная почта и в наших комнатах жили ямщики. Теперь, когда мы поселились в этом доме (в 1890 году), там находился Крестьянский банк, где служил мой отец.

Перед домом был сад с большими, старыми деревьями, так что дома почти не видно было с улицы. Этот сад мы называли «большим», потому что еще был садик на нашем дворе, перед одним из надворных флигелей, который няньки называли «полусадником».

Недавно, года три назад, мне случилось заглянуть в нашу детскую еще раз — уже в последний: дом ломали. Открылись две стены детской с двумя маленькими, почти квадратными окошками в одной из них и стена столовой с большим итальянским окном. Эти стены когда-то замыкали для меня целый мир — огромный, полный разнообразия, крупных событий и чудес! Тогда они обладали волшебным свойством, повинувшись моему фантазерству, раздвигаться до беспредельности. Сейчас их «раздвигали» ломами и лопатами рабочие, подымая тучи пыли.

Я было скользнул равнодушным взглядом по этим развалинам. Но что-то кольнуло меня в сердце: два окошка нашей детской смотрели на меня какими-то очень родными глазами. Я стал вглядываться внима-

тельной. Трудно было узнать нашу комнату: вместо уютных обоев с голубоватыми полосами она была выкрашена светло-зеленой клеевой краской с коричневой полоской по краям стен и трафаретным рисунком по углам. Да и сам дом! Он уже не стоял в большом саду, не прятался за деревьями. Перед ним расстилась асфальтовая пустыня Садовой. Колонны с аттиком были убраны, по-видимому, еще раньше, когда уничтожался сад. Тогда же снесли и лестницу, которая вела в сад из средней, заделанной теперь двери, чтобы дать место тротуару, проходившему теперь под самыми стенами дома.

Я узнал дом и двор окончательно по двум деревянным флигелям, сохранившимся без всяких изменений. Даже краска на них осталась та же — красновато-коричневая. Дом, когда его стали ломать, оказался тоже деревянным. Я заглянул сквозь сломанную стену в нашу детскую, и вспомнилась мне вдруг со всеми подробностями наша жизнь в этой уютной комнате, в этом доме.

Вспомнились и жильцы нашего дома, которые встречались нам во дворе. Одних мы с сестрой разглядывали с любопытством издали, с другими познакомилась, даже подружилась. Сам хозяин, казачий генерал Дукмасов, проходил иногда по двору, попыхивая огромной сигарой, — толстый, большой, важный. Еще крупнее его, по крайней мере выше его, если не толще, был тенор Большого театра — Донской. На него с благоговением взирала тетка. От нее мы и узнали, что он тенор, а что такое «тенор», мы не могли сообразить. Нас только забавляло, что, когда он заговаривал, из такой огромной туши звучал совсем женский голосок. Другого музыканта из Большого театра, капельмейстера Альтани, я никогда не видел. Он был для меня мифом, если бы не его сын, мальчик почти моих лет, с которым мы пытались подружиться, но так и не сошлись. Он даже был как-то у меня в гостях и поразил своим видом. На нем была черная бархатная куртка с белым отложным воротником и такими же манжетами. А когда он снял шляпу, по плечам рассыпались каштановые кудри. Конечно, я не успокоился, пока мне не сшили такую же куртку (в этом наряде тетка называла меня почему-то графом Калиостро).

В теплые, летние дни на нашем дворе появлялся высокий худой старик, медленно проходивший всегда по солнечной стороне, опираясь на трость с ручкой из слоновой кости. Когда он не надевал пальто, на нем тоже был бархатный костюм — черный пиджак, обшитый тесьмой.

Ближе всего мы сошлись с маленькими старичками, жившими на нашей лестнице, дверь в дверь с нами. Их было трое: муж с женой и сестра кого-то из них. Уж, наверно, они в самом деле все трое были невелики ростом, если они и нам, малышам, казались меньше всех взрослых людей.

Меньше их был, пожалуй, один князь Яшевиль, который иногда приходил в гости к тетке. Это был сморщенный человек неопределенного возраста. Сначала я видел только его огромный, горбатый, слегка кривой нос. Потом уже можно было разглядеть и сальные волосы, разметанные по потертому воротнику слишком длинного обтрепанного пальто, и грязную бахрому на брюках, и непомерно большие галоши.

От общения с ним тщательно оберегались мы, дети. Тем более занимал он нас. Особенно после того, как мама сказала о нем: «Подумать только, что они с матерью, при всей своей крайней бедности, устраивают журфиксы для своей такой же обнищавшей знати, на которых подается четверть фунта тонко нарезанной колбасы и спитой чай, который князь выклянчивает по трактирам». Разглядывая украдкой жалкую фигурку

князя, я все хотел спросить его, что это за «журфиксы» они устраивают со своей мамой (и какая у него может быть мама!) и при чем тут колбаса и какой-то спитой чай?

Наши маленькие старички, к которым мы с сестрой заходили иногда, возвращаясь с прогулки, жили в такой же небольшой квартирке, как наша, в таких же низеньких комнатках — чистеньких и уютных. Сами наши маленькие старички были какие-то пепельно-серые, совсем не такие чистенькие, как их комнатки. Мне они иногда казались заколдованными мышками, которых какой-то волшебник превратил в людей. У сестры старичка (а может быть, его жены) был смешной румянец, почти пунцовый, ярче всего на носу, сползающий на щеки. А сам старичок был весь в коричневых пятнах, между которыми простужала нежная, розовая кожа. На руках он постоянно носил серые нитяные перчатки, пальцы которых были срезаны, и из них торчали его пальцы с желтыми ногтями. Все это не укрывалось от нашего детского внимания, и мы всегда с немножко брезгливым сомнением принимали от них большие белые прыники в виде рыб и коней, которые, как я заметил, существовали в природе только для подарков и в таких случаях непременно вынимались откуда-нибудь из самой глубины комода.

Уют квартирки старичков создавался половичками на ярко натертом воском красном крашеном полу, обилием всяких комнатных растений на окнах и перед окнами, клетками со щеглами и канарейками, кружевными салфетками на комоды и столиках.

Люблю я этот тихий уют! Сколько в нем теплоты, интимности; человеческое жилие он отгораживает от улицы — растянутой, раздвинутой в бесконечный мир, в котором теряется человек, становится одним из очень многих. А здесь, среди своих цветов, птичек и салфеточек, даже маленький, скромный человек — Человек и Хозяин. Все вокруг него — все эти этажерочки и креслица, — все собралось и стало для этого человека по его вкусу и для его скромного удобства.

Вот это слово — удобство, комфорт — к концу XIX века впервые наполняется настоящим содержанием. Какие там удобства, какой комфорт сто лет назад! Жилище человека XVIII века не было ни уютным, ни даже удобным. У богатых оно было пышным, излишне торжественным, и только. Обилие крепостной прислуги, в несколько раз численно превосходящей господ даже у людей среднего достатка, не создавало никаких особенных удобств: сколько нужно лакеев, чтобы заменить один телефон, и сколько лошадей в конюшне, чтобы возместить отсутствие железных дорог!

А керосиновая лампа? Я помню рассказ отца о первом ее появлении в доме (в шестидесятых еще годах). Лампочка была маленькая, с плоским фитилем и прямым стеклом, вроде тех, что потом вешали в кухнях на стенке. А ее повесили в зале! Да еще собрались всем домом любоваться ее «ярким» светом. А потом на радостях устроили танцы под рояль при свете этой первой керосиновой копилки. Смешно! Потом я пережил появление еще большего чуда — электрического освещения.

Сейчас, когда мои расплывчатые воспоминания увели меня в уютную квартирку наших старичков, я начинаю понимать, какую все-таки особенную и значительную эпоху освещала эта керосиновая лампа. Я всегда относился к ней как-то свысока, считая это время — всю вторую половину XIX века — эпохой, не имеющей ясно выраженного лица. Повидимому, у меня утратилось уже непосредственное ощущение эпохи, а вместе с тем я недостаточно еще от нее ушел, мало отдалился, чтобы почувствовать ее объективно, как это стало возможным по отношению к

более ранним годам — к началу XIX века, которые меня всегда влекли к себе ясной стройностью своего стиля¹.

Именно так: чтобы верно почувствовать смысл, характер эпохи, надо или видеть ее глазами современника, то есть жить в ней, или удалиться настолько, чтобы посмотреть на нее объективно, оценить в ряду других времен.

Не так давно я перечитывал рассказ Чехова «Поцелуй», который, кстати сказать, мне всегда нравился меньше многих других его рассказов. В нем с обычным для Чехова лаконизмом начерчен пейзаж: офицеры, приглашенные на вечер к помещику, идут по тропинке, которая тянется за оградой церкви, вдоль спуска к реке. За рекой — поля, кусты, соловей поет. Прочел, перечел, еще раз прочел — и совсем не почувствовал пейзажа, не возникает он перед глазами, и все тут! Я же знаю, что Чехов никогда не говорит пустых или неточных слов и не пишет о том, чего не видел и не чувствовал.

Виноват, значит, я. Так и оказалось: я все пытался «прочитать» этот пейзаж своими глазами, глазами художника наших дней. Но как только мне пришла в голову счастливая мысль представить себе этот пейзаж уже написанным Левитаном — все сразу стало на свое место: пейзаж возник передо мной полнокровный, ясный.

К концу XIX века если не закончился, то определился и вошел в жизнь целый ряд совершенно замечательных открытий и изобретений в области техники (электричество, фотография). А войдя в жизнь, всеобщую и повседневную, изменил ее, создал многие удобства, которые теперь вдруг стали доступны самому среднему по достатку и положению человеку. Телефон, телеграф и даже простой электрический звонок в столовой, который богатей-вельможа XVIII века почитал бы чудом роскоши, стал вещью обычной в обиходе всякого городского жителя. Рядом с этим и потребности этого горожанина выросли. Обязанности его перед обществом тоже выросли. Если раньше он лежал на диване и курил трубку, которую от времени до времени набивал ему казачок Егорка, или от скуки занимался литературой с пятого на десятое, все остальное время фланируя по Невскому или по Тверскому бульвару, то теперь ему приходится хоть немного поработать — послужить хоть в одном из тех банков и контор, которых к концу века расплодилось достаточно много. А «поработав», то есть отсидев от девяти до четырех, он — этот конторщик — бежал домой и предавался домашнему уюту с тем большим удовольствием, чем больше «трудов» требовалось от него, чем дольше ему пришлось проторчать на людях среди шума и толчеи. А время становилось почему-то горячим, торопливым. Поезда не ждали, телеграф приносил известия поскорее, чем раньше почта на дилижансах, дела закручивались крупнее — словом, жизнь становилась суетливой, беспокойной. Особенно для того, кто не хотел остаться за бортом. Тем большего спокойствия и удобств у себя дома, в быту, жаждал такой деловой человек (а кто же тогда не был «деловым»). В ответ на это изменится и весь уклад жизни, а вместе с ним и самый «антураж», интерьер жилища.

«...ему доставляло величайшее удовольствие въезжать в их ворота, через двор пройти в подъезд, пройти через переднюю, обе гостиные и наконец проникнуть в будуар, молчаливый, как гробница, теплый, как постель, где вся мебель была простеганная, и посетитель то и дело натыкался на всевозможные предметы, рассеянные по всей комнате: шифоньерки, экраны, кубки и подносы — то лаковые,

¹ Везде здесь я говорю о внешнем выражении эпохи, сказавшемся в том, что окружает человека (стены, мебель, костюмы), а не в том, что его наполняет (мысли, стремления).

то черепаховые, из малахита и слоновой кости; бездна безделушек, которые стоили дорого и беспрестанно менялись... Однако все гармонировало между собой и даже поражало взор благородством целого, что зависело, может быть, от высоты потолка, от пышности великолепных портьер и от длинной шелковой бахромы, спускавшейся с золоченых перекладин табуретов».

«...будуар, обитый бледно-голубой шелковой материей с разбросанными по ней букетами полевых цветов... Все ему казалось удивительно нарядным и изящным: искусственные вьюнки, обрамлявшие туалетное зеркало и занавесы на камине, и турецкий диван, и альков в виде шатра из розового шелка с чехлом из белой кисеи...»

«...он впился глазами внутрь экипажа, обитого голубым репсом и шелковым басоном с бахромой. Пышный наряд дамы наполнял всю карету; из этой шелковой, простеганной коробки доносился запах ириса и как бы смутный аромат женского изящества...»

Я здесь повыписал из «Воспитания чувств» наудачу несколько мест из обильных у Флобера описаний обстановки, обрамляющей везде действие романа. Это все богатые, пышные интерьеры. Но и обстановка жилищ людей среднего и даже ниже среднего достатка в принципе та же. Только стены и мебель обиты не шелком, а ситцем.

В середине века приходит резкая, как будто внезапная смена вкусов: обычное для первой половины XIX века убранство комнат, по характеру простое и строгое (темное красное дерево в ранжире расставленной по стенам мебели, строгие формы которой ничем не скрыты, скудость украшений — какая-нибудь ваза на колонке, вышитая скатерть на преддверном столе), вдруг сменяется «уютными» интерьерами, где мягкая, диван обитая, стеганая мебель, украшенная бахромой и кистями («глупейший человек был тот, который изобрел кисточки для украшения и золотые гвоздики на мебели», — сказал Козьма Прутков), расставлена прихотливо и неожиданно, где камин и многочисленные этажерки, полочки и стеллики завалены всякими украшениями, разного рода безделушками, а двери и окна старательно занавешены шторами и драпировками — все для того же уюта, чтобы отгородиться от уличного шума и суеты застенной жизни, чтобы дома чувствовать себя недосягаемым в покойной обстановке. Это не случайная, конечно, перемена вкуса, а необходимость, вызванная, как я пытался рассказать выше, сменой потребностей.

Те же новые потребности вызывают в городах еще новое явление. Раньше зажиточный и даже средний житель города — это чаще всего помещик, приезжавший в городской свой дом (если он побогаче, или снимавший квартиру, если у него средств поменьше) на зиму и привозивший вместе с бесчисленными няньками, мамками, казачками, камердинерами и прочей дворней огромный запас всякой снеди своей деревенской заготовки — копчения, соленья, варенья и проч., и проч., — который с установлением санного пути постоянно пополнялся. Городские лавки существовали больше для простого, рабочего люда, и только в двух-трех «французских» магазинах содержались иностранные тонкие разносолы и вина для любителей и знати. Теперь, со второй половины XIX века, постоянный горожанин — уже не только мастеровой да мелкий писарь. Город притягивает и помещичьих сынков на постоянную жизнь, плодит и размножает купцов всякого типа и ранга; банки и конторы наполняют город деловыми людьми и людишками. У всех этих людей и людишек потребности растут и множатся, а поместий, откуда везти копчения, соленья да домотканые сукна, нет. Вот тут и начало того обилия лавок, которые снабжают горожанина всяким продуктом, и гигантского,

почти дикого к концу века (на наш теперешний взгляд, конечно) разнообразия снеди и всяких иных предметов обихода и роскоши, которое в полном расцвете я еще застал в девяностых годах прошлого века в Москве.

Да и где, как не в Москве, это обилие должно было дойти до полного расцвета. Москвич внимателен к еде, да и вообще ко всякой вещи, и во всем ты ему подай самое настоящее. Да он и сам знает, где его искать, за чем куда идти. Городские сухари всех сортов — от простых сдобных до маленьких сливочных, обсыпанных миндалем, и баранки — от толстой сдобной до тоненькой сушки, брались у Чуева, торты — у Трамбле. У него же и пирожные всех видов — только не меренги, боже упаси: за меренгами москвич шел к Флею! Фруктовые конфеты, цукаты и все, что из фруктов, — у Абrikосова и у Сиу; но не пастилы и смоквы: эти только у Прохорова. Кулебяки, пирожки и калачи — у Филиппова: хоть калач повсюду тот же калач — более точного стандарта не создать, — но уж так повелось. В больших гастрономических магазинах на Тверской, у Белова и Генералова, — все колбасные изделия. Но чтобы настоящий, уважающий свой вкус москвич взял у них сосиски? Никогда! Он за ними поплетется на Цветной бульвар в маленькую немецкую колбасную Бензеля. Зато уж ничего другого, кроме венских сосисок, там не возьмет, хоть и все остальное у этого немца отменно хорошо. А громовские сельди, а горшковская ветчина, а тестовские блины и поросята, которых отпаивали молочком в особых стойлицах, чтобы жирок не «сбрыкнули»! И так во всем, во всем — не только в еде, конечно. (На еде-то я застрял потому, что мы сейчас только о ней и думаем.)

Елка

Я помню, мамина подруга девичьих дней Неточка, или Анна Федоровна, — чудесный человек и сильно ядовитая на язык старая дева, служившая в ту пору под папиным началом, — ездила куда-то очень далеко, к какой-то заставе, в фабричный магазин, где можно было достать дешевле, чем всюду, шоколад в маленьких плитках с оттиснутыми на них выпуклыми изображениями всякого зверья. Случалось это раз в году, перед нашей елкой, для которой эти шоколадки предназначались. Их заворачивали в цветную или золотую бумагу, наклеивали на них картинку или золотые звездочки — и елочные конфеты готовы. Дома же готовились и всякие другие украшения в виде коробочек, ведерок и бонбоньерок всякого рода. Мастерил их папа, который был великим артистом на такие дела. А делалось это все дома не для того, чтобы нас занять работой или позабавить (от нас, наоборот, это все держалось в тайне), а из экономии (покупное — дороже), как и многое делалось у нас дома из экономии. Мама, например, сама нас обшивала (до самой гимназии); по субботам у нас к столу подавались только щи и каша. Словом, жили мы, как я теперь вспоминаю, туговато, хоть мне тогда этого и не казалось. И если я что-нибудь видел только в окнах магазинов и у знакомых побогаче, то думал, что дома этого нет только потому, что «не принято», «не полагается», в силу традиции, что ли. И если бы появилось что-нибудь непривычное, так это был бы уже не наш дом с таким незыблемым распорядком, который и давал нашей жизни что-то очень прочное, постоянное, что и дальше изменяться не должно.

И в этот волнующий вечер все у нас происходило по заведенному порядку. После обеда прибывала Неточка с шоколадом и со своей сестрой украшать елку. Двери в столовую, — она же гостиная — закрыва-

лись, и мы оставались в детской. И тогда вносились елка, о размерах которой мы старались заключить по топоту ног дворника и всяким иным «шумовым» признакам, страшно боясь, что она будет не «до потолка», уверенные, что елка не до потолка ненастоящая, нехорошая. В наших комнатах, где до потолка доставал рукой всякий взрослый среднего роста, удовлетворить наше требование было не трудно. Тем более что елку иногда ставили на табурет, замотанный простыней и обложенный ватой.

На нашей елке побывали как-то дети папиных богатых родственников, купцов. Мой прадед совершил то, что в его среде называлось мезальянсом: женился на купчихе, сестре московского суконщика и банкира. В третьем поколении родство это сильно поразбавилось, и богатые родственники мало с нами водились. Они жили в особняках, в огромных хоромах, а не в маленьких комнатках, как мы; и одна из папиных теток рассказывала потом, какую ей пришлось возводить грандиозную елку, когда ее дети потребовали, чтобы она была, как у нас — до потолка.

Был и я с отцом на этой елке и нашел, что у нас и елка лучше, милее, и веселее нам с сестрой на нашем диване у елки, чем там, с малознакомыми детьми, в огромной гостиной, заставленной шелковыми креслами и диванами, на которые не влезешь с ногами. Да и мой костюм, самый нарядный, которым я так гордился дома, — шерстяная шотландковая рубашка, подпоясанная кавказским поясом с серебряными (настоящими серебряными!) филигранными украшениями, черные шаровары из настоящей «чертовой кожи» и сапоги «гармошкой» с лакированными голенищами — оказался не то что деревенским, но грубоватым, неизящным рядом с английскими костюмчиками мальчиков, их шелковыми чулками и лакированными туфлями. Не говоря уже о девочках, которые были расфуфырены, как куклы!

Итак, мы сидели за дверью и ждали, когда нас пустят к елке. За дверью слышались разговор и смех взрослых, шум пододвигаемых к елке стульев, иногда кто-нибудь там вскрикивал, и по полу сыпалось что-то мелкое (мы уж знали — это рвались бусы). А мы с сестрой сидели на ковре в своей детской и вертели аристон, проигрывая все его пьесы, выбитые дырочками на картонных желтых кругах. Это было так же непременно, как все вокруг нас: всякий раз, чтобы скрасить нам нудные часы ожидания, нам выдавался аристон с кругами. Приходилось вертеть ручку аристона, и пищал вальс «Тигренок», его очень любила моя сестра Соня, а я ей во всем уступал. Раз только, когда он мне сильно надоел, я перевернул круг на другую сторону, и аристон заиграл «Тигренка» наоборот, от конца к началу. Меня так заняла эта неожиданная какофония, что я принялся проигрывать так навыворот все круги один за другим.

Тут старшие, почувствовав, как мне надоела музыка, а может, жалея свои уши, выслали к нам все ту же нашу тетку, которая бралась за аристон сама, закручивала на нем «Камаринского», заставив меня плясать под эту музыку вприсядку. Это я делал охотно: казачок считался моим коронным номером (и единственным), который я проделывал иногда и при гостях, когда родители хотели похвастать моими талантами.

В самый неожиданный момент, когда мы даже немного забывали о двери, она открывалась, и мы застывали на пороге всегда в одном и том же немом изумлении.

Последние слова я написал в вербное воскресенье.

Прошла страшная зима — наступает не менее страшная весна. Наступает туго: все еще морозы, тает только на солнечном пригреве.

Огромные снежные сугробы превратились в ледяные горы. Многоотрададное население, вышедшее на трудовую повинность, раскалывает эти ледники и вывозит в ящиках и просто на листах фанеры в скверы и каналы. Туда же сваливаются нечистоты со дворов, где они выросли коричневыми холмами.

Как мало стало народу на улицах... Покойников уже не возят в гробах. Их везут на санках завернутыми в старые одеяла, занавески с окон и всякое тряпье непонятного уже назначения.

Везут недалеко: сваливают тут же за решетками скверов, на пустырях, у ворот больниц и поликлиник.

В соседнем переулке такой склад на бывшем дровяном дворе. Двор полон, в ворота уже не войти, а все везут, несут и складывают у ворот и вдоль забора. И кажется, что из открытых ворот вылился поток покойников и разлился на пол-улицы.

Мы с сестрой стояли на пороге столовой в немом, восторженном изумлении. Елка сверкала живыми огоньками свечек, огоньки отражались искрами на золотом и серебряном дожде, на позолоте орехов, блестящих коробочек и золотой обертке шоколадных конфет. Крымские яблочки вертелись на своих нитках вправо и влево, показывая то желтые свои, то красные бочка, а наверху сияла серебряная стеклянная пика, в самом деле упиравшаяся в потолок.

Мы скоро здоровались со взрослыми гостями, которых еще не видели, и шли скорее к елке. Мы начинали искать прошлогодних знакомцев. Вот они все: вот золотая рыбка, вот золотой верблюд, а вот и коварно улыбающийся профиль серебряного месяца. В прошлом году только (дальше-то прошлого года нашей памяти некуда было углубиться) все они висели на других местах. Месяц с прошлогодней своей высоты, с вершины, скатился теперь почти в самый низ елки, а верблюд забрался на самую высь. Тут или там, но все они были налицо. Их семья еще даже увеличилась! В этом году появились на елке очень хорошенькие зверушки — уже не золотые и серебряные, а покрашенные в естественные цвета и очень натурально сделанные. По первоначально они нам понравились очень именно тем, что уж очень были похожи. Но потом мы нашли такой натурализм на елке не к месту: все на ней должно блестеть, сверкать, искриться — прежде всего быть украшением.

Побродив вокруг и осмотрев всю елку, мы забирались с ногами на диван, на который придвинутая к нему вплотную елка тоже разложила свои лапы, и притихали, слушая разговоры взрослых, которые теперь садились пить чай.

Я не помню чужих детей на наших елках: мы были одни, наслаждались тихим счастьем созерцания пышного и вместе с тем уютного блеска елки, слушали потрескивание свечек или вспыхнувшей на ветке хвои. И нам не хотелось шума. И потом меньше всего нам доставляло радости буйное веселье вокруг елки. Запомнились же на всю жизнь именно эти минуты тишины где-нибудь в глубине кресла, где мы удобно располагались вдвоем, когда свечи на елке уже начинают понемногу гаснуть, остается их десять—двенадцать, потом наконец каких-нибудь две-три. Темнота комнаты надвигается ближе и ближе, ползет изо всех углов; заметнее свет лампы в углу перед божницей; разогретая огнями елка пахнет сильнее. Все кругом становится таинственной: лапы елки принимают формы рук каких-то мохнатых призраков или зверей, на которых поблескивает золотая чешуя. Становится немного жутко, хочется бежать из темной комнаты, но страшно спустить ноги на пол. Радуетесь лампе, которую вносит тетка, хоть и встречаешь спасительный свет с разочаро-

ванием: колдовство пропадает, все становится простым, обычным, но почему-то не милым, почти враждебным.

Елка стоит у нас долго, до самого крещения, когда зажигается последний раз. В первый же вечер мы сидим за елкой и сквозь ее ветки слушаем, как тетка потчует гостей вареньем. Она выставляла сортов семь. Варка варенья — ее специальность, и она это делает, как и все соленья и печения, прекрасно, но из кокетства рекомендует его гостям так: «Это засахарено, это прокисло, это гадость, а это я терпеть не могу!» Вазочки с вареньем расставлены рядом по вышитой дорожке, постланной через весь стол посередине. Отсюда нам не видно, но мы знаем, что на ней по бортику вышит крестиком «цирк обезьян»: марышка на лестницах, на трапезиях, на верблюдах, обезьяна-жонглер, обезьяна на канате, много еще всяких сцен, которые мы разглядывали всегда с одинаковым интересом. А когда нянька гладит белье и берется за эту дорожку, мы всегда требуем, чтобы она звала нас посмотреть, как изображения всех этих фигурок оттискиваются под утюгом в обратную сторону на простыне, которой покрыта гладильная доска.

Гости не верят тетке, смеются и без страха накладывают себе, сколько хотят, и «засахаренного» и «прокисшего».

Нас тоже наконец зовут пить чай и даже для торжественного дня сажают за общий стол, но варенья дают по одному блюдечку, в котором все ягодки пересчитаны, чтобы оба получали поровну и не было бы обид.

Домашние

Тетка Марья Константиновна считалась двоюродной сестрой отца. На самом деле она была женой его троюродного брата. Родство не близкое! Однако никто не оспаривал ее права называться в нашей семье теткой и именно «теткой», а не тетей и не тетушкой, и быть нам, детям, да и всему нашему дому, роднее родного.

На этом «самозванство» тетки еще не кончалось: она вовсе не была Марьей Константиновной: по-настоящему она называлась Татьяной Никитичной. Когда она ехала со своим мужем от венца в карете, он сказал ей: «Твое имя — Татьяна Никитична — мне не нравится, будь отныне Марьей Константиновной». И эта кроткая душа отказалась от своего крещеного имени, подчинившись капризу мужа, как подчинялась всему, что становилось потом ей на дороге. Новое имя пристало к ней прочно, и только самые близкие друзья, которых она звала на пирог в январе на Татьянин день, знали ее настоящее имя. Даже отец, когда в шутку препирался с ней, называл ее «Машка-дура».

Когда отца перевели по службе из Новочеркасска (где я родился) в Москву, тетка поселилась у нас: ее мужа к тому времени отвезли в больницу, где он еще много лет пролежал в прогрессивном параличе, и оказалось так, что ей негде было приклонить голову.

Впрочем, и у нас дома она тоже не «приклоняла головы» и не «покладала рук» — выражения, которые в детстве мне всегда казались загадочными.

Мама была неопытной, а что касается кухни — и вовсе неумелой хозяйкой. Пришлось тетке взять в свои руки бразды кухонного правления.

Здесь она была настоящим мастером своего дела. Особенно великолепно она делала всякое тесто. В особенности же — куличи! Таких я больше никогда не ел с самого детства. И хоть в них она не клала никаких духов — ни муската, ни кардамона, считая, что они должны иметь

«свой собственный дух», — этот их чудесный «дух» витает около моего носа и сегодня.

Апрель 1942 года. Почти ежедневный артиллерийский обстрел города. А когда его нет, бьют неистово «звенитки», как их называли павловские бабы. Значит, летят немцы. Это весенняя новость: зимой немцы не летали. Стоят ясные, хоть и свежие дни. Город прибрали, на Невском сухо. Временно прервана эвакуация, которая до начала апреля шла усиленным темпом. Народу уехало очень много. Пятнадцатого пошли по некоторым линиям трамваи. С продовольствием несколько лучше.

Недели две-три тому назад в наш дом попало три снаряда. Разворочено несколько этажей, вылетели все стекла в доме. Мы почти неделю сидели в темноте: окна были занавешены коврами и чем попало. Наконец нашли стекла и мальчишку с алмазом. Теперь опять к нам в окна светит солнце.

Отец на службе, в «банке с вареньем» — по нашему детскому несложному остроумию. Мы с сестрой возимся на ковре в детской. А мама сидит у окна в той же комнате за своим рабочим столиком и что-то шьет кому-нибудь из нас — ее постоянное утреннее занятие.

Иногда, когда мы очень пристанем, а мама не слишком торопится с шитьем, нам разрешается заглянуть в ящик стола и рассмотреть, не прикасаясь руками ни к чему, все то, что там находится.

А там — чего-чего только нет! Все в величайшем порядке разложено по маленьким отделениям, на которые поделен весь ящик. В переднем среднем отделении — откидная бархатная подушечка для булавок. В других — катушки с нитками всяких цветов, мотки цветного шелка, пуговицы, масса разных пуговиц: отдельно большие для ватерпуфов, маленькие всех размеров для белья и наконец самые интересные — пуговицы для платьев: и плоские, и круглые, и длинненькие вроде палочек, и стеклянные, похожие на жемчужины, и серебряные, и красные, как коралл, и даже такие, в которых вставлены цветные камушки.

Среди этих пуговок мы узнавали те, которые уже побывали на Соинных платьицах или моих рубашках и спороты потому, что эти платья и рубашки, сшитые из маминых туалетов, пришли в ветхость, так как прожили по два века. В длинненьком отделении — спицы и крючки для вязания, а в самом большом — разные ленты, среди которых потом, через много лет, когда я стал в этом немного разбираться, нашлись чудесные старинные, с пестрой каймой или вышивками.

Под столом снизу был еще ящик в виде корытца, который выдвигался на невидимых пазах. Там хранились всякие лоскуты, шерстяные и шелковые, но покопаться там не удавалось: маме становилось скучно, как мне писать о всех этих мелочах подробно, а вам читать.

Входит тетка. Она пришла из кухни посоветоваться с мамой о каком-нибудь блюде к завтраку или обеду. На минутку, пока не захлопнулась за ней дверь из кухни, мы слышим — что-то шипит на плите и старуха кухарка, добротная грязнуха Дарья, уговаривает кого-то «пропасть пропадом».

Прислушиваясь к теткным разговорам с мамой, мы узнаем иногда не совсем понятные нам соседские новости. Иногда обсуждается поведение отца, который сидит сейчас в своей «банке» и не подозревает, что его поступки не только обсуждаются, но иногда и осуждаются. Взрослые не стесняются присутствием детей, думая, что взрослый смысл речей нам, детям, непонятен. Мы и не понимаем всего, улавливаем только тон осуждения, а что не поймем, дополняем собственным домыслом. Выходит что-то таинственное, часто трагически многозначительное.

Потом, когда я стану повзрослее, меня эти домыслы станут сильно мучить; мне все будет мерещиться какая-то скрытая драма, какая-то назревающая семейная катастрофа.

Говорят, противоположности сходятся. Не знаю, были ли дружны мама с теткой,— этого мой детский ум не искал, да и не умел постигнуть, как и характеры мамы и тетки. Это результат позднейших наблюдений и размышлений.

Мягкая душа тетки, не зажатая никаким воспитанием, отзывалась на все легко и непосредственно. Сама всегда поступавшая «по наитию» чувств, она и в других не осуждала никаких страстей. Они ее пугали — кроткую женщину,— но влекли к себе, как все романтическое. Она обожала театр и преклонялась перед артистами, не умела отнестись критически ни к чему, что вычитывала в книгах, и всегда поддавалась на всякие мистификации отца, простодушно веря всему.

Браня нас за какую-нибудь провинность, она вдруг начинала смеяться и бросалась нас обнимать и всегда носила тайком лакомства тому из нас, который был наказан отцом, то есть посажен в кресло в гостиной без права передвижения — впредь до полного осознания гнусности своих поступков и готовности просить прощения. Я бежал за прощением почти сейчас же. Сестра же была упряма и долгие часы, устав уже плакать, просигивала, насупившись, в кресле и не сдавалась на теткины, а иногда и мои с ней вместе увещания пойти повиниться: от тебя, мол, не убудет, а он, изверг (это отец-то!), измучивший так девочку, пусть будет доволен.

Мама же, выправленная в струнку институтским воспитанием, всегда «tirée à quatre épingles»¹, казалось, была совершенно лишена всяких страстей и порывов. И не то что ее решительно ничего не трогало: просто проявление чувств она считала ненужной аффектацией, даже ломаньем. Обнаруженные страсти она не считала бы беспорядком и никогда не простила бы себе такого беспорядка в своей натуре, как не простила того же и другим. Нельзя сказать, что в ее груди был кусок льда, нет: своих домашних она способна была любить и отзываться на их горести и удачи.

К чужим же мама не отличалась большой терпимостью, а при случае без всякого повода умела, казалось бы беззлобно, но очень чувствительно, уколоть человека. Я вспоминаю, как сильно был обижен за ту же тетку, когда во время всероссийской переписи (в 1897 году) мама настояла, чтобы на большом листе, где были записаны все мы, в графе о грамотности против теткинго имени было написано: «Полуграмотная». Правда, читать она читала, но писала с трудом и с ошибками, но не хуже, вероятно, меня, восьмилетнего малыша, который там же был прописан грамотным.

Мама была маленькой брюнеткой, в молодости — красивой, с большими черными глазами. До старости она сохраняла юную фигурку и живость движений. Тетка была женщина среднего роста, пепельная блондинка. Да и лицо ее, не лишенное, впрочем, миловидности, было из тех, которые кажутся постоянно смазанными жиром.

Насколько мама любила простоту и какую-то английскую четкость в туалете, не терпела лишних украшений, хоть и жила в эпоху, когда женщины, как дикарки, наворачивали на себя гибель кружев, лент и аграмантов,— настолько тетка любила приукраситься и даже слегка подмазаться, чего мама и для себя не терпела, и всегда осуждала в других.

Застигнутая иной раз папой, под гнетом молчаливого, но тяже-

¹ Одетая с иголки (франц.).

лого презрения мамы, тетка перед выходом из дому скрывалась в уборную, где при свечке и без зеркала наводила кое-как брови, причем если одна из них оказывалась почти на месте, то другая всползала на середину лба. В таком виде она стремительно выносилась на лестницу и уже за воротами умеряла ход, выступая изяшно и степенно и пленяя прохожих не только своими бровями, но новомодным жакетом из фальшивого каракуля с пышными рукавами, который доходил ей только до талии. Это тоже крайне осуждалось мамой, которая считала такой костюм легкомысленным и зимой гибельным для здоровья («Долго ли получить воспаление почек?»).

В четвертом часу приходил со службы отец. Все — в особенности робкая тетка — внимательно наблюдали, в каком он настроении: от этого зависел весь распорядок нашей общей жизни на весь остальной день, а иногда и на следующее утро. Если он плохо настроен, что обнаруживалось некоторыми признаками и без слов (чмыханье носом, подергивание плечом), все притихали, а мы с сестрой совсем забивались в мышиные норки, уверенные, что кому-нибудь из нас уж сидеть в кресле за какую-нибудь провинность за обедом (в такие дни сидеть за столом было чистое мученье). Чаще всего это случалось со мной. Я не был, правда, козлом отпущения в семье, но не был и любимчиком.

Трепет перед отцом распределялся среди домочадцев, так сказать, по степеням, по нисходящей линии. Меньше всех считалась с его настроением мама. А вот как-то кухарка, я помню, вошедшая с миской супа в столовую в один из таких тяжелых дней, от одного взгляда отца заметалась по комнате, вдруг поставила миску на ближайший к двери стул и скрылась в кухню. Отец не был злым человеком, просто он был вспыльчив и не умел сдерживаться. Да и не находил это совместимым со своим мужским достоинством и положением в семье. Он мужчина и глава — все должны не только подчиняться его предначертаниям, но и считаться с его настроением, причем считаться деятельно, то есть ходить на цыпочках, с вытянутыми лицами и говорить шепотом, когда он чем-нибудь расстроен, и горе тому, кто попробует развеселиться!

Такие мрачные дни бывали не часто: обычно в нашей семье преобладало тихое, мирное настроение. После вечернего чая можно было без страха посидеть у отца на коленях — я на одном, сестра на другом, — послушать его рассказы или самим поделиться с ним дневными впечатлениями, которые мы рассказывали оба сразу, наперебой и, чтобы завладеть вниманием отца, тянули его за бороду каждый в свою сторону. В отцовском столе находились на такой случай шоколадные лепешечки, которых нам давалось по три: одна в рот и две на ладошки.

В такие вечера мы особенно долго торговались, прежде чем идти спать. Но после шоколадок отправлялись в детскую уже беспреколдно.

Бабушка

Я помянул сейчас, что не был любимчиком в семье. Да, с этим мне не повезло: я был любимчиком бабушки, а это оказалось не большой удачей.

Бабушка приехала в Новочеркасск, чтобы помочь невестке справиться с рождением первенца, чтобы научить неопытную мою мать уходу за младенцем. Не знаю, долго ли она прожила там с нами, но мне кажется, она уже тогда не ужилась с моей мамой.

Мне было два года, когда мы приехали в Москву, так что не скоро еще открылись мои глаза на то, что меня окружало. Когда же я научился приглядываться к людским отношениям, которые меня волновали уже

очень рано, я с грустью заметил, что между бабушкой и мамой нет настоящего ладу.

Бабушка бывала у нас не часто, как и мы у нее, что одинаково огорчало и меня и сестру. Мы любили ее за веселый характер, за остроумие, за живость мысли, за ее рассказы о прошлом.

А в прошлом-то ее как раз мало было такого, что помогло бы ей сохранить все эти качества. Вот как в общих чертах сложилась ее жизнь.

Замуж она по обычаю своего времени вышла рано — прямо из-под родительского крыла, из деревни. Отец ее тогда уже был разорившимся помещиком, но сохранял еще все обычаи и повадки польско-литовских магнатов: сохранялись и дворня, и псарня, и даже свой оркестр; гостей всегда был полон дом, и веселье не прекращалось. Бабушка, рано потерявшая мать, росла, по-видимому, без присмотра. Это я заключаю по некоторым мелким подробностям ее живых рассказов. Так, например, она научилась курить в пятнадцать лет и предавалась этому неизящному занятию тайком в девичьей (никак не могу представить себе пятнадцатилетнюю барышню ее круга с трубкой: тогда ведь не было папирос!).

Муж ее, мой дед, только что окончивший Московский университет, увез ее в Опочку, где получил место уездного лекаря. Воображаю, как она там себя почувствовала, получив в качестве приданого только свои тряпки да привычку к беспечной жизни! (К тому времени уже выяснилось, что все в ясновельможном доме принадлежит окрестным ростовщикам.)

Не успела она справиться со своими первыми впечатлениями от убогой жизни в неожиданной бедности, как ей пришлось привыкать к тревогам и лишениям походной обстановки: начались военные действия на Кавказе и мой дед был мобилизован и направлен туда.

Как-то вышло так, что молодой лекарь за два-три года, проведенных на Кавказе, нахватав всяких отличий, оказался дивизионным врачом. Но ни военная жизнь, ни карьера военного врача его не увлекали: он мечтал о научной работе в условиях мирной жизни, как это видно из оставшихся после него заметок, писанных неразборчивым мелким почерком на листках записных книжек, куда он заносил заинтересовавшие его случаи ранений, придуманные им методы оперирования в полевой обстановке и многое другое, что даже не относилось к медицине.

Судьба, однако, решила иначе: он так и не выбрался с Кавказа.

Как-то, объезжая многочисленные перевязочные пункты на позициях, он наткнулся на чеченцев и чуть не попал им в лапы. Они неслись за ним на своих конях, как птицы, и совсем уже настигали его. Но вот показались наши пикеты, казаки заметили доктора и помчались ему навстречу, уже приостановившись в замешательстве чеченцы, и вдруг докторский конь споткнулся и покатился вместе с седоком по камням в обрыв. Доктора подобрали разбитого, с проломленными ребрами. Он пролежал почти полтора месяца, но поправиться ему уже не было суждено.

Молодая вдова осталась с четырьмя детьми — все мальчишки — без всяких, как говорится, средств к жизни. Старших взяли на казенный счет в кадетский корпус; папу, который был вторым с конца и родился на Кавказе, увез в свое имение под Гомелем дивизионный генерал барон Нолькен, очень любивший деда (занятно, что командиром казачьей дивизии был немец), а с самым маленьким бабушка уехала в Москву и устроилась в Доме вдов и сирот медиков и фармацевтов.

Так всю жизнь, с двадцатипятилетнего до семидесятитрехлетнего возраста, она и прожила все в том же Большом Казенном переулке на Покровке, все в той же комнате на антресолях большого старого дома,

когда-то барского особняка с колоннами и фронтоном, как полагалось, стоявшего в тенистом, сыром саду.

Как я хотел прожить свою жизнь именно так: на одном месте, в одной и той же обстановке.

Конечно, я не стал бы от этого мудрецом, как Кант. Да я и не претендую на то, чтобы, как он, шагу не ступить за пределы своего наслуженного места.

Я люблю путешествовать, люблю новые места, легко терплю новых людей. Но пусть эти места и люди так и остаются новыми, временными, как бы ни были милы на короткий срок! А дом пусть будет единственным местом, где можно жить в полном и самом глубоком смысле этого слова. И если этот дом случайно окажется прекраснейшим местом на земле — пусть так, тем лучше. Хоть это не обязательно и не нужно: он должен стать прекрасным потому, что стал мил, хоть поначалу и был ничем не замечательным и случайным, не выбранным местом, куда занесла судьба, да так и бросила.

Да, так я хотел, а получалось совсем не так. Всю жизнь я передвигаюсь с места на место. И добро бы вел жизнь настоящего цыгана, не заживаясь подолгу на одном месте и не привыкая к нему. Так нет, я успеваю обжиться, привыкаю к новому месту, успеваю с ним сродниться, когда судьба берет меня вновь за шиворот и тащит куда-то в новую обстановку.

Мои детские годы связаны с Москвой, где я прожил с двух лет до девяти. На девятом году я переезжаю с родителями в Чернигов, который на много лет становится моим родным городом, совершенно заслонив Москву, которую я теперь воскрешаю в своих воспоминаниях.

С Черниговом я расстаюсь (и навсегда как будто) двадцатипятилетним, уже окончившим высшую школу и женатым. Оказавшись в Петербурге, я сначала кочую три года с одной линии Васильевского острова на другую. И наконец с 1918 года я в Павловске. За двадцать три года, что мы там прожили, я, привыкший к провинциальной жизни в Чернигове и тяготившийся питерской суетливостью и шумом, успеваю сжиться с тихим Павловском, даже полюбить его. Наконец только тут я устроился впервые оседло, собрал библиотеку, понемногу подобрал обстановку, составленную из хороших, уже ставших любимыми вещей.

И вот опять судьба немецкими снарядами выталкивает нас с женой из Павловска, и мы на Петроградской стороне, на пятом этаже большого дома, вчетвером в небольшой комнате замужней дочери.

Так в тесноте жила когда-то и бабушка в своей небольшой комнатке на антресолях дома «Медико-фармацевтического попечительства о вдовах и сиротах врачей и фармацевтов», как он длинно назывался. Ее маленькой пенсии ей не хватало: надо было кормить и одевать себя и двух малышей.

В поисках заработка она не гнушалась никаким трудом и как-то напала на счастливую мысль: делать коробки для аптек. Под руководством мастера, которого она пригласила за плату, в подвале соседнего дома она целый день теперь резала бумагу и картон, клеила коробки. Скоро ей стал помогать и мой отец, восьмилетний мальчишка, привезенный к ней из Гомеля. Так он проработал, как Диккенс, до самой школы, пока не поступил в Межевой институт.

Когда я маленький слышал о его работе в картонажной мастерской, я представлял себе, как он был счастлив. Как было весело клеить такие коробочки — чудесные, нарядные, пестрые, с золотыми кантиками по всем краям!

В те времена аптекарские упаковки не были так просты и скучны, как сейчас. Тогда коробочки были оклеены пестрой, цветной бумагой,

засыпанной узором из цветочков или птичек, сидящих на ветках или летящих по голубому небу. Мы с сестрой любили ходить с нянькой за лекарством в нашу ближайшую аптеку: там мы получали от провизоров в подарок такие коробочки. «Наши» провизоры — мы их поделили: мой высокий белобрысый немец, а Сонин маленький черноволосый поляк — клали в эти коробочки сюрпризы: то палочки ячменного сахара, то мятные лепешки.

Как-то шестилетним малышом я слышал случайно разговор мамы с папой, из которого заключил, что папа чем-то расстроен, а мама чем-то возмущена и жалеет бабушку. Я уже упоминал о том, что был очень чуток на такие вещи и страдал, когда среди родителей нарушалось согласие. И потому насторожился. «Помилуй,— говорила мама,— куда ей столько? Ведь она имеет даровую квартиру с отоплением и освещением». Мне показалось чем-то особенно замечательным иметь в квартире еще «отопление и освещение».

Следующий раз, когда я был у бабушки, я стал присматриваться, не замечу ли чего похожего на «отопление и освещение», не подозревая, что стоявшая на столе перед диваном на гарусном поддоне лампа с белым колпаком как раз была «освещением», а кафельная печь у входной двери — «отоплением». Печь эта, впрочем, всегда привлекала мое особое внимание: она не была похожа на обычные печки. Она стояла на чугунных фасонистых ножках, несколько отступая от стены, и была похожа на огромный кувшин без ручки. Сходство дополнялось еще чугунной решетчатой верхушкой, похожей на крышку. А на чугунной дверце были выпуклые голенькие мальчишки, летавшие в воздухе и тянувшие за собой какое-то длинное полотенце.

Мы с сестрой очень любили бывать у бабушки. Это случалось иногда в какое-нибудь воскресенье. Брали извозчика и выезжали с таким расчетом, чтобы быть у бабушки к часу дня, когда она пила кофе. Зимой, если извозчик оказывался благодушно настроен, мне удавалось пристроиться рядом с ним на облучке саней. Для этого он «выпроставал», по любимому выражению Л. Толстого, одну ногу из саней, а папа держал меня сзади за кушак. Какое это было счастье! От четырех лет до шести я как раз мечтал быть кучером и никем другим; так и требовал, чтобы меня звали не Володя, а кучер. И вот это почти сбывалось. Я сидел на козлах и видел огромную лошадь перед собой.

Меня обдавало запахом навоза, пахло еще ремнями и дегтем, луком и водкой. Последним запахом как раз объяснялось праздничное благодушие извозчика.

По дороге мы делали остановку у Мясницких ворот, папа выходил из саней и покупал у Севостьянова целый кулек сдобных крендельков к кофе.

На бабушкины антресоли вела отдельная лестница со двора. Уже с половины ее нас охватывал какой-то особенный, только бабушкиному дому присущий, очень сложный запах.

Так пахнет старая шкатулка, пахнет и само дерево ее, и то, что в ней хранится — какие-нибудь платочки и кружева,— и все то, что в ней когда-то лежало, тоже оставило там свои запахи. На дне такой шкатулки лежит всегда саше со старыми, наполовину выдохшимися духами.

На дне запаха бабушкиного дома тоже был такой аромат старинных забытых духов. Он подновлялся по воскресеньям, когда какая-нибудь вдова или сирота, отправляясь в гости или к обедне, доставала из комода старинное шелковое платье, в слежавшихся складках которого сохранялись запахи старых духов.

Но надо всем царил по воскресеньям запах только что смолотого кофе: старухи пили кофе! И, как настоящие, тонкие знатоки, размалы-

вали его только на одну заварку. У каждой из них был свой рецепт приготовления кофе: каждая смешивала несколько сортов его в разных пропорциях и считала другие смеси для себя оскорблением, а для кофе поруганием. И если бы сам честный француз Реттере, который продавал кофе в своих магазинах по всей Москве, случайно (что совершенно невероятно) намешал для такой старухи «явского», «цейлонского» и «мокко» не в тех пропорциях, как надо, она сейчас же обнаружила бы это по первой заварке. А споры, которые возникали между ними по поводу этих рецептов, доходили до ссор и разрывов между самыми близкими друзьями.

К аромату кофе, который покрывал почти все запахи, примешивался еще запах не вполне прогоревших в самоваре углей, который я назвал бы вульгарно угаром, если бы этот запах не напоминал мне церковь: стоило бы к нему прибавить чуть ладана — и я чувствовал бы себя в торжественной церковной обстановке.

Но и без такого добавления «бабушкин запах» настраивал меня всегда на особый, приподнятый лад. А если вспомнить волнующее путешествие на козлах, которое предшествовало «кофе у бабушки», — понятно, почему я бывал так взволнован, когда входил к ней в комнату.

Мы, дети, раздевались (или нас раздевали) на пороге, складывая свои шубки на кушетку карельской березы необычной формы, стоящую у входной двери. Этот небольшой диванчик не имел ни спинки, ни локотников, а только с одного конца его было отогнутое изголовье.

Бабушка встречала нас всегда ласково, и сразу чувствовалось, что она не только любит нас и потому такая милая, но с ней всегда легко, уютно и весело — такая уж она была! Такими были ее лучистые, когда-то, вероятно, голубые, теперь светло-серые глаза, в глубине которых теплился огонек юмора (но не злой насмешки), такой была и ее комната: уютная, приветливая, где все так складно устроилось и нашло свое место, что, казалось, бабушкины немудрячие старенькие вещи — комод, кресла и диван — чувствуют себя на своих местах хорошо и уютно и хотят стоять так век вечный.

Когда подавался на стол кофейник и небольшой самовар красной меди, отец, если мы очень приставали, рассказывал нам в сотый раз давно знакомую историю о том, как жеребенок лягнул этот самовар. Это произошло в то время, когда отец управлял огромным имением деда на Дону. Дверь из его легкого помещения открывалась прямо во двор, а пол был наравне с землей; к нему в комнату иногда приходила «к чаю» его верховая лошадь Машка со своим жеребенком. Жеребенок, с детским любопытством обнюхивая и осматривая все кругом, как-то запустил морду в жестянку, где хранился мелкий сахар. Не понравилось ли ему что, или так случайно, но только жеребенок фыркнул, сахарный песок тучей поднялся ему в глаза, жеребенок испугался и выскочил из комнаты, подпрыгнув и брыкнув задними ногами. Вот тут-то и пришелся удар его копыта по самовару, который стоял на табурете.

Эта история приобретала особый интерес в присутствии живого свидетеля — самовара с продавленным боком. Вмятину эту мы тут же неизменно рассматривали, хоть видали ее уже много раз.

Дома кофе нам давали только ради какого-нибудь торжества; обычно же полагалось молоко или толокно. Но нашему домашнему кофе было далеко до бабушкиного: прежде всего у бабушки подавались к кофе сливки, которых дома никогда не бывало, а затем — вместо простых булочек — здесь были крендели, которые мы привозили с собой, те самыедобные крендели, посыпанные сахарной пудрой или облитые глазурью, которые стоили по три копейки, а если покупать их два, то пятак пара.

На наши голоса к бабушке заглядывали ее соседки. Первой приходила Луиза Федоровна. Это была крупная когда-то старуха, теперь немного согнувшаяся и как-то всем телом осевшая вниз. Если представить себе постаревшую и сильно растолстевшую валькирию, то это была как раз она.

Двигалась она всегда стремительно, врываясь, а не входя в дверь, несмотря на то, что пыхла и задыхалась на ходу. Ни в каком кресле она поместиться не могла: так бы и застряла навсегда между ручками, если бы ей удалось в него вклиниться. А когда садилась на стул, то вся свисала с него, как тесто. Придя к бабушке, она сразу занимала диван, и уж с ней рядом могла примоститься разве только другая бабушкина соседка, Глафира Николаевна.

Насколько первая была толста, настолько вторая худа; насколько первая была непосредственна и проста, настолько вторая — сдержанна в проявлении своих чувств и жеманна. Луиза Федоровна всегда была в широкой темной юбке со сборками кругом и в длинной светлой кофте без пояса. Ходила простоволосая, подобрав седые, серо-желтые остатки волос кверху и завязав на самой макушке узелком величиной с орех, который, вероятно, надо было считать шиньоном. Глафира же Николаевна имела строгий, почти официальный вид в своем черном платье с белым воротничком или жабо, приколотым брошью, и манжетами; на голове она всегда носила кружевную наколку.

В комнате у Глафиры Николаевны было много интересного: картинка на стенах, среди которых были шитые шелками и бисером, вазочки и чашки с картинками в шкафчике за стеклами, всякие тарелочки и корзинки на столиках и много разных очень тонких и сложных образчиков женских рукоделий вроде гарусной круглой подставки с венком по борту, который своими цветами, листиками и усиками — все из разноцветного гаруса — закрывал ножку лампы; на стекло ее сверху был надет колпачок, тоже гарусный и тоже весь из цветочков, листьев и травок. Но самым замечательным был ковер, висевший на стене над кроватью. На нем в широкой цветной рамке, шитой шерстью, по черному суконному полю была вышита также цветной шерстью огромная собака, лежащая на желтом песке дорожки, среди кустиков травы. Это был сенбернар, изображенный в натуральную величину, если не больше. Собака была как живая: пасть оскалена, из нее висит розовый язык, и счастье еще, что она смотрит куда-то вдаль. Если б ее глаза были повернуты к нам, мы с сестрой всерьез боялись бы этой собаки.

Иногда Глафира Николаевна открывала шифоньер или шкафчик и вынимала оттуда что-нибудь особенно любопытное — какую-нибудь старую-старую книжку с картинками, которую мы разглядывали с величайшим интересом. Но чаще всего из глубины ящика извлекались мятые пряники в виде рыбы или коня. Мы по старому опыту знали, насколько съедобны эти подарочные пряники: мята из них давно выдохлась, уступив место камфаре, а если их раскусить, они рассыпались во рту колючими крошками.

У Луизы Федоровны в комнате не было никаких чудес. Это была спартанская обитель, уставленная только самым необходимым. Все кресла и диван были безнадежно продавлены и продраны, однако и здесь, как у Глафиры Николаевны и у бабушки, царили полный порядок и чистота и продавленная мебель была застлана чистыми, хоть и не расшитыми, как у Глафиры Николаевны, салфеточками. Чего здесь было много — это цветов. Правда, и они носили какой-то мятежный характер. Это были главным образом алоэ и кактусы, которые своими уродскими листьями торчали с экон самым причудливым образом. Единственным украшением на стене была большая темная гравюра на какой-то биб-

лейский сюжет в узенькой черной рамке, которая висела несколько криво, как будто только что прилетела на стену, гонимая каким-нибудь вихрем.

Несмотря на то, что у Луизы Федоровны нечего было рассматривать и не дарила она нам ничего, мы с сестрой любили приходить к ней в комнату. Она не рассказывала нам сказок, а говорила о чем-нибудь самом житейском — о событиях на улице, которые ей передавали другие; сама она из-за своей тучности не выходила из дома. Но рассказывала все это со своим немецким акцентом с такой страстностью, или с таким теплом, или с таким возмущением, что глубоко захватывала нас своими рассказами, которые без этих преувеличений совсем бы нам были непонятны. У нее все плохое всегда выходило страшно отвратительным, все злое — чудовишным, все доброе — до слез трогательным, а все хорошее — ангельски прекрасным.

Я много порассказал о соседках бабушки, а о ней-то самой не сказал еще почти ничего.

Когда-то стройная, высокая, она теперь была согнута в пояснице какую-то болезнью почек. Год от году ее все больше и больше перегибало пополам, она становилась все меньше и ниже и последнее время уже ходила, опираясь на зонтик, который потому и брала с собой во всякую погоду. Носила она его не по-обычному, а вверх ногами, чему мы с сестрой очень удивлялись. Потом только я узнал, что в старину зонтики открывались в обратную сторону, так что ручка была внизу и, раскрывая его, не надо было перевертывать нижним концом вверх, как это теперь делается, а только поднять и взять рукой за нижний конец.

Еще много лет в этих записках я буду встречаться с бабушкой. Последние же мои московские воспоминания, где я вижу ее, связаны с пасхой, с пасхальным утром.

Бабушка обычно приезжала к нам с вечера, после «своей» заутрени, которая в костеле кончалась раньше. Позже возвращались из церкви папа с мамой, и они разговлялись вместе.

Мы ничего не слышали — мы крепко спали. Просыпались же мы в это утро «ни свет ни заря», как говорила тетка, и в шесть часов уже вставали. Солнце едва подымалось, розовели оконные рамы, и на стены падал розоватый отблеск. Хоть мы и не читали чеховского письма к ученому соседу, но нам тоже казалось, что никогда в другие дни по утрам не бывает так радостно в воздухе, так светло в небе! В другие-то дни мы рассветов не видели, никогда не вставая так рано.

Если уж говорить начистоту, нас подгоняло не столько желание поскорее увидеть бабушку, сколько посмотреть, какие подарки положены на стульях у наших кроватей. Это были, конечно, яйца — коробки в форме яиц. Раз как-то в таком огромном картонном яйце я нашел целый поезд, обложенный по краям шоколадками, в другой — лошадь с тележкой и всей запряжкой, очень тщательно сделанной. А сейчас из красного деревянного яйца вынул коробку с большим набором цветных карандашей, о которых давно мечтал.

Полюбовавшись на подарки, мы с незастегнутыми пуговицами на башмаках и на лифчиках сзади, без верхнего платья шли к бабушке, задержавшись только в столовой, чтобы обозреть пасхальный стол. На разукрашенном столе красовались куличи разных форм с большими-большими посередине, бутылки двумя группами справа и слева и огромное блюдо крашенных яиц. Не было только пасхи и окороков ветчины: они были вынесены на холод. Фаршированный поросенок, вероятно, тоже. Мы смотрели на него всегда немножко с ужасом и никогда не решались его попробовать. Как его ни украшала тетка всякими хитрыми разводами из натертого масла, стоило посмотреть на его плотно

зажмуренные глазки со слипшимися ресницами — и видишь: лежит несчастный детский трупик свинки! Такова уж человеческая натура: ветчину ешь без размышлений, хоть режут ее от целой ноги, а целая тушка на столе, с глазками и ушками, как-то смущает.

Бабушка спала на диване в папином кабинете, он же на этот раз и гостиная. Комнаты в нашей квартире несколько раз меняли свое назначение, только наша детская всегда была детской.

Бабушка уже вставала, когда мы входили. Как все старики, она мало спала и как раз причесывалась. Все волосы были спущены вперед и висели длинными темными прядями, скрывая лицо. Потом она проводила вдоль по голове гребнем, разделяя пробор, и вот-вот должна была выглянуть из волос. Вот тут-то становилось немного страшно. Поигрушечному страшно, а все-таки страшно. Потому что это была такая игра: неизвестно, кто появится, когда пряди волос раздвинутся, — бабушкино ли доброе лицо, или страшный-страшный волк, который зарычит и бросится на нас.

Потом бабушка застегивала нам все пуговицы, до которых мы не могли добраться, и умывала нас. Мы старались не шуметь: покой родителей всегда свято оберегался.

На даче

Всякий раз, как я вызываю в своем воспоминании Москву своего раннего детства, я вижу ее весной. Потому, может быть, что зиму я не люблю, боюсь ее холодов, от которых всегда страдаю, особенно после жизни в Чернигове, где все-таки легче переносится зимняя пора. Зима там если не очень много теплее, то хоть короче. Осень я как-то не считаю, не чувствую этого времени года: теплые дни «бабьего лета», в сущности, последние дни лета, а осенние холода, непогода и слякоть — это уже начало зимы. Лето же мы не жили в городе, и летней Москвы я не помню. Остается весна. Ее в Москве открывали дворники — криками и скребками. Этот первый весенний звук — звук скребков по асфальту тротуаров — так и стоит в моих ушах! Я вижу слоеные пласты слежавшегося снега, которые скалывают с тротуаров. И надо всем этим уличному оживлением, по-весеннему уже шумным и радостным, по-весеннему сверкает и уже греет солнце. Еще день-два — и по канавкам вдоль тротуаров побежали ручейки. Я мастерю лодочки — из бумаги, картона, дерева, что подвернется, — и пускаю их в эти быстрые потоки. Они плывут, кивая носами, по волнам, застревая на момент вместе со щепками, потом, покрутившись на одном месте, бегут дальше. И я бегу за ними. Но меня ловит за рукав нянька, и я теряю их из виду.

Эти лодки — начало моего увлечения мореходством. Много еще потом я построил кораблей всяких типов и пускал их в бочках и ваннах, проверяя их мореходные качества.

Пригревает солнце, и мы пристаем к маме: «Когда мы снимем шубы? Когда ты достанешь нам осенние пальто?» Наконец наступал и этот желанный день. Он совпадал с генеральной уборкой в доме. Вся квартира выворачивалась наизнанку. Относились во двор мебель, развешивались на веревке ковры и шубы. Все это выбивалось, чистилось. Смешно было смотреть на диваны и стулья, которые так непривычно стояли среди зеленой травы на большом дворе. Еще забавнее было рассестись на них, как в гостиной, и вести по-нарочному светский разговор во дворе, под открытым небом.

Нас загоняли домой, стулья водворялись на место в гостиную. А шубы укладывались в большой сундук и пересыпались камфарой. Замок

у этого сундука был с музыкой: «дрын-дрын-дрын» — звенели пружины, когда мама поворачивала в замке большой фасонистый ключ. Вору не открыты такой сундук потихоньку!

С этого дня официально начиналась весна в нашем доме. А там скоро наступало и лето.

Два года подряд мы жили летом в Останкине. Очень мало осталось в моей памяти от этой дачной жизни — кое-какие отрывки. Хоть я и уверен, что и сейчас найду дорогу от пруда и церкви к нашей даче.

К нам приезжало много гостей: и знакомых и родных было в Москве достаточно. Живала и бабушка по несколько дней. Всякий что-нибудь привозил нам, детям, какие-нибудь гостинцы или игрушки, так что у нас с сестрой появилась манера «смотреть всем в руки», как это называла мама, объявляя войну такой дурной привычке.

Но, право же, трудно удержаться и не пощупать пакет, который гость положил на столик под зеркалом в передней, пока раздевался и здоровался с родителями.

Должен признаться, что сестра в таких случаях проявляла меньше нетерпения. Это объяснялось, правда, не только большей ее скромностью. Дело в том, что если я в своих подарках находил некоторое разнообразие — то лошадку, то барабан, то мячик, — то ей положительно не везло в этом отношении: это лето все, как сговорились, дарили ей только куклы. И когда ее крестная мать Марья Васильевна привезла как-то чудесную парижскую куклу, но уже третью чуть не за один только этот день, у бедной девочки опустились руки, кукла хлопнулась носом на пол и разбила свое прекрасное парижское личико. Марья Васильевна, слегка скривившись, стала утешать плачущую сестру — и нашла чем! — пообещала в следующий раз привезти другую куклу, небьющуюся.

Этот следующий раз наступил довольно скоро, и Марья Васильевна не забыла своего обещания. Когда мы с сестрой раскрыли коробку и раздвинули бумажное кружево, которым были оклеены ее края, то увидели прелестную нарядную куколку с шелковистыми каштановыми кудрями, в соломенной шляпе и розовом платье. «Вот эту уж ты не разобьешь!» — сказала Сонина крестная.

«Лежит, как мертвец в своем гробу», — решил я. Это и определило ее судьбу: решено было устроить ее похороны. Сейчас же было сделано облачение из газеты, я его напялил на себя; превратившись в священника, и траурная процессия двинулась на кладбище. Как это все совершается, мы уже знали: совсем недавно у нас умер десятимесячный братец.

В саду возвышалась большая куча песку, нарочно привезенного для наших игр. В этой куче мы делали пещеры, туннели, строили из песка крепости, делали пирожки — все, что полагается. Тут-то и нашлась могила для куклы.

На вершине песочного холма мы вырыли ямку и опустили туда со всякими церемониями картонную коробку с куклой.

Только что мы засыпали куклину могилку и начали уже украшать ее веточками сирени и акации, как нас позвали завтракать.

Потом пошел дождь, и до обеда нам не пришлось выйти в сад.

И только когда за обедом Марья Васильевна спросила, как поживает кукла, мы о ней вспомнили, переглянулись с беспокойством и сейчас же из-за стола побежали в сад к нашей куче.

Какая печальная картина представилась нашим глазам, когда мы раскрыли «гробик»!

Если бы мы знали, что делается дальше с умершими, когда их по-

хоронят, мы решили бы, что кукла начала разлагаться — все, значит, в порядке, все идет, как надо.

Дети ведь большие реалисты. Только их реализм подлинный: он хорошо уживается с самой буйной фантазией.

Красная подкладка куклиной соломенной шляпы полиняла и потекла ей на лицо, с которого оказались смыты не только глаза и рот, но и самый цвет лица, оставивший местами коричневатую мастику. А в каком состоянии оказалось ее нарядное платьице с поясом из красной ленты!

И вот в таком виде мы ее и представили не без злорадства Марье Васильевне.

Та не могла не рассмеяться. «Доконали-таки и эту!» — сказала она.

...Начало мая. В апреле несколько теплых дней — и опять холода. По утрам лежит снег на крышах.

Ночью — отдаленная канонада.

Вспышки неслышных выстрелов.

В разное время дня — то по утрам, то к вечеру — артиллерийский обстрел города, иногда очень ожесточенный. Или налеты. Тогда — грохот зениток.

Страшно жить. Не потому, что страшно умереть каждую минуту. А сама жизнь невыносима, невозможна...

Крестная мать

По вечерам наши родители редко сидели дома. Отдохнув после обеда — московский обычай, который у нас свято соблюдался во все времена, — начинали собираться в гости и уже не пили дома чай.

В Москве тогда ходили в гости не так поздно, как это было принято в Петербурге, обычаи которого вообще осуждались москвичами.

Москвичи и ходили в гости пораньше, по-провинциальному, и возвращались не поздно: засиживаться до полуночи было не принято. Случалось, что мы с сестрой еще не ложились спать, когда мама с папой уже презжали домой.

Мы сторожили эти моменты и выскакивали на звонок в переднюю, выскальзывая из теткинх рук: дверь-то на лестницу открывается, дети могут простудиться!

У меня был особый интерес: я всегда спрашивал, какие там, «в гостях», были обои. А когда родители шли куда-нибудь в первый раз, всегда просил хорошенько рассмотреть и запомнить, какого там цвета обои и какой на них рисунок. Почему это меня так интересовало? Обнаруживалось ли так рано мое будущее «призвание»?

Кроме этого моего, так сказать, идеального интереса, самые низменные, корыстные побуждения заставляли нас так ждачь родителей: частенько они привозили нам из гостей по московскому обычаю какой-нибудь гостинец. Моя крестная мать, так та уж всегда придет чего-нибудь: то мешочек грешких орехов, которые сама очень любила, то пряничков. А у нее как раз родители бывали чаще, чем у других знакомых. У нее был абонемент в Итальянскую оперу, и в дни спектаклей она приглашала папу и маму к себе в ложу.

В таких случаях, то есть собираясь в театр, мама вместо своих обычных драгоценностей (любимой броши — золотой палочки с тремя рубинами, — колец) доставала что-нибудь попараднее и открывала сундучок, в котором хранились у нее среди всяких безделушек и разные ценности.

Мы, конечно, уже тут как тут: стремимся запустить туда и наши носы.

Больших драгоценностей он не заключал, этот зеленый сундучок, окованный железом. Но там, помимо всяких сувениров вроде бисерных кисетов и кошелечков, записных книжечек с вышитыми шелками крышками, было и несколько замечательных по форме и по работе ювелирных вещиц. Я помню очень затейные серьги с подвесками — такие большие и тяжелые, что совершенно нельзя себе представить уши, которые могли их выдержать. Из них особенно хороши были скрученные из золотых, очень сложных завитков с голубой эмалью и другие — с веточками красного коралла, продетыми в очень хитро переплетенные ленты. Их красоту и затейливость я оценил потом, когда стал понимать уже кое-что в таких вещах: сундучок разобрался при мне и много раз позднее, и я все с новым и новым интересом рассматривал все эти старинные вещицы.

А тогда нас, малышей, занимали больше рисуночки маминых институтских подруг в записных книжечках и такие вещицы, как золотой рожочек, из которого маму маленькую поили молочком тогда еще, когда не было резиновых сосок.

Старинных мелочей и безделушек, наследие дедов и бабок, разбросано было по нашей квартире достаточно: шитые шелками и гарусом подушки на диванах, такие же коврики, бисерные картинки на стенах, шитые бисером коробки и футляры для стаканов. Среди всего этого старья больше всего меня привлекали всегда огромная пенковая трубка с длинным бисерным чубуком и серебряный кубок с портретом польского короля Сигизмунда III, по семейному преданию принадлежавший далекому предку, украинскому гетману Петру Конашевичу-Сагайдачному. Этот кубок стоял всегда полный папирос или сигар на отцовском письменном столе.

Потом, в студенческие годы, живя в Москве, я побывал у своей крестной матери, не сразу, надо признаться, к ней собравшись, хоть родители и взяли с меня слово, что я навещу ее сейчас же по приезде в Москву. И понял, чем она так привлекала всех к себе, и сам с тех пор стал бывать у нее еженедельно.

Это была в полном смысле этого слова мудрая старуха. Величайшее наслаждение было слушать ее рассказы о прошлом, о себе, о людях, с которыми она встречалась, о людских отношениях.

Никого из этих людей я не знал, судьбы их были мне безразличны, да и события, о которых она рассказывала, были вовсе незначительны — обыкновенные житейские маленькие драмы и комедии — и в передаче кого другого были бы вовсе незамечательны: она ведь жила в тихое, «неинтересное» время. Вся сила ее рассказа была не только в живости изложения, хотя в этом она не имела соперников, по крайней мере на моей юной памяти. Вся прелесть, вся суть была в тех мыслях, которые все проникали, и в «лирических отступлениях», которыми она пересыпала свои рассказы. Так что всякий самый пустяковый пустяк оказывался значительным.

Она рассказывала, например, как горела ее дача в Богородском, под Москвой. Дача, которую она строила с такой любовью, так заботилась о том, чтобы толстые бревна, которые она подобрала одно к одному, были уложены прочно, укутанные толем с дегтем, чтобы век простояла дача. И вот она уже исчезла в огне!

Кругом думали, что моя крестная, сидящая на скамейке и в каком-то оцепенении смотрящая в огонь, сражена потерей и как тугая на расходу, скупая старуха, какой она слыла, перевела ее уже на деньги и теперь подсчитывает мысленно потерю.

А она думала совсем о другом.

По мере того, как огромный дом — весь в резных украшениях в русском стиле семидесятых годов — уходил в этот огонь, исчезая в нем вместе с огромным периодом ее жизни, из этого же огня выступали образы многих и многих людей, живших у нее на этой даче. И вот, казалось ей, огонь стал освещать этих людей по-новому — и людей, и их отношения друг к другу и к ней, Марии Харлампиевне, хозяйке этой дачи, куда они приезжали погостить, составляя иногда общество десятка в два людей. Так, воспоминание о пожаре, случайно возникшее в нашем с ней разговоре, стало поводом, чтобы в ее живом рассказе развернулась на целый вечер целая галерея лиц.

В студенческие годы я бывал у Марии Харлампиевны всегда по субботам. В этот день у нас в училище живописи не бывало рисунка по вечерам и я мог забраться к старухе пораньше.

Пообедав наскоро в своей столовой, я ехал к ней в Грузины. Она жила там в доме какого-то благотворительного общества или какой-то общины. Раздав свои капиталы наследникам еще при жизни («Чтобы не портили мне и себе кровь ожиданием моей смерти», — говорила она), Мария Харлампиевна положила какой-то небольшой капитал в общину, за что получила пожизненно помещение из двух комнат для себя и комнаты для своей кухарки, с которой не могла расстаться не столько по долголетней привычке, сколько потому, что та волею судеб была матерью ее внука.

Случилось как-то, что ее сынок, которого все вокруг называли «непутевым», вернувшись в сильном подпитии из путешествия по московским значным местам, «увлекся» далеко не молодой, далеко не прекрасной, рябой во всю свою очень обширную подслеповатую физиономию Натальей и... забыл об этом наутро начисто. Однако дальнейшее ее поведение и все последующие события заставили его все вспомнить. Родившийся мальчик был усыновлен, но маменька его осталась на прежнем положении, в кухне, и пекла по-прежнему великолепные пироги и блины.

В эти же последние для моей крестной годы, уже в Грузинах, когда она окончательно ослепла и совершенно уже не владела ногами, Наталья развернулась вовсю.

Мария Харлампиевна оказалась в полной власти этой бабы, и если она раньше мрачно молчала, то теперь мрачно ворчала. Бессовестно обирая беспомощную старуху по мелочам и крупно, она лишала ее самого необходимого, не говоря уже о невинных прихотях вроде тех же любимых грецких орехов.

Судьба сделала эту рябую фурию мстителем за многих и многих людей, которые зависели когда-то от Марии Харлампиевны и которым эта властная старуха начертывала жизненные пути, решая за них, чем им быть, как и на что жить.

Комната, в которой я заставлял свою крестную, была точной копией той, в которой она жила когда-то в своем доме на Арбате. Намеренно была воспроизведена привычная обстановка или так уж вышло случайно, не знаю. Но только она, эта спартански обставленная комната, живо переносила меня в дни детства, когда мы всей семьей бывали у крестной в ее доме в Конюшенном переулке.

Он стоит там и до сих пор, небольшой деревянный особняк с мезонином, построенный в середине прошлого, то есть XIX века, с большими цельными стеклами в окнах с круглыми верхами, окрашенный все в тот же темно-коричневый цвет по обычаю того времени, когда дома красили в «съедобные» цвета: это был шоколадный, а то бывали покрашенные в цвет «крем-брюле» или «сливочного мороженого».

Сам дом внутри был очень уютным по расположению комнат и обстановке, если бы не казался в такой мере нежилым. Парадные комнаты, куда попадали, войдя через подъезд с бочкообразным навесом, стояли всегда пустые, всегда в полумраке: шторы на окна спущены, роскошная, стеганная голубым шелком по «новой» моде шестидесятых годов ореховая мебель в гостиной и длинные ряды стульев вдоль стен в зале — всегда в чехлах, как и люстры. В тишине, в которую эти комнаты всегда были погружены, слышны только два голоса часов: глухое, медленное и солидное «тик-так» огромных, стоящих на полу часов в зале и более живой, звонкий голос бронзовых под стеклянным колпаком на камине в столовой. Эти «тик-так», мне казалось, еще больше сгущали тишину этих комнат, которые становились оттого как-то еще более пустыми, заброшенными. Я всегда побаивался их полумрака и стремился пробежать их поскорее... И вдруг сразу попадал в небольшую, уютную, светлую-светлую столовую.

Здесь на фоне темно-золотистых стен, всегда, в любую погоду как будто освещенных солнцем, темнели красным деревом буфет, горка со старым фарфором и стулья. В следующей комнате — собственно гостиной моей крестной, — такой же светлой и радостной, как и столовая, стояли так же, как и там, все старые любимые вещи. Диван, на котором она всегда сидела, и кресла, придвинутые к преддиванному столу, были камышовые, такие, что ставят на террасах и в саду на даче. Только на сиденьях их лежали пуховые подушки в голубых шелковых чехлах, такие же подушки были привязаны шнурками и к спинкам.

Не из бедности, конечно, стояла такая мебель. Потом, когда я сидел в этих креслах, слушая рассказы замечательной старухи, уже в Грузинах, я их оценил. Такая мебель — эластичная, подвижная — легко следует движениям сидящего, меняющего позу, и как бы сама приспосабливается к положению его тела. Почти так же ведет себя хорошая старая деревянная мебель, в которой от долгой ее жизни с человеком вырабатывается подвижность и приспособленность к человеческому телу.

Из всех вещей, что были в комнате крестной, меня больше всего занимали часы. У крестной на стене висела уютная деревянная избушка, в которой жила кукушка, — это и были часы! Меня звали всякий раз, как они собирались бить. Вот в них начинало что-то шипеть и жужжать — и вдруг открывалась ставенка наверху, из окошка высовывала голову кукушка и громко говорила свое «ку-ку» — ровно столько раз, сколько было часов. Потом: хлоп! — и ставенка опять закрывалась. И только маятник весело щелкал: вправо-влево, вправо-влево.

Вот это были часы!

Уже тогда, в раннем моем детстве, когда я впервые увидел свою крестную мать, она редко выходила из своей комнаты — только к обеду. Ноги ей уже отказывались служить, зрение также слабело — я помню ее всегда в синих очках. У себя она всегда сидела на своем камышовом диване перед столом, у которого собирались по вечерам все домочадцы и гости.

Эти вечерние собрания вокруг стола, на который подавался чай и за которым вела всегда остроумную и живую беседу умная старуха, любившая также и других послушать, привлекали всех, очевидно, так же, как и меня, студента, по субботам двадцать лет спустя.

Даже в детстве мне казалось, что за этим столом, куда меня «не приглашали», бесконечно уютно и интересно.

Однако действительно спокойной, уютной жизни в этом доме не

было. Домочадцы Марии Харлампиевны не жили в полном согласии никогда. Ни любви, ни даже простого согласия между ними не было.

Муж крестной Петр Федорович, молчаливый, угрюмый даже, как мне казалось, старик, в прошлом то, что называлось стряпчий, ходатай по делам — словом, «аблакат» от Иверской. Где и когда его подцепила Мария Харлампиевна, мне так и осталось неизвестным. Тогда уже в доме крестной (дом-то и все состояние принадлежали ей) Петр Федорович отошел на самый задний план, уступив первое место, если около Марии Харлампиевны могло быть такое, Ивану Федоровичу, человеку значительно покрупнее, с университетским образованием, в то время товарищу председателя московского коммерческого суда. Я его знал лысым, стареющим, располневшим, таскавшим за собой по всему дому резиновый круг, который надувался и без которого геморрой не давал ему покою даже в самом мягком кресле.

А появился он в доме молодым студентом, присланным из Казани друзьями Марии Харлампиевны, купцами Губонинными, на «хлеба» с просьбой пригреть его, приглядеть за ним. Очень скоро он оказался в самом деле «пригретым», а Петр Федорович с тех пор удалился в свои две комнатки в мезонин. Теперь это было дело давнее, полузабытое самими участниками событий. Петр Федорович, однако, по старой памяти спускался вниз только к столу да вечером — посидеть у Марии Харлампиевны хоть и не «в первом ряду», так где-нибудь в тени. За обедом его тоже не допускали за общий стол: он сидел хоть и в той же столовой, но спиной ко всем, за особым столиком в углу, чтобы крестная не видела, как неопрятно он ест. А он в самом деле был неопрятным, опустившимся стариком, всегда в старом английском клетчатом пальто, служившем ему халатом, которое было все засыпано табаком и засалено всякими пятнами.

Как-то я увязался за папой, который прошел к Петру Федоровичу наверх. Отец собирался его снимать (он увлечен был фотографией — почти общее тогда помешательство на заре этого искусства).

Впоследствии он снял его за столом в его маленьком кабинетике на фоне полок с книгами и увеличил до натурального размера. За это увеличение отец получил на фотографической выставке золотой жетон — такой уж был живописный старик: фотография в самом деле вышла очень красивой.

Наверху у себя Петр Федорович показался мне совсем иным — живым, разговорчивым. А когда подали по его приказанию графинчик (чего он внизу не устаивался), так он и вовсе развеселился. Стал что-то рассказывать отцу и все подхихикивал своим сиплым баском. Мне интересно было посмотреть, как он такой веселый покажется внизу. Но там за обедом, куда нас скоро позвали, он опять присмирел и, как всегда, скромненько, незаметно прошел в свой уголок. Первый раз я видел, чтобы человек мог стать сразу совсем другим.

В этот день был мой праздник, и я сидел за большим столом среди взрослых на двух подушках, положенных на стул. Было мое рождение: мне исполнилось шесть лет. Этот день решено было по уговору с крестной отпраздновать у нее.

Крестная прислала за нами свою карету. Карета была большая, старая, с потускневшим лаком; лошади вороные, огромные, костлявые, настоящие «каретные», еще красивые, несмотря на очевидно плохой уход и преклонный возраст. Настоящая московская запряжка.

Я ехал как в лихорадке. У крестной для меня припасен был подарок — лошадь, первая моя большая лошадь в настоящей телячьей шкуре, с уздечкой, седлом и стремянами. Я с нее не слезал, конечно, весь день.

«Что это она плохо тебя слушается, плохо везет»,— сказала крестная, когда я после обеда опять взгромоздился на нее. «А вот если мне дадут еще этого беленького, что давали за обедом, так она повезет меня галопом». Пришлось принести мне еще блюдо бланманже — «за остроумие», как сказала крестная.

Через несколько лет, кажется, в один из наших приездов в Москву уже из Чернигова, мы всей семьей, то есть папа с мамой и я с сестрой, были у Марии Харлампиевны на блинах. В ее доме были большие перемены: Петр Федорович умер, а Иван Федорович женился. Не знаю, было ли это ударом для Марии Харлампиевны, которая к тому времени была уже совсем старухой. Но чувствовалось, что атмосфера в доме была сильно напряженной.

Молодая жена Ивана Федоровича — дочь пономаря с Рогожского кладбища — была очень красивой женщиной, длиннолицая и горбоносая, в пенсне. (По моде того времени редкая женщина не носила пенсне. У Чехова в рассказах все модницы в пенсне. Думаю, что большинство этих девиц и дам носило пенсне, не имея в нем нужды — вероятно, с простыми стеклами.)

Она сразу стала во враждебное отношение со всем домом. Написал «со всем домом», а ведь весь-то дом — это одна Мария Харлампиевна: вот каким большим человеком у себя дома она была. Она же первая и встретила ту в штыки.

Я уже застал такую фазу жизни в этом доме, когда «молодые» (молодою была только жена Ивана Федоровича, самому ему было уже около пятидесяти), окончательно отделившись от хозяйства Марии Харлампиевны, уединились наверху, в мезонине. Из этой фазы дом крестной уже не выходил, а расхождение становилось все глубже и глубже.

Однако на этих блинах Иван Федорович был — правда, в единственном числе,— и пил водку с моим отцом, и шутил по-обычному, по-старому.

Хочется мне расписать здесь, как ели тогда в Москве блины, так как дом моей крестной был в этом отношении образцовым: следовало бы сохранить его «кулинарным музеем» конца XIX века, если бы такой музей вообще был возможен.

Прежде всего растопленное масло и сметана в изобилии. Затем селедки несколько сортов (кроме маринованных, конечно), паюсная и зернистая икра, балыки, лососина, сардины (оказывается, они удивительно идут к блинам). И для крестной особенно мелко крошенные соленые рыжики или грузди, к которым, впрочем, и остальным прикладываться не возбранялось. Конечно, водки разных сортов домашней настойки и мозельвейн — традиционное вино к блинам. Блины подавались в салфетках, под крышками и всякий раз с таким расчетом, чтобы каждому было по блину, много по два, не больше: всегда чтоб были горячие.

Между этими переменами мы, дети, бегали вокруг стола для мотиона — чтобы блины поплотнее улеглись в животе и побольше их можно было съесть. Счет съеденным блинам мы вели, откладывая около своих приборов спички. А потом считали их, споря и уличая друг друга в «мошенничестве». Кто больше всех съел, тот блинный герой!

Разумеется, так бывало только дома. В гостях мы сидели за столом чинно, изо всех сил стараясь не преступить маминого завета — есть аккуратно и без жадности.

Когда все за столом немного «притомлялись», начинали есть поспокойнее, а глаза у всех становились масляными, по распоряжению

хозяйки начинали подавать блины с «припеком». А припек был разный: крутые яйца, нарезанные тонкими ломтиками, колбаса вареная, ветчина, сметки, осетрина и самый замечательный, душистый, аппетитный припек — курчавый лук, густо насыпанный на блин. Потом, на загладку, подавались опять чистые блины, без всего. На этом едение блинов кончалось, но не кончался обед: он как раз только начинался, потому что блины блинами, а обед обедом. Подавался бульон или — чаще — уха, затем какая-нибудь хорошая рыба, потом по порядку жаркое — обыкновеннее всего дичь — и наконец сладкое — обычно мороженое.

Наши гости

Среди знакомых, к нам наезжавших очень редко, был один папин знакомый — Миткевич-Далецкий.

Это была вовсе эпизодическая фигура в нашей московской жизни, да и в российской жизни вообще; появился он как чужой, этот промежуточный тип, и исчез как-то незаметно с людьми своего поколения, не имея подобия в прошлом и не повторяясь в будущем.

Представьте себе пожилого, но вовсе еще не старого человека высокого роста, статного, хоть и со значительным брюшком, барственного во всех своих еще свободных и даже почти гибких движениях и повадках, с седой бородой, расчесанной надвое, с длинными бакенбардами. Он жил где-то в провинции, в каком-то из своих имений (а у него их было несколько), где его отец и дед, крепко приросшие к земле, когда-то жили безвыездно (не считая поездок в «губернию» на выборы или ярмарки). Ю вот все их хозяйство — отцов и дедов, — утвержденное на крепостном складе, обычае и приемах, с отменой крепостного права потеряв эту почву, начинает не то что совсем разваливаться, но сильно хромать. Уже нет ни тех доходов, ни того спокойствия и уверенности в завтрашнем дне, которые давались ровным ходом машины, не нами пущенной в ход, и казалось, не нам ее тормозить и останавливать. А вышло так, что машина эта вот-вот станет. И чтобы она опять покатилаь ровно, надо поставить ее на новые рельсы. А новые рельсы — это прежде всего наемный труд. Затем всякие новшества в технике сельского хозяйства, разные там английские машины, многополье, и проч., и проч., направленные на повышение производительности труда этих самых наемных рабочих, которых желательно иметь поменьше. Словом, целая «политическая экономия», с которой и мне на этих безответственных страницах не справиться, а где уж таким барам, как Миткевич-Далецкий, совладать с нею в натуре! Не то что они сразу оробели, эти господа. Просто они веками были подготовлены к жизни спокойной (если к такой жизни вообще надо как-нибудь готовиться!), ждали от нее одних утех, а думать и трудиться — дело не барское; в городе для того пошел к тому времени разночинец, в деревне же ничего еще не пошло и не народилось. А прикладывать самому к делу свои далеко не мозолистые руки не всякий хотел, еще меньше кто мог. Вот Миткевич-Далецкий, с шиком носивший в деревне и в уезде русскую поддевку английского сукна и русские сапоги гамбургской кожи, меняет этот костюм на серый редингот, длинные панталоны, гетры, на серый котелок и отправляется в вояж. Первый его визит — в Дворянский банк, который к его услугам предлагает средства на дальнейшее путешествие. А потом за границу — лечиться от какой-то там вдруг оказавшейся некогда ранее не мешавшей тихому течению жизни болезни или с откровенной целью — пожуировать. Кстати, железных дорог понастроили, путешествие стало одним удовольствием.

Это, конечно, бегство от действительности, но вовсе не бегство труса с поля битвы. Миткевич-Далецкий вовсе не побежденный: он сознательно и с верным расчетом отказался от борьбы. А расчет такой: заложил землю в банке — деньги, продал лес — еще деньги. Конечно, земли становится поменьше, доходы падают, поместья закладом обесцениваются, но на его век хватит. Можно еще пожить — и как пожить! Как ни отцы, ни деды не жили.

По пути за границу и обратно Миткевич-Далецкий всегда проводил денька два-три в Москве. Бывал и у нас. Тем более что дела по закладу или перезакладу его земель велись в банке, где служил отец. Остальное время он делил между «Омоном» и «Яром». Кто такие эти господа Омон и Яр — я узнал, конечно, значительно позже.

Как сейчас помню его статную фигуру в сером жакете, а по вечерам — в черном сюртуке, но всегда с маленькой, желтой кожи сумкой на тонком ремне через плечо — неизменной принадлежностью всех путешественников того времени. Сумка несколько похожа была на те, в которых недавно носили бинокли, а теперь — фотоаппараты «лейка» или «контакс». Он ее никогда не открывал, сигары и носовые платки вынимал из карманов, а мне как раз было крайне любопытно, что там, в этой сумке, могло находиться.

Раз-таки эта сумка открылась: он вынул оттуда несколько штук разноцветных яичек (была пасха). Яички оказались «конфетными». Разгрызть их было невозможно — такие они были твердые, а когда мы их, едва помещавшихся в наших ртах, стали обсасывать, то они из голубых, серебряных и красных сначала стали белыми, а потом за белым слоем оказался шоколад.

Кроме этих яичек, в сумочке ничего не было — это я хорошо разглядел. Не носил же он ее совсем пустую, когда в ней для нас ничего не лежало?

Рядом с этим пышным барином мне приходят на память мать и дочь — тоже помещицы и тоже приезжавшие в Москву крайне редко.

Эти двое решили для себя «земельный вопрос» по-иному: они сели на землю сами, сами собственными руками стали пахать и сеять. Насколько я сейчас соображаю, это совершилось не без Толстого: меньше маменьки и дочки было в Чернском уезде, Тульской губернии. С другой стороны — земли у них было мало, кот заплакал: пенок с нее (особенно чужими руками) не снимешь, леса и никаких других угодий не продашь на потребу рассеянной жизни. Значит, или сам паши, или вовсе бросай и помирай с голоду. С голоду помирать они не согласились и взялись за землю сами, но и от собственных трудов без наемной силы жили, по всему было видно, не пышно.

Мать была довольно грузная старуха в темных очках. Старуха как старуха — ничего особенного. Последний раз она приезжала в Москву «снимать катаракт». Потому она мне и запомнилась, что с ее глазами должны были произвести какую-то таинственную операцию, сущность которой меня сильно интересовала, но, как я ни приставал, никто из взрослых не мог мне о ней ничего рассказать толком. Тем она была таинственной, и через нее старуха становилась особенным человеком, не как все.

Пока она лежала в больнице, ее дочь жила у нас и была предметом моего живейшего любопытства: ее уж никак нельзя было назвать человеком, как все. Сразу было видно, что она особенная! Грубоватая по виду и манерам, с загорелым, обветренным лицом и грубыми, рабочими руками — она казалась сделанной из совсем другого теста, чем другие

мамины знакомые дамы. В Москве ее, по-видимому, ничто не интересовало, даже церкви и монастыри. Почти все время она просидела одна за книжкой, как будто отдыхая от каких-то больших трудов, ни с кем не вступая в беседу сама, а только когда с ней заговорят.

Калерия Петровна

А жизнь в нашей детской текла все так же. По утрам мы, как всегда, вытаскивали из-под кровати ящик с игрушками и опрокидывали его среди ковра. Теперь только наши игры часто прерывались новым занятием — чтением.

Я стал понемногу читать с пяти лет. Мама не считала, что мне в этом возрасте уже пора овладевать грамотой, и потому гнала меня к игрушкам, когда я приставал к ней, что это за буква и как прочесть какое-нибудь слово в книжке или на обрывке газеты.

Из старых газет мы с сестрой шили себе разные наряды; только дело до конца никогда не доходило, по крайней мере у сестры. Она старательно сшивала листы вместо настоящей иголки спичкой, к которой привязана нитка, а потом так же старательно выдергивала эту нитку из шва. И очень удивлялась, даже сердилась, что куски газет распадались, не держались вместе. Когда я попытался убедить ее, что как может быть иначе, раз она нитку выдернет, она говорила, что мама всегда так делает, и как-то показала мне на маму, которая в самом деле в это время выдергивала из шва нитку: это была наметка. Такое «шей да пори» и меня повергло в величайшее недоумение. Факт оставался фактом: мама в самом деле порола то, что шила!

Вместе с тем мои рубашки и Сонины платица, вышедшие из маминых рук, держались крепко, не разваливались на кусочки, а наши газетные листы были растерзаны в клочья, и сестра плакала от огорчения.

На этих клоках газет попадались крупные буквы, которые становились в ряд как-то так, что из них выходили слова. Это был секрет! И этим секретом я хотел овладеть. А мама отказывала мне в помощи, когда я за этим к ней лез. Тогда я пустился на хитрости, перенес свои занятия на улицу, стал учиться читать по вывескам, обращаясь за помощью к тетке, с которой мы ежедневно гуляли. Так понемножку я и овладел грамотой и очень удивил маму, когда как-то довольно гладко прочел ей несколько строк в своей книжке с картинками.

К чтению скоро пристрастилась и сестра. Сама-то она, правда, не читала, но ей так нравились сказки, что она заставляла меня читать и читать их без конца — до хрипоты в горле, до ряби в глазах. Эта-то ее «жестокость» и подвинула меня в чтении настолько, что по шестому году я читал уже совсем свободно, и на радость взрослым с этих пор у нас в детской появилось для детей тихое занятие.

И вот в эту нашу спокойную детскую жизнь врывается иногда буря! Как настоящая буря — всегда неожиданно, в самые тихие минуты.

Звонок в прихожей. Мама опускает на колени работу и прислушивается: кого бог дал? Мы тоже вытягиваем шею.

В передней слышен громкий, не привыкший себя стеснять и приспособившийся к чужим ушам и комнатам, какой-то слегка растянутый голос. Мама встает и идет в переднюю, а мы с сестрой, если бы это не было совершенно неприлично, охотно залезли бы под кровать — в самую темную глубину, в уголок. Калерия Петровна была мамина подруга по институту, самая с первых классов близкая, а теперь, кажется, единственная оставшаяся в Москве. Мы не считали ее гостьей, потому что она

редко бывала по вечерам, когда ходят в гости, а всегда появлялась среди дня — иногда утром, иногда перед обедом, всегда исчезая, как только подходил наш обеденный час. Весь ее распорядок дня, как и весь уклад ее жизни, был совсем не похож на наш, да и ни на чей из наших других знакомых.

Принимала ее мама не в гостиной: без всяких церемоний Калерия Петровна шла прямо к нам в детскую, где мама обычно сидела за работой, и придвигала к ее рабочему столу свой стул. Пока они беседовали, Калерия Петровна и мама — первая всегда в повышенном тоне, так что нам казалось, что она все сердится, а мама тихим голосом вставляла редкие реплики, — мы притихали, зная, что и до нас скоро дойдет черед. И наш черед скоро наступал. Мама выходила в столовую или кухню, вызванная теткой на военный совет: для гости надо было что-нибудь прибавить к завтраку. «Ну, а вы как и чем живете, малыши?» С этого предисловия и начинались наши страдания: малыши начинали дрожать, а когда мама возвращалась, сестра уже тихонько плакала горькими слезами, стараясь их скрыть, чтобы не было хуже, да и я был готов к тому же.

Калерия Петровна заставляла меня, например, за рисованием. «Да ты совсем неправильно рисуешь!» Вот тебе раз: неправильно! Я рисовал для своего удовольствия, у меня всегда выходило все, что мне надо и как я хотел. Я и не подозревал, что можно еще как-то там «правильно» рисовать.

«Вот ты рисуешь собаку. Здесь, в твоей книжке, тоже нарисована собака. Посмотри: вокруг головы можно обвести кружочек — значит, с кружка и надо начинать! Нарисуй сначала кружок, а в него врисовывай голову собаки, чтобы из кружка не торчали ни уши, ни нос». Я не понимал, зачем для «правильного» рисования надо, чтобы у бедной собаки из этого заколдованного круга не торчали уши? Да и что это за «правильное» рисование, когда я на самом деле не видел никаких кружков около живых собачьих голов? Такая отвлеченность была не по мне, и я выказывал мало свойственное мне в другое время упрямство, отказываясь воспринимать такие нечестные приемы рисования.

Все кончалось настоящей ссорой. «Оставь его, Калерия! Пусть рисует пока, как хочет», — говорила мама. «Вот именно, как хочет! Они у тебя вообще растут, как хотят. Всякий труд труден и требует дисциплины. Рисование тоже. Он уже не маленький, твой упрямец. Пора ему привыкать к труду и знать, что в жизни не все игрушки!»

Выйдя из сиротского института, Калерия Петровна попала в купеческий дом в гувернантки. Что это был купеческий дом, я думаю потому, что «самого» звали Полиевкт Тихонович. Довольно скоро трудовая жизнь Калерии Петровны в этом доме кончилась, и кончилась, может быть, со скандалом — этого я не знаю точно, — но для нее довольно благополучно: Полиевкт Тихонович стал отныне на многие годы ее покровителем.

Тит Титыч — Полиевкт Тихонович (вовсе непохожий на купца, кстати, — я видел его фотографии у Калерии Петровны) — роскошно, по моим по крайней мере понятиям, обставил ей большую квартиру у Красных ворот, где она и «зажила припеваючи», как говорится в сказках, но довольно замкнуто, насколько я мог тогда судить. Да и не могло быть иначе: с такими дамами мало кто охотно сближается. А покровители их не любят, когда они ведут рассеянный образ жизни.

Калерия Петровна выезжала из дому только за покупками да к портникам (в такие выезды она и к нам заглядывала) — она была великой модницей. Но хоть и одевалась у самых дорогих портных, не выгля-

дела ни красивой, ни изящной, а только пышно богатой. Если нам с сестрой доставалось за «неправильное» рисование, за незнание молитв или бестолковое и бесполезное чтение (она осуждала сказки), то маме доставалось за туалеты. Мама слушает ее, бывало, слушает и наконец, когда Калерия Петровна предложит ей свою портниху, скажет: «Ты забываешь, Калерия, что то, что ты себе можешь позволить, я не могу. Ты знаешь, как ограничены мои средства». Калерия Петровна даже подпрыгивала на своем стуле. «Не говори мне этого, никогда не говори! Ты просто не хочешь быть изящной, не хочешь нравиться — у тебя нет такой потребности. Это ужасно! Все твои туалеты давно вышли из моды, давно стали тряпками. Наконец это жадность, только жадность перешивать все время из старья, жалея какие-нибудь гроши на новое платье. При твоём хозяйстве, когда большая семья и траты все равно большие, всегда можно сэкономить. Ты не захочешь меня слушать, а то я научила бы тебя одеваться хорошо и экономно. Вот взгляни хоть на это мое платье! Правда, материю мне привез Полиевкт. Но ты же знаешь, что теперь на материал тратишь меньше всего. Главное отделка. И вот посмотри: за этот кусок гипюра, что у меня на юбке, я заплатила всего сорок пять рублей. Конечно, по случаю! В магазине за такой спросят рублей восемьдесят! А бархат, который так удачно пришелся в тон всему платью, я привезла последний раз из-за границы и тоже заплатила за него какие-то гроши — не помню уж сколько франков. Пришлось только купить ленты. Но ленты пустяки, их гут не так много. Вот за что пришлось заплатить в самом деле дорого, это за кружева. Но что поделаешь! Наконец от них можно отказаться. В целом, видишь, совсем без больших трат вышло нарядное платье, мне в нем никуда не совестно показаться! Так что все эти твои отговорки — это только упрямство, и больше ничего».

Упрямство! Бедная мама! У нее никогда, вероятно, не было платья, которое стоило хоть приблизительно столько, сколько Калерия Петровна заплатила за этот дешевый кусок гипюра! Думаю, что как раз эту сумму она тратила на хозяйство в месяц на всю нашу семью! Я потом слышал, что день ей обходился в среднем полтора рубля. Понятно потому, что мама отвечала молчанием на все тирады Калерии, а когда доходило до «экономии», то стремилась переменить разговор, чем лишний раз доказывала свое «упрямство» во всех туалетных вопросах.

Я хорошо помню туалеты Калерии Петровны. Потому, может быть, что только на ней и видел действительно шегольские и богатые наряды — этим она выделялась среди всех маминых приятельниц.

Занятные были моды девяностых годов прошлого века! Калерия Петровна была права, говоря, что главное в платьях того времени была отделка. Все эти вставки шелка и бархата накладывались самым причудливым образом, прикрывались сверху лентами, обшивались по всем направлениям кружевами и опушками из лебяжьего пуха, и все казалось мало: буйная фантазия (или «каприз» — основа вкуса того времени) портнихи закидывала платье еще букетиками цветов, иногда живых — на один вечер. И не поймешь, как это все прилажено и надето? Как все это держится? Кажется, такое платье драпируется из кусков прямо на теле терпеливой модницы. Словом, кажется, ее, эту модную даму, одевают, как дешевых кукол, — «на клею».

Бывали мы у Калерии Петровны не так уж редко. Может быть, потому, что она жила совсем рядом. Она нас, по-видимому, жаловала, хоть и школила нестерпимо, когда бывала у нас, и часто звала нас к себе. Насколько мы боялись ее визитов к нам, настолько сами любили у нее бывать.

Для нас в ее квартире было много интересного — целый музей. Она была завалена всякими сувенирами, вывезенными из далеких стран: тут были и мозаичные картинки, и какие-то диковинные стеклянные сосуды из Венеции, тирольские и итальянские виды, нарисованные то на срезах дерева, то на больших камнях, то внутри раковин, масса фотографий замечательных мест, домов и знаменитых людей, иностранные монеты, какие-то странные чепцы, которые носят где-то в Швейцарии или Бретани женщины, ножи дикарей, засушенные пальмовые ветки и даже настоящее яйцо страуса, которое красовалось на камне и всякий раз прежде всего привлекало наше внимание.

Обо всех этих вещах Калерия Петровна могла нам порассказать подробно: откуда что она привезла, как что растет или для чего сделано и какие там люди, в этих странах. Интересно было ее слушать: знала она много, видела еще больше.

Еще больше огромного яйца страуса нас занимали мелкие разноцветные камешки, собранные Калерией Петровной на берегу Средиземного моря. Всякий раз из путешествия она привозила их еще и еще, так что их накопилось много — целые коробки, где они так и хранились, разобранные по годам и местам «сбора». Нам не разрешалось их смешивать, играя.

Но самое замечательное были большие раковины, в которых сохранился шум моря! Они лежали и на камине, и на маленьких столиках везде в гостиной, и в будуаре — и все шумели морским прибоем. Стоит только приложить какую-нибудь из них к уху, и слышишь, как набегают на берег, рассыпаются по камням и шипят, пенясь, волны! Я так и представлял себе, что в этих раковинах запечатлелась вся их жизнь на дне моря, как запись в фонографе (которого, кстати, тогда еще не было). Лежит такая раковина в гостиной на камине и повторяет все, что слышала, пока лежала на пустынном морском берегу. Я ухитрялся даже услышать в ней среди морского шума вой ветра и даже крики чаек!

И мне захотелось напасть на такую раковину, которая уже отшумела, «отвспоминала» все, что слышала у моря, пока ее не нашли люди, и теперь начала воспроизводить уже людские разговоры и все то, что могла услышать, когда ее взяли и принесли домой. Вот было бы интересно! Целая история: как раковина переходила из рук в руки, от владельца к владельцу, как ее наконец привезли в Россию, как она оказалась вот тут, на камине, и, рассказывая свои старые истории, запоминает и все, что слышит сейчас и что расскажет потом через много лет. Тогда, может быть, Калерия Петровна, уже старушка, услышит вновь свои давние разговоры в гостиной, узнает и то, что не говорилось при ней. Словом, новая андерсеновская сказка.

Обычно, выходя из дому на прогулку с теткой, мы направлялись к Петровскому бульвару. И я и сестра любили этот путь: по дороге было много развлечений.

Прежде всего казармы. Мы останавливались перед решеткой, отделявшей их обширный двор от улицы, и могли так простоять часами. Во дворе шло ученье солдат. Они то ходили строем, то бегали, то смешно топтались на месте. А то прыгали через тонкие перекладки или толстые, обитые кожей бревна. Тетке, которая мерзла и скучала или пеклась на солнце и скучала, приходилось уводить нас от казарменного двора силой.

Другая остановка была у огромной витрины экипажного магазина в Каретном ряду. В широком окне, за огромным цельным стеклом, справа и слева стояли две настоящие, только неживые, лошади. Одна серая в яблоках, запряженная в легкий шарaban, а другая — рыжая, под сед-

лом. Они обе делали вид, что шагают, высоко поднимая одну переднюю ногу. Когда мне случалось рисовать лошадей, а это бывало всякий раз, как я брался за карандаш, так как, кроме лошадей и сражений, я ничего не рисовал (как раз то, что сейчас рисую неохотно и неумело), я всегда рисовал их именно так — с поднятой и согнутой наподобие меандра ногой. Между этими двумя конями помещались седла, всякая нарядная сбруя, стояли длинные бичи, а в глубине, теряясь во мраке огромного манежа, поблескивали лаком и металлическими частями нарядные кареты и коляски. От этого окна нас с сестрой также приходилось оттаскивать насильно.

Где-то в тех местах, кажется, стояла церковь Спаса на Песках, или попросту — Спас-Пески, уже утратившие свой первоначальный смысл, ставшие из названия церкви каким-то беспредметным сочетанием слов.

Иногда, избегая, по-видимому, скучных остановок у казармы и перед витриной экипажного магазина, тетка избирала другое направление для прогулки, и мы оказывались на Чистых прудах. Оттуда наш путь лежал мимо Красных ворот. Тогда нам иногда удавалось уговорить тетку зайти хоть на минутку к Калерии Петровне, не раздеваться даже (одевание и раздевание было сложной процедурой, которую дома мама с теткой проделывали в четыре руки), только взглянуть на яйцо страуса.

Как-то раз, когда нам удалось склонить тетку на такой визит, мы, войдя в переднюю, за спиной горничной увидели еще новое лицо. Это была девочка лет семи, в хорошеньком платьице, в длинных белых чулках и туфельках с помпонами. Она была очень нарядна, но что-то в ней все-таки было не так. Скоро я разглядел, в чем дело. «Не так» было то, что у нее не было ни косичек, ни локонов, как у всех девочек: она была острижена под гребенку и ее круглая головка на тонкой шейке смешно-пресмешно торчала из кружевного воротничка.

«Познакомьтесь с моей Васей. Полюбите ее так, как я ее люблю!» — сказала Калерия Петровна, здороваясь с нами.

Потом, за обедом (наш визит затянулся, и мы-таки остались обедать), она нам все рассказала. Девочку Василису она взяла прямо из деревни, от самых-самых бедных крестьян, чуть не из курной избы, где, кроме Васи, осталась еще куча ребятишек. Из этой кучи Калерия Петровна и выбрала девочку получше, как мы поняли. Все эти ребятишки ходили всегда босиком, спали вповалку на полу на какой-то ветоши, ели один черный хлеб, да и того не вдоволь. А теперь у Васи была чистенькая кроватка — вся в кружевах и прошивках, нам и ее показали. И ела она не один черный хлеб, а бульон с пирожками, куриную котлетку со всяким разным гарниром и вафли со взбитыми сливками на сладкое. Да, для нее началась сладкая жизнь! А голову-то ей все-таки пришлось остричь наголо, чтобы она не развела в своей нарядной кроватке столько же насекомых, сколько их было в избе, пояснила Калерия Петровна, содрогаясь от одного воспоминания об этой избе. При девочке была пожилая, приятная по виду женщина, ее бонна, которая со слащавой ласковостью поучала ее хорошим манерам, стоя за ее стулом. Да, все как в сказке: добрая волшебница взяла счастливую девочку и из хлева перенесла ее в заколдованный замок!

Только колдовство-то ее, этой волшебницы, оказалось непрочным, недолговечным. Довольно скоро, через месяц или два, я услышал у нас в детской такой разговор:

Мама (за работой). Но ведь ты же не только для своей забавы брала ее из деревни? Подумай, каково ей теперь там в прежних условиях, от которых она уже стала отвыкать?

Калерия Петровна *(на стуле, придвинутом к маминому рабочему столику)*. Ах, Вераша, ты не понимаешь! Ты видишь только одну сторону и совсем-совсем не подумаешь обо мне! Как я могла это терпеть? Каждую ночь одно и то же, каждое утро она просыпается в мокрых простынях. Невозможно было ее от этого отучить!

Мама. Может быть, она была нездорова? Может быть, ее надо было бы показать доктору?

Калерия Петровна. Ну, при чем здесь нездоровье и доктор? Просто дурные деревенские привычки. Они там все такие!

Мама. Но ты представляешь себе, что она там терпит сейчас от всех кругом? Ведь ее задражают, забывают до полусмерти! Родители ее, вне всякого сомнения, уже строили на ее судьбе свое благополучие. Да ты, вероятно, кое-что им уже и посулила, чего-нибудь наобещала?

Калерия Петровна. Мало ли что! Я могла обещать, пока девочка мне нравилась. Да и не обещала я им ничего особенного, и нет мне никакого дела до ее родителей, если хочешь знать! А девочка сама перело мной виновата: я уже стала привыкать к ней, мне нелегко было отпирать ее обратно в деревню, и, если бы не те обстоятельства и разные другие мелочи, я бы с ней не рассталась. Но разве они чувствуют? Разве у этих людей есть какие-нибудь чувства? Девчонка просто неблагодарная тварь, как и ее родители!

Мама оставляет всю эту тираду без ответа и, помолчав, переводит разговор на другие темы.

Последние слова я пишу опять на новом месте: мы с женой уже две недели живем в собственной квартире на Моховой, наискосок от того дома, где жил когда-то Гончаров. Место хорошее, улица тихая, квартира недурная, просторная, солнечная. Как бы мы ей порадовались в другое время! Но все, о чем мечтаешь, приходит или не тогда, когда надо, или не в том виде, как хочется. Так уж, видно, нарочно устроено, чтобы человек не очень загордился. А почему ему гордиться не полагается, не могу понять.

Брать бедных детей на воспитание, очевидно, было в то время поветрием. Это была, несомненно, своеобразная форма хождения в народ, созданная нарочито для богатых людей. Чем самому, отказавшись от удобной жизни, трепаться по каким-то там деревенским весям, пытаться что-то сделать для народа среди него же, в его же условиях, и утешать свою совесть тем, что хоть ничего такого большого сделать нет возможности, так хоть сам живешь так же по-свински, как мужик, — не лучше ли выхватить из этого свинства маленький кусочек деревни в виде вшивого малыша и поставить в свои хорошие (иногда даже слишком, до испуга этому самому маленькому дикарю, хорошие) условия. Как будто что-то для народа сделано и даже сразу видно что. И расплата тут же наличными: благодарность можно требовать сейчас же! А богатый человек, особенно тот, который сам туг на расплату, очень любит, чтоб с ним считывались сейчас же.

И опять мне вспоминается моя крестная мать, которая тоже благодетельствовала мелкому люду и даже в той же форме и хоть накладывала свою тяжелую руку, как я рассказывал уже, на судьбу такого человека, но создавала эту судьбу толково и реально, считаясь со способностями своего питомца и со средой, из которой он взят. И всегда до конца не спихивала его с глаз своих чуть что не по ней. Я помню одну такую ее воспитанницу, жившую у нее с самых малых лет. Я-то ее видел уже замужем за кидитером, который на приданое, данное за Грушей (так ее

звали) моей крестной, оборудовал маленькую кондитерскую, где сам был и хозяином, и единственным работником и куда мы с сестрой любили заглядывать, посмотреть, как делаются конфеты. А это очень интересно!

Как-то раз мы были в гостях у Марьи Васильевны, папиной тетки. Зачем нас потащили с собой родители, не понимаю. Скука была смертная! Сидеть чинно на кресле в гостиной, следить с мучительной настроенностью за своими манерами, слушать скучные-прескучные разговоры взрослых — разговоры, какие только взрослые могут «разговаривать», в которых половина говорится понарошку¹, а другая половина никому (нам, детям, во всяком случае) неинтересна, — какая зеленая тоска! У Марьи Васильевны был сын, только значительно старше меня: мне едва исполнилось семь лет, а он был уже гимназист-первоклассник. Два-три года, которые нас разделяли, были в том нашем возрасте непроходимой пропастью. Он к нам не выходил, сидел у себя в комнате (подумать только: у него была своя, отдельная комната!) и учил уроки. К обеду появился вместе с остроглазым мальчиком (гимназистом) такого же возраста — приземистым, черноватым, с квадратной, коротко остриженной головой. Они сели рядом, потихоньку продолжая какой-то таинственный разговор, весь в полунамеках. Несомненно, речь шла об индейцах, за это я теперь могу поручиться, хоть и не могу помнить этого разговора: тогда, за столом, как ни напрягал я свой слух, ничего не расслышал толком, а что и услышал, не понял вовсе.

Из разговора старших после обеда в гостиной, когда мальчики ушли, я уловил, что этот чернявый мальчик был сын лакея Марьи Васильевны — того самого, который прислуживал за столом. И мне вспомнилось, как долго копался в блюде этот лакейский сын, когда до него дошла очередь и его отец поднес ему блюдо, склонившись в почтительной позе, как полагается по чину служения за столом, от чего он отступить не мог без видимого — по крайней мере хозяйке — тихого скандала. Было ли это просто бездумное озорство или намеренное, à la Достоевский, унижение папашы, не знаю. Но думаю, что потом этому чернявому досталось таки на орехи в полутемной (несомненно!) лакейской конуре!

И здесь у Марьи Васильевны, как и у Калерии Петровны, эта народническая идиллия тянулась недолго. Папаша-лакей стал, по рассказам Марьи Васильевны, напиваться свыше меры, грубить, отлынивать от работы — словом, посчитал, что ему много позволено ради сына-гимназиста. Пришлось с ним расстаться, а с ним вместе отправился куда-то в безвестность и его сын.

Начало июля 1942 года. Сейчас узнал о смерти сестры, той самой своей сестры Сони, которая вспоминается здесь пятилетним карапузом «без профиля»: щеки совсем закрывали ее носик-пуговку, если на тогдашнюю ее пухлую мордочку посмотреть сбоку.

Толстенкий пятилетний карапуз и пятидесятипятилетняя женщина с изможденным, носатым, потемневшим лицом, которая в середине февраля приходила ко мне на Петроградскую сторону рассказать о своей семейной драме, а 28-го уже умерла от истощения!

Как тяжело кончилась ее жизнь!

Как раз в эти дни у меня открылась варикозная рана на ноге и меня взяли в стационар, облучали ногу кварцем.

Все зимние месяцы дочь и зять лежали больные. На нас с женой легла вся тяжесть заботы о них и о себе. С великим трудом мы их выхо-

¹ Понарошку и мы, дети, часто разговариваем друг с другом или с пустышками, так ведь это игра! А тут всерьез беседуют понарошку.

дили. Весной только они встали, шатаясь, на ноги. Не хочу ли я, помяная все эти невзгоды, оправдать свое равнодушие к судьбе сестры?

Нет, это была бы пустая попытка: совесть моя не чиста и не спокойно я вспоминаю смерть сестры.

А почему так поздно я узнал о ее смерти — только в июле, а ее не стало в последний день февраля? Я знал, давно был уверен, что ее уже нет, но страшно было подняться по лестнице в ее квартиру, чтобы это услышать. Я бывал даже близко и, выходя из дверей, долго смотрел в сторону ее улицы, но поворачивал в другую сторону.

Однако то, что я пишу, не дневник, которому поверяются чувства, воспоминаниям нет дела до нечистой совести. Потому все это здесь неуместно по тону и не к месту по времени.

Игры. Игрушки. Реализм

Все, что сильно поражает воображение дикаря, становится предметом его религиозных действий и мистических игр. Дети — те же дикари. Темами их игр так же становится то, что сильно задерживает на себе их внимание. И как степняк, плетясь по дороге на своей белой кобылке, поет о том, что проходит перед его глазами, так и дети инсценируют в своих играх то, что сбывается вокруг них в домашней жизни.

Все дети всегда играют в «пустышки». И не только за неимением игрушек под рукой. Игрушка и есть игрушка — она неподвижна, ограничена. Дети, впрочем, эту ограниченность игрушки умеют преодолеть, для этого только приходится сломать ее, эту игрушку.

Мне как-то подарили охотника — стрелка верхом на коне, который ездил вокруг подставки и сбивал своим торчащим кверху ружьем птицу, висящую на крючке над его головой. Ему это удавалось не сразу, так как птицу надо было раскачать этими толчками, а раз на четвертый-пятый она валилась к ногам лошади. И все! Прежде всего настоящий охотник сваливает свою дичь не концом ствола, а выстрелом. Чувство реального меня никогда не оставляло, как и всякого ребенка, который требует, чтобы и в его играх все совершалось «по-взаправдашнему». Это «взаправдашнее» или «всамделишное» ничуть не мешает постоянному детскому фантазированию, наоборот, поддерживает детское фантазерство, подводя под него, как говорится по-газетному, реальную базу, облекая в живую, во всяком случае осязаемую плоть. Потому я возненавидел эту дорогую игрушку, к удивлению взрослых, которые что-то уж слишком скоро позабывали свое детское ощущение реальности. Эта игрушка стала меня забавлять, только когда сломалась и отскочившего от своей подставки и получившего наконец свободу стрелка можно было оставить в реальной обстановке и — что важнее всего — изменять эту обстановку по своему желанию. Дурацкая птица потерялась, стрелок окружился пустышками и зажил в нашей знаменитой куче полной и разнообразной жизнью.

Моей дочери было два с половиной года. Мы жили на даче около станции Лыкошино. Уже подошла осень, закончились сборы для возвращения в город, отъехала подвода с вещами на вокзал. Дочь взяла меня за руку и повела за дом, к провалившемуся, заросшему крапивой крыльцу парадного хода, по которому никто не ходил, она сказала, что хочет попрощаться с подругами. Какими подругами? Оказалось, что на этом крыльце все лето жили две девочки-пустышки — Катя и Маня, с которыми дочь играла за неимением живых подруг. Может быть, впрочем, дело обстояло и не совсем так. Может быть, эти девочки-

пустышки были тут же, сейчас, изобретены, чтобы было с кем попроситься, когда взрослые прощаются с соседями. Все равно пустышка, которая всегда выручает, остается милой пустышкой. Ее сила и прелесть в том, что она всегда под руками, всегда послушно следует всем поворотам детской фантазии и в любой момент может быть выкинута и забыта, не оставляя в душе никаких угрызений.

У нас с сестрой был огромный постоянный «набор» пустышек, которые были куда реальнее этого дурака охотника. Они, как наши человечки-лилипуты, имели взаправдашние качества и потому жили настоящей жизнью.

У Сони был прекрасный маленький самоварчик, совсем-совсем как настоящий — с конфоркой и краном. Но кран не поворачивался, самоварчик не открывался, в него нельзя было налить воду — и потому он не был для нас самоваром. Пусть он был бы не так похож на сделанный, но в него можно было бы налить и, повернув кран, выпустить воду — и он был бы нами признан!

Я сам делал себе игрушки, вырезая и складывая их из картона. Это были пистолеты, у которых двигался курок, так что из моего пистолета можно было «выстрелить», отведя назад спуск; лошадки, которые опускали и подымали головы, передвигали ноги; тележки, у которых вертелись колеса и в которые можно было впрячь моих лошадок при помощи «настоящей» сбруи из картонных полосок и бечевочек от аптекарских упаковок. Словом, все двигалось и действовало, как всамделишное, потому и признавалось, хоть по виду и далеко было от полного подражания натуре. Я даже никак не красил свои пистолеты, пушки, лошадей и санки, оставляя их белым картоном и считая, что все достигнуто уже тем, что они действуют, как настоящие, и натуральный цвет и вид им ничего не прибавит.

Вот вам и отличие реализма от натурализма. Натурализм — подделка, а реализм — подлинная вещь, несущая в себе свое основное качество. Очень хорошо как-то выразила это моя жена, сказав, что картины наших натуралистов, корифеев современной живописи вроде Герасимова, напоминают ей раскрашенные гипсовые муляжи хлебов, овощей и фруктов, которые теперь принято выставлять в витринах магазинов. В самом деле, очень близкое внешнее подобие без всякого признака основных свойств предмета.

Поездка в Уфу

До сих пор я старался вспоминать связно, выстраивая все последовательно — хотя бы хронологически — и пряча концы ассоциаций. Я следовал какому-то (правда, несколько сомнительному) порядку, боясь отдалиться прихоти «условных рефлексов», которые от одного предмета вдруг толкали меня к другому, может быть, и далекому по времени, но почему-то лежащему в моей памяти рядом с первым. Я противился такому сближению разновременных и разнородных моментов. Противился так же, как и всем настроениям сейчас окружающего меня настоящего. Это-то как раз правильно: настоящее так значительно, так густо окрашено, что способно задавить и переломать весь строй воспоминаний. Когда же трудно было удержаться, я переключал листы моих воспоминаний страницами, на которые бросал несколько фраз о современности, всячески стараясь сделать их протокольнее и покороче.

А вот нити ассоциаций в рядах самих воспоминаний я напрасно рвал: естественней и проще им следовать, этим нитям, и нанизывать на

них факты и мысли, как бусы, не заботясь о цвете и даже величине этих бусин.

Я пишу, а мне давно уже все мерещатся уфимские степи. Густой-густой воздух, от которого все клонит ко сну; ветерок, пришедший изда-лека,— так и чувствуешь, что он дальний,— тихо вея, перебирает засох-шие травы, обнажая совсем выжженные солнцем полянки, по чернозему которых ходят вот тут, совсем недалеко, непуганные кроншнепы; он же, этот ветерок, приносит горячий запах кизяка из дальних ферм немецких колонистов.

Марсель Пруст в одном из своих романов, вернее в одной из частей своего бесконечного романа, построенного наподобие воспоминаний, рассказывает, как пирожное, обмакнутое в чай, воскресило в его памяти совсем было забытую тетушку, а с нею вместе и целую эпопею провинциальной жизни. В редкие дни, когда он, совсем еще мальчик, ее навещал, она угощала его чаем, к которому подавались маделены; и если бы ему не случилось, следуя старой детской привычке, обмакнуть такое пирожное в чай, он так и не вспомнил бы эту тетушку.

Если бы мне не случилось теперь, сидя перед временной плиткой, которая еще с восемнадцатого года получила название «буржуйки», подтапливать ее всяким хламом — альбомами для открыток, рамочками для фотографий, обломками старой мебели,— мне так ярко и настойчи-во не вспомнилась бы уфимская степь. Моя плитка изредка начинала дымить, и вот как-то — не знаю, что попало в мое топливо, но запах этого дыма напомнил мне запах кизяка, которым там, в степях, топят печи.

Ясно представился июльский вечер. Степь — без куста, без деревца — стелется однообразным пространством, замыкаясь к горизонту цепью невысоких холмов, среди которых усеченным конусом подымается «столовая гора» (в каждом степном пейзаже, где бы я им ни любовался. мне показывали такую гору). Среди холмов что-то неясно поблескивает в туманной дали: это озеро Аслы-Куль. Над ним, над холмами, над степью золотится воздух, переходя в нестерпимый пурпур там, где заходит солнце. А здесь, передо мной,— залитые отсветами этого «багреца и золота» белые домики, конюшни и хлева поселка немецко-колонистов, поставленные подалее друг от друга, чтобы сосед, если загорится сам, не поджег соседа, чтобы несчастье одного не стало общим. Перед каждым домом дымит печь, сложенная в стороне от всех построек, посылая в воздух горячий и пряный запах кизяка, который так нечаянно напонила мне моя «буржуйка». Эти белые печи с высокими трубами похожи на каких-то животных вроде белых лам, которые расселись, подобрав под себя ноги и вытянув кверху шею, перед каждым домом широко раскинутой по степи колонии. На спинах этих животных стоят котлы с водой и каким-нибудь варевом на ужин.

Вот хозяйка или ее старшая дочь — где кто занимается хозяйством: моет ноги и мордочки младшим ребятишкам и, дав им по кружке парного молока и по ломтику хлеба с маслом и сыром, отправляет спать. Потом снимает со спины «ламы» котел и, сгибаясь под его тяжестью, тащит на стол, выставленный на волю, под окна. Я смотрю как будто издали и вижу, как все это по порядку и в одно время совершается около каждой усадьбы.

Но вот я сам сажусь за один из этих столов, на чистых досках которого расставлены разрозненные тарелки и глиняные мисочки, кому не досталось тарелки; разложены разнокалиберные вилки и два-три ножа. Не помню, что на этот раз оказалось в котле, всякий раз там бывало что-нибудь другое, но что неизменно появлялось в одном составе и поэтому осталось в памяти,— это тут же вынутые из чрева белого живот-

ного разные хлебцы, обычно из темной муки, но отличного вкуса. Особенно мне нравились тогда вафли, печенные на углях в настоящей вафельнице, и двойные хлебцы, кажется ржаные, положенные один на другой, да так и сросшиеся в печке наподобие просвирки.

Это мелькнувшее сейчас воспоминание — ужин на свежем воздухе (как это знаменательно теперь, когда еда больше мечта, чем реальность!) — относится к годам более поздним — мне уже тринадцать лет. Это вторая наша всей семьей поездка на лето в Уфимский край. Первый раз мы туда ездили, когда я был шестилетним малышом. Тогда мы жили в аксаковских местах, недалеко от станции Белебей, — в местах лесистых. Усадьба помещиков — маминых старых друзей — была в четырех верстах от станции Шафраново. На станцию мы приехали ночью. Весь путь — по железной дороге и на пароходе по Волге, по Каме и Белой до Уфы — я не буду пытаться здесь описывать. Все было чудесно, все впервые, все замечательно. Но это не события, которые так легко излагаются, а клочки впечатлений, которые и сейчас ощущаются, может быть, достаточно ярко, но не изобразимы словами. Кроме того, через семь лет мы опять совершили тот же путь, мои новые ощущения наслоились на прежние, и все смешалось, слилось. Отделять одно от другого было бы и непосильным и ненужным трудом.

Итак, наш поезд пришел на станцию Шафраново глухой ночью. Нас, детей, вынесли из вагона сонных. Я очнулся уже на дне корзины башкирской таратайки и увидел над головой звездное небо между рядами черных деревьев, обступивших дорогу справа и слева. По небу неслись разметанные тучи, навстречу им с неистовой скоростью мчалась наша таратайка, прыгая по корням, а в ее корзинке на сене мотались и подскакивали мы с сестрой. По бокам тарантаса высоко взлетали комки грязи, которые мы приняли сначала за огромных лягушек. Бешеная скачка, как я потом заметил, была обычной башкирской манерой езды, но тогда, в этой мрачной обстановке, она показалась мне зловещей, как и ночная тьма, и лягушки, скачущие выше бортов нашей корзинки. И если бы не родители, спокойно, насколько это было возможно при такой тряске, сидевшие тут же на сене, я очумел бы от страха. Сзади нас неслась таратайка с вещами, а впереди еще одна, в которой сидела тетка с моим маленьким братцем Борисом, ее любимцем и воспитанником.

Родители были не в духе, особенно мама, осуждавшая своих друзей, которые обещали и в письме и в телеграмме прислать на станцию лошадей и обманули нас, непонятно почему. Мы прибыли с условленным поездом, но напрасно искали и ждали лошадей из Алексеевки. Папа сказал, что это на них очень похоже, на маминых друзей, а мама сказала, что она не знает, на что это похоже, но что лучше молчать, что бы вовсе не откусить язык от такой тряски.

Наш приезд оказался как будто неожиданным. Не скоро показались хозяева. Потом вдруг несколько девушек разного возраста, наскоро одетые, обступили нас, разобрали нас, детей, по рукам, стали возиться с нами. Но когда тетка заикнулась, что нас не худо было бы слегка покормить на ночь, — не нашлось ни кружки молока, ни кусочка хлеба. Кто-то только воскликнул, и все подхватили: «А какие у нас пельмени были сегодня к обеду!» Но обед был в свое время и довольно-таки давно, так как сейчас шел уже второй час ночи. Так мы и легли голодные, с трудом устроившись — кто на диване, а кто и просто на полу — в отведенной нам большой комнате, в которой не оказалось кроватей. Мама сказала, что и это на них очень похоже, и уже ворчала, не боясь откусить язык.

Такое начало не сулило как будто больших радостей. Но в течение ближайших дней, как ни странно, все устроилось само собой, нашлись и кровати, и подушки, и даже молоко детям. Началась жизнь хоть и

весьма беспорядочная, но полная радушия и весьма обильная. Не надо только рассчитывать на что-нибудь заранее подготовленное в этом доме, ибо каждое событие, хотя бы известное за много дней, заставляло всех в этой семье всегда врасплох.

Потом частенько случалось видеть, как, наспех выставляя на стол что-нибудь очень скромное, угощали заезжего соседа вчерашним блюдом: «А какая у нас вчера была индейка за обедом!» Или, назвав гостей к обеду, все девушки с мамашей, забыв о гостях, уезжали куда-нибудь далеко в лес по грибы. В такие дни и совсем не бывало обеда, а так жевали, что бог послал.

Эти пикники на целый день всем доставляли огромную радость, так что непонятно даже, почему так трудно было вымолить у старших распоряжения, чтобы закладывали лошадей завтра с утра для поездки в лес. В таких случаях старшим подавался большой покойный тарантас, запряженный прекрасно подобранной тройкой белых лошадей; молодежь и дети с нашей теткой размещались на длиннейшей линейке, а корзины с едой и самовар ехали на большой телеге, высоко-высоко наложенной сеном, которую, как перышко, легко нес огромный вороной битюг. Я любил забираться на эту телегу, на сено, покрытое ковром, который потом расстилался на траве на какой-нибудь уютной лесной поляне. Оттуда, сверху, я видел, как белая тройка лихо выносила из ворот тарантас, как потом он, обогнув опушку леса, быстро скрывался в лесной чаще, куда поворачивала дорога. За ним ташилась тяжелая линейка, которую везла пара лошадей—вороной коренник и рыжая пристяжка. Линейка уходила от моего битюга не так скоро и долго пестрела сквозь черную пыль разноцветными платьями и зонтиками. И было видно по движениям пестрых фигур, которые вертелись на своих местах и размахивали руками, что там очень весело, на этой линейке. Наконец скрывалась и линейка. Гора сена, на которой я лежал, подвигалась, казалось, сама собой, так как я не видел за сеном ни арбы, ни малайки-возницы, ни даже самого гиганта битюга. Надо мной зеленый свод, в разрывы которого глядит глубокое-глубокое небо. А когда этот свод становится пониже, деревья потеснее обступают дорогу, сено шуршит по ветвям, оставляя на них длинные космы седой травы.

Как сейчас, вижу клочки впечатлений, которые оставило в моей детской памяти это лето в Уфимской губернии,— это все поездки, все лошади, тарантасы. На весь широкий степной мир я смотрю с высоты козел, сидя рядом с кучером. А то он суживается, этот мир, и через край корзины шарабана, на дне которой я сижу, из-под руки кучера я вижу только зад пристяжки, ее скачущие ноги и думаю: как неудобно ей скакать по обочине дороги, загнув голову набок, поддерживая плавность движения, с которым несет тарантас широкая рысь коренника, и отмахиваясь в то же время хвостом от слепней.

Стоит мне закрыть глаза—и сейчас же я ясно-ясно вижу это постоянное движение ног пристяжной, слышу шуршание валька, к которому привязаны ее постромки, слышу нежный аромат черноземной пыли, смешанный с запахом дегтя, кожи и лошадиного пота.

Я обмолвился уже, что жизнь в усадьбе Алексеевых была довольно безалаберна. И не только чужие интересы не блюлись в этом беспечном доме— в равной мере забывались и свои собственные. Все шло как попало, всякий делал, что хотел, и основное настроение. основная черта всех и вся в усадьбе была полная беззаботность.

Домашнее хозяйство вела та самая семнадцатилетняя Леля, к которой я попал на руки по приезде и в которую я, шестилетний малыш, влюбился сейчас же, с той же ночи безумно. Из старших сестер одна

если не ездила по соседям или не бродила уединенно по лесу, то сидела за роялем и, лениво перелистывая ноты, так же лениво перебирала клавиши. Другая — целые дни лежала ничком на диване и читала запоем романы, книжку за книжкой, выходя к столу с опухшим лицом и мутными глазами. А самая меньшая, десятилетняя Шура — настоящий сорванец, — целые дни носилась по полям на неоседланной лошади, а дома ее можно было видеть только на крыше или на вершине дерева. Тихая и спокойная Леля одна заботилась обо всем и обо всех, но не вносила в эти заботы ни капли поспешности, никоим образом не нарушая общего ленивого течения жизни. Если случался обед посложнее или входили в общий распорядок дня какие-нибудь летние заготовки, она не ускоряла темпов, не суетилась, а так же спокойно, не спеша брела, напевая, из кухни в ледник или кладовую, а потом в столовую. Так что в таких случаях обед вместо обычных трех часов подавался в восемь, а то и позже, когда у всех уже сильно подводило животы, а старший брат Александр, потеряв надежду на обед, приказывал заложить дрожки и уезжал обедать к соседке — местной поэтессе и очаровательнице, — если только голод преодолевал его лень, поистине неизмеримую.

Странно — в этой ленивой, до крайности беспечной жизни не было ничего противного, несмотря на пропасть неудобств и досад, причиняемых всякому, кто попадал под гостеприимный кров этого дома и сталкивался с полной безалаберностью его уклада.

Наоборот, было что-то бесконечно привлекательное в этой бестолковой жизни, в этих милых беспечных людях. Может быть, потому, что их беспечность прежде всего вредила им самим, что в их поступках, если эти люди решались как-то действовать, не было никакого расчета, никакой корысти. В хозяйстве все текло (и утекало!) широко, бесконтрольно. Не прилагалось никаких усилий, чтобы извлечь из него побольше, — хватало того, что давалось само собой. Случалось так, что от пятнадцати коров не бывало ни сливок, ни масла, даже молока не оказывалось достаточно, и это никого не смущало, не наводило ни на какие размышления. Есть — так есть, а нет — так нет!

Помню, папа как-то спросил Александра Александровича, который после смерти отца «вел» сельское хозяйство: «Скажите, это ваши овсы стоят вдоль полотна железной дороги. по эту сторону?» — «Да, это мой злосчастный овес. Он и взошел плохо, а что вышло и выколосилось, то дождями затопило. Придется все поле перепахивать под озимь. А что?» — «Да ничего! Скажите только, давно ли вы его видели?» — «Как вам сказать! Если признаться, так я вовсе его не видел». — «А не съездить ли нам посмотреть? Прикажите заложить бегунки». — «Да зачем? Чтоб лишний раз огорчаться? Мне приказчик все рассказал, и очень даже картинно! Представил даже в лицах, как бедный овес водой заливало». Не знаю, как это вышло, но папе удалось уговорить Александра Александровича. Тот преодолел свою лень, натянул, кряхтя, сапоги, накиннул поддевку, зевая, сел в бегунки, и они поехали. Вернулся он веселый-превеселый. И не потому, что овсовое поле оказалось в самом блестящем состоянии и он радовался находке в несколько тысяч. Просто его веселил, так сказать, самый анекдот, как приказчик замыслил его надуть. Он и его, призвав, скорее поднял на смех, чем распек. А высмеять кого угодно, задавая самые скользкие вопросы с самым невозмутимым, скушающим видом, он был мастер, и сестрам его доставалось от него порядком.

Александру Александровичу было уже порядочно за тридцать лет, когда я мог сознательно на него посмотреть, — значит, эти мои впечатления относились уже ко второй нашей поездке в Уфимскую губернию, когда мы, прожив полтора месяца у немцев-колонистов, арендовавших

у моей мамы землю, приехали погостить недели на три к Алексеевым. Впечатления этой поездки, если не более яркие, то более сознательные, все время сейчас, когда я пишу, выдвигаются вперед и заслоняют то, что я вынес из первого путешествия в раннем детстве.

Как тогда, в детстве, в тот первый раз, я и теперь влюблен. Как и тогда, я робко, издали, обожаю ту же милую, тихую Лэлю. Ей уже двадцать четыре года, она мне кажется такой взрослой, такой серьезной! Она поет. У нее милый (все милое, что в ней и около нее) грудной голос. По вечерам иногда мы музицируем. Нашлись романсы со скрипкой. С грехом пополам, то отставая, то убегая вперед, я «исполняю» свою скрипичную партию, страшно волнуясь. Я — мальчишка — боялся показаться нелепым, смешным в этом своем чувстве, боялся чем-нибудь его обнаружить. Потому держался подальше, стараясь не попадаться ей на пути чаще, чем все другие, и больше всего боясь оказаться наедине с ней. А как-то вышло так, что мы провели с ней целый день с глазу на глаз, совсем одни! Ей предстояло ехать на базар в Курят-Мас, большое башкирское село, за хозяйственными закупками — она все так же вела все домашнее хозяйство. К слову, в усадьбе не только это одно осталось по-старому — и все другое так же мало изменилось. Жизнь не вышла из своей старой колеи и катилась все тем же ленивым темпом. Так же не было определенного времени для обеда, так же ничем не занятые сестры опаздывали к столу, так же не оказывалось то того, то другого самого необходимого в большом, бестолковом хозяйстве.

Александр Александрович был высокий, широкоплечий, очень ладно скроенный русский красавец того типа, к которому стараются приблизиться те, кто хочет изобразить молодого русского боярина à la князь Серебряный. Он вместе с тем и прекрасно мог бы сойти за облагороженного, «оперного» Степана Разина со своим смуглым лицом, темной волнистой шевелюрой и слегка курчавой бородой. Силы он был непомерной, совершенно сверхъестественной. Я бы никогда не поверил в такую силу, если бы сам не был свидетелем того, что я хочу рассказать дальше и что рассказывают про многих знаменитых силачей.

Как-то к нам прикатил легкий кабриолет без кучера; из него выпрыгнула, бросив вожжи подскочившему малайке, молодая дама и вихрем влетела в дом. Я в это время торчал на дворе и из любопытства, которого всегда имел достаточный запас, вошел в дом за нею. Я застал ее уже в столовой, где она с величайшим пылом и оживлением рассказывала всем, а больше Александру Александровичу, как она только что познакомилась с самим Чеховым, и удостоилась самому Чехову прочесть свою поэму, и сам Чехов остался от нее в восторге, от ее поэмы! Все это излагалось с постоянными повторениями и со многими подробностями: как кто вошел, где кто сидел, что сказал, как смотрел, как улыбался, что она сама каждую минуту чувствовала и так далее.

Когда я прочел потом рассказ Чехова «Драма», мне вспомнилась эта уфимская поэтесса. Не помню сейчас, когда написана «Драма», но, ей-богу же, уфимская поэтесса могла быть прототипом той дамы, что читала свою пьесу бедному писателю. Тем более что и маскировка-то в рассказе чисто чеховская. Недоумевал же он в письмах к друзьям, что сорокалетняя мадам Кувшинникова узнала себя в молоденькой «попрыгунье», хоть все остальное, кроме возраста и внешности, прямо противоположных образцу, было им взято с натуры. Так и тут — сама эта полная противоположность уже подозрительна. В «Драме» у Чехова дама пожилая, тучная, в пенсне. Уфимская же поэтесса была далеко еще не пожилой (хоть и была вдовой). Нисколько также не была она тучной или даже только полной; наоборот — это была высокая, то-

щая и плоская, как доска, брюнетка. Пенсне не носила, но имела другие, еще более яркие признаки эмансипации: коротко стригла свои курчавые волосы, курила, сама правила лошадьё и одевалась несколько на мужской манер.

Выпалив свой рассказ, она выразила намерение мчаться дальше, чтобы, очевидно, разнести свое счастье по всем друзьям и соседям. Александр Александрович стал ее удерживать, уговаривать остаться пообедать и еще порассказать о Чехове. Дело в том, что поэтесса была немножко влюблена в него, ухаживая, насколько это возможно для женщины и даже несколько больше, чем возможно. Обычно он относился к ее наскокам, как ко всему на свете, с невозмутимым спокойствием, даже равнодушием, так как вряд ли мог серьезно увлечься ее круглой, с неправильными чертами, сплошь усыпанной черными веснушками физиономией. На этот же раз, очевидно, было задето мужское тщеславие, которое оказалось даже у него, и он не мог примириться с тем, что на долю другого, хотя бы и Чехова, доставалось так много пыла! Очевидно, ему хотелось, чтобы она несколько поостыла и побольше занялась его особой.

Однако она уже была во дворе, уже вскочила в свой кабриолет и разбирала вожжи, отмахиваясь от последних уговоров остаться. «Так вот же вы не уедете!» — воскликнул Александр Александрович. «Посмотрим», — сказала поэтесса и слегка ударила вожжой своего орловского рысака. Серый, в яблоках, гигант переступил ногами раз, переступил другой, мотнул нетерпеливо головой — и ни с места! «Пустите, Александр Александрович!» Тут только я заметил, что он держал одной рукой колесо за обод, крепко упершись ногами в землю. Когда он отпустил колесо, рысак вынес кабриолет за ворота, перемахнув огромный двор в одно мгновение.

Этот огромный двор, обнесенный плетнем и обставленный конюшнями, сараями и амбарами, мне очень памятен.

Между домом и амбаром как будто не к месту стояла небольшая хижинка с навесом над крыльцом на столбиках — не то овинчик, не то сторожка, что-то вроде украинских омшаников. Это место, несмотря на крайнюю незатейливость, даже прямо скажем — «ненарядность» открывающихся кругом видов, было излюбленным местом вечерних собраний. А ведь за домом с другой стороны была большая терраса, а перед ней наемк на когда-то бывший цветник, спускавшийся к заглохшему, заставленному гигантскими елями пруду, на том берегу которого тропинки уходили уже прямо в темную гущу леса. Живописнее трудно что-нибудь придумать! На террасе иногда обедали, пили чай, а вечером все-таки собирались на крылечко омшаника дышать ароматами скотного двора и смотреть на стены и запертые на засовы двери амбаров! Днем приезжавший за чем-нибудь башкир, свалившись с подушки, положенной вместо седла на спину белой кобылке, привязывал ее к столбику крыльца омшаника, а сам усаживался, ни слова не говоря, на ступеньках. И просиживал иногда так по полдня, пока оповещенный о его прибытии или сам завидевший его из окна Александр Александрович не выходил сюда, под навес, для хозяйственных бесед с ним.

Тут, около этой хижинки, я однажды чуть не погиб. И не один, а с целой гурьбой такой же, как я сам, мелюзги, ребятишек четырех — шести лет.

Кучер подал к крыльцу белую тройку, подождал господ, бросил вожжи на козлы и пошел со скуки в кухню покалякать.

Ах, эти белые кони! Как я мечтал сидеть в коляске, которую они мчат со звоном колокольцев и бубенчиков! Меня катали только в линейке да на возу, а белая лихая тройка была мечта.

И вот она стоит перед крыльцом, и нет никого, кто бы помешал мне забраться в коляску. Да что — в коляску! Я могу влезть на козлы, сам взять вожжи! Как отказаться от такого счастья? Я не был эгоистом: я хотел доставить это счастье и другим. Я кликнул клич. Первой влезла в коляску моя четырехлетняя сестра и расселась на подушке, как барыня. А за ней — кухаркины и сторожевы детишки, какие-то башкирята. Не успел я вскарабкаться на козлы, как коляска была уже полна.

Какие тяжелые вожжи! С великим усилием я мог только чуть подтянуть их. Но тройка уже тронулась, едва я к ним прикоснулся. Мгновение — и она уже мчала, звеня всеми своими колокольчиками и бубенцами, прямо к воротам.

Что произошло дальше, я не сразу понял. Только тройка внезапно стала, и я свалился с козел в объятия разъяренного отца.

Нас спас меньшей брат Александра Александровича, двенадцатилетний мальчишка. Он бросился наперерез лошадям, подпрыгнул и повис на шее коренника, охватив ее руками. Коренник шарахнул в сторону, потерял направление и уткнулся оглоблями в стену амбара.

Тут подоспели кучер и мой отец.

(Окончание следует)



ПИМЕН ПАНЧЕНКО

★

ИЗ ЛИРИКИ

С белорусского

* * *

Памяти М. Светлова.

Часы отсчитали двенадцать,
Кружится ночной снегопад.
Советует застраховаться
Зеленый электроплакат.

И чудится голос, который
Мне дорог с мальчишеских лет:
«Старик, а найдется контора,
Где был застрахован поэт?»

О, ласковая картавость
И тихий удар по плечу!..
Но где ты? Тебя я пытаюсь,
Найти... Я ж ответить хочу!

Поэты себя не страхуют,
Поэты открыто живут.
Без денег порою кукуют
И водку, случается, пьют.

Особое мнение имеют —
Прямой и колючий народ,—
Для добрых людей не жалеют
Ни строчек своих, ни острот.

Щебечут поклонницы: «Мило»,
Смакуют иронии соль,
А сердце поэта вместило
И радость людскую, и боль.

И шутит поэт, и смеется.
Но надо и бережным быть.
Улыбка не просто дается,
А шуткой нетрудно убить.

Пускай пожилкой он и слабый,
Но добрый и стойкий солдат.

И делит он с юностью славу,
Как старший товарищ и брат.

Поэты страдают, горюют,
Воют и песни поют.
Поэты себя не страхуют,
Поэтому вечно живут.

НОЧНЫЕ ГОЛОСА

Верчу я рычажок приемника.
Как будто шар земной верчу.
То свист,
То твист,
То про бионику...
Чего ищу?
Чего хочу?

Спешу событиям навстречу я.
Противоречия кипят.
Бурлит в эфире красноречие
И словопад,
Как снегопад.

Что делать? Время голосистое.
И каждый хочет прозвучать.
Кому свистеть,
Кому подсвистывать,
Кому кричать,
Кому молчать...

В Милане — ария из оперы.
В Марселе — вальс.
В Брюсселе — джаз.
Неистовые голдуотеры
Клянут за океаном нас.

Шторма бесчинствуют на севере
Но радио ветрам назло
Из Мурманска
Рыбачьим сейнерам
Ребячий голос принесло.

«Мы ждем тебя, папая, миленький!...»
От этих слов светлеет мрак,
Слабеет шторм от этой лирики.
Живи, моряк!
Пльви, моряк!

Волна короткая, случайная,
Но теплый лучик тьму рассек.
Сильней, чем злобное рычание,
Высокий
Детский
Голосок.

ПРАЗДНИЧНЫЕ САЛЮТЫ

Взлетают в небо фейерверков звезды,
Грохочут наши праздники салютами.
И смех и гул над площадями людными,
И батареи сотрясают воздух.

А я, от неожиданности вздрогнув,
Гляжу на дым, что застилает улицы.
И чьи-то вдовы в этот миг сутулятся,
И стекла дребезжат в закрытых окнах.

В душе тревожно застонали трубы,
Проходят строем все воспоминания:
Война стреляет в нашу юность раннюю,
И плач, и хрип, и жажда сушит губы.

Сегодняшние мальчики счастливы!
Вас тешат залпов холостых созвездия.
А я пронес от взорванной границы
Жестокие военные зарницы,
Информбюро печальные известия.

Я всякий раз, когда гремят орудья,
Грустнею, вновь преследуемый памятью,
Я вижу среди огня и снежной замяти,
Как умирали города и люди.

Пусть чуть потише пушкарки палят,
Когда цветут салюты над бульварами.
Еще болят земные раны старые,
Да и мои пока еще болят.

* * *

Скорей бы пришла зима,
Белая и молодая,
С малиновыми морозами,
Со звоном коньков на льду
И новогодней елкой! —
Мечтают осенью люди.
Скорей бы пришла весна
С грозами голубыми,
Сверкающими ручьями,
Прохладным цветеньем черемухи
И соловьиной любовью! —
Мечтают зимою люди.
Скорей бы настало лето
С янтарной густой пшеницей,
С яблоками наливными,
С крымским веселым загаром,
С радостью школьных каникул! —
Мечтают весной люди.

А чтобы осень скорее пришла
 С безнадежностью темных дождей,
 С грязью, с опавшей листвой,
 С несбывшимися надеждами
 И горькими воспоминаньями,—
 Об этом никто не мечтает, пожалуй.
 Впрочем, осень земле не страшна.
 Вновь нагрянет весна.
 С ней вернутся и листья, и ливни, и птицы.
 Только юность у нас,
 Как известно,
 Бывает одна.
 В этом смог я, увы, убедиться.

РОДНОЙ ЯЗЫК

Говорят, что себя изжила ты,
 Белорусская мова моя.
 Но с тобою мы связаны свято,
 Мы с тобой с малолетства друзья.
 Ты — и ласточек ласковый щебет,
 И журчанье полесских криниц.
 Ты — труба журавлиная в небе,
 Синий лен, полыханье зарниц.
 Если время и вправду прикажет
 И язык мой в былое уйдет,
 Тот, что предками создан и нажит,
 Тот, что выжил средь бед и невзгод,
 Если он растворится в слиянье
 Языков,— я прошу об одном:
 Пусть хоть месяцев наших названья
 Мне оставят на память о нем.
 С т у д з е н ь — стужа за стеклами окон,
 Л ю т ы — синий февральский мороз,
 С а к а в і к — набухание соков,
 Воскрешенье высоких берез.
 К р а с а в і к — с ледоходом счастливым,
 М а й — с черемухой, севом, грозой,
 Ч э р в е н ь — с ягодами и росой,
 Л і п е н ь — с медом, с пшеницею — ж н і в е н ь.
 Спелый в е р а с е н ь, светлый к а с т р ы ч н і к
 В легкой дымке, в прохладе криничной.
 Л і с т о п а д — огневой листопад,
 С н е ж а н ь — первый густой снегопад.
 Может, плачу я, может, пою?
 Может, сердце напрасно тревожу?
 Речь люблю я родную свою,
 Речь, которая жизни дороже.

Перевел Я. Хелемский.



Ю. АРАКЧЕЕВ

★

ПОДКИДЫШ

Рассказ

1

Его звали Фрол. Как всегда, он проходил на свое место минут на двадцать раньше, когда еще возилась у стендов полусонная, с красными, набрякшими глазами ночная смена. Как всегда, шел от раздевалки по громадному помещению цеха между теплыми замасленными серыми боками станков, привычно лавируя между ними, чтобы не идти по проходу — так дальше. Как всегда, его сразу же охватывал и слегка оглушал знакомый шум и запах теплого машинного масла, гари, горячего металла...

Сначала он шел по участку цеха шасси — здесь стройными безлюдными рядами выстроились станки-автоматы; за ними сверлильные станки и маленькие станочки для нарезки гаек — здесь работали только девушки и женщины, сосредоточенно, ловко орудуя руками, коричневыми и блестящими от масла, стекающего с резьбонарезных стержней... Затем конвейер моторов, по которому медленно, тоже полусонно ползли рождающиеся остовы моторов, подставляя свои бока рабочим — их сильным, ловким, иногда цепким, играющим, иногда уставшим и вялым рукам...

Потом дверь в ЛИДу (что означало: лаборатория испытаний двигателей), подвесной конвейер с готовыми уже моторами, похожими на какие-то странные подводные пушки, уже окрашенные в серебристый самолетный цвет, плывущие медленно и величаво, пока еще мертвые, но уже готовые к тому, чтобы руки испытателей — и его тоже — оживили их, дали им долгую или недолгую жизнь — с печальным, геронческим или бесславленным, не зависящим от них самим концом. Правда, над этим он уже был не властен, но он мог сделать все, чтобы подготовить их по мере возможности к жизни полной, бесперебойной, когда так весело и бесшумно работают клапаны, бежит по «рубашке» масло и вертится, вертится безостановочно, сильно и плавно маховик. Тогда летит вперед автомобиль, и дует свежий упругий и холодный ветер, и торопится обжигающая вода в радиатор, чтобы оттуда вернуться новой, блаженно-прохладной, и снять усталость с перегретых, натруженных внутренних мотора.

И Фрол не спеша, с солидной осмотрительностью входил в ЛИДу — широкое и длинное помещение с тремя рядами стендов, на которых удобно лежали моторы, повернувшись стволами удлинителей в сторону широких зарешеченных окон.

2

В это утро Фрол вошел в лабораторию, как всегда спокойный, готовый к работе, хотя и немного невыспавшийся — вчера допоздна играли в «козла» во дворе, — ленивый, нарочито небрежный, с сознанием своей нужности здесь, хотя и с ощущением какого-то недовольства. Он знал, что работа отвлечет его, а вечером можно будет перебиться, занять у кого-нибудь рубля два и зайти в магазинчик напротив завода — «на двонх», а тогда и с женой будет мириться легче: она опять обиделась на него вчера. Он взглянул мельком на Ивана да Федора, на их небритые лица, кивнул им, вышел и сел к баку.

Люди все подходили и подходили.

Вот «молодежная бригада»: двое молодых парней из заводских кадровиков и четыре студента, присланных на практику, — они работали в стороне от конвейера, собирали генераторы на базе готовых моторов для каких-то особых нужд. Пришел Степа Солдатов, контролер лаборатории испытаний, которого почему-то прозвали «Феней», — он был кудрявый, в очках, нескладный и высокий; на прозвище не обижался. Пришли двое из его, Фрола, утренней смены: Федор-маленький и Сергей — тоже бывалые испытатели. И наконец, как всегда, позже всех суетливо появился Умейко. Умейко была его фамилия, и никто не звал его по имени, а Фрол вообще не знал имени этого Умейки. Был он черен, суетлив и худ, был похож на цыгана, но без присущей цыганам ловкости. В работе он никогда не поспевал, и с ним всегда случались непредвиденные истории. Появился в лабиринте станков начальник участка Арсений Самойлович — носатый, высокий и толстый, с жидкими, как у младенца, волосиками на удлиненном черепе. Говорил он зычным басом так, что всегда было слышно издали, несмотря на гул станков.

Раз слышно Арсения — пора начинать.

Фрол раздавил сигарету о край бака, бросил ее в песок, сплюнул и пошел в ЛИДу.

Ряд его был у самых окон — это было и хорошо и плохо. Хорошо потому, что зимой было светлее и прохладней. Весной же и летом в утреннюю смену мешало солнце.

Конвейер моторов стоял.

Минут через двадцать он должен пойти — подготовят все для работы, дождутся опоздавших, подвезут цилиндры, картеры, блоки. Подвесной конвейер в ЛИДе стоял тоже, но на нем висело два мотора, успевших приехать в ЛИДу через специальное входное окно. Иван да Федор не сняли их, оставили. Интересно было снять один из этих моторов, так как иначе все двадцать минут до начала работы конвейера придется курить. Два мотора — двоим сидеть.

Кто возьмет?

Умейко, конечно, как пришел, кинулся на один мотор. Но Умейке это, уж как повелось, прощали. Он и так едва успеет обкатать норму, да и то если не будет простоев на конвейере. Фрол считался самым опытным, но, хотя он приходил всегда первым, не пользовался этим и не брал себе мотора, если не хватало.

Второй мотор взял Сергей (предварительно оглянувшись застенчиво). Взял. Поставил.

— Что, Фрол Федорыч, покурим? — сказал и подмигнул ему Федор-маленький.

— Покурим.

Вышли к баку.

3

Фрол закурил сигарету — третью сегодня: уж несколько раз он собирался бросить курить, но не выдерживал, убеждал себя, что все равно уж он курит давно и бессмысленно теперь бросать, а что касается здоровья, то оно и так у него было неплохо, а жить до ста лет он не собирался. Однако привычка считать осталась.

Курилось невкусно. Горечь какая-то. «Настроение паршивое, вот и горчит, — подумал Фрол. — Не выспался».

И вспомнилось ему, чем расстроил его вчерашний день, а вернее сказать, вечер. Когда он пришел домой, Валентина уже лежала и, повернувшись к нему спиной, старательно и упорно делала вид, что спит, хотя он знал, что она не спит, что она долго ждала его — договорились идти в кино — и теперь опять обиделась, а на его робкую извиняющуюся ласку пробурчала что-то обидное — он не расслышал что — и всю ночь так и не повернулась к нему.

К шуму в цехе уже привыкли. Шум, конечно, был страшный. Особенно на участке автоматного. Здесь же, в уголке, у ЛИДы, — поменьше. Но говорить все равно приходилось с натугой.

Внешне Фрол ничем особенным не отличался от других рабочих, разве что мягкостью в повадке. Был он невысокого роста, не всегда бритый, русоволосый. Брови широкие, редкие, внимательные серые глаза. Когда серые, а когда голубые — в зависимости от освещения. С правой стороны во рту поблескивал золотой зуб.

Было ему сорок четыре, однако выглядел он старше. Вообще по торчащим из укороченных рукавов рукам, по крепкой шее, по тому, как сидел на Фроле пиджак, создавалось впечатление, будто тело Фрола состоит сплошь из одних жил.

Фрол бросил недокуренную сигарету, встал, направился к Сергею.

Мотор Сергея уж завелся, он фырчал, подпрыгивая, клапаны стучали вовсю.

— Завелся? — кивнув, крикнул Фрол.

— Завелся... — Сергей махнул рукой. — Опять с насосом. Давление маленькое.

— Ты вот что, Сергей... Два рубля не найдется?

— Что? Два рубля? Черт его знает, Фрол Федорыч. Погоди, посмотрю. Пойдем.

Сергей занимался в какой-то спортивной секции, и это чувствовалось сразу. Крепкий парень лет тридцати, светловолосый, с короткой стрижкой. Он стоял у стенда в тренировочном костюме с белой полоской у шеи. Пиджак вешал у контролерского столика, где сидел Феня. Сергей и Фрол подошли к столику. Фени не было — отошел куда-то. Сергей вытер руки паклей и принялся шарить по карманам в пиджаке. Он наклонился, и спина его под синей тренировочной майкой обрисовалась четко — два мощных валика мышц над поясницей.

— Нет, Фрол Федорыч. С удовольствием бы, нету.

— Ничего, ладно.

«Может, у Сашки из молодежной? — подумал Фрол. — У Умейки и спрашивать нечего».

Но все же спросил у Умейки:

— Слушай, у тебя рубля не найдется?

— Чего?

Умейко орал как бешеный. Он плохо слышал. И Фролу пришлось орать:

— Рубль, говорю! Рубль!

Фрол вытянул указательный палец вверх.

— Рубль?! — Умейко только рукой махнул: нету.

И засмеялся. И, как всегда, Фрол подумал, что Умейко — хороший парень.

— Саша, привет! — сказал Фрол, выйдя из ЛИДы и подойдя к стендам молодежной бригады.

— А, Фрол Федорыч, здорово.

Сашка был красивый молодой парень. Черноглазый, черноволосый. Девчонки небось с ума сходили. Жил Сашка один. Но с дороги не сбился пока, да уж теперь и вряд ли собьется. В каких-то комсомольских начальниках ходил.

— Ты, Саш, этого... — Фрол почесал в затылке. — Не богат? В получку отдам.

— Сколько тебе, Фрол Федорыч?

— Да сколько есть, хоть рубль.

Больше Фролу неудобно было у Сашки просить: все-таки один, ни отца, ни матери.

— Сейчас посмотрю, стой,— сказал Сашка.

Он порылся в карманах, нашел рубль, протянул.

— Спасибо, Саша. Так, значит, в получку.

— Ерунда, Фрол Федорыч. Когда будут.

— Ладно, спасибо.

«Зря два не спросил», — все-таки подумал Фрол.

4

— Ну как, достал? — спросил Федя.

Фрол показал рубль:

— Мало, понимаешь. Еще рубль надо.

— На, закури. — Федор протянул портсигар.

— Неохота что-то, Федя.

— Почему неохота?

— А бог его знает, Федя. Не выспался.

— Ты моих закури. Махорочка.

— Да? Откуда? — Фрол поднял широкие брови.

— Так, баба набивает. Гильзы покупаем.

— Ну?

— Ей-богу. Так после войны и отвыкнуть не могу. Все покрепше.

— Ну, давай.

Закурили оба. «Да, это что надо, — подумал Фрол. — Аж в глазах слезы, приятно».

— Ну как, хорошо?

— Хорошо. Спасибо, Федя.

— То-то.

Помолчали опять. Пошел конвейер. Шум в цехе еще усилился: теперь уже работала вся первая смена в цехе моторов. И завизжали автоматические коловороты на конвейере.

Появился Арсений Самойлович.

— Все курите? — сказал он зычным басом.

— Курим, а то как же, — ответил Федор.

— Конвейер пошел.

— Видим.

Промолчал Арсений, прошел. Знает, что еще первый мотор только только в ЛИДу въезжает.

— Ну что, иди, Фрол Федорыч, — сказал Федя.

— Иди ты, Федя. Следующий мой.

И Федя ушел.

Фрол докурил, поднялся, вошел в ЛИДу. Федя мотор ставит. Скоро Фролу. Скорее бы.

...С Валентиной они вообще-то давно уже были не в ладах. Не то чтобы уж очень ругались, а так — перемагались кое-как, и ладно. А позавчера она пришла поздно, сказав, что было какое-то там собрание у них на фабрике. Она работала на швейной фабрике нормировщицей, и Фрол никак не мог перетащить ее на завод — не хотела. «Какое у них могло быть собрание?..» И хотя у Фрола не было никаких оснований не верить ей, да и вряд ли, думал он, она пойдет на что-то такое, однако он чувствовал, будто червячок какой-то забрался в него — и точит и точит. Он и не верил, и уговаривал себя, что чепуха это, что лучше, чем он, ей мужа все равно не найти — оба они одиноки, как кукушки, — а червячок точил и точил. «Надо бы и мне махорочки впрок», — подумал Фрол.

Умейко тоже завел свой мотор, и теперь они с Сергеем колдовали оба. Но еще было не очень шумно. Довольно просторное помещение лаборатории уже осветило солнце. Фролов ряд был весь освещен — от конца до начала. «Опять ослепы мешать будут», — подумал Фрол.

В окне ЛИДы — в дальнем от Фрола углу — уже пролезал его, Фрола, мотор. Сейчас и ему начинать. А Фени все нет.

Фрол оглядел стол контролера и недалеко от стола, в углу, заметил старый мотор. Откуда он здесь? Фрол встал, подошел. Мотор даже поржавел порядком. Однако модель новая. Эх испакостили, черти! Где они его держали?

Вошел Феня.

— Что это, Степа? — Фрол кивнул на мотор.

— Это? А экспериментальщики привезли. На запчасти.

— На запчасти?..

Фрол наклонился, потом присел. Провел пальцем по блоку цилиндров. Палец стал бурым.

— Степа, у тебя насчет денег как? — сказал Фрол, вставая.

— Тебе много? — спросил Феня.

— Да нет, рубль всего.

— В получку отдашь?

— Отдам, конечно.

— Тогда на, разменяй.— Степа протянул трешку.

Фрол взял трешку и опять присел около мотора. Он перевалил его на другой бок, сильно испачкав руки.

— Фрол! — закричал во всю глотку Умейко.— Мотор бери.

«Да, пора, — подумал Фрол.— Еще, не дай бог, сейчас Арсений зайдет...»

А мотор уж подошел.

Фрол посмотрел на часы — они висели посреди лаборатории на перекладине — 7.35. Быстрей ставить...

5

Мотор попался хороший. Завелся он сразу. Фрол только примерил трамблёр, подвел горючее, масло, воду, приконтачил зажигание и лишь нажал на стартер и отрегулировал карбюратор — мотор вздрогнул, затрясся и запел — завелся. «Левые клапана, отстойник, масляный фильтр, — машинально отметил про себя Фрол.— Еще как с давлением масла...»

Но это было только начало, потому что все неполадки проявляются не сразу: надо было дать ему поработать. Фрол прибавил газку — мотор подпрыгнул, рванулся, но не было у него сил сорваться со стенда, он только зло зафыркал, загрохотал. «Сердится!» — ласково подумал

Фрол, сбавил газ и закрепил рычажок карбюратора в одном положении. Теперь мотор работал спокойно и ровно. Фрол обошел его, чтобы взглянуть на манометр масла, и кожей лица, шеи, рук почувствовал знакомое живое тепло только что родившегося мотора. Тепло шло пока только от отводных труб — в них выбрасывались отработанные горячие газы из цилиндров, — их было пять, и, соединяясь, они образовывали нечто похожее на пятипалую руку, локтевой сустав которой — стендовая выхлопная труба, черная, обгорелая от постоянных накалов, — уходил вниз, в подпол лаборатории, и там присоединялся к общезаводской вентиляционной системе.

Отводные трубы, похожие на очень толстые пальцы, всегда нагревались первыми, дымились слегка — перегорало случайно попавшее на их поверхность масло, — иногда желтели. Но через минуту подрагивающий мотор нагревался весь и полыхал здоровым и крепким рабочим жаром. И хотя он удобно, покойно лежал на стенде, закрепленный по всем правилам технологии, слегка лишь подрагивая от напряжения, казалось: не место ему здесь, в ЛИДе, на волю бы ему, на простор, на ветерок бы...

Фрол осторожно, уважительно выполнял свое дело: подкручивал гайки, регулировал клапаны, менял карбюратор или еще что-нибудь, если требовалось — отлаживал своего питомца так, чтобы потом, когда он уже выйдет в работу, как можно дольше мог бы он обойтись без чужих рук. Ведь неизвестно, какими они будут-то, эти руки.

А Сергей уже ставил на стенд второй мотор.

Прошло часа три.

Второй мотор Фрола был покапризнее: пришлось совсем менять масляный фильтр, масляный картер давал течь, на упор заклинивались шестерни стартера и маховика, барахлил трамблёр. А первый Фрол уже сдал — мотор уехал, подвешенный к медленно ползущей цепи подвесного конвейера. Время — к одиннадцати. Скоро обед.

Еще пока дообкатывался первый мотор и грелся второй, Фрол несколько раз подходил к ржавому мотору. Карбюратора вообще не было на нем, трамблёр явно никуда не годился, и — это уж как пить дать — придется менять масляный насос. Фрол отвинтил крышку и глянул на клапаны. Даже сюда пробралась ржавчина. Что они делали с ним? Потускнел местами и валик. Как бы не подкачал блок цилиндров. Если там раковины, гиблое дело — на утиль, на запчасти...

Слав первый и окончательно обкатав второй, Фрол опять подошел к брошенному мотору. Взять, что ли? Правда, тельфером сюда не дотянешься, а тащить тяжеловато. Можно, конечно, Федора попросить.... Только вот стоит ли?хлопот не оберешься, а после обеда, наверное, моторы все-таки пойдут. Два да после обеда два — четыре. Больше вряд ли. А сейчас очередь Федора и Умейки.

И Фрол пошел к баку за Федором.

— Слушай, Федя, может, подмогнешь? — спросил он.

— Взять хочешь? — Федор понял, о чем он говорит.

— Хочу.

— Смотри, Фрол Федорыч, проваландаешься. Я этот мотор тоже смотрел — ни к дьяволу. Сволочи там, в экспериментальном.

— Да... Но, может, все-таки подмогнешь? Бог с ним, попробую, а?

— Уж Сергей целился. Не взял.

Видно, не хотелось вставать с места Федору.

— Сергею и так хватит — чего ему? — не уступал Фрол.

— Пораньше уйти хочет. Тренировка... Погоди, сейчас докурю. Хочешь?

— Давай.

Покурили.

Федор-маленький был годоводок Фрола. Воевали на одном фронте, в одной дивизии, а встретились впервые вот здесь, на заводе. Осколком Федору перебило левую ногу, кость срослась, но криво, и теперь на ходу он слегка прихрамывал. Ростом он был до глаз Фролу, чуть выше Умейки, но крепок и широк в плечах. У него была жена и мальчик, мальчику — семнадцать, заканчивал школу.

Вместе подтащили мотор к тельферу, зацепили, подвезли к свободному стенду на Фроловом ряду.

— Ну, с богом, Фрол Федорыч. Колдуй!

— Спасибо, Федя.

Умейко смотрел на них из своего ряда, улыбался.

6

Ну, конечно, и речи не было, чтобы сразу заводить. Первым делом Фрол поотвинчивал гайки и заглянул в блок цилиндров. Чисто. Аж солнце сверкнуло! Ни точки! Теперь уже дело пойдет. Даже поршневые кольца на месте. Ну, голубчик, надежда есть. Блок цилиндров — живот мотора. И номер на блоке ставится. Фрол почистил бензинчиком. Ага, вот и номер!

Мотор покорно и неловко покоился на стенде, как на операционном столе. Фрол обхватил его руками, поправил. Жалобно и мертвенно поблескивала кое-где оставшаяся краска. И только ярко и весело сверкали полости блока. «Подлечим тебя, подлечим! — сказал Фрол. — Не первой».

— Ну, как? — спросил Федор, подходя к нему.

— В порядке! Блок в порядке!

— Ну, считай, повезло. Давай попробуй. Арсений, говорят, его спить хотел. На переплавку.

— Черта лысого ему, а не переплавку!

— Ну, давай.

Федор отошел.

Фрол вставил поршни, поглядел валик. Плохой, заменить надо, а заодно и карбюратор со склада, и трамблёр. Крышку еще. Масляный насос. Да, повозиться придется! А еще два мотора, самое малое, делать. Только бы Арсений не придрался — скажет: план мне срываете.

И Фрол отправился на конвейер.

— Зря связался, Фрол Федорыч, — крикнул Сергей. — Намаешься.

— А тебе что? Ничего не зря.

Конвейер моторов шел. На постановке масляного насоса женщины разгружали тележку. Значит, простое больше не будет.

— Слушай, я у тебя валик возьму, — сказал Фрол парню-сборщику.

— Из ЛИДы, что ли?

— Из ЛИДы.

— Бери.

Фрол подобрал хороший валик. Крышку взял без спроса — не дефицит. Мимоходом стянул с тележки масляный насос, а то не дадут еще: бабы! Теперь нужен карбюратор и трамблёр. На складе надо достать — комплектовщица у него там знакомая, Соня.

Фрол зашел на склад. Склад был как раз рядом с серединой конвейера. Валик и масляный насос оттягивали карманы Фроловых брюк. Валик — черт с ним, а вот если насос увидят — скандала не оберешься.

— Соня здесь?

— Вон она, на фильтрах.

— Соня, здравствуй, — сказал Фрол.

В помещении склада было много тише. Можно было говорить, не надрываясь.

Услышав Фрола, Соня подняла глаза, но, увидев его, опустила их. У нее были хорошие, добрые глаза. И вся она была какая-то мягкая, ласковая и маленькая.

— Ну, как ты, Соня? — спросил Фрол.

— Да ничего, Фрол. Сам видишь.

Все на складе и в цехе знали, что Соня — мать-одиночка. Ее двух-летняя девочка оставалась с соседской бабушкой, когда Соня была на заводе. В обеденный перерыв вместо того, чтобы обедать, Соня убегала домой. Фролу она очень нравилась, и он, видимо, ей тоже, но все знали, что Соня держит себя очень строго, и многих смущала сначала, а потом и бесила эта мягкая ласковость и кажущаяся доступность Сони.

Фролу Соня часто снилась, он стыдился этих снов перед Валентиной, хотя, конечно, никогда не рассказывал ей. Но каждый раз после этих снов он чувствовал себя каким-то просветленным и часто находил причину, чтобы зайти на склад.

Как всегда, Фрол на секунду забыл, зачем он пришел, и, постояв, наверное, не меньше минуты молча, сказал:

— Слушай, Соня, как у тебя насчет карбюраторов? И трамблёр бы. Нужно, понимаешь...

Соня опять подняла глаза и посмотрела на Фрола. Его словно обдало теплой волной.

— Зачем тебе? — спросила Соня.

— Мотор такой, понимаешь, попался. Карбюратора и трамблёра нет.

— Сейчас посмотрю.

С Фролом она говорила негромко, ласково.

— Иди сюда, Фрол Федорыч. Достань.

Карбюраторы были на второй сверху полке, и, даже встав на табуретку, Соня не могла достать. На ее полных маленьких ногах были надеты стоптанные старые туфли. Она спрыгнула с табуретки. Колыхнулась ситцевая кофточка на груди.

Фрол шагнул на табуретку, она закачалась, он ухватился за полку и легко достал карбюратор. Только в глазах немного потемнело. Соня стояла и смотрела.

— А трамблёр? — сказал Фрол, сойдя с табуретки.

— А трамблёр, сам знаешь, на третьей.

Она все стояла и смотрела.

— Спрячь, а то увидят, — сказала она.

— Ничего, спрячу, — ответил Фрол.

И вышел.

Его оглушил шум работающих станков и визг автоматических коловоротов с конвейера.

И сразу Фрол вспомнил, что оставил крышку на складе. Вернулся.

— Крышку забыл...

— А? Ну, возьми.

И глаз не подняла — фильтры свои собирала.

Карбюратор, трамблёр, насос и валик — все это, разложенное по карманам, било по ногам и мешало идти. Здорово нагрузился! На конвейерных часах — десять минут двенадцатого. Двадцать минут — и обед. Провозился с двумя моторами! Небось третьего очередь подошла. А тут еще этот...

Он подошел к своему стенду в ЛИДе, выложил богатство. Да, во-лынка порядочная. Фрол огляделся.

Умейко, видимо, колдовал над третьим мотором. Сергей снял четвертый, Федор копался с третьим. Очередь его, Фрола. В окно ЛИДы медленно, таращась тупым поросычьим рылом, вползал мотор Фрола. Сейчас снимать. Едва-едва — и обед. Пока хоть валик поставить.

Фрол заторопился. На лбу выступила испарина: солнце и от моторов жарко. Пока мотор выползал ко второму стенду — первый и четвертый теперь у Фрола были заняты, — надо хоть поставить валик.

Руки Фрола, когда надо, работали умно: одна наживляла гайку, а другая уж коловорот искала. И знала не глядя, какой номер — не ошибалась.

Поставил валик, успел. И заторопился к мотору.

— Что, забегал? — спросил его Федор.

Фрол не ответил: некогда. Подтянул тельфер, подцепил, снял, поставил. В порядке, кажется.

Сразу снял крышку, глянул на клапаны. Правый крайний — впуск — и левый — выхлоп — недоверчены как пить дать. Подвернул на глаз. Остальные, должно, в порядке. Если да — время сэкономится. Так, теперь трамблёр. Карбюратор. Подводка... Нет, сначала масла в коробку передач налить... Порядок. Подводка: масло, бензин, вода сверху и снизу, выхлоп газов. Теперь зажигание. Контачит. Порядок! Можно пускать.

Семнадцать минут двенадцатого.

— Обедать пойдешь? — спросил он Федора.

— Пойду.

— Займи очередь, я задержусь. На, возьми. — Фрол протянул ему три рубля.

— Ладно.

И назад, к мотору. Ну, с богом! Поскрежетал стартер, маховик повертелся. Не тянет. Еще разок... Ага, то-то. Заиграет теперь. Мотор рванул, словно взорваться хотел, — перестарался Фрол Федорыч, слишком уж газку подбавил. Убавить теперь... Порядок. Клапаны вроде как в порядке... Теперь как давление. Пусть погрееется.

И к четвертому стенду, к «подкидышу». Слово такое пришло на ум. Так и назвать решил: «подкидыш». А время — двадцать минут. Еще обед не начался. Теперь спокойно. Хорошо, что давеча клапаны посмотрел — угадал точно! И голос ничего: чуть-чуть с подсипом. Но это еще пройти может. Вот только давление бы...

Теперь нужно коромысла навесить, с поршнями связь наладить. Крышку блока. Сцепление посмотреть, насос поставить, фильтры. Да, волыночка, будь здоров! Только начало еще...

Так и продолжался этот памятный Фролу день.

Всего он успел обкатать пять моторов. Да и не заметил, как вечерняя смена пришла в половине третьего. А «подкидыша» едва подсобрать успел — пришлось еще одну детальку менять, трубку маслопровода. Сплющена была очень. И не успел даже Фрол его на окраску отвезти — опять в уголок на старое место поставил, а чтобы вечерняя смена не взяла, да из ночной кто не позарился, бумажку навесил: «Мотор не брать, обкатка». И свою фамилию подписал: «Горчаков». А трамблёр с карбюратором Сашке из молодежной на сохранение отдал.

Помыв руки в масле, Фрол отправился в душ. Он не каждый раз ходил в душ после работы, но сегодня решил сходить. Несмотря на привычную усталость, он чувствовал сейчас какой-то подъем. Не зря день прошел сегодня: хорошо поработалось. И Соню видел.

В душе народу было полно. Едва-едва удалось найти местечко в раздевалке на лавочках. Но уж зато и весело тут, шумно. Васька Серый, со сборки, фотоаппарат купил — спрашивает всех, как снимать. Серега из цеха шасси про космос рассуждает. А в углу, у окон, обсуждаются вопросы политики.

С неторопливостью человека, хорошо закончившего свой рабочий день, Фрол Федорыч Горчаков раздевался. Он снял темный свой пиджачок, брюки, грубую рубаху, трусы, майку. И белокожий, жилистый, чуть выше среднего роста, с загорелым лицом и шеей, с узловатыми мускулистыми руками, взял холодный и мокрый резиновый коврик у парня, который уже зашнуровывал ботинки, и направился в душевую. Народу и так было много в раздевалке, галдели, а когда Фрол подошел к двери, она распахнулась, и из душевой с хохотом и матерком вывалилось человек пять здоровых ребят, а вслед им полетел и шлепнул одного из ребят по голой и мокрой спине тяжелый резиновый коврик. Парень, кудрявый и рыжий, с красной шеей, красными руками, гаркнул что-то злое и радостное и, похватав штук пять ковриков, бросился назад — на расправу. Фрол Федорыч подождал минутку, почесался в ожидании, и, когда рыжий парень, счастливый, видимо, тем, что ему хорошо удалось отомстить кому-то, выскочил назад, Фрол спокойненько открыл дверь и вошел в душевую. Здесь — в клубах пара, сквозь которые мутно и жалко посвечивали лампочки с потолка, в шуме воды, гоготе, плеске, шлепках и ударах резиновых мокрых ковриков по голому телу или просто по кафелю стенок душа, — шло сражение.

Причина этих веселых сражений заключалась в том, что душевая была как бы разделена на два отделения — неизвестно зачем — с двумя разными входами, причем бетонная стенка, разделяющая их, не доходила до потолка и до пола, так что, если подтянуться на руках или, наоборот, прилечь на пол, можно было видеть моющихся в соседнем отделении. И если там оказывался кто-то из знакомых, то очень интересно было запустить в него тяжелым и хлестким резиновым ковриком. Тот, разумеется, не оставался в долгу, и если в обеих половинах душевой подбирались хорошая компания, то картинка получалась очень даже веселая. Только Фролу это было, конечно, ни к чему, и сейчас, войдя в душевую, он даже расстроился поначалу: помыться как следует не дадут. Однако основными бойцами, видимо, были те пятеро с рыжим, потому что сражение уже утихало. Фролу лишь раз заехали ковриком по ноге, но не сильно — коврик был на излете.

Фрол начал мыться. Он пустил воду погорячее, чтобы сначала пропариться, и, блаженно вытянувшись, закрыв глаза, прислушивался к тому, как все его тело охватывает сладкая, бесконечно приятная истома, как растворяется, исчезает усталость, как упруго и громко бьют горячие струи по коже головы, а шею, живот, поясницу словно поглаживают и разминают чьи-то руки. Так можно бы стоять до бесконечности.

Мыло пенилось, остро пахло, лезло в нос, в уши, но рядом весело и бойко шипели спасительные горячие струи. Потом он включил холодную воду. Когда уже перехватило дыхание и словно ледяным обручем сковало поясницу, Фрол вышел из-под струи. На его место тотчас же вскочил другой, но, матернувшись, выскочил и стал поспешно, зло косясь на уходящего Фрола, прибавлять горячую воду. Фрол же, неся в одной руке мочалку с мылом, в другой коврик, спокойно и радостно выходил из душа в раздевалку, чувствуя, что усталости как не бывало.

И с таким же радостным чувством обновления Фрол вытерся, оделся и, предъявив в проходной пропуск, вышел с территории завода.

Было еще рано — начало четвертого — и светло, но солнышко скрылось: набежали легкие серые тучки. И уже подойдя к автобусной остановке и заняв очередь в длинном хвосте — разъезжалась по домам дневная смена, — Фрол вспомнил вдруг про Фенины три рубля и про то, как с утра он мечтал о магазинчике напротив завода.

И эта мысль, сама по себе приятная, сладкая, вдруг подняла в памяти и все остальное — как камушек, брошенный в илистый пруд, — и к блаженной здоровой пустоте после душа стало вдруг примешиваться старое: Валентина, вечерняя скука, странные какие-то отношения с Соней...

Если уж вспоминать все по порядку... Но ему не хотелось, конечно, вспоминать все по порядку, да и не нужно было. Фрол посмотрел на окна института напротив завода — по утрам они так красиво бывали освещены солнцем, а сейчас словно помутнели и заволоклись легкой вечерней дымкой. Автобусы, подъезжая, тяжело вздыхали тормозами, ждали устало, когда набьются в них до отказа люди, так, что не закрывались задние двери, и, надрывно сипя, кряхтя и выпуская сизые струи газа, перекосившись на одну сторону, продолжали свой путь.

Фрол постоял немного и отправился на ту сторону, к магазинчику: не пропадать же деньгам. И только шевельнулась где-то глубоко-глубоко неопределенная, тоскливая зависть к Ивану да Федору из ночной смены, к Федору-маленькому, к Соне — даже к Соне...

9

В магазинчике было довольно пусто. В аванс и особенно в получку в это время здесь не протолкнешься — хотя озабоченные, внимательно сосредоточенные жены и ловят в эти дни своих муженьков у проходной, выхватывая их цепким взглядом из любой толчеи, однако попадают и такие ловкачи, которым удается проскочить сквозь этот молчаливый и зоркий кордон, к тому же есть еще на заводе и холостяки, и вдовцы, и такие, как Фрол, женатые, да без присмотра.

Фрол постоял, подождал. Партнеров не было.

— Четвертинки есть, дочка? — спросил он у быстроглазой, лет семнадцати продавщицы.

— Нету, папаша! — радостно и бойко ответила га, будто этот радостный тон должен был утешить Фрола.

Что же делать? Фрол вытащил из кармана все свои деньги, пересчитал. Два рубля пятьдесят семь копеек. Пятьдесят ушло на обед из Фениной трешки, да семь копеек было. На пол-литра не хватит, да и много пол-литра. Около окошка в магазине стоял небольшой столик, потертый, с хлебными крошками. Фрол подошел к этому столику, постоял, привалившись к окошку, почесал свой небритый, щетинистый подбородок. Щетина вообще перла из него: бывало, побреется утром, а к вечеру подбородок уже колется, и Фрол поэтому брился раза два-три в неделю, не больше — все равно бесполезно, — и в ЛИДе все привыкли уже к тому, что Фрол Федорыч небритый, и не обращали внимания.

И тут Фрол опять вспомнил о моторе, который он так и не успел отладить, о «подкидыше». Что-то шевельнулось в его душе, стоило ему лишь припомнить, как он разбирал его, как увидел, что блок цилиндров чистехонек, и как потом ходил к Соне за карбюратором и трамблёр. «Завтра обкатаю», — решил Фрол, и на душе его стало еще теплее. Он уже хотел было уйти из магазина, чтобы пойти так помириться с Валентиной и, может быть, сходить с ней в кино куда-нибудь, как в магазин вошел Генка Петров из цеха моторов — длинный худой мужик, черный и говорящий басом.

— Здорово, Горчаков! — бухнул он. — Чего стоишь? — И, видя, что Фрол не двигается с места и раздумывает о чем-то, добавил: — На двоих, что ли? — И достал пустую четвертинку из кармана.

— Давай, — согласился Фрол.

Они купили бутылку «зубровки», и Генка отлил себе половину, а Фрол спрятал оставшиеся полбутылки в карман пиджака. «За «подкидыша» выпью», — подумал он. И усмехнулся виновато.

У Фрола было место, куда можно было пойти выпить — собственно, это место было не только для него: многие с получки заходили к Ивану Сергеичу, который жил по соседству с магазином в маленьком домике. И Фрол направился туда. Ему открыл сам Иван Сергеич — кудрявый, одноногий, на костылях. Иван Сергеич был членом инвалидной артели и чинил обувь на дому.

Сейчас же Иван Сергеич был трезв, как стеклышко, по крайней мере на вид. Он строго посмотрел на Фрола.

— Горчаков, ты, что ли? — сердито спросил он. — Заходи!

Трезвый Иван Сергеич всегда был сердит и ни к кому не обращался иначе как по фамилии. Во время войны он служил старшиной.

Фрол вошел в тесную кухоньку.

— Будешь со мной, Иван Сергеич? — спросил Фрол, выставляя свои полбутылки на столик.

Иван Сергеич тряхнул своей кудрявой головой и сказал, что не будет, однако остался. Это был неписанный закон, этикет: если приходил один с четвертинкой, он мог и не делиться с хозяином — достаточно было пустой бутылки, — и в таком случае на первое приглашение владельца бутылки Иван Сергеич отвечал отказом. Если бы Фрол предложил ему второй раз, то это значило бы, что сам Фрол хочет, чтобы Иван Сергеич выпил. И Фрол предложил:

— Давай, Иван Сергеич, подсаживайся.

И тут Фрол заметил, что Иван Сергеич не такой, как обычно. По глазам, по залаху он все-таки трезв, но держится как-то странно.

Когда они с Фролом выпили по первой, Иван Сергеич, угрюмо закусывая колбасой, сказал:

— У меня сын позавчера умер, Фрол Федорыч.

И хлюпнул носом.

И слегка уже опьяневший Фрол почему-то даже не удивился. Он только сразу почувствовал большую симпатию к Ивану Сергеичу и подумал из солидарности, что, может быть, лучше бы и его, Фрола, сын умер тоже позавчера, а не в пятьдесят девятом, как это было на самом деле. И чтобы как-то утешить Ивана Сергеича, Фрол дотронулся до его единственного колена и сказал:

— Ну, ты ладно... У меня ведь тоже, знаешь... Нету никого. У меня тоже сын умер. — И, видя, что это не утешило Ивана Сергеича, добавил неправду: — В прошлом году...

Фрол и все заводские, что бывали у Ивана Сергеича, знали, что тридцатилетний сын его живет с семьей на Севере, а пьяницу-отца и знать не хочет. Знали, однако же, и то, что Иван Сергеич сына своего любит и очень страдает: сын ведь даже и писем писать ему не хочет.

— Не простивши умер, — сказал Иван Сергеич и опять хлюпнул носом.

Валентина сначала дулась, а потом даже и кричала, что уйдет, что ей надоела такая жизнь. Фрол не слушал ее и не обижался, а только все повторял:

— Сын у него умер, понимаешь ты, нет? Сын...

На другое утро голова, однако, не болела, и первым ощущением его, когда он проснулся, было смутное сознание того, что кто-то ждет его, Фрола, помощи, кому-то он все-таки нужен.

И вспомнил он про Ивана Сергеевича и про его несчастье. Но что он мог сделать для него? Разве что подклянчить еще у кого-нибудь денег и зайти к нему после работы опять?

Валентина спала эту ночь на раскладушке — у них специально была раскладушка для таких случаев, — она еще не просыпалась, и, взглянув на нее, Фрол, как всегда, испытал мучительно острое чувство вины и жалости к ней.

У Валентины были жидкие русые волосы, завитые в парикмахерской, но сейчас растрепавшиеся во сне по подушке. Она спала спиной к Фролу, сжавшись в комочек, и в сумерках рассвета ему видно было только эти ее волосы и сиротливую, обтянутую одеялом спину. Фрол спустил ноги с кровати, стараясь не стукнуть голыми пятками. Вокруг все тотчас покачнулось, сделало попытку поплыть куда-то, но Фрол энергично встряхнул головой, и все послушно встало на свои места. Только словно струнка какая-то в голове дзенькнула и запела. Фрол поворочал шеей, чтобы заглушить струнку, но это не удавалось, только шее стало больно, и, прекратив это занятие, со звенящей в голове стрункой Фрол встал, почесался и подошел к Валентине. Она и вправду спала.

Он постоял в трусах и майке над нею, посмотрел с умилением и, наклонившись, два раза тихо-тихо поцеловал ее голову, ее трогательно жидкие, растрепавшиеся волосы. Проснись она сейчас — он застеснялся бы этой нежности, но она спала. И опять захотелось ему плакать отчего-то, даже защипало в глазах. Он поцеловал ее еще раз. Но Валентина, но ли во сне, то ли проснувшись и вспомнив тотчас вчерашнюю свою обиду, пробормотала что-то и, натянув на голову одеяло и устроившись поудобнее, продолжала спать.

И Фрол отошел — теперь он чувствовал себя немного обиженным — и принялся одеваться.

Фрол вышел из дому (они жили на первом этаже в новом доме) и, пока шел к заводу — можно было проехать две остановки автобусом, а можно пешком за пятнадцать минут, — опять почувствовал какое-то странное ощущение, от которого давно отвык, но которое, однако, было ему чрезвычайно приятно.

Ему хорошо шагалось — только струнка продолжала чуть-чуть звенеть, — и оттого, что на улице было прохладно и навстречу дул легкий утренний ветерок, Фрол вдруг почувствовал себя свежо и бодро, а утренняя какая-то хмарь улетучивалась очень быстро. И по мере того как Фрол приближался к заводу, он незаметно для самого себя все убыстрял шаги, а к проходной подлетел даже слегка запыхавшись.

И только пройдя вахтера, приближаясь уже к дверям цеха, он вдруг понял, почему он так торопится.

При входе в цех Фрола слегка оглушил и тем самым как бы перенес в другой мир шум работающих станков, хотя шум этот был еще не очень сильный, потому что утренняя смена еще не начиналась — копошились только наладчики.

Фрол быстренько добрался до ЛИДы, вошел и, увидев на месте свой вчерашний мотор, «подкидыш», — даже бумажка была цела, — вздохнул, успокоившись.

Все так же был жалок его вид: ржавый, серо-бурый, он лежал, покосившись неуклюже на один бок, и странным казалось его присутствие здесь, среди новеньких, сверкающих серебристой краской двигателей. Но Фрол обрадовался ему, как старому своему знакомому, он погладил его по шершавому бурому боку, вытер пыль с крышки, которую привинтил вчера.

Он хотел тут же поставить его на стенд, пока еще не началась смена, однако, оглядевшись, заметил, что все стенды заняты, подвесной конвейер стоит, а Иван с Федором, как всегда, еще возятся со своими моторами — у Ивана работало два, у Федора один. Фрол подошел к ним по очереди — сначала к Федору, потом к Ивану, — поздоровался и у Ивана спросил:

— Сколько сдали?

— Двадцать семь с этими, — ответил Иван.

— Ого! А ты сам сколько?

— Восемь.

Фрол отошел.

Он вышел из ЛИДы, сел к баку и закурил. Сегодня курилось хорошо, и Фрол не спеша, шуря глаза, потягивал дым. Он прикидывал, как бы ухитриться ему сегодня позаниматься с «подкидышем», потому что конвейерщики, видимо, взялись за дело, иначе ночная смена не могла бы сдать так много. Конец месяца — не шутка. Двадцать восьмое число. «Подкидыш» заметен, и если поставить его на стенд и возиться, а моторы будут идти, — Арсений Самойлович обязательно заметит, и тогда уже Фролу несдобровать — накричит.

Может быть, самому покрасить?

На покраске моторов работал дядя Коля. Работа его, конечно, была не из приятных: краска из распылителя летела не только на мотор, но и в стороны, оседала вокруг в кабине, так что владения дяди Коли были словно посеребрены инеем. Да и сам он был похож на елочного гнома: серебристыми были даже брови и верхняя губа под носом. Он любил работать без маски, хотя маска полагалась, и, окрасив несколько моторов и надышавшись ацетоновой краской, он выходил, садился рядом со своей кабиной и курил — дышал теперь папиросным дымом.

Если его попросить, он, конечно, покрасит, думал Фрол, но пока он придет, можно бы уж покрасить и самому, а один из стендов освободить — мотор на пол поставить. Фрол подошел к владениям дяди Коли, попробовал включить распылитель: воздух пошел, однако краски не было, краску привозят к началу смены.

Он стал думать о том, чем он может все-таки помочь Ивану Сергеичу. И ничего не мог придумать.

Скоро, как и вчера утром, появились и другие испытатели: Федор-маленький и Умейко сидели уже рядом с Фролом. Послышался зычный голос Арсения Самойловича. Фрол встал и пошел в ЛИДу — он так ничего и не придумал насчет Ивана Сергеича.

Первым делом Фрол освободил стенды. Для этого он составил к стене моторы, которые обкатала ночная смена. Подвесной конвейер пока стоял, и в ЛИДе на нем не было ни одного мотора: Иван с Федором все подчистили. Значит, всем четверым придется ждать минут пятнадцать. Однако Арсений Самойлович забеспокоился.

— Горчаков, Сергей, Дуганов! — закричал он от двери. — Везите на тележке — так не дождетесь.

«Плохо дело, — подумал Фрол. — Не успею». Пришлось снимать с конвейера моторы, не доехавшие до ЛИДы, ставить их на тележку по

одному и возить к стендам. Снимали вручную — Сергей с Федей приподнимали висящий мотор, Фрол отцеплял крючки, и втроем они опускали мотор на тележку. Едва успели снять и отвезти два мотора — конвейер пошел. Третий и четвертый снимали уже с движущегося конвейера. «Попотеть придется», — думал Фрол.

Двадцать восьмое число — не шутка, когда план горит.

Однако Фрол знал, что верти не верти, а больше, чем тридцать моторов, они не выдадут, а восемь моторов на обкатчика был предел. Это знал и Арсений Самойлович. Только в ущерб технологии можно было дать больше — только в том случае, если обкатывать их меньше положенного. И это еще при условии, что не будет серьезных дефектов сборки.

И началось...

Тут уж не до «подкидыша» было Фролу. Он едва успевал оглядываться на конвейер и только подсчитывал, когда идет его, Фрола, очередной мотор. Даже Умейко на этот раз не улыбался, ссупив брови, работал ключами, и ничего конфузного с ним не происходило. Горел план: Феня сказал, что вчера на партсобрании цех взял обязательство на сто пятьдесят моторов сверх плана до конца месяца, а им и до старого плана на двадцать восьмое моторов семьдесят не хватало. Вообще же суточный план был пятьдесят моторов, а до конца месяца оставалось четыре дня. Значит, за четыре дня нужно было собрать двести плановых, семьдесят недостачи да сто пятьдесят по обязательству. Итого — четыреста двадцать моторов, по тридцать пять моторов за смену на четверых. Или по девять моторов на каждого при плане четыре. Вот тут и подумай, и пораскинь мозгами...

Однако ни думать, ни раскидывать мозгами некогда было. Конвейер шел, моторы на стендах дрожали, подпрыгивали, и четверо испытателей работали ключами, коловоротами, а иногда — чтоб быстрее — молотками. К обеду, к остановке конвейера, каждый, кроме Сергея, сдал по четыре мотора (Сергею один бракованный попался, и он сдал три), и по два у каждого проходили первичную обкатку.

И только после обеда, когда, наскоро проглотив обед, они все четверо — всей бригадой — вернулись в ЛИДу, вышла передышка: опять что-то случилось на участке масляного насоса. Арсений Самойлович убежал куда-то выяснять. Все четверо, наскоро закончив еще по одному и запустив по следующему, сели к баку покурить.

12

Было сдано девятнадцать моторов, еще четыре будут готовы после вторичной обкатки, можно было считать — двадцать три. Еще двенадцать, если по новому плану. А времени оставалось два с половиной часа. При всем старании — восемь моторов на четверых.

— Кому это обязательство нужно? — сказал Сергей.

— Раз приняли — значит, нужно, — отрезал Умейко. — Тебя не спросили.

Умейко курил дешевые, по десять копеек, сигары.

— Дурак, сам же больше получишь, — добавил он.

— А нас почему не спросили? — сказал Сергей.

— Спросят. Митинг будет — и спросят.

— Сначала приняли, а потом спросят, понял? — пояснил Умейко и улыбнулся.

Все замолчали.

«Встану посмотрю», — подумал Фрол. Он неловко как-то поднялся — хрустнуло в пояснице — и, не говоря ни слова, не разогнувшись до

конца, зашагал в ЛИДу. Все видели, как Фрол пошел не налево, к стендам, а направо, к Фениному столу и к тому месту, где лежал его вчерашний необкатанный мотор.

— Горчаков все со ржавчиной возится,— улынулся Умейко.

— Не пропадать же,— сказал Сергей.

— Да, понравился он ему,— добавил Федор.

Фрол потрогал мотор — «только бы никуда не унесли, черти!», — поправил бумажку, которую прицепил вчера. Хоть бы постоял конвейер минут двадцать еще... Может, постоит?.. Опять надо Федю просить.

Фрол направился к стендам, снял один обкатанный, но не принятый еще Феней мотор — на дальнем от входа стенде, четвертом, — и пошел к Федору.

— Федя, подмогнешь? — спросил он, подойдя к баку.

— Ты что, Фрол Федорыч, офонарел, что ли? — засмеялся Умейко. — Тебе чего не хватает?

— Не в этом дело. «Офонарел!» Возьмут его — понимаешь, нет? На запчасти возьмут.

— Ну и пусть берут, — сказал Федя. — Охота тебе возиться?

— Раз беру — значит, охота, — сказал Фрол.

И только Федор-маленький молча затынулся еще несколько раз из оставшегося бычка, обжигая пальцы, и, бросив совсем крохотный окурок в песок бака, сказал:

— Пойдем, Фрол Федорыч.

«Спасибо», — подумал Фрол.

— Только смотри, как бы Арсений не увидел. Влетит, — добавил Федор, когда они подтаскивали мотор к тельферу. — Подождал бы...

— Четыре дня запарка будет, — ответил, кряхтя, Фрол. Он теперь боялся момента, когда придется разогнуться — это был застарелый радикулит, он то пропал совсем, то вдруг неожиданно появлялся, и всегда в самые неподходящие моменты. — А за четыре-то дня, знаешь... — добавил он, крякнув.

— Ну, смотри.

И Фрол поставил «подкидыша» на четвертый стенд.

И в этот момент пошел конвейер.

Фрол засуетился. Первым делом он снял готовый мотор со второго стенда — Феня и на полу проверит — и таким образом освободил место для очередного. Это был резерв. «Сволочи, не могут по лишнему стенду поставить!» — подумал он. И действительно, испытатели давно твердили Арсению, чтобы тот сказал на оперативке, и Арсений Самойлович говорил, однако пятые стенды только обещали. «Только и умеют, что обязательства принимать, — брюзжал про себя Фрол. — Их сюда бы сейчас. Покочевряжились бы...»

«Может, сходить к дяде Коле?» — мелькнуло у Фрола, когда он подводил масло. Однако некогда было ходить. Сергей снял положенный ему очередной мотор, а конвейер все шел, все полз неудержимо, и наступила очередь Фрола. Фрол хватанул тельфер — с налета чуть не ударил себя по зубам, — подцепил мотор, снял, поставил. Хорошо еще, что стенд освободил раньше.

В дверях ЛИДы показался Арсений.

Он посмотрел на испытателей и вышел.

«Пронесло, — подумал Фрол. — Слава тебе, господи!» Он быстренько подключил новый мотор, подвинул на глаз клапаны, фильтр проверил — «пронеси, господи!», — включил. Завелся.

И побежал к спрятанным у Сашки карбюратору и трамблёру.

По дороге забежал на склад.

Сони не было.

— Где Соня?
 — Нету. Больна.
 Вот тебе и раз!
 — Не может быть, вчера же...
 — Вчера работала, сегодня не вышла. Скарлатина у девочки, понял?

«Больна. Девочка больна!» Фрол даже покраснел отчего-то.
 Он вернулся в ЛИДу.
 Теперь на трех стендах у него работали моторы и лишь на четвертом, последнем, лежал «подкидыш».

13

Один у Фрола прошел вторичную — можно отключать. Пять моторов всего. Один — на остывание и отладку.

И Фрол принялся за «подкидыша».

В ЛИДу вошел Арсений Самойлович. Фрол ставил карбюратор и поглядывал на начальство. Арсений Самойлович подошел к Фене — видно, справился, сколько. Отошел. Оглядел испытателей. И — к Фролу.

— Что это у тебя? Не покрасили?!

— Вчерашний, — бросил Фрол, не поднимая головы. — Из экспериментального.

— Что?! Его ж на запчасти. Зачем ты с ним возишься?

Фрол спокойненько довинтил карбюратор. Принялся за трамблёр.

— Сколько сдал? — спросил Арсений.

— Пять сдал, два долеживают.

— Снимай, потом займешься.

— Не сниму.

— Ты что, Горчаков?

— Я свои и так успею.

— Я тебе говорю — снимай.

Сейчас Арсений говорил негромко, но по коже у Фрола ветерок заходил.

Сергей бросил работу, подошел. Умейко посматривал со своего ряда. Только Федор-маленький копошился с мотором, не замечая.

— Мало сдашь — смотри, — сказал, постояв, Арсений. И отошел.

— Брось ты его, — сказал Сергей. — Зачем связался?

Фрол регулировал трамблёр.

Наверное, в первый раз в своей жизни Фрол Федорыч Горчаков пошел наперекор начальству.

Но запустить мотор до конца смены он так и не успел. Хотя и удалось все собрать и отрегулировать приблизительно, однако, как ни надрывался стартер, мотор не заводился. А тут еще подвесной конвейер, который шел, не останавливаясь. Вконец измученный, с не разгибающейся до конца спиной, Фрол после смены решил опять идти в душ.

Сдали они в этот день тридцать один мотор. Все, кроме Сергея, по восемь моторов. И Фрол.

После душа спине полегчало. Когда Фрол вышел из цеха, на заводском дворе в разгаре был митинг. Выйти, протолкаться к проходной было невозможно. Фрол прислонился к Доске почета — среди других фотографий здесь висела и фотография Дуганова, Федора-маленького, — и стал смотреть и слушать

Рядом с ним никого знакомого не было.

У заводских ворот наскоро сколотили трибуну, и теперь за столом под красным сукном на возвышении сидели директор завода Груздев, парторг, несколько начальников цехов и еще кто-то — видимо, от гор-

кома. Заканчивал свою речь начальник цеха сборки Бубнов. Издалека он казался маленьким, однако над толпой гремел его голос, умноженный несколькими динамиками.

Фрол переступил с ноги на ногу. Он почти не слышал, что говорит оратор, он думал о Соне. Сходить или не сходить? Можно подарочек — мишку какого-нибудь, конфеты... Скарлатина. Да, не сладко.

На трибуне говорил уже кто-то новый. Ба, Федор-маленький! Он говорил хорошо. Слушали. Он говорил что-то против войны. «Ай да Федя!» — думал Фрол.

Кончил Федор. Ему захлопали дружно.

За Федором выступил еще только один оратор — парторг цеха шасси.

— ...Все, как один! — так закончил он свое выступление.

Все подняли руки. И Фрол поднял руку.

14

Во дворе, когда Фрол пришел, уже собрались за столиком мужики. «Козел», конечно, домино. В карты нельзя — штрафовали.

Был здесь таксист дядя Петя — у него всегда водились деньжата; и дядя Саша, Александр Степаныч, за которым всегда кто-нибудь присматривал из окна — бабка, теща, дочь; и Павел, который вот уже лет пять собирался развестись с женой, которая била его, и страшно трусил однако; и Сев Сергеич — интеллигент, владслец «волги»; и токарь Славка Жуков — ему везло: жена второй раз подряд приносила ему двойню, почему, собственно, и дали ему квартиру в этом новом доме; и пенсионер Гринин, бывший учитель. Фрол постоял, послушал. Отошел. Зашагал к скверу.

Весь этот оставшийся вечер Фрол опять думал о Соне, о дочке ее, которая — надо ж ведь! — заболела («Может, к ней сходить все-таки, помочь чем? Нет, неудобно как-то... еще поймет не так... а хорошо бы дочке подарочек, да и Соне заодно тоже... завтра не выйдет на работу — адрес в отделе кадров узнаю...»), и об Иване Сергеиче.

И на сквере, глядя, как играют дети, и дома, ложась рано спать, он задумался: «Как-то там «подкидыш», не украдет ли вечерняя смена?»

А наутро Фрол встал просвеженный, бодрый, даже поясница у него прошла, — и опять он был великодушен, и все был готов простить и себе и Валентине, и начать, может быть, даже жизнь по-новому, если бы она только ответила на его ласку. Но Валентина опять сделала вид, что спит, и Фрол, умывшись по-быстрому, взяв только кусок хлеба из буфета, отправился на завод.

«Подкидыш» был на месте.

Фрол пришел на полчаса раньше времени, однако ему повезло: конвейер стоял. Ночная смена уже сдала тридцать моторов — дали разрешение на меньший срок обкатки, — но на сборочном конвейере случился простой: не подвезли вовремя поршни.

Фрол снял один из моторов Ивана и поставил «подкидыша». Затем он отправился к окрасчику из ночной смены и налил в баночку краски.

— Воняешь здесь! — недовольно буркнул Иван, когда Фрол принялся за окраску.

Фрол начал с блока цилиндров, корзинки, коробки передач и удлинителя, а потом подцепил «подкидыша» тельфером и на весу окрасил его масляный картер. От краски саднило в горле, но «подкидыш» преобразился на глазах, и вскоре он уже висел перед Фролом новенький, сверкающий самолетной краской, нарядный — словно детская игрушка на

елке. Закричал Иван — ему понадобился тельфер. Фрол опустил «подкидыша» на стенд, отдал тельфер Ивану и, взглянув еще раз на свою работу, вышел курить — десять минут осталось.

Появились Федор-маленький с Сергеем, Арсений Самойлович. Опоздал Умейко.

Двадцать девятое число — не шутка. Фрол снял «подкидыша» со стенда и поставил к стенке: торопиться некуда, подождем.

И только после обеда, слав, как и вчера, пять моторов, Фрол осторожно поставил свой новый мотор на свободный стенд — вышел простой конвейера — и, отрегулировав все, что только можно было, — вчера он не заметил пустячную неполадку — присоединил масло, воду, ток для трамблёра. Включил стартер.

И нажал на рычажок карбюратора.

Мотор поупрямился, попрыгал немного, пофыркал недоверчиво, вздрогнул наконец как-то по-особенному, отчего у Фрола вдруг часто и сильно забилось сердце, заработал сам — плавно, мощно, — задрожал, набираясь сил, запел... И, обойдя мотор, подойдя к нему со стороны выхлопного коллектора, Фрол вдруг лицом, руками, грудью ощутил здоровое свежее тепло, исходившее от него.

«Подкидыш» ожил.

Фрол обкатал его вместе с другими моторами, нарочно стараясь не отдавать ему предпочтения перед другими, позвал Феню, чтоб принял, снял затем «подкидыша» тельфером, ловко подцепив за прочное устье выхлопного коллектора, подвел к конвейеру, продел крюк конвейера в ушко на блоке, укрепил удлинитель, отцепил тельфер. Мотор качнулся несколько раз, повис и пополз к отверстию в потолке ЛИДы — на главный конвейер сборки.

— Давай-давай, ползи... Ступай, — сказал Фрол с внезапной бодростью и похлопал его по теплому боку. — Ступай-ступай, сынок, ничего...

И только проводив его глазами до выходных ворот ЛИДы и взглянув в последний раз на его серебристую корзинку, на картер, похожий на приплюснутый рыбий живот, на карбюратор, который выделялся своим зеленоватым некрашеным металлом, Фрол вздохнул и огляделся.

Его ждала работа.



И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ

★

ИЗ ТАЙМЫРСКИХ ЗАПИСЕЙ

В конце сороковых годов мне случилось участвовать в большой экспедиции, обследовавшей последнее «белое пятно» на географической карте Советского Союза. Несколько месяцев провели мы на берегах Таймырского озера, в обширных районах северной оконечности евразийского материка, куда исследователи еще не проникали.

Не знаю, какие перемены произошли в этой далекой стороне, но не сомневаюсь, что и до сего времени сохранилась чудесная красота родины птиц, в которой мы были первыми гостями.

Таймырское озеро

Почти в самом центре полярной неисследованной страны раскинулось величайшее в Арктике Таймырское озеро. С запада на восток оно протянулось длинной, сверкающей, затейливо изрезанной полосой. К южным отлогим берегам примыкает обширная полярная тундра с бесчисленными озерами и холмами. На севере возвышаются каменные останцы, за ними — на фоне холодного неба — маячат горные хребты Бырранга. Сюда, на северные берега озера — в простершуюся за ними холодную пустынную страну, — до последнего времени человек совсем не заглядывал. Только немногим путешественникам удалось полюбоваться издали загадочным хребтом Бырранга, сказочные вершины которого виднелись на горизонте. Лишь по течению рек Верхней и Нижней Таймыры изредка можно встретить следы пребывания человека. Здесь находили древние нганасанские могилы, остатки первобытной утвари и снаряжения; весенние воды приносили с верховьев рек и выбрасывали на каменистые отмели деревянные поплавки от сетей, поломанные весла и прочие принадлежности охотничьего обихода.

В восточной, отдаленной части Таймырского озера исследователи еще не бывали. Нам предстоит заманчивая задача — совершить первый рейс в эту неведомую часть озера, осмотреть и изучить берега, измерить и обследовать глубины и дать названия открываемым рекам и озерам.

Казалось бы, так просто дать названия вновь открываемым рекам, горам, ручьям и озерам. А на деле это совсем не легко. И мы долго ломаем головы, помогая топографам, составляющим подробную карту постепенно изучаемых, доселе неведомых площадей и пространств, — и почти ничего не можем придумать. На карте появляются обычные, иногда удачные, иногда бесцветные названия и имена¹. Встретил пу-

¹ Не этим ли самым объясняется плоская бесцветность названий множества американских селений и городов, которым выходцы из Европы, заселяя новые пространства, искусственно «пришивали» вывезенные с родины старые, знакомые имена?

тешественник на вновь открытой реке зайца — стала река Заячьей, увидел стаю волков — Волчьей. Нашли на горе ботаники редчайший реликтовый папоротник — назвали гору Ботаническая. Ручей, на котором был найден прекрасного качества каменный уголь, получил название Угольный. И уж неведомо почему появилась гора Медвежья, где якобы видели следы медведя, пребывание которого здесь почти невероятно. Есть гора Придорожная, Ушкан-гора (ушкан — заяц).

На геологической новой карте, как на медленно проявляемой фотографической пластинке, появляются новые, неизвестные подробности и детали. Как снег в тундре — медленно, с краев, — тает «белое пятно».

Конец весны

Чудесный голубой день, чистое небо, зеркальный воздух, глубокая прозрачная тишина! Наконец-то — в начале июня — и в этой холодной стране наступила весна, близится короткое полярное лето. После весенних праздничных игр наступили будние дни забот. Звеневшая бесчисленными голосами токующих птиц, пустынная тундра замолкла, — в их жизни пришла хлопотливая пора гнездования. Белоснежные брачные наряды самцов-куропатов поблекли. Скромные самочки переоделись в домашние платьица, будничным цветом своим неразлично слившиеся с буровато-желтой раскраской тундры. Пышным свадебным нарядом еще по-прежнему красуются самцы гаг-гребенушек, изредка пролетающие над пустынными каменистыми берегами, да в праздничных костюмах, в нарядных кружевных воротниках разгуливают длинноногие щеголи — турухтаны. Куда-то попрятались, рассыпались суетливые кулики. Поделив безбрежные просторы тундры, птицы разбились на пары. Как бы охраняя покой умолкнувшей тундры, на вершинах пустынных холмов и останцов недвижно маячат полярные совы — бессонные часовые. Из-под ног путешественника то и дело выбежит, припадая к земле, куропатка-наседка, да сорвется с гнезда и, как подстреленный, тут же упадет на землю крошечный куличок. Стараясь отвести незваного посетителя от своего гнезда, притворившись беспомощным, куличок куврыкается у самых ног путешественника, как бы приглашая дотронуться до него рукою. С улыбкой наблюдаю уловки маленького хитреца. Осторожно смотрю под ноги. Среди разноцветных камушков береговой осыпи даже на близком расстоянии трудно разглядеть крохотные яички. И цветом и формой эти лежащие на голой гальке яички так похожи на окружающие их мелкие камушки, что даже зоркому хищнику не всегда удается их заметить.

Бродя по тундре, наблюдаю множество удивительных явлений. Вот из-под самой ноги путешественника, наступившего на мокрую кочку, выскочил, злобно заверещал лемминг — бесхвостая полярная мышь-пеструшка. С какой поразительной храбростью бросается она на сапог путешественника, случайно нарушившего покой зверька! С яростным писком подскакивает зверек над землею. В этом писке — отчаянная угроза, готовность бороться за жизнь с врагом. Стараясь не повредить скрытого в кочке гнезда пеструшки, тихонько отступаю от храброго бойца, привыкшего ждать опасность со всех сторон.

Над простором тундры низко летят дикие гуси. Слышу знакомые голоса, вижу стайки пролетающих птиц. Сделав круг, дикие гуси присаживаются на жировку. Мне видны длинные вытянутые шеи, их туловища, скрывающиеся за кочками тундры, поросшими мхом и полярной березкой.

Вот у основания каменной россыпи пробирается покрытый ключьями вылинявшей шерсти песец-крестоватик. Долго слежу за уловками зверя, почуявшего лакомую добычу. Прячась за обломками камней, тихонько пробирается хитрый разбойник. Вижу лисью мордочку, лисьи вострые ушки. Иногда он останавливается, как бы прислушиваясь, приглядываясь к спокойно жирующим гусям. Но нелегко поймать осторожного и чуткого гуся в открытой тундре. Слюнки текут у прожорливого песца. Сделав прыжок в сторону, он придавил лапами выскочившую пеструшку и, скрывшись в промоине, занялся обедом. Хищного разбойника заметили чайки-поморники, зорко охранявшие свое гнездо. С громкими криками вьются они над каменной россыпью, в которой затаился песец. Мне хорошо видно в бинокль, как птицы взлетают, круто падают на спину зверя. Отбиваясь от птиц, песец сгрызается, шелкает зубами, но смелые поморники настойчиво преследуют врага. Спасаясь от них, песец прибавляет ходу, и я еще долго вижу, как в просторах тундры мелькает его подвижная легкая тень.

Пара черных поморников кружится над моей головой. Смелые птицы нападают с такой решительной настойчивостью, что приходится прикрывать голову от их ударов.

* * *

Мой наблюдательный пункт — у подножия каменного останца, одиноко возвышающегося над необозримыми просторами тундры. По охотничьим приметам, здесь должна пролегать «трасса» пролета диких гусей, отлетающих на линьку в восточные районы Таймырского полуострова. С отлогого склона останца открывается обширный вид на Таймырское озеро, на уходящие в прозрачную даль пустынные извилистые берега. Направо и налево расстилается холмистая безбрежная тундра. С ружьем в руках я сижу на обломках выстрившегося останца, украшенных разноцветным узором лишайников. Необычайное чувство одиночества владеет здесь человеком. Чувствую себя в глубине пустынного, безлюдного мира. Охотничье ружье лежит на коленях. Слышу близкие голоса птиц. Косяки гусей пролетают над моей головой. Десятки тысяч лет назад также раздавались здесь эти спокойные голоса.

* * *

У берегов озера тундра оголилась, кое-где ярко белеют пятна снега. Но еще крепко держит ногу нарастающая, твердая мерзлота. Всюду звенят ручьи, шумят весенние речки, пробивая путь в наполненных снегом глубоких распадках. В снежных размывах гремят живописные водопады. На озере еще стоит лед, местами уже посеревший; в образовавшихся глубоких заберегах уже просвечивает покрытое камнями дно. Любители рыбной ловли ночью и днем таскают жмушущую к берегу рыбу. На мокром рассыпающемся льду лежат огромные рыбины с красноватыми плавниками, еще не успевшими поблекнуть. Это последние дни подледного зимнего лова. В западной своей части, где впадает река Верхняя Таймыра, озеро, по-видимому, уже расчистилось, и со дня на день можно ждать общего ледохода. Но по-прежнему плотен и толст в своей подводной части образовавшийся за зиму лед, и кажется, нет такой силы, чтобы сокрушить, поломать железную его толщину.

Чаще и чаще появляются в небе кучевые пухлые облака — верный признак близкого лета. Но и эти высокие облака, сочетаясь с суровым ландшафтом страны, кажутся незнакомыми.

* * *

Так редки в этой суровой стране ясные и тихие дни, и тем более милы, чудесны редкие улыбки полярной природы!

После такой ясной улыбки опять хмурится небо, злобно свистит ветер. Под напором холодного ветра стены жилища колеблются.

Но и в злобном дыхании ветра чувствуется близость полярного лета. Набухает, темнеет на озере лед, в образовавшихся заберегах ходят и пенятся волны. Не обращая внимания на дурную погоду, завятые рыболовы продолжают таскать на крючки рыбу. В озере с каждым днем прибывает вода. Препраждая путь путешественникам, по всей тундре гремят, разливаются холодные бесчисленные ручьи и потоки.

Ветер, ветер! Низкие темные облака. Серая гладь озера и холодная зеленоватая вода в открывшихся заберегах. Птицы точно попрятались, примолкли. Редко-редко, сбиваемый ветром, протянет над берегом гусь да покружатся и исчезнут неведомо куда чайки. В тундре звенят ручьи, ярко сверкают пятна снега. За тридцать дней на глазах наших произошли замечательные превращения...

Есть в этих днях особенное время затишья, когда, как бы утомившись, живая природа вдруг засыпает. Все как бы примолкает, настораживается в природе, нерушимая стоит тишина. Особенное чувство испытывает в эти дни человек. Растут-поднимаются на глазах травы, сладостно пахнет земля, цветы распускаются.

Первый дождь

Утром, «на рассвете» (здесь, разумеется, совсем неуместно это обычное выражение: день и ночь по свету почти не различаются и о времени «рассвета» мы узнаем по карманным часам), сегодня первый настоящий дождь барабанил по крыше. Этот знакомый приятный звук напомнил вдруг детство, деревню, теплое лето — быть может, поэтому так крепко и долго спалось, легкие, детские снились сны.

Одевшись, отворил дверь и вышел на волю. Так обрадовали вошедшие с ветром запахи пробудившейся земли! До сего времени я был уверен, что тундра бедна ароматами. Опытному наблюдателю природы странным казалось почти полное отсутствие запахов в необычайно чистом, прозрачном воздухе полярной страны. Оттаявшая под лучами солнца земля почти не пахнет, а веющий в лицо ветер обычно не наносит знакомых, тревожащих нас запахов весны. Здесь не почует путешественник и неприятного запаха тления — в чистом холодном воздухе ничто не разлагается, ничто не глеет...

Сегодня после первого дождя впервые я узнал аромат тундры. Ветер тянул над обмытой дождем, покрытой скудной растительностью тундрой, и в его дуновении я почувствовал очень знакомый смолистый запах багульника, земли, болотной мокрой листвы.

Вдыхая запахи пробужденной земли, берегом озера я ухожу в тундру, поразительно изменившуюся в течение одной ночи. Неузнаваемо было и посиневшее до черноты озеро: толстый, двухметровый лед вздувался, просачиваясь сквозь береговую гальку, бесчисленные бежали ручьи. Но уже наступила настоящая, подлинная полярная весна, которую мы так нетерпеливо ожидали. И вместе с весной наступало время полной распутицы, невозможности двигаться на вездеходах внутрь горной страны, которую пересекали теперь бесчисленные бурные потоки, наполненные водой и снегом глубокие распадки, куда, как в волчью яму, может провалиться тяжелый вездеход.

Птицы

В живой природе полярной страны все как бы торопится захватить короткое лето. В прозрачных ледяных «тепличках» мы находили распустившиеся растения и, несмотря на пургу и жестокие морозы, наблюдали над снежной тундрой первых крылатых разведчиков-птиц, спешивших иногда лишь для того, чтобы погибнуть.

Так велика у перелетных птиц тяга на свою холодную родину, что их не останавливают тяжкие лишения и опасности, огромное пространство.

Необычайно быстро проходит у птиц весенняя «красная горка» — веселое время спаривания и брачных игр, ради которых самцы оделись в праздничные одежды. Не успеешь налюбоваться на игры птиц — у хлопотливой самочки уже заложено гнездо, искусно прикрытое сухой травой. Даже острый глаз хищника не всегда разглядит сидящую на гнезде птицу, расцветкой своего оперения слившуюся с растительностью тундры.

Еще пролетают над замолкающей тундрой холостые гуси-самцы. Нетрудно приманить и застрелить одинокого гуся, подыскивающего себе подругу. Пролетающий гусь непременно сделает круг и приблизится к стрелку, размахивающему над головой руками. Налетевшего гуся приходится стрелять накоротке, и разве уж самый неопытный стрелок делает промах, выцеливая крупную птицу, столбом взмывшую в небо. Но и гуси-одиночки пролетают все реже и реже. Только по-прежнему стоит от бесчисленных куликов, населивших все безграничное пространство тундры. В голосах птиц преобладают мирные, тихие звуки. Бурное время весны, соревнования самцов и веселого красования промелькнуло. Его сменили будни насиживания, накопления сил и выращивания потомства.

Под сухой круглой кочкой, покрытой бурой травой, я нашел гнездо куропатки. На соседней кочке сидел белоснежный самец-петушок, отчетливо выделявшийся на буром фоне тундры. В нем уже не оставалось грациозной живости, задора и красоты, которыми недавно мы так любовались. Утомленный весенними играми, петушок сидел понуро и неподвижно. Он равнодушно следил за моими движениями, не выказывая ни малейшего беспокойства. Я подошел вплотную к неподвижному петушку, и мне показалось, что птица ранена, не может летать. Я протянул руку — петушок вспорхнул. Распахнув крылышки, он тихо летел над самой землей, как бы приглашая меня за собою. Хорошо зная повадки птиц, точно таким приемом отводящих от гнезда хищников, я направился, внимательно смотря под ноги, в противоположную сторону. Охотничья догадка оправдалась. Я ступал со всею осторожностью, разглядывая под ногами каждую кочку, каждую пядь земли. Как ни старался я разглядеть замаскированное гнездо — все старания были напрасны. Так и не удалось бы мне найти искусно скрытое гнездо, если бы я не наступил ногою на кочку. Под этой кочкой, покрытой прошлогодней бурой травой, в замаскированном гнезде таилась и пряталась наседка. Желтовато-серенькая курочка сидела в гнезде, прижав головку, поглядывая на меня блестящим черным глазком. Нагнувшись над гнездом, я попытался осторожно погладить притаившуюся наседку. Почувствовав прикосновение руки, наседка соскочила с гнезда, притворно волоча крыло, прихрамывая на одну ножку. В замаскированном гнезде я насчитал больше десятка насиженных яиц и, чтобы не дать им остынуть, поспешил скорее убраться.

Дружные куропатки

Очень часто у нас, у людей, бывает так: оскорбит, обидит кто-нибудь слабого, брякнет при женщине грубое слово. Да разве редко «цари мироздания» бросают семью — жена остается с маленькими детьми мыкать горе, проклинать судьбу.

У огромного большинства птиц и зверей не так. Есть у животных и весенняя чистая любовь с прекрасными брачными играми, есть верность, дружба и самопожертвование. Многие звери и птицы, разбившись на пары, остаются навеки вместе: дружно строят гнездо, дружно выкармливают и воспитывают до последнего дня свое многочисленное семейство, а певчие птицы-самцы услаждают звонкими песнями сидящих на гнездах милых подружек. Бывает, разумеется, в птичьем и зверином мире совсем по-другому. Дикая утка, к примеру, тщательно прячет от сладострастного и грубого мужа свое гнездо и, отлучаясь, чтобы положить яйцо, старается обмануть мужа. Найдет селезень гнездо — перебьет яйца. Ему от супруги, как и в человеческом иногда мире, только наслаждение требуется.

Из всех диких птиц самая дружная, семейственная птица — куропатка. Мне куропатки напоминают старых уездных хозяек. Живут оседло, хлопотливо, добропорядочно. У людей-куропатоk — занавесочки, самоварчик, цветочки на окнах. И непременно большой-пребольшой выводок.

Но эти же самые куропатки показывают изумительные примеры самопожертвования. Защищая детей, не задумываясь жертвуют своей жизнью родители. В природе нередко встречаются необычайно крупные выводки куропаток — до двадцати пяти, тридцати штук. Наверное можно сказать, что такой выводок составиля из двух куропаточьих семейств — семья куропаток усыновила соседний осиротевший выводок, родители которого погибли; свои и чужие дети растут и воспитываются, как родные.

Здесь, в тундре, мне удалось наблюдать жизнь куропаток, не видевших и не боящихся человека.

22 июня

Сегодня дата начала войны. Каждому есть о чем вспомнить. И я помню: летний жаркий день, цветение лугов, тихая речка Уверь, забитая сплавом и еще не совсем убравшаяся в свои берега, и теплый над полями ветер, и жужжанье пчел на хозяйской пасеке, и трепетанье золотых карасей в сети, и мирный стук молотков в колхозной кузнице, и блеск кос на лугах, и аромат ландышей и созревающей земляники, и молодые утиные и тетеревиные выводки, и отразившиеся в речном затоне спокойные летние облака, и разговор с плотовыми рабочими в устье реки у коистра, и первые тревожные вести с войны, и сыновья-богатыри моего деревенского приятеля старика кузнеца Осипа Ефимыча, чудесного русского человека, так просто и ясно верившего в силу народа. И все пережитое.

Истерзана родная земля, убиты веселые богатыри, умер и сам кузнец Осип, измучена зеленая, лесами укрытая Смоленщина, где некогда пролетало мое далекое детство.

Тронулся лед

Вчера был памятный, незабываемый день, полный перемен и событий. Утром — тишина, солнце, тепло. К вечеру подул восточный ветер, по всему озеру тронулся лед. Во время обеда кто-то взглянул в окно, громко крикнул:

— Скорее идите смотреть: лед тронулся!..

Оставив обед, накидывая наспех одежду, мы выбежали на берег. Зрелище открывалось изумительное. Возле маленького домика полярной станции стояли люди без шапок, в одних легких рубашках. На покрытом льдом озере от края до края зигзагами расходились огромные трещины, черневшие открытой водою. Обжигая лица, дул резкий ветер. Невообразимое, фантастическое совершалось на берегу. Движимое силой инерции, огромное ледяное поле напирало на берег. Светясь фосфорическим светом, льдины ломались, дыбились, рассыпались хрустальным порошком. На глазах наших росла огромная сказочная гора, вся светившаяся зеленоватым светом. Казалось, живая неведомая сила управляет движением льда. На вершине хрустальной горы вырастали чудесные башни, замки, фантастические города. Все это с шумом и шорохом тут же рушилось, рассыпалось в прах, и на глазах наших вновь возникали сказочные здания, мерцающие чудесным алмазно-голубым светом.

Светящиеся алмазные зеленоватые тяжелые льдины двигались, вырастали, обрушивались на отлогий берег, катя перед собою вывернутые со дна озера многопудовые камни, кувыркавшиеся по земле. Возмущенные необычайным зрелищем, по берегу с лаем и воем носились собаки. Люди стояли молча, не обращая внимания на пронизывающий ветер, трепавший волосы на их открытых головах.

Не более двух часов продолжалось интересное явление. Силы, двигавшие льдами, встретив сопротивление береговой полосы, скоро иссякли, и живая сказочная картина застыла. Перед нами недвижно возвышалась высокая ледяная гора, светившаяся чудесным нежно-зеленым светом. С тихим шуршаньем сыпались осколки льда, с хрустальным звоном струилась вода.

Не чувствуя насквозь пронизывающего одежду ветра, мы долго любовались чудесным зрелищем. Веселый и возбужденный зашел я обогреться в домик полярной станции. В уютно обжитых комнатках домашнее пахло печеным хлебом, уютом теплого человеческого жилья, где соблюдался тот дельный, «мужской» порядок, та щепетильная чистота, какая обычно бывает на дружных дальних зимовках.

К вечеру все вдруг неузнаваемо переменялось. Освещенная полуденным солнцем, нависла густая лиловая туча, и над озером, покрытым посиневшим льдом, вдруг засияла, дугою перекинулась с берега на берег многоцветная радуга, как бы предсказывая перемену в погоде. Зрелище этой чудесной радуги было необычайно. Крепче и крепче нажимал ветер, хлестал крупный ледяной дождь. Под напором сильного ветра кипела и волновалась в сузившихся заберегах холодная вода.

Днем мы ходили ловить в маленькой бухточке рыбу. Крошечным неводком-волокушей в одну тоню вытащили несколько десятков крупных сига и целую кучу серебристых скользких хариусов, приживавшихся на отмели к самому берегу. Рыба живым, трепещущим серебром наполняла мотню волокуши. Множество рыбы лед прижал к берегу, загнал в бухту; казалось, вода кипела живою рыбой. Каждый заброс волокуши приносил обильный улов. Не обращая внимания на ветер и холодный дождь, весь день продолжали ловить рыбу в запас.

Вечером, попечением нашего повара Михайлыча, мы лакомились и грелись «многоэтажной» ухой, испробовать которую доводилось лишь немногим рыболовам... Все жесточее и жесточее нажимал ветер, дощатые стены барака дрожали и колебались. Взглянув в забрызганное дождем окно, я увидел, как от берега к берегу, по огромному полю льда, зигзагами уходя вдаль, побежала черная трещина, неизменно и быстро

расширяясь. Разбитое ветром огромное поле льда двинулось к югу. Темная грозовая туча стояла над южной частью Таймырского озера, сбрасывавшего с себя ледяные оковы. Странная ярко-лиловая молния сверкнула, вдруг ослепив глаза; глухо пророкотал гром. Никогда еще не доводилось мне видеть летнюю грозу в Арктике. Странно было слышать в этой холодной стране первую грозу, возвещавшую начало полярного лета. Быстрее и быстрее надвигалась туча, над ледяными полями вспыхивали лиловые молнии, и на глазах наших раскальвался и уносился ветром лед, выростали, чернели и ширились кипевшие волнами черные разводья. Мы долго не ложились, любуясь потрясающей картиной полярной грозы и ледохода...

Ясный ветреный день. После вчерашнего «столпотворения» — ясное, глубокое небо с летними кучевыми облаками. На озере движется лед: гонимые течением, медленно проплывают широкие ледяные поля, смыкаются и расходятся отдельные льдины, образуя чернеющие водою трещины и разводья. Необычайно это сочетание высокого летнего неба, многоцветной радуги с холодным по-зимнему ветром и еще не растаявшим льдом, с белыми пятнами снега, всюду разбросанными по тундре.

Сегодня восьмое июля. По наблюдениям старых зимовщиков, дней через десять—двенадцать должно очиститься озеро, но еще долго будет стоять лед в устье реки Нижней Таймыры, не раньше августа смогут ходить по реке катера. Так коротко в этой стране настоящее лето. А в сентябре уже вернется зима, озеро покроется молодым льдом, начнутся пурга и метели.

Над примолкнувшей тундрой, над берегами озера летят и летят косяки гусей. Гуси направляются линять на восток, в пустынную, недоступную часть тундры. Ночью и днем слышатся их знакомые голоса. Возле самого дома, под окнами, появились цветы, пахнущие сильно и приятно. На склоне останца маленький нежный цветочек вытянулся, доверчиво склонил головку на плоский камень, как на подушку. Здесь, на камне, согретом скудным полярным солнцем, ему теплее.

Веня

Не всякий способен выдержать, спокойно перенести долгую полярную ночь, вынужденную скученность. Всё переговорили, перечитали все книги, рассказали все анекдоты, переслушали потертые пластинки, каждый о каждом давно знает всю подноготную. Некоторые от избытка молодых сил начнут возню, шуточную потасовку, борьбу, все летит кувырком — столы, табуретки. Не мудрено, что сорвется иной раз в раздражении обидное для товарища словечко, завязывается ссора — кажется, навеки разошлись, поссорились люди и никогда им не помириться, не стать вновь друзьями. Но споры и недоразумения обычно заканчиваются так же скоро, как и возникают, все забывается — дружной, крепкой семьей живут зимовщики.

Много знавал я людей, полярных советских зимовщиков, для которых Арктика делалась как бы второй родиной — вновь и вновь тянуло их на зимовки в ледяную, холодную пустыню. Были среди этих энтузиастов Арктики городские избалованные люди, рабочие и интеллигенты, были привычные к Северу промышленники — архангельцы-поморы, были и уроженцы солнечной, ласковой Украины, выросшие среди садов и баштанов. Всех одинаково манила Арктика, суровая ее природа, и не раз случалось, побывав на родине, они опять возвращались в полюбившуюся им ледяную пустыню.

Первобытная жизнь лицом к лицу с природой особенным образом влияет на людей. Мужественные и сильные закалялись, капризных и избалованных уличало их поведение.

И, быть может, лучшими товарищами были наследники отважных моряков-поморов.

Из таких не заменимых в походе людей был и наш спутник — архангельский промышленник Веня. С большим удовольствием вспоминаем теперь мы наши подчас нелегкие и утомительные походы. Однажды на стоянке нас застала жестокая длительная непогода. Ветер вдруг подул с севера, к самой земле прижимая распутившиеся желтые и голубые цветы. Посыпался снег, полил косой ледяной дождь, временами насквозь пробивавший маленькую нашу палатку. Со всех сторон подтекает вода, отовсюду дует, течет. Давно уж подмокли постеленные на земле оленьи шкуры, насквозь промокла одежда. В такие часы не раз приходят невеселые мысли. Лежишь-лежишь и задумываешься: черт, мол, послал тебя на этикие лишения. Сидел бы себе в своей городской квартире за письменным столом, чай-кофеек попивал. Так подчас станет туго и лихо, хоть бросай и уходи. А вот посмотришь на Веню, на его веселое и спокойное лицо, — точно сама погода вдруг прояснится.

— А ну, не погреться ли нам чайком? — скажет, бывало, Веня.

— Да разве можно на таком ветру чай вскипятить?

— Будет сделано! — скажет Веня.

Этот крепкий, неутомимый человек в самом деле мог совершать чудеса. Он разводил огонь, когда, казалось, не было никакой возможности выбраться из палатки и стоять на ногах, отыскивал топливо и воду, безошибочно находил верную дорогу, видел и слышал так, как может видеть и слышать только природный промышленник и охотник.

Остров краснозобых казарок

Из великого множества птиц, ежегодно прилетающих гнездиться на побережье полярного океана, самой редкостной и красивой птицей знающие люди справедливо называют краснозобую казарку. В ее праздничном необычайном наряде нет ярких, кричащих красок, свойственных некоторым экзотическим птицам, но как прелестен украшающий ее шею и голову затейливый узор, червонно-бронзовая грудь, изящная маленькая головка! За редкостную эту птицу владельцы европейских и американских зоопарков платили сотни золотых рублей.

Как уверяют ученые-орнитологи — птицеведы, краснозобые казарки живут и гнездятся лишь в пределах нашей страны. Осенью и весной совершают они долгий путь — от южной части Каспийского моря до пустынных берегов холодного океана. Путешествуя некогда в краю птичьих зимовок, я наблюдал краснозобых казарок в заповеднике имени С. М. Кирова, в заливе Кизил-Агач. Чудесные птицы кормились на отмелях мелководного залива. Быстрыми табунками пролетали они на жировку в Муганскую степь. Ранней весной возвращаются казарки на далекую свою родину.

На одном из островков Таймырского озера мы обнаружили гнездовье краснозобых казарок.

В маленькой лодке, подхватываемой волною, я осторожно причаливаю к пустынному островку, сойдя в воду, вытаскиваю лодку на прибрежные камни.

Тихонько, без охотничьего ружья, которое мне здесь не нужно, обхожу небольшой каменистый остров. Из-под моих ног с криком тревоги слетают гнездящиеся на каменной отмели крикливые чайки, кружат и

падают над моей головой. В их криках мне как бы слышатся слова тревоги и брани.

— Чей ты? Чей ты? — взлетая и падая, спрашивают чайки.

— Чужой! Чужой! Чужой!

— Опасность! Опасность!

— Уходи! Уходи!

— Ушел! Ушел!

— Черррт! Черррт! Черррт! — пикируя над самой моей головой, грозно бранятся поморники.

В глубине острова, среди обломков камней, гнездятся краснозобые казарки. Их гнезда скрыты на южном склоне скалистого островка.

Сидящих в пуховых гнездах казарок трудно увидеть — так сливается окраска их нарядного оперения с цветным узором лишайников на окружающих гнезда обломках камней. Иногда птицы срываются из-под самых ног. Невольно вздрогнешь от шумного взлета, от тревожного крика напуганных птиц.

Некоторые смелые птицы продолжают сидеть в своих пуховых гнездах. Совсем близко можно любоваться чудесным их оперением. Я вижу черные глазки, маленький клюв, пестрый чертёж полосок на вытянутой червонно-золотистой шее.

Слетевшие с гнезд казарки садятся у берега на воду. Колыхаясь на волнах, они внимательно следят за незваным гостем, неторопливо обходящим их заповедный остров.

Хорошо бы, думаю я, одному поселиться, пожить на этом сказочном островке. Сторожкие птицы, наверное, скоро привыкнут к человеку, не причиняющему им никакого вреда. Проходя птичьим островом, я вспоминаю моего приятеля, ученого-орнитолога, с которым познакомился некогда в краю птичьих зимовок. Приятель рассказывал мне, как, изучая повадки птиц, он жил в палатке на пустынном песчаном островке, сплошь покрытом птичьими гнездами. Птицы пригляделись и привыкли к поселившемуся на островке человеку и совсем его не боялись. Они не слетали, когда он подходил к гнездам и трогал насекомых руками. Палатка его была разбита в центре птичьей колонии. Ученый-птицевед засыпал и просыпался под клики птиц. Из палатки он наблюдал, как в ближайших гнездах вылуплялись птенцы, как выкидывали птицы из гнезд разбитую скорлупу, кормили птенцов. Подраставшие птенцы забегали в палатку. При появлении хищников взрослые птицы дружно отсаивали своих птенцов. Тучею кружились они над залетевшим крылатым хищником, поливая его густым дождем известкового помета. Оползренный, политый белым пометом хищник торопился убраться.

Я брожу по скалистому острову, глядя на сказочных краснозобых казарок. Встревоженные птицы как бы привыкают ко мне, спокойно усаживаются на свои гнезда. Окруженный птицами, долго сижу у подножия небольшой, нагретой солнцем скалы, возле которой голубым ковром цветут полярные незабудки.

Растение-мать

На покрытых мелкою галькою берегах залива зацвели крошечные камнеломки — саксифрага флагелларис. Небольшой желтый цветочек этого удивительного растения здесь не приносит семян. Саксифрага развивается на особых усиках-волосках. Эти длинные усики материнское растение выбрасывает во все стороны от себя. Каждый усик завершается загнутым кверху ползочком, удобно скользящим по земле. На усиках висят крошечные зародыши с готовой уже корневой системой. Как толь-

ко корни зародыша коснутся свободной почвы, молодое растение укрепляется, начинает расти. В первое время материнское растение продолжает питать своими соками все многочисленное новорожденное потомство. Позже связь между материнским растением и детьми нарушается, связывающие их нити ссыхаются, и мать погибает, дав жизнь целой колонии детей.

На береговой гальке очень удобно наблюдать эти родственные колонии. Между камушками гальки видны розоватые, похожие на крошечные шишки, еще не развившиеся растения и уже взрослые, осыпанные золотыми цветами. Тут же остатки мертвых материнских растений и иссохшие тонкие усики, некогда соединявшие растения с их погибшими матерями. Точно такие растения ботаники находят на юге, в Альпийских горах. Быть может, на далеком юге эти растения приносят семена. В холодной стране они сохранили способность бесполого размножения. Их цветы остаются неоплодотворенными. Дав жизнь детям, девственная-мать погибает.

Полярная береза

Бродя по открытым проталинам в оживающей тундре, я попал в целую «березовую рощу». Под моими ногами, ища защиты от холода, стелились по земле крошечные полярные березки. Высота деревьев едва достигала десяти — двадцати сантиметров. Однако это были настоящие березы с надувшимися весенними почками, готовыми распусться. Множество куропаток перелетало и токовало в этой удивительной маленькой роще.

Я с трудом выдернул из земли крепко державшееся корнями, покрытое почками корявое деревцо и положил в сумку. Дома, в бараке, я поставил деревцо в бутылку с водой, и через несколько дней в теплоте готовые почки стали доверчиво распускаться. Из них показались сложенные гармоникой зеленые нежные листочки, и все растение вдруг оживилось. Это была настоящая весенняя березка с крошечными круглыми и зазубренными листочками величиной с крылышко мухи. Деревцо пахло обыкновенной березой, и этот знакомый запах весны особенно напоминал родину, детство, распускающийся лес и любимую мною весеннюю охоту.

Таким же крошечным кустарничком здесь растет ива. Тонкие упругие стебли ее прячутся в земле, поросшей мертвой травой. На тоненьких ветках надулись весенние пуховки. Странно видеть эти знакомые ласковые, шелковистые пуховки среди незнакомой и такой чуждой природы.

• Храбрый горноста́й

Возвращаясь с охоты, мы подходили к маленькому домику полярной станции на берегу Таймырского озера. Над нашими головами кружились дикие гуси, из-под самых ног с треском взлетали куропатки, на береговой гальке шныряли бесчисленные кулички.

У маленького прозрачного озера, образовавшегося после весеннего половодья и кишевшего мелкою рыбешкой, мы увидели горноста́я. Неся в зубах живого серебряного хариуса, проворный зверек пробирался к гряде нагроможденных льдом валунов.

Следя за движениями зверька, я положил на его пути убитого мною, еще теплого гуся. Увидев лежавшую на земле птицу, горноста́й бросил свою добычу и жадно вцепился в окровавленную птичью шею.

Я поднял тяжелого гуся вместе с жадно вцепившимся в него зверьком. Держа в протянутой руке гуся, я близко разглядывал маленького

кровожадного хищника. Чтобы сбросить горностаю, я крепко встряхнул тушку гуся. Горностаю упал на каменную гальку, но тотчас кинулся к лакомой добыче. С необыкновенным проворством он взобрался по моей одежде на плечо и опять вцепился в гуся, которого я продолжал держать в руке. Так несколько раз я сбрасывал жадного горностаю, но он тем же путем возвращался на гуся. Ни малейшего страха не проявил он к человеку и вел себя, как отчаянный разбойник.

На берегах Таймырского озера мы часто видели горностаев. Эти смелые зверьки переплывали широкие заливы, пускались в далекие путешествия. В желудках пойманных крупных рыб мы не раз находили проглоченных горностаев. Хищные рыбы охотились за горностаями, переплывавшими обширную гладь озера, и заглатывали их, как привычную добычу.

Один горностаю поселился в подполье нашего домика. Мы не раз наблюдали, как появлялся он из своего надежного убежища, привлекая внимание собак. С яростным лаем собаки бросались за смелым разбойником, но он всегда очень ловко увертывался от своих врагов.

Как-то, вернувшись с рыбной ловли, мы оставили нашу добычу в сенях. Наполненный крупной рыбой таз стоял на высокой табуретке.

После рыбной ловли мы пили чай в маленькой кухоньке нашего домика. В открытую дверь было видно, как в сенях появился проворный горностаю. Попивая чай, мы наблюдали, как, взобравшись на таз, горностаю пытается утащить тяжелую рыбину. Он долго возился с ней, стараясь утащить в подполье.

В конце лета самая умная наша собака Тайга все же справилась с горностаем. Целыми сутками, отказываясь от еды, неподвижно лежала она у самого лаза, из которого обычно появлялся зверек, и наконец ей удалось схватить его. Через минуту от храброго горностаю остались лишь клочки шерсти и яркая на снегу кровь.

Пеструшки

Так бывает: росту человек саженого, силы непобедимой, кулаки по пуду. Станешь, бывало, расспрашивать: «Ну как, грозен, чай, ваш Добрынюшка-богатырь?» Засмеются все, а сам богатырь глаза отведет. «Да что ты, — скажут вам, — наш Добрынюшка-богатырь мухи еще не обидел». И видишь вдруг: впрямь такой мухи не обидит. А случается и наоборот: росту и силы — пшик, а задору, а злобности, а шуму — на десятерых наберется. Это и у людей и у зверей одинаково.

Не видел я зверя злобнее бесхвостых мышей-пеструшек, зимою и летом живущих в полярной тундре. Сколько раз бывало: идешь по тундре, наступишь на кочку — такой поднимается, вереск, писк, даже подчас вздрогнешь. Глядишь — под ногами маленькая пеструшка. И с какой необычайной яростью бросается она на ваши огромные по сравнению с нею сапоги! Крошечные глазки горят, вострые зубки злобно оскалены. Ну, думаешь, дать такому зверьку медвежью силу да львиный рык — не было бы на всем свете зверя страшнее!

У северных охотников есть такая примета: если в тундре много пеструшек — будет зимою богатая охота. Пеструшками питаются в тундре белые лисицы — песцы. Зимою песцы откапывают пеструшек под снегом, а летом ловят их на земле.

Вышедшая из-под снега тундра во всех направлениях изрыта бесчисленными ходами, некуда ногу поставить. Ходы эти проделаны пеструшками в зимнее время: так в течение долгой зимы под покровом снега продолжается невидимая, очень суетливая жизнь беспокойных зверьков. В бесчисленном лабиринте ходов юркие зверьки кормились,

рожали и выхаживали потомство. Эту подснежную жизнь пеструшек нарушали бродившие по тундре песцы, с необычайною быстротою раскапывавшие снег и ловившие пеструшек. Чутье и острейший слух помогали песцам безошибочно находить живую добычу под толщею снега.

Никого, кроме лютых врагов, не видят в тундре маленькие пеструшки. Беспощадно глотают их хищные птицы, и даже миролюбивые травоядные олени не прочь полакомиться мясом пеструшки. Давно бы перевелись они в тундре, если бы не размножились с необычайной быстротою. От всех животных пеструшки ждут свою гибель. Быть может, поэтому зародилась в них такая жестокая, непримиримая злобность.

Однажды мы поймали в нашей походной палатке пеструшку, посадили в железный ящик и стали кормить. Не видя опасности, маленький зверек скоро привык к людям. Мы смело брали его в руки, и он больше совсем не кусался.

Полярные зайцы

Старый таймырский зимовщик радист Г. М. Чернилевский рассказывает:

— В первую зиму здесь было очень много зайцев. Зайчики собирались большими стаями, по несколько десятков штук. Бывало, глядишь — весь берег белый. Соберутся возле зимовки под окнами, прыгают, дерутся. Очень смешно дерутся — передними лапками, быстро-быстро. А кругом полярные совы сидят, караулят. Зайчишки доверчивые — сов не боятся. Который подалеже поотбежит — сова цап-царап. Сколько мы ни убивали зайцев — ни одной шкурки целой не было: все в совиных когтях побывало.

У нас вокруг зимовки лежало много оленьих сырых шкур. В ту зиму мы много оленей бивали. Вот под этими шкурами зайчишки от холода прятались. Выйдешь, бывало, метнаблюдения делать, а они под окнами прыгают. Однажды Петр Степанович на метеорологической площадке семьдесят три штуки насчитал. А вот теперь ни одного зайца здесь не осталось, по-видимому, откочевали. Невозможно предположить, чтобы все вымерли. Тогда бы их трупки в тундре находили, а то мы не видели ни одного мертвого зайца. По всем признакам, зайцы откочевали на юг, следы туда тянулись. Зайцы шли целыми стаями. Очень возможно, что такие кочевки здесь происходят периодически: зайцы то появляются, то исчезают.

Смирные гольцы

Один из самых заядлых рыболовов — рабочий экспедиции, приехавший на зимовку отчасти с намерением половить рыбу, — рассказывает так:

— В самую горячую пору ловли, это по осени, когда рыба набирает жиру к зимовке, бывало, крючок не успеваешь закидывать! Всю наживку исполосуют, висит клочьями, а все идут, не брезгают. Бывало, не переменяя насадки, штук пятнадцать — двадцать выудишь. Бывало так: попадется здоровенный голец, тащишь его в лодку, глядишь — а за ним морды других гольцов высовываются, точно интересуются: куда, мол, их дорогой товарищ направился, в какое такое сухопутное путешествие?.. Бывали и такие случаи: попадется в сети рыба, сиг или, скажем, муксун, а его тут же зубастый голец схватит, полсетки в пасть к себе засосет! Ну и вытащишь тогда на свет всю эту комбинацию.

И вот возьмите, особенный здесь голец. На Новой Земле, да и в других северных местах голец мелкий, редко-редко четыре килограмма

завесит. А тут попадаются и по четырнадцать. Не рыба — настоящие поросята... И удивительное дело: кажется, сильная рыба голец, так похожий на семгу, а на крючке смиренный, как ягненок. И чем крупнее голец, тем смиреннее. Мелкий еще похорохорится, а крупный как зацепится — идет с полной покорностью. Не раз даже бывало: с крючка сорвется и стоит ждет; тут его или руками берешь, или чем ни попади оглоушишь, пока не одумался... А с семгой-то, бывало, сколько провозишься, сколько потов сольешь! Все силы у рыбака вымотает. Да и то не всегда возьмешь: уж цепко, кажется, на крючке сидит, а спохнувшись чуть — прости-прощай! Сиди на берегу да затылок почесывай!

Умные гуси

Из всех птиц, гнездящихся на Севере, в тундре, самые умные и дружные — гуси.

Ранней весной возвращаются гуси на Север, на свою холодную родину. Стройными косяками летят они с юга над степью, над синей тайгой, над сибирскими широкими реками. На побережье Ледовитого океана, в просторах полярной тундры, остаются гуси на лето.

Путешествуя по пустынному Таймырскому озеру, увидели мы однажды выводок гусей. Два взрослых — гусак и гусыня — плыли от берега по воде, а за ними торопливо поспевали три крошечных гусенка, очень похожие на желтые пушистые шарики. Они плыли, оставляя на зеркально спокойной глади разбегавшиеся, как тонкие веревочки, волны.

Заметив моторную лодку, старые гуси стали беспокоиться. Один гусь вытянул шею, и мне показалось, что он шепнул на ухо крошечным гуськам. «Скорее ныряйте, гусята», — догадался я, о чем шепнул гусь.

Старые гуси поднялись с воды и, расправив сильные крылья, стали делать над озером большой круг.

На моторной лодке мы подъехали совсем близко к удиравшим из всех сил гуськам. Я хотел протянуть руку, но гусята, как по команде, вдруг скрылись под водою. Мы долго смотрели на воду, но маленькие гусята вынырнули не скоро и очень далеко от лодки.

— Не будем их больше тревожить, — сказал я рулевому, и мы направили лодку на середину озера.

Тотчас старые гуси вернулись. Я наблюдал с лодки в бинокль, как они опустились на воду и, вытягивая длинные шеи, что-то радостно заговорили на гусином своем языке. «Хорошо ныряли, гусята!» — перевел я гусиную речь.

Для меня самым удивительным было, что маленькие, еще пушистые гусята, только что вылупившиеся из яиц, уже умели отлично нырять и самостоятельно спасались от опасности.

Плавунчик

На Севере, в тундре, среди множества разнообразнейших птиц часто встречается бойкий маленький куличок-плавунчик. Весною шейка и грудь у плавунчика ржаво-кирпичного цвета, на спине светлые полосы, на голове красивая шапочка. Эти маленькие, очень проворные и нарядные кулички плавают всюду по мелким озеркам и бесчисленным лужицам, наполненным весенней прозрачной водою.

Посмотришь на плавунчика-куличка: совсем как живая нарядная лодочка и человека почти не боится!

Не раз, бывало, идешь по тундре задумавшись, а он тут как тут, совсем под ногами. Нагнешься поближе, а плавунчик в лужице плавает,

на человека ни малейшего внимания. Всего полшага осталось, а он знай себе кормится, туда носиком, сюда носиком — такой проворный!

А каким огромным должен казаться ему склонившийся над лужицей человек.

Сделал я последний шаг, протянул к плавунчику руку. Ну, думаю, теперь полетит! А он по воде, да в травку, да на соседнюю лужицу. Туда носиком, сюда носиком, совсем как маленькая лодочка.

Смотришь на плавунчика и улыбаешься.

Теплые камни

На береговой гальке я нашел гнездо маленького куличка-зуйка. Сидевшая на яйцах птичка побежала впереди меня на тоненьких камушках, все время припадая. Я долго осматривал лежавшие на берегу камушки — плоские, круглые, различных цветов. Гнездо трудно было увидеть. Да и не было никакого настоящего гнезда. Четыре очень крупных, по росту самой птички, яйца лежали на голых камушках, без всякой теплой подстилки. Цветом, формой и величиной яички так были похожи на обкатанные прибоем камушки, что разглядеть их было почти невозможно. Много раз я думал: как это без гнезда, на голые камни, кладет зук яйца и без теплой подстилки яички не остывают? Почти все птицы, даже в теплых странах, делают удобные, мягкие, теплые гнезда, а здесь, на холодном Севере, яйца лежат открытыми? Птицы бывают птенцовые и выводковые. Птенцовые долго выкармливают детей, корм им носят в клювах в гнездо, птенцы беспомощные, голенькие, рты разевают. У выводковых птиц только выведется птенец из яйца — и побежит (например, цыплята у курицы или утята у утки), и уж сам клюет, и родители их не кормят. Кулички — птицы птенцовые, то есть родители детей кормят, а вот поди же — дети на голых камушках, без теплой подстилки. Долго я удивлялся: это на Севере-то птенчики беспомощные, голенькие — и живут? Я положил термометр в камни, он показал пятнадцать градусов тепла; в воздухе было только пять. Камни в тундре нагреваются больше, чем воздух; они, как печь, сохраняют солнечную теплоту. Вот почему куличок-зук выводил своих птенцов на гальке, где было теплее, чем на сырой, охлажденной испарениями земле даже и с теплой подстилкой. Поэтому-то и теплолюбивые растения — цветы — тоже жмутся к камням. Так я объяснил эту загадку.

Рассказ Степы

Вернулся из тундры Степа, рассказывает:

— Видел множество озерок с гусями и утками. Нашел гусиное гнездо, в гнезде — только что вылупившийся птенец и наклонившиеся яйца. Гусыня слетела, села неподалеку. На крик ее собралось множество гусей.

Прихожу на другой день — гнездо пустое. Огляделся. На берегу мелькает хвостик гусыни. Побежал за ней. Маленькие гусенята рассыпались, попрятались, припали к земле. Сутки возраста, а бегают быстро, прячутся так, что трудно найти. Гусак и гусыня держатся поблизости, перелетают с места на место. Поймал я несколько гусят, спрятал в рюкзак, сел покурить. Родители-гуси волнуются. Покурил я, встал. Выпустил из рюкзака одного гусенка. Запищал гусенок, побежал и... вернулся, сам полез в рюкзак. Отпустил других — попищали-попищали — и опять в рюкзак.

Таинственный звук

Долгое время весною мы слышали странные звуки, раздававшиеся в тундре. Звуки были необычайные. Нам казалось, что они исходили из мрачного ущелья.

Наверное, там живет большая птица...

Но что это за птица? Звуки как будто исходили издалека, и мы долго не могли догадаться об их происхождении.

Однажды мы сделали удивившее нас открытие. Таинственные звуки издавал куличок. Он часто пролетал совсем близко от нас. Никто не догадывался, что у этой маленькой птички такой странный голос.

Голос человека

Далеко за чернеющим каменным останцом в чистом, звучном, как чистое серебро, воздухе слышу человеческий голос — и таким странным, чуждым, ни к чему не идущим кажется этот голос! Я поднимаю бинокль, старательно вглядываюсь, но ничего не могу разобрань в темной зубчатой вершине, так напоминающей древний замок.

Наверное, это поет молодой и тихий, трудолюбивый, прибывший с нами топограф. Но каким чуждым и жалким — как у комарика — кажется в этой суровой пустыне слабый человеческий голос, напевающий знакомые слова московской песенки.

Гага-гребенушка

Принесли гагу-гребенушку в брачном наряде. Черная грудь, палевая шея, а над клювом высокий мясистый гребень, с обеих сторон разукрашенный изумительным бархатисто-оранжевым рисунком, щеки ниже глаз нежно-зеленого цвета, затылок голубой. Вид птицы совершенно экзотический. Говорят, на некоторых датских островах эти гаги стали совсем ручными, их прикармливают и содержат в особых домиках. Вообще они, как и все гаги, очень доверчивы и смиренны.

У крыльца

Вокруг дома ходят куропатки, у самого крыльца. Посмотришь в окно — совсем как домашние куры. Очень похоже. Собаки, разумеется, за ними гоняются, а вот поди ж, не отлетают куропатки далеко. Такие настойчивые. Теперь их уж никто не стреляет.

Хвоинка

Наполнив шумом походное наше жилище, вернулся с очередной экскурсии в тундру хлопотливый, необычайно подвижный профессор-ботаник. На раскрасневшемся мокром лице его сияла веселая улыбка.

— Полюбуйтесь нашей находкой!

Он протянул большую пухлую руку. На мокрой ладони лежала едва приметная глазу крошечная хвоинка.

— Хвоя! Настоящая хвоя!

Крошечную хвоинку сибирской лиственницы вместе с семенами и лепестками других растений ботаники обнаружили на поверхности снежного сугроба, уцелевшего в глубине каменного распадка.

— Решите задачу! — радовался ботаник. — Граница хвойных лесов от нас за многие сотни километров. От этой границы нас отделяет огромное пространство голой, безлесной тундры. Каким образом могла очу-

титься на берегу Таймырского озера эта крошечная хвоинка? Какие силы ее сюда занесли?!

Мы рассматривали находку ботаников и разводили руками. Трудно было объяснить, откуда появилась оторванная от лиственницы загадочная хвоинка.

— Ответ может быть только один,— сказал, улыбаясь, ботаник.— Маленькая эта хвоинка совершила зимою большое и долгое путешествие. Гонимая ветром, сотни километров неслась она по снежной гладкой пустыне вместе с семенами и листьями многих растений. Маленькая находка поможет нам, ботаникам, установить, в каком направлении переносятся семена растений, а вместе с семенами и заключенная в них жизнь...

Крошечную хвоинку ботаники бережно завернули в бумажку и, как водится, старательно надписали, где и когда была сделана находка.

Походные записи

Еще ранней весной, когда везде лежал снег, на пригреве южного берега острова оголилась тундра. Были видны серые камни с разноцветными пятнами лишайников, образующих яркий узор. По ночам (в светлые, солнечные ночи многие зимовщики страдают бессонницей) охотники искали здесь куропаток. На снегу виднелись следы птиц. Рядом с камнями показались крошечные растения — мохнатые листья и стебли. Под корою прозрачного льда — настоящие маленькие парнички. Так удивительно борется за свое существование жизнь.

Прошлою осенью ботаники отметили здесь несколько растений. В цветущем состоянии растения ушли под выпавший снег. Очень возможно, что на цветках образовались ледяные предохранительные колпачки и весной цветение будет продолжаться. Это замечательное явление следует проверить.

* * *

У медленно тающих ледничков, по мере того как снег тает, все лето будет продолжаться вечная весна. На месте растаявших снега и льда начинают оживать и цвести растения. Цикл жизни здесь как бы бесконечно возобновляется, и так, иногда даже поздней осенью, в тундре возникают цветущие зеленые островки.

Такое необычайное явление, разумеется, невозможно на юге и в средней, знакомой нам лесной полосе, где снег и лед летом исчезают,— жизнь всех растений проходит по твердо установленному самой природой кругу.

На Севере круг этот постоянно обрывается. Привычные нам понятия сместились, и самый цикл жизни растений, приспособившихся к суровой природе, проходит совсем по-другому. Очень возможно, что в отдаленнейшие времена существования нашей планеты, когда сушу постигла величайшая катастрофа, у таявшей кромки гигантских ледников также зеленела вечная весна — стертая ледниками с лица земли жизнь возобновлялась.

* * *

И здесь, в полярной пустыне тундры, поросшей жалкой растительностью, есть свои чудесные ароматы. На южном склоне каменного останца множество цветов — нежных и пахучих. Здесь я нахожу знакомые растения. Но как нежно пахнут незабудки, в наших краях совсем безароматные!.. Некоторые цветы пахнут резко ипряно. Их целые куртины. Ветер колышет легкие венчики. У самого уха, как пуля, пролетает и садится на цветок шмель.

Камни, вода, солнце, цветы. Знакомо пахнет на пригреве земля, на этой земле теплится скудная, но такая чудесная жизнь.

* * *

Сиверсия — ледяная роза — многолетнее, очень распространенное растение. Зацветает первым, когда еще лежит снег. Начинает развиваться в своеобразных ледяных «тепличках», под прозрачной крышкочкой тонкого льда, пропускающего свет. Многолетний, довольно толстый подземный стебель в верхней части своей закрыт теплой «шубкой», образовавшейся из ежегодно отмирающих и медленно гниющих вторичных стеблей и листьев, как бы покрытых густым, теплым пухом. Цветки, одетые в пух, напоминают вылупившегося из яйца гусенка.

В местах обитания этих растений из разлагающихся частиц образуется плодородная почва. Под прикрытием хорошо защищенного растения находят приют в стужу насекомые и обыкновенные дождевые черви, распространение которых даже иногда на самых отдаленных арктических островах обычно изумляет неопытного наблюдателя.

* * *

В августе в «березовых рощах» появились первые грибы. Странно здесь видеть настоящие, всем знакомые грибы-подберезовики, которые мы в шутку называем «надберезовиками». Эти крепкие и красивые грибы растут на вершинах сухих отлогих холмов, где обычно стелется по земле мелколистная полярная береза. Над «вершинами» березовой рощи на высоких ножках возвышаются крепкие шляпки грибов.

* * *

Необыкновенно быстро проходит на Дальнем Севере короткое лето. Еще недавно держался на озере лед, множество голосов токующих птиц раздавалось над просыпавшейся тундрой. Уже ниже и ниже спускается полуночное солнце. Оперились, подрастают птенцы, накапливают силы для осеннего трудного перелета в теплые страны.

* * *

Над сырой кочковатой тундрой висят темные тучи комаров. Комары здесь не боятся яркого света. В солнечные тихие дни облепляют они каждого проходящего по тундре человека, нестерпимо лезут в глаза. Такие же звонкие столбы комаров, отсвечивая металлическим блеском, висят в воздухе над каждой свернувшейся калачиком собакой. От укусов комаров плохо спасают душные накомарники. Из походов в тундру люди возвращаются искушенные комарами, с руками и лицами, испачканными кровью. Ко всякому бедствию можно привыкнуть, понемногу и мы привыкаем к нещадно терзающим нас комарам: в ходьбе и работе о них забываем. В холодные ветреные дни полчища комаров прячутся в траве. Из-под ног путешественника, точно клубы темного дыма, развеваемого ветром, поднимаются скрывавшиеся в растительности комары. С комарами появилась мелкая мошка — новое пополнение, которое тундра выставила против человека.

Странное дело: здешние «полярные» комары в темноте почти не кусаются. Мы спокойно спим в загемненных палатках, в полутемном бараке, где великое воинство комаров, стремясь к яркому свету, живой темной пленкой покрывает стекла окон.

* * *

Возле нашей палатки, разбитой у самого ручья, сегодня на пригреве во множестве появились мухи. Очень подвижные, с бронзово-зелеными брюшками, они с особенным металлическим звуком вьются над

нагретой солнцем каменистой землею, над серым полотнищем палатки. По-видимому, их привлекают внутренности застреленных нами птиц, совсем не гниющие на воздухе, лишенном бактерий.

Живое жужжанье мух в чистом и прозрачном воздухе полярной страны с особенной живостью напоминает знакомые с детства звуки весны. Подует над тундрой холодный ветер — и эти неведомо откуда появившиеся мухи исчезнут бесследно.

По озеру

Ясный тихий день. Пустынная светлая гладь озера недвижно зеркальна. В высоком, с прозрачными, легкими облаками небе как бы застыл, не движется шар нежаркого полуночного солнца.

Рассекая зеркальную гладь озера, катер скользит, удаляясь от берега, оставляя за собою на недвижной поверхности два широко расходящихся уса, две переливающиеся светом волны. Отражаясь в зеркале воды, с тревожными кликами пролетают над катером чайки. В застывшей стеклянной тишине впервые здесь слышится ровный приглушенный звук наших моторов.

С биноклем в руках сижу на носу катера. Справа виден далекий пологий южный берег, слева отчетливо видны отраженные в воде высокие, пологие холмы, покрытые рыжеватой растительностью тундры, выступы каменных останцов и за ними — в призрачной зыблущейся дали — вершины снежных гор Бырранга, загадочностью своею манящие взоры путешественников. Я поднимаю бинокль, вглядываюсь в неведомый людям берег. На склонах холма замечаю небольшое стадо оленей. Светлыми крошечными пятнами выделяясь на буром фоне тундры, животные мирно пасутся. Подняв красивые, украшенные ветвистыми рогами головы, олени прислушиваются к незнакомому звуку моторов, раздающемуся здесь впервые.

Дальше и дальше уходит на восток катер, следуя изгибам озера. Изредка мы останавливаемся, чтобы измерить глубину. Катер недвижно стоит как бы в застылой и прозрачной тишине. Чем дальше идем к востоку, меньше и меньше глубина озера. Чаше встречаются отмели. Стоя на носу катера с «наметкой» в руках, матрос и кок Вася измеряют глубину. В полной тишине слышится его голос:

— Полтора!.. Два с половиной!..

Уже через пять часов пути на горизонте открылся неведомый людям остров. Осторожно приближаемся к его холмистым призрачным берегам. Как бы встречая негаданных гостей, тучею поднимаются над островом чайки. Качаясь на распахнутых длинных крыльях, они низко пролетают над нашими головами. Мы близко видим их раскрытые черные клювы, вытянутые белоснежные шеи. Они качаются, падают и кувыркаются в воздухе, издавая тревожные крики.

Не подходя к самому острову, опасаясь задеть каменистое дно, бросаем якорь, садимся в шлюпку, под которой отчетливо видна разноцветная крупная галька.

В маленькой нашей экспедиции — ботаники, зоолог, два кинооператора, вооруженные съемочными аппаратами, запасами пленки. Над нашими головами по-прежнему вьются, тревожно кричат чайки.

Южный высокий берег неведомого острова покрыт густой и высокой растительностью, похожей на запущенный цветник. Мы входим, вытаскиваем на берег шлюпку, под тревожные крики чаек поднимаемся на холм, сплошь покрытый птичьими гнездами. В высоких зарослях цветущих незабудок, сиверсии проворно бегают неоперившиеся птенцы. Недоступный для разбойников-песцов остров птицы избрали для гнездо-

вания. Тысячелетиями скоплялся здесь помет чаек, отбросы их пищи, и на удобренной, перепревшей почве появились заросли полярных цветов — богатая находка для наших ботаников, торопившихся пополнить свои сборы... С ружьем за плечами я обхожу небольшой и пустынный остров, покрытый обломками скал, расписанными разноцветным узором лишайников. Сколько миллионов лет прошло с тех пор, когда образовалось это пустынное озеро, когда возник над ним каменный остров?

Яма Байкура

Дальше и дальше бежит наш быстроходный катер, унося нас в еще не исследованную северо-восточную часть Таймырского озера, в загадочную, еще не посещенную человеком страну, куда весной отлетают на линьку пролетные гуси. У берегов озера иногда мы видим многочисленные стаи этих гусей, на летний период потерявших способность летать. В бинокль можно заметить, как «линные» гуси выходят в испуге на берег и между бурыми кочками мелькают их вытянутые тонкие шеи.

Чем дальше подвигаемся на восток и север, пустынное кажутся берега мелководного неведомого залива Яма Байкура. Изредка видим оленей, пасущихся на отлогих холмах, взвывает, пролетит над берегом черный поморник. Ровный, заглушенный рев моторов нарушает недвижимую, как бы застывшую тишину.

Все чаще и чаще встречаются отмели. Чтобы не задеть дно, катер уменьшает ход и останавливается у пустынного берега.

Накинув на плечи ружья, вдвоем с Василием Михайловичем мы отправляемся в первый разведывательный поход. Неторопливо шагаем по кочковатой, пропитанной влагой земле. Здесь еще никогда не были люди, человеческая нога не оставляла свой след. Над нами пустынное высокое небо, неподвижные легкие облака. Застылый шар полуночного солнца освещает вершины холмов, один за другим уходящих в дальнюю даль. Хрустально прозрачен и недвижим арктический чистый воздух. Мы больше не слышим голосов птиц. Странное чувство возникает в душе впечатлительного путешественника, вступающего в неведомую людям страну. Мы идем час, другой, третий — ничто не меняется перед глазами. Та же окружает нас беззвучная тишина.

Утомительно и печально однообразие тундры. Трудно идти по сырой, подтаявшей, покрытой невысокими кочками мерзлоте. Зимой в этих местах бушевала снежная пурга, лежали спрессованные ветром сугробы. Над снежно белой пустыней совсем не восходило солнце, в морозные тихие ночи в снегах отражалось сияние бесчисленных звезд. Полыхали, переливались на небе северные сияния — сполохи, по временам ярко светила луна, освещая снеговые пространства...

После нескольких часов утомительной ходьбы мы поднимаемся на вершину пологого сухого холма. Отсюда хорошо видна гладь залива, на севере и востоке — пустынные цепи холмов, далекое сияние покрытых снегом таинственных гор. Здесь между холмами протекает неведомая, не имеющая названия река, которую летчики видели с пролетавшего над этой пустыней самолета. Как и куда течет эта таинственная река? Впадает или вытекает из Таймырского озера? В задачу экспедиции входит изучение неведомой реки, ее течения и глубины.

Вершина холма покрыта вросшими в землю, расписанными узорами лишайников камнями. Здесь мы устраиваемся на отдых, снимаем с плеч ружья, достаем из рюкзаков походную нашу еду... Растянувшись у вросшего в землю камня, мы едим, курим.

— Наверное, и здесь есть жизнь,— говорит Василий Михайлович,— пасутся, бродят олени, гоняются за оленями волки.

Как бы в подтверждение его слов, шагах в тридцати от нас появляется молодой песец-крестоватик. Мы видим его маленькую лисью голову со стоячими, заостренными ушами. Песец останавливается, судорожно нюхает воздух, в котором почуял незнакомый запах людей.

Мы лежим неподвижно, внимательно наблюдая внезапно появившегося зверька. Совсем по-собачьи он крутит головкой, медленно приближается к нам, то останавливаясь, то припадая к земле. Несомненно, его влечет к нам его звериное любопытство. Он рассматривает неподвижно лежащих людей, останавливается, вытянув шею, долго нюхает воздух. На его спине и боках — темные полосы, имеющие форму креста, охотники-промышленники в летнюю пору называют поэтому линияющих песцов крестоватиками. Ближе и ближе подкрадывается к нам любопытный песец. Совсем близко вижу его лисью мордочку, черные его глазки. Вот он подходит к моему сапогу, нюхает. Я осторожно пошевелил носком сапога. Боже мой, с каким смешным испугом отскочил в сторону любопытный песец! Отскочил и остановился...

Долго продолжается игра с любопытным песцом, то осторожно подкрадывающимся к нашим ногам, то отпрыгивающим в испуге. Отдохнув, мы поднимаемся, навьючиваем на спины тяжелые походные рюкзаки, трогаемся в путь. Перепуганный песец удирает от нас со всех ног, и мы долго видим с вершины холма, как белой пушинкой мелькает он среди бурых кочек молчаливой и недвижной тундры.

Понадобилось много времени, чтобы спуститься к неведомой, текущей в размытых и темных берегах реке. Здесь мы особенно убедились, как обманчиво расстояние. Река, казавшаяся близкой, как бы отступала от нас. Спускаясь по крутому распадку, близко подходим к воде, черной и неподвижной. Из походной тетради я отрываю белый листок, бросаю на поверхность воды. Листок медленно движется, указывая, что река впадает в Таймырское озеро, в его восточную часть.

Мы идем усыпанным галькой и камнями берегом открытой нами реки и странное испытываем чувство. Нога человека не ступала на эти пустынные берега. Миллионы лет пролетели над этой пустыней, и все здесь как будто застыло.

— В таких вот местах обычно находят мамонтов,— сказал Василий Михайлович, осматривая оползшие берега.

И как бы подтверждая нашу надежду, мы увидели клык мамонта, торчащий из земли. Труп допотопного животного не оказался. Покрытый землею огромный клык торчал наполовину. Мы с трудом его вытащили.

Усталые, но довольные удачным походом, с тяжелой находкой на плечах мы возвращались к заливу берегом открытой нами реки. Перьями линных гусей, точно хлопьями снега, был покрыт берег.

Пройдут годы, думал я, прислушиваясь к шуму волн и голосам птиц, и, быть может, в этой «недоступной стране», куда мы проникли впервые, начнется новая жизнь, будут построены удобные дороги, возникнут поселки и города. И, может быть, в этой холодной и пустынной стране возникнет первый арктический заповедник, где найдут надежное прибежище пролетные птицы, где под охраной людей будут безбоязненно пастись стада диких оленей.



О. ДРИЗ

★

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

С еврейского

Последние заботы

Осенний ветер за море
Собрался улетать,
Да разных недоделок,
Забот не сосчитать:

Река не отутюжена
И не подметено —
Все золотом соломинок
Усыпано гумно.

Еще он должен перышки
У голубей продуть,
Проветрить дом у скворушек,
Пускаясь в дальний путь,

И, невидимкою-смычком
По проводам вода,
Тихонько песню доиграть
Под шепоток дождя.

Вот, искупавшись в хвое,
Над лесом сделал круг,
Взмыл ветер в поднебесье,
Да что-то вспомнил вдруг.

Вернулся он и в чаще,
Где ветви заплелись,
Пригнув березку-свечку,
Задул последний лист.

Листья

Ах, как смело,
Как вызывающе
Острием нацелены в небо
Зеленые почки!

Словно кулачки
Новорожденного,
Крепко сжатые,
Они заявляют:
«Все наше, все наше!»

Ах, как тихо
Умирают листья!
Они распластались на земле,
Как пожелтевшие
Открытые ладони
Честных рук того,
Кто, покидая этот мир,
Как бы говорит:
«Смотрите, смотрите,
Я ничего не взял с собой,
Ни-че-го!»

Перевела Т. Спендиарова.



Дж. Д. СЭЛИНДЖЕР

★

ВЫШЕ СТРОПИЛА, ПЛОТНИКИ!

Повесть «Выше стропила, плотники!» входит в цикл произведений Сэлинджера о семье Глассов. Несколько рассказов из этого цикла уже публиковалось в русских переводах (в том числе и в «Новом мире» — «Посвящается Эсме», «В ялке»).

Время действия печатаемых ниже произведений — начало войны и послевоенный 1948 год. Рассказ «Хорошо лоеится рыбка-бананка...» является как бы продолжением повести.

Лет двадцать тому назад, когда в громадной нашей семье вспыхнула эпидемия свинки, мою младшую сестренку Франни однажды вечером перенесли вместе с коляской в комнату, где я жил со старшим братом Симором и где предположительно микробы не водились. Мне было пятнадцать. Симору — семнадцать.

Часа в два ночи я проснулся от плача нашей новой жилицы. Минуту я лежал, прислушиваясь к крику, но соблюдая полный нейтралитет, а потом услышал, вернее — почувствовал, что на соседней кровати зашевелился Симор. В то время на ночном столике между нашими кроватями лежал электрический фонарик — на всякий пожарный случай, хотя, насколько мне помнится, никаких таких случаев не бывало. Симор щелкнул фонариком и встал.

— Мама сказала — бутылочка на плите, — объяснил я ему.

— А я только недавно ее кормил, — сказал Симор, — она сыта.

В темноте он подошел к стеллажу с книгами и медленно стал шаришь лучом фонарика по полкам.

Я сел.

— Что ты там делаешь? — спросил я.

— Подумал, может, почитать ей что-нибудь, — сказал Симор и снял с полки книгу.

— Слушай, балда, ей же всего десять месяцев! — сказал я.

— Знаю, — сказал Симор, — но уши-то у них есть. Они все слышат.

В ту ночь при свете фонарика Симор прочел Франни свой любимый рассказ — то была даосская легенда¹. И до сих пор Франни клянется, будто помнит, как Симор ей читал:

— Князь Му, повелитель Чина, сказал По Ло: «Ты обременен гонимыми. Может ли кто-нибудь из твоей семьи служить мне и выбирать лошадей вместо тебя?» По Ло отвечал: «Хорошую лошадь можно узнать по ее виду и движеньям. Но несравненный скакун — тот, что не касается праха и не оставляет следа, есть нечто таинственное и неуловимое, неосязаемое, как утренний туман. Таланты моих сыновей не достигают

¹ Даосизм — древнекитайское философское учение, возникшее в VI—V веках до нашей эры.

высшей ступени; они могут отличить хорошую лошадь, посмотрев на нее, но узнать несравненного скакуна они не могут. Однако есть у меня друг по имени Чу Фан-као, торговец хворостом и овощами,— он не хуже меня знает толк в лошадях. Призови его к себе».

Князь так и сделал. Вскоре он послал Чу Фан-као на поиски коня. Спустя три месяца тот вернулся и доложил, что лошадь найдена. «Она теперь в Шахью»,— добавил он. «А какая это лошадь?»— спросил князь. «Гнедая кобыла»,— был ответ. Но когда послали за лошадью, оказалось, что это черный, как ворон, жеребец.

Князь в неудовольствии вызвал к себе По Ло. «Друг твой, которому я поручил найти коня, совсем осрамился. Он не в силах отличить жеребца от кобылы! Что он понимает в лошадях, если даже масть назвать не сумел?»

По Ло вздохнул с глубоким облегчением: «Неужели он и вправду достиг этого?— воскликнул он.— Тогда он стоит десяти тысяч таких, как я. Я не осмелюсь сравнить себя с ним. Ибо Као проникает в строе-ние духа. Постигая сущность, он забывает несущественные черты; прозревая внутренние достоинства, он теряет представление о внешнем. Он видит то, что для него нужно, и не замечает ненужного. Он смотрит туда, куда следует смотреть, и пренебрегает тем, на что смотреть не стоит. Мудрость Као столь велика, что он мог бы судить и о более важных вещах, чем достоинства лошадей».

И когда привели коня, оказалось, что он поистине не имеет себе равных.

Я привел этот отрывок не только потому, что я всегда неизменно и настойчиво рекомендую родителям и старшим братьям десятимесячных младенцев чтение хорошей прозы как успокоительное средство, но и по совершенно другой причине. Сейчас вы прочтете рассказ об одной свадьбе, которая состоялась в 1942 году. По моему мнению, это вполне законченный рассказ — в нем есть свое начало, есть свой конец и даже предчувствие смерти. Так как мне известны дальнейшие факты, считаю себя обязанным сообщить, что сейчас, в 1955 году, жениха уже нет в живых. Он покончил с собой в 1948 году, когда отдыхал с женой во Флориде... Но главным образом мне хочется сказать вот что: с тех пор как жених навсегда сошел со сцены, я не нахожу ни одного человека, которому я мог бы вместо него доверить поиски скакуна.

* * *

В мае 1942 года мы, все семеро — потомство Леса и Бесси (урожденной Галлахер) Гласс, бывших комических актеров странствующей труппы,— были, говоря пышным слогом, разбросаны по всем Соединенным Штатам Америки. Например, я, второй по старшинству, лежал в военном госпитале в форте Беннинг, штат Джорджия, с плевритом — памяткой трехмесячного обучения пехотной премудрости. Близнецы Уолт и Уэйкер разлучились еще год назад. Уэйкера посадили в лагерь отказчиков в Мэриленде, а Уолт воевал на Тихом океане — или направлялся туда — с частями полевой артиллерии. (Мы никогда точно не знали, где находится Уолт. Писать письма он не любил, и после его смерти мы очень мало, почти что ничего о нем не узнали. Он погиб по нелепейшей случайности в Японии в 1945 году.)

Моя старшая сестра Бу-Бу (хронологически она приходится между мной и близнецами) служила мичманом в женских морских вспомогательных частях на военно-морской базе в Бруклине. Всю весну и лето того года сестра прожила в маленькой нью-йоркской квартире, кото-

рая все еще числилась за мной и Симором после призыва в армию. Двое младших ребят, Зуи (мальчик) и Франни (девочка), жили с нашими родителями в Лос-Анжелосе, где отец выискивал талантливых актеров для киностудии. Зуи было тринадцать, а Франни — восемь. Каждую неделю они оба выступали по радио в детской передаче вопросов и ответов под типичным для американского радио игривым названием «Что за умный ребенок!». Пожалуй, здесь надо сказать, что почти все время, вернее — из года в год, все дети нашей семьи выступали в качестве платных «гостей» в программе «Что за умный ребенок!». Мы с Симором выступали первыми — в 1927 году, когда ему было десять, а мне — восемь, и «вещали» мы из гостиной старого отеля Марри-Хилл. Все семеро, начиная с Симора и кончая Франни, выступали под псевдонимами. Может быть, это покажется в высшей степени противоречивым: ведь мы как-никак дети эстрадных актеров, людей, ни в коей мере не пренебрегающих рекламой, но моя мать однажды прочла в журнале статью о том, какой крест вынуждены нести маленькие профессионалы, как они изолированы от обыкновенных детей, чье общество, очевидно, весьма для них полезно, — и она с железной непоколебимостью настояла на своем и ни разу, ни одного-единственного разу не отступила. (Здесь совсем не место разбираться, нужно ли объявить вне закона всех или большинство детей-«профессионалов», окружить их жалостью или без всяких сантиментов просто изничтожить как нарушителей общественного спокойствия. Замечу только, что наш общий заработок в программе «Умный ребенок» дал шестерым из нас возможность окончить колледж, да и седьмой учится на те же средства.)

Наш старший брат Симор — а о нем главным образом здесь и пойдет речь — служил капралом в войсках, которые тогда, в 1942 году, еще назывались: военно-воздушные силы. Жил он на базе бомбардировщиков Б-17 в Калифорнии; насколько мне известно, он исполнял обязанности ротного писаря. Добавлю мимоходом, хотя это и важно, что из всех нас он меньше всего любил писать письма. Кажется, за всю жизнь он мне не написал и пяти писем.

В то утро, двадцать второго, а может быть, двадцать третьего мая (наша семья никогда не ставила числа на письмах), мне положили в ноги на койку военного госпиталя в форте Беннинг письмо от моей сестры Бу-Бу, — в это время мне стягивали диафрагму липким пластырем (это мероприятие медики обычно проделывают над больными плевритом, по-видимому, для того, чтобы те не рассыпались на кусочки от кашля). Когда мучения прекратились, я прочел письмо Бу-Бу. Оно сохранилось, и я привожу его дословно:

«Милый Бадди!

Собираюсь в дорогу и страшно тороплюсь, поэтому пишу тебе кратко, но внушительно. Адмирал Шипозад решил, что ему для победы над врагом необходимо уехать к черту на рога в неизвестном направлении и взять с собой свою секретаршу (если я буду вести себя хорошо). Я страшно расстроена. Не говоря уже о Симоре, придется мерзнуть в палатках, выносить глупые приставания наших доблестных бойцов и травить на самолете в эти гнусные бумажные мешки. Но главное вот что: Симор женится — понимаешь, ж е н и т с я! — так что, прошу тебя, отнесись к этому внимательно. Я приехать не могу. Уезжаю неизвестно на сколько, от полутора до двух месяцев. Невесту я видела. По-моему, она — пустое место, но хороша собой необычайно. Конечно, я не знаю, такое ли она ничтожество, как мне показалось. В тот вечер она и двух слов не сказала. Сидит, улыбается, курит, так что, может быть, я к ней несправедлива. Об их романе ничего не знаю: кажется, они познакоми-

лись прошлой зимой, когда часть Симора была расквартирована в Монмауте. Но мамаша у нее — дальше ехать некуда: копаются во всех искусствах и дважды в неделю ходит к известному психоаналитику, ученику Юнга; в тот вечер, когда мы познакомились, она два раза спросила меня, подвергалась ли я психоанализу! Сказала, что ей хотелось бы, чтобы Симор был больше похож на других людей. Но тут же заявила, что он все-таки ей ужасно нравится и так далее и тому подобное и что она благоговейно слушала его все годы, когда он выступал по радио. Вот все, что я о них знаю, но самое главное — тебе непременно надо быть на свадьбе. Я тебе никогда не прощу, если не поедешь, честное слово! Маме и папе приехать с побережья никак нельзя. Вдобавок у Франни корь. Кстати, слышал ли ты ее по радио на прошлой неделе? Она долго и красиво рассказывала, как она в четыре с половиной года летала по всей квартире, когда никого не было дома. Новый комментатор куда хуже Гранта — пожалуй, он даже хуже тогдашнего Салливена, если только можно быть хуже. Он сказал, что ей, наверно, приснилось, как она летает. Но наша кроха с ангельским терпением стояла на своем. Она сказала — нет, она знает наверно, что умеет летать, потому что, когда она спускалась, пальцы у нее были в пыли — трогала электрические лампочки. Ужасно хочу ее видеть. И тебя тоже. Во всяком случае на свадьбу ты должен попасть непременно. Дезертируй, если надо, только поезжай, очень тебя прошу. Свадьба в три часа четвертого июня. Очень светская и современная, на квартире у ее бабушки на Шестьдесят третьей улице. Венчают их какой-то сузья. Номера дома не помню, но это через два дома от той квартиры, где Карл и Эми утонули в роскоши и богатстве. Уолту дам телеграмму, но, кажется, его транспорт уже ушел. Пожалуйста, поезжай туда, Бадди! Он похож на заморенного котенка, лицо восторженное, говорить с ним немислимо. Может быть, все обойдется, но я ненавижу сорок второй год и, должно быть, буду из принципа ненавидеть до самой смерти. Целую тебя крепко, увидимся, когда вернусь.

Бу-Бу».

Дня через три после получения письма меня выписали из госпиталя, выдав, так сказать, на поруки трем метрам липкого пластыря, обхватившего мои ребра. Потом началась напряженнейшая недельная кампания — надо было получить отпуск на свадьбу. Наконец я добился своего путем настойчивого заискивания перед командиром роты — человеком, по его собственному определению, книжным, чей любимый писатель, к счастью, оказался и моим любимцем: это был некий Л. Меннинг Вайнс. Нет, кажется, Хайндс. Но, несмотря на столь прочные духовные узы, связывавшие нас, я добился всего лишь трехдневного отпуска, то есть в лучшем случае времени хватало только на то, чтобы доехать поездом до Нью-Йорка, побыть на свадьбе, наспех где-то пообедать и вернуться в Джорджию в поту и в мыле.

В «сидячих» вагонах поездов сорок второго года вентиляция, насколько помнится, была чисто условная, все было битком набито военной охраной, пахло апельсиновым соком, молоком и скверным виски. Всю ночь я прокашлял, сидя над комиксом, который кто-то дал мне почитать из жалости. Когда поезд подошел к Нью-Йорку — в десять минут третьего, в день свадьбы, — я был весь искашлявшийся, измученный, потный и мятый, кожа под липким пластырем зверски зудела. Жара в Нью-Йорке стояла неопикуемая. Зайти на квартиру было некогда, и свой багаж, состоявший из весьма неприглядного парусинового саквояжика на молнии, я оставил в стальном шкафчике на Пенсильванском вокзале. И, как нарочно, в ту минуту, как я брел мимо магазинов готового платья.

ища такси, младший лейтенант службы связи, которому я, очевидно, забыл отдать честь, переходя Седьмую авеню, вдруг вынул самописку и под любопытными взглядами кучки прохожих записал мою фамилию, номер части и адрес.

В такси я совсем размяк. Водителю я дал указание довезти меня хотя бы до дома, где когда-то «утопали в роскоши» Карл и Эми. Но когда мы доехали до этого квартала, все оказалось очень просто. Надо было только идти вслед за толпой. Там был даже полотняный балдахин. Через несколько минут я вошел в огромный старый каменный дом, где меня встретила очень красивая дама с бледно-лиловыми волосами, которая спросила, чей я знакомый — жениха или невесты. Я сказал: «Жениха». — «О-о, — сказала она, — знаете, тут у нас все перемешались». Она засмеялась слишком громко и указала на складной стул — последний свободный стул в огромной, переполненной до отказа гостиной. За тринадцать лет в моей памяти произошло полное затмение: никаких подробностей, касающихся этой комнаты, я не помню. Кроме того, что она была битком набита и что было невыносимо жарко, я припоминаю только две детали: орган играл прямо за моей спиной, а женщина, сидевшая справа, обернулась ко мне и восторженным театральным шепотом сказала: «Я — Э л е н С и л с б е р н!» По расположению наших мест я понял, что это не мать невесты, но на всякий случай я заулыбался и закивал изо всех сил и уже собрался было представиться ей, но она церемонно приложила палец к губам, и мы оба посмотрели вперед. Было приблизительно три часа. Я закрыл глаза и стал несколько настроенно ждать, пока органист не перестанет играть разные разности и не загремит свадебным маршем из «Лоэнгрина».

Я не очень ясно представляю себе, как прошел следующий час с четвертью, кроме того важного факта, что марш из «Лоэнгрина» так и не загремел. Помню, что какие-то незнакомые люди то и дело оборачивались отовсюду, чтобы взглянуть исподтишка, кто это так кашляет. И помню, что женщина справа еще раз заговорила со мной тем же несколько приподнятым шепотом. «Очевидно, какая-то задержка, — сказала она. — Вы когда-нибудь видели судью Ренкера? У него лицо святого!»

Помню, как органная музыка неожиданно и даже в каком-то отчаянии вдруг перешла с Баха на раннего Роджерса и Харта. Но главным образом я как бы сочувственно стоял над собственной больничной койкой, жалея себя за то, что приходилось подавлять припадки кашля. Все время, пока я сидел в этой гостиной, мелькала трусливая мысль, что, несмотря на корсет из липкого пластыря, у меня сейчас хлынет горлом кровь или вот-вот лопнет ребро.

В двадцать минут пятого — или, грубо говоря, через двадцать минут после того, как последняя надежда исчезла, — невенчанная невеста, опустив голову, под двусторонним конвоем родителей неверным шагом проследовала вниз по длинной каменной лестнице на улицу. Там, словно передавая с рук на руки, ее наконец поместили в первую из лакированных черных машин, стоявших двойными рядами у тротуара. Момент был чрезвычайно живописный — настоящая иллюстрация из журнала, и, как полагается на таких иллюстрациях, в нее попало положенное число свидетелей: свадебные гости (в том числе и я), хотя и пытаясь соблюдать приличия, уже стали толпами высыпать из дому и жадно, чтобы не сказать — выпучив глаза, уставились на невесту. И если что-то хоть немного смягчало картину, то благодарить за это надо было погоду. Июньское солнце палило и жгло с беспощадностью тысячи фотовспы-

шек, так что лицо невесты, в полуобмороке спускавшейся с каменной лестницы, плыло в каком-то мареве, а это было весьма кстати.

Когда свадебный экипаж, так сказать, физически исчез со сцены, выжидательное напряжение на тротуаре — особенно под самым полотняным балдахином, где околачивался и я, — превратилось в обычную толчею, и, если бы дом был церковью, а день — воскресеньем, можно было подумать, что просто прихожане, толпясь, расходятся после службы. Внезапно с подчеркнутой настойчивостью стали передавать, якобы от имени невестинного дяди Эла, что машины поступают в распоряжение и гостей, даже если прием не состоится и планы изменятся. Судя по реакции окружающих меня людей, это было принято как «beau geste»¹. Но при этом было сказано, что машины поступят «в распоряжение» только после того, как внушительный отряд весьма почтенных людей, называемых «ближайшие родственники невесты», будет вполне обеспечен всем транспортом, который окажется необходимым, чтобы и они могли сойти со сцены. И после несколько непонятной толкотни (во время которой меня зажали, как в тиски, и приковали к месту) вдруг действительно начался исход «ближайших родственников»: они размещались по шесть-семь человек в машине, хотя иногда садились и по трое и по четверо. Зависело это, как я понял, от возраста, поведения и ширины бедер первого, кто садился в машину.

Вдруг по чьему-то указанию, брошенному вскользь, но весьма безапелляционно, я очутился на краю тротуара, у самого балдахина, и стал подсаживать гостей в машины.

Не мешало бы поразмыслить, почему на эту ответственную должность выбрали именно меня? Насколько я понял, неизвестный пожилой деятель, распорядившийся мною таким образом, не имел ни малейшего понятия о том, что я брат жениха. Поэтому логика подсказывает, что выбрали меня по другим, гораздо менее лирическим причинам. Шел срок второй год. Мне было двадцать три года, я только что попал в армию. Убежден, что лишь мой возраст, военная форма и тускло-защитная аура несомненной услужливости, исходившая от меня, рассеяли все сомнения в моей полной пригодности для роли швейцара.

Но я был не только двадцатитрехлетним юнцом, но и сильно отстал для своих лет. Помню, что, подсаживая людей в машины, я не проявлял даже самой элементарной ловкости. Я проделывал это с какой-то притворной школьнической старательностью, создавая видимость выполнения важного долга. Честно говоря, я уже через несколько минут отлично понял, что приходится иметь дело с поколением гораздо более старшим, хорошо упитанным и низкорослым, и моя роль поддерживателя под локоток и закрывателя дверей свелась к чисто показным проявлениям дутой мощи. Я вел себя как исключительно светский, полный обаяния юный великан, одержимый кашлем.

Но страшная духота, мягко говоря, угнетала меня, и никакая награда за мои старания не маячила впереди. И хотя толпа «ближайших родственников» едва только начинала редеть, я вдруг втиснулся в одну из свежезагруженных машин, уже трогавшуюся со стоянки. При этом я с громким стуком (как видно, в наказание) ударился головой о крышу. Среди пассажиров машины оказалась та самая шептунья, Элен Силсберн, которая тут же стала выражать мне свое неограниченное сочувствие. Грохот удара, очевидно, разнесся по всей машине. Но в двадцать три года я принадлежал к тому сорту молодых людей, которые, претерпев на людях любое увечье, кроме разбитого черепа, издают лишь глухой, нечеловеческий смешок.

¹ Широкий жест (франц.).

Машина повернула на запад и словно въехала прямо в раскаленную печь предзакатного неба. Так она проехала два квартала, до Мэдисон-авеню, и резко повернула на север. Мне казалось, что только необычайная ловкость какого-то безвестного, но опытного водителя спасла нас от гибели в раскаленном солнечном горне.

Первые четыре или пять кварталов по Мэдисон-авеню на север мы проехали под обычный обмен фразами вроде: «Я вас не очень стесняю?» — или: «Никогда в жизни не видала такой жары!» Дама, никогда в жизни не выдавшая такой жары, оказалась, как я подслушал, еще стоя на тротуаре, невестинной подружкой. Это была мощная особа лет двадцати четырех или пяти в розовом шелковом платье, с венком искусственных незабудок на голове. В ней явно чувствовалось нечто атлетическое, словно год или два назад она сдала экзамен в колледже на инструктора по физическому воспитанию. Даже букет гардений, лежавший у нее на коленях, походил на опавший волейбольный мяч. Она сидела сзади, зажатая между своим мужем и крошечным старичком во фраке и цилиндре, с незажженной гаванской сигарой светлого табака в руке. Миссис Силсберн и я, непорочно касаясь друг друга коленями, занимали откидные места. Дважды без всякого предлога, просто из чистого восхищения, я оглядывался на крошечного старичка. В ту первую минуту, когда я только начал загружать машину и открыл перед ним дверцу, у меня мелькнуло желание подхватить его на руки и осторожно всадить через открытое окошко. Он был такой малюсенький, ростом около четырех футов с немногим, и, однако, не казался ни карликом, ни лилипутом. В машине он сидел прямо и весьма строго глядел вперед. Обернувшись во второй раз, я заметил, что у него на лацкане фрака было пятно, очень похожее на застарелые следы жирного соуса. Заметил я также, что его цилиндр не доходил до крыши машины дюйма на четыре, а то и на все пять. Однако в первые минуты нашей поездки меня больше всего интересовало состояние собственного моего здоровья. Кроме плеврита и шишки на голове, меня донимало пессимистическое предчувствие начинающейся ангины. Тайком я пытался завести язык как можно дальше и обследовать подозрительные места в глотке. Помню, что я сидел, уставившись прямо в затылок водителю — его шея представляла собой рельефную картину шрамов от залеченных фурункулов, — как вдруг моя соседка по откидной скамеечке спросила меня:

— А как поживает ваша милая мамочка? Ведь вы Дикки Бриганза, да?

Язык у меня в эту минуту был занят обследованием мягкого неба и загернут далеко назад. Я его развернул, проглотил слюну и посмотрел на соседку. Ей было лет под пятьдесят, одета она была модно и элегантно. На лице толстым блином лежал густой грим.

Я ответил, что — нет, я — не он.

Она, слегка прищурившись, посмотрела на меня и сказала, что я как две капли воды похож на сына Селии Бриганза. Особенно рот. Я попытался выражением лица показать, что людям, мол, свойственно ошибаться. И снова уставился в затылок водителю. В машине наступило молчание. Для разнообразия я посмотрел в окно.

— Вам нравится служить в армии? — спросила миссис Силсберн мимоходом, лишь бы что-то сказать.

Но именно в эту минуту на меня напал кашель. Когда приступ прошел, я обернулся к ней и со всей доступной мне бодростью сказал, что у меня в армии много товарищей. Ужасно трудно было поворачиваться к ней — очень давил на диафрагму липкий пластырь.

Она закивала.

— Я считаю, что вы все — просто чудо! — сказала она несколько двусмысленно. — Скажите, а вы — друг невесты или жениха? — вдруг в упор спросила она.

— Видите ли, я не то чтобы друг...

— Лучше молчите, если вы друг жениха! — прервал меня голос невестинной подружки за спиной. — Ох, попадись он мне в руки хоть на две минуты. Всего на две минутки, мне вполне хватит!

Миссис Силсберн обернулась круто, в полный оборот, чтобы улыбнуться говорившей. И снова — полный поворот на месте. Мы с ней крунулись почти одновременно. Поворот был мгновенный. И улыбка, которой она одарила невестину подружку, была чудом эквилибристики. В живости этой улыбки выражалась симпатия ко всему молодому поколению во всем мире и особенно к данной представительнице этой молодежи — такой смелой, такой откровенной, — впрочем, она еще мало с ней знакома.

— Кровожадное существо! — сказал со смешком мужской голос.

Миссис Силсберн и я опять обернулись. Заговорил муж невестинной подружки. Он сидел прямо за моей спиной, слева от жены. Мы с ним обменялись беглым недружелюбным взглядом, каким в тот недоброй памяти 1942 год могли обменяться только офицер с простым солдатом. На нем, старшем лейтенанте службы связи, была очень забавная фуражка летчика военно-воздушных сил — с огромным козырьком и тульей, из которой была вынута проволока — очевидно, чтобы придать владельцу фуражки заранее задуманный беззаветно храбрый вид. Но в данном случае фуражка своей роли никак не выполняла. Она главным образом работала на то, чтобы мой собственный, положенный по форме и несколько великоватый для меня головной убор выглядел как шутовской колпак, впопыхах вытасенный кем-то из мусоропровода.

Вид у лейтенанта был болезненный и загнанный. Он ужасно потел — откуда только бралось столько влаги на лбу, на верхней губе, даже на кончике носа, — говорят, в таких случаях надо принимать солевые таблетки.

— Женат на самом кровожадном существе во всем штате! — сказал он миссис Силсберн с мягким смешком, явно рассчитанным на публику.

Из автоматического почтения к его чину я тоже чуть было не издал что-то вроде смешка — и этот коротенький, бессмысленный смешок чужака и младшего чина ясно показал бы, что и я на стороне лейтенанта и всех пассажиров такси и вообще я — не против, а за!

— Нет, я не шучу, — сказала невестина подружка, — на две минутки, братцы, мне бы на две минутки! Ох, я бы собственными своими ручками...

— Ладно, ладно, не шуми, не волнуйся! — сказал ее муж, очевидно обладавший неиссякаемым запасом семейного долготерпения. — Не волнуйся — дольше проживешь.

Миссис Силсберн снова обернулась назад и одарила невестину подружку почти ангельской улыбкой.

— А кто-нибудь видел его родных на свадьбе? — спросила она, мягко и вполне воспитанно подчеркивая личное местоимение.

В ответе невестинной подружки была взрывчатая сила:

— Нет! Они все не то на западном побережье, не то еще где-то. Хотела бы я на них посмотреть!

Ее муж опять засмеялся.

— А что бы ты сделала, милуша? — спросил он и беззастенчиво подмигнул мне.

— Не знаю, но что-нибудь я бы обязательно сделала, — сказала она.

Лейтенант засмеялся громче.

— Обязательно! — настойчиво повторила она. — Я бы им все сказала! И вообще — боже мой!.. — Она говорила с все возрастающим апломбом, словно решив, что не только ее муж, но и все остальные слушатели восхищаются ее прямоотой, ее несколько вызывающим чувством справедливости, пусть даже в нем есть что-то детское, наивное. — Не знаю, что я им сказала бы. Наверно, несла бы всякую чепуху. Но господи ты боже! Честное слово, не могу видеть, как людям спускают форменные преступления! У меня вся кровь кипит!

Она подавила благородное волнение ровно настолько, чтобы миссис Силсберн успела поддержать ее взглядом, полным подчеркнутого сочувствия. Мы с миссис Силсберн уже окончательно и сверхобщительно обернулись назад.

— Да, вот именно преступление! — продолжала невестина подружка. — Нельзя с ходу врезаться в жизнь, ранить людей, так, походя, оскорблять их лучшие чувства.

— К сожалению, я мало что знаю про этого молодого человека, — мягко сказала миссис Силсберн. — Я и не видела его никогда. Неожиданно услышала, что Мюриель обручена.

— Никто его не видел, — резко бросила невестина подружка. — Даже я и то с ним незнакома. Два раза мы репетировали свадебную церемонию, и каждый раз бедному папе Мюриель приходилось замечать его только из-за того, что его идиотский самолет не мог вылететь. Во вторник вечером он должен был прилететь сюда на каком-то идиотском военном самолете, но в каком-то идиотском месте — не то в Аризоне, не то в Колорадо — случилось какое-то идиотство, снег пошел, что ли, и он прилетел только вчера в час ночи! И в такой час он, как сумасшедший, вызывает Мюриель по телефону откуда-то с Лонг-Айленда и просит встретиться с ним в холле какой-то жуткой гостиницы — ему надо, видите ли, с ней поговорить. — Невестина подружка красноречиво передернула плечами. — Но вы знаете Мюриель, с таким англом каждый встречный-поперечный может выкамаривать, что ему вздумается. Меня это просто бесит. Таких, как она, всегда обижают... И представьте, она одевается, мчится в такси и сидит в каком-то жутком холле, разговаривает с ним до половины пятого утра! — Невестина подружка выпустила из рук букет и ажала оба кулака над коленями. — Ох, я просто взбесилась!

— А в какой гостинице? — спросил я ее. — Вы не знаете, в какой?

Я старался говорить небрежно, как будто трест гостиниц принадлежит, скажем, моему отцу и с понятным сыновним интересом я хочу узнать, где же останавливаются в Нью-Йорке приезжие. Но, в сущности, мой вопрос ничего не значил. Я просто думал вслух. Мне показался любопытным самый факт, что брат просил свою невесту приехать к нему в какую-то гостиницу, а не в свою пустую квартиру. Правда, с моральной стороны такое приглашение было вполне в его характере, но все-таки мне было любопытно.

— Не знаю, в какой гостинице, — раздраженно сказала невестина подружка. — В какой-то гостинице — и все. — Она вдруг пристально посмотрела на меня. — А вам-то зачем? Вы его приятель, что ли?

В ее взгляде была явная угроза. Казалось, что в ней одной воплотилась целая толпа женщин и в другое время при случае она сидела бы с вязаньем у самой гильотины. А я всю жизнь панически боялся всякой толпы.

— Мы с ним выросли вместе, — сказал я еле внятно.

— Смотри, какой счастливчик!

— Ну-ну, не надо! — сказал ее муж.

— Ах, виновата! — сказала невестина подружка, обращаясь к нему,

хотя относилось это ко всем нам.— Но вы не видели, как эта бедная девочка битых два часа плакала не осушая глаз. Ничего смешного тут нет — не думайте, пожалуйста! Слыхали мы про струсивших женихов. Но не в последнюю же минуту! Понимаете, так не поступают, не ставят в неловкое положение целое общество, нельзя порядочных людей доводить чуть ли не до припадка и сводить девочку с ума. Если он передумал — почему он ей не написал, почему не порвал с ней, как джентльмен, скажите ради бога? Заранее, пока не заварил всю эту кашу!

— Ну ладно, успокойся, успокойся! — сказал ее муж. Он все еще посмеивался, но смех звучал довольно натянуто.

— Нет, я серьезно! Почему он не мог ей написать и все объяснить как мужчиной, предупредить эту трагедию и все такое? — Она метнула в меня взглядом.— Кстати, вы случайно не знаете, где он? — спросила она с металлом в голосе.— Если вы друзья детства, вы должны бы...

— Да я всего два часа, как приехал в Нью-Йорк, — сказал я робко. Теперь не только невестина подружка, но и ее муж, и миссис Силсберн уставились на меня.— Я даже до телефона не успел добраться.

Помню, что именно в эту минуту на меня напал приступ кашля. Кашель был вполне непритворный, но должен сознаться, что я не приложил никаких усилий, чтобы его прекратить или ослабить.

— Вы лечились от кашля, солдат? — спросил лейтенант, когда я перестал кашлять.

Но тут у меня снова начался кашель — и, как ни странно, опять без всякого притворства. Я все еще сидел в пол или в четверть оборота к задней скамье, но старался повернуться так, чтобы кашлять по всем правилам приличия и гигиены.

Может быть, я нарушу порядок повествования, но мне кажется, что тут надо сделать небольшое отступление, чтобы ответить на некоторые заковыристые вопросы. И первый из них — почему я не вышел из машины? Кроме всяких побочных соображений, я точно знал, что машина везет всю компанию на квартиру к родителям невесты. И если бы я даже мог получить какие-то ценные сведения через убитую горем невенчанную невесту или через ее обеспокоенных (и наверняка разгневанных) родителей, ничто не могло бы загладить неловкость моего появления в их квартире. Почему же я сиднем сидел в машине? Почему не выскочил, скажем, тогда, когда машина останавливалась перед светофором? И наконец самое непонятное: почему я вообще сел в эту машину?..

Возможно, что найдется с десяток ответов на все эти вопросы и все они хотя бы в общих чертах будут вполне удовлетворительны. Но мне кажется, что можно ответить на все сразу, напомнив, что шел 1942 год, что мне было двадцать три года и я только что был призван в армию, только что обучен стадному чувству, необходимости держаться скопом — и, что важнее всего, мне было очень одиноко. А в таких случаях, как я понимаю, человек просто прыгает в машину к другим людям и уже оттуда не вылезает.

* * *

Но, возвращаясь к изложению событий, я вспоминаю, что в то время, как все трое — невестина подружка, ее супруг и миссис Силсберн — не отрываясь смотрели, как я кашляю, я сам поглядывал назад, на маленького старичка. Он по-прежнему сидел, уставившись вперед. С чувством какой-то благодарности я заметил, что его ножки не доходят до полу. Мне они показались старыми добрыми друзьями.

— А чем этот человек вообще занимается? — спросила меня невестина подружка, когда окончился приступ кашля.

— Вы про Симора?— сказал я.

Сначала по ее тону мне померещилось, что она подозревает его в чем-то особенно подлом. Но вдруг, чисто интуитивно, я сообразил, что, может быть, она втайне собрала самые разнообразные биографические данные о Симоре, то есть все те мелкие, к сожалению, весьма драматические факты, дающие, по моему мнению, в самой своей основе ложное представление о нем. Например, что он еще мальчишкой лет шести был знаменитым по всей стране радиогероем. Или, с другой стороны, что он поступил в Колумбийский университет, едва только ему исполнилось пятнадцать лет.

— Вот именно про Симора,— сказала невестина подружка.— Чем он занимался до военной службы?

И снова во мне искоркой вспыхнуло интуитивное ощущение, что она знала про него куда больше, чем по каким-то причинам считала нужным открыть. По всей вероятности, ей, например, отлично было известно, что до призыва Симор преподавал английский язык, что он был преподавателем, да, преподавателем колледжа. И в какой-то момент, взглянув на нее, я испытал неприятное ощущение: а может быть, ей даже известно, что я брат Симора? Но думать об этом не стоило. И я только взглянул на нее исподлобья и сказал:

— Он был мозольным оператором.— И тут же, резко отвернувшись, стал смотреть в окошко.

Машина стояла уже несколько минут, но я только сейчас услышала воинственный грохот барабанов, который доносился издали, со стороны Лексингтонской или Третьей авеню.

— Парад! — сказала миссис Силсберн. Она тоже обернулась.

Мы оказались в районе восьмидесятых улиц. Посреди Мэдисон-авеню стоял полисмен и задерживал все движение и на север и на юг. Насколько я мог понять, он его просто останавливал, не направляя ни на восток, ни на запад. Три или четыре машины и один автобус ждали, пока их пропустят на юг, но наша машина была единственной, направившейся в северную часть города. На ближнем углу и на видимой мне из машины боковой улице, ведущей к Пятой авеню, люди столпились на тротуаре и у обочины, очевидно, выжидая, пока отряд солдат, или сестер милосердия, или бойскаутов, или еще кого двинется со сборного пункта на Лексингтон-авеню и промарширует мимо них.

— О боже! Этого еще не хватало! — сказала невестина подружка.

Я обернулся, и мы чуть не столкнулись лбами. Она наклонилась вперед, почти что втиснулась между мной и миссис Силсберн. Та с выражением сочувственного огорчения тоже повернулась к ней.

— Мы тут можем проторчать целый месяц! — сказала невестина подружка, вытягивая шею, чтобы поглядеть в ветровое стекло.— А мне надо быть там с е й ч а с. Я сказала Мюриель и ее маме, что приеду в одной из первых машин, буду у них через пять минут. О боже! Неужели ничего нельзя сделать?

— И мне надо быть там поскорее! — торопливо сказала миссис Силсберн.

— Да, но я ей обещаю. В квартиру набьются всякие сумасшедшие дяди и тетки, всякий посторонний народ, и я ей обещала, что стану на страже, всех буду принимать в штыки, чтобы дать ей хоть немножко побыть одной, немного...— Она перебила себя: — О боже! Какой ужас!

Миссис Силсберн натянута засмеялась.

— Боюсь, что я — одна из этих сумасшедших теток,— сказала она явно обиженно.

Невестина подружка покосилась на нее.

— Ах, простите! Я не про вас,— сказала она. Потом откинулась на спинку заднего сидения.— Я только хотела сказать, что у них квартирка такая тесная и если туда начнут переть все, кому не лень,— сами понимаете!

Миссис Силсберн промолчала, а я не смотрел на нее и не мог судить, насколько серьезно ее обидело замечание невестинной подружки. Помню только, что на меня произвел какое-то особое впечатление тон, с каким невестина подружка извинилась за свою неловкую фразу про «сумасшедших дядей и теток». Извинилась она искренне, но без всякого смущения, больше того — без всякой униженности, и у меня внезапно мелькнуло чувство, что, несмотря на показную строптивость и наигранный задор, в ней действительно было что-то прямое, как штык, что-то почти вызывавшее восхищение. (Скажу сразу и с полной откровенностью, что мое мнение в данном случае мало стоит. Слишком часто меня неумеренно влечет к людям, которые не рассыпаются в извинениях.) Но вся суть в том, что в эту минуту во мне впервые зашевелилось некоторое предубеждение против жениха, правда, самое чуточное, едва заметный зародыш порицания за его необъяснимое злонамеренное отступничество.

— Ну-ка, попробуем что-нибудь сделать,— сказал муж невестинной подружки.

Это был голос человека, сохраняющего спокойствие и под огнем неприязни. Я почувствовал, как он собирается с силами у меня за спиной, и вдруг его голова просунулась в довольно ограниченное пространство между мной и миссис Силсберн.

— Водитель! — сказал он властным голосом и умолк в ожидании ответа.

Водитель не замедлил откликнуться, после чего голос лейтенанта стал куда покладистей и демократичнее:

— Как по-вашему, долго нас тут будут задерживать?

Водитель обернулся.

— А кто его знает, Мак,— сказал он и снова стал смотреть вперед. Он был весь поглощен тем, что происходило на перекрестке. За минуту до того какой-то мальчуган с наполовину опавшим красным воздушным шариком выскочил в запретную зону, очищенную от прохожих. Его только что поймал отец, потащил по тротуару и разок-другой ткнул кулаком в спину. Толпа в справедливом негодовании встретила этот поступок криками.

— Вы видели, как этот человек обращается с ребенком? — спросила миссис Силсберн, взывая ко всем. Никто ей не ответил.

— Может быть, спросить полисмена, сколько нас тут продержат? — сказал водителю лейтенант. Он все еще сидел, наклонясь далеко вперед. Очевидно, его не удовлетворил лаконичный ответ водителя на его первый вопрос. — Видите ли, мы все несколько торопимся. Не могли бы вы спросить у него, надолго ли нас тут задержат?

Не оборачиваясь, водитель дерзко передернул плечами. Но все же он выключил зажигание и вышел из машины, грохнув тяжелой дверцей лимузина. Он был неряшлив, хамоват с виду, в неполной шоферской форме: в черном костюме, но без фуражки.

Медленно и весьма независимо, чтобы не сказать — нахально, он прошел несколько шагов до перекрестка, где дежурный полисмен управлял движением. Они стали переговариваться бесконечно долго. Я услышал, как невестина подружка застонала позади меня. И вдруг оба — полисмен с шофером — разразились громовым хохотом. Можно было подумать, что они ни о чем не беседовали, а просто накоротке обменялись непристойными шутками. Потом наш водитель, все еще смеясь

про себя, дружески помахал полисмену рукой и очень медленно пошел к машине. Он сел, еще раз грохнув дверцей, вытащил сигарету из пачки, лежавшей на полочке над распределительным щитком, засунул сигарету за ухо и потом, только потом, обернулся к нам и доложил:

— Он сам не знает,— сказал он.— Надо ждать, пока пройдет парад.— Он мельком оглядел всех нас.— Тогда можно и ехать.— Он отвернулся, вытащил сигарету из-за уха и закурил.

С задней скамьи послышался горестный вздох— это невестина подружка таким образом выразила обиду и разочарование. Наступила полная тишина. Впервые за последние несколько минут я взглянул на маленького старичка с незажженной сигарой. Задержка в пути явно не трогала его. Очевидно, он установил для себя твердые нормы поведения на заднем сидении машины— все равно какой: стоящей, движущейся, а может быть, даже— кто знает?— летящей с моста в реку. Все было чрезвычайно просто. Надо только сесть очень прямо, сохраняя расстояние от верхушки цилиндра до потолка примерно в четыре-пять дюймов, и сурово смотреть вперед, на ветровое стекло. И если Смерть— а она, по всей вероятности, все время сидела впереди, на капоте,— так вот, если Смерть каким-то чудом проникнет сквозь стекло и придет за тобой, то ты встанешь и пойдешь за ней сурово, но спокойно. Не исключалось, что можно будет взять с собой и сигару, если это светлая гавана.

— Что же мы будем делать? Просто сидеть тут— и все?— спросила невестина подружка.— Я умираю от жары.

Миссис Силсберн и я обернулись как раз вовремя, чтобы поймать ее взгляд, брошенный мужу, может быть, впервые за все время, что они сидели в машине.

— Неужели ты не можешь хоть чуть-чуть подвинуться?— сказала она ему.— Я просто задыхаюсь, так меня сдавили.

Лейтенант засмеялся и выразительно развел руками.

— Да я уже сижу чуть ли не на крыле, Заинька!— сказал он.

Она перевела взгляд, полный негодования и любопытства, на другого своего соседа: тот, словно ему хотелось хотя бы немного поднять мое настроение, занимал гораздо больше места, чем ему требовалось. Между его правым бедром и низом подлокотника было добрых два дюйма. Невестина подружка, несомненно, видела это, но, несмотря на весь металл в голосе, она все же никак не могла решиться попрекнуть этого устрашающего своим видом маленького человечка. Она опять повернулась к мужу.

— Ты можешь достать сигареты?— раздраженно спросила она.— Мне до моих никак не добраться, до того меня сдавили.

При слове «сдавили» она повернула голову и метнула беглый, но чрезвычайно красноречивый взгляд на маленького виновника преступления, захватившего пространство, которое по праву должно было принадлежать ей. Но тот остался в высшей степени неуязвимым. Он по-прежнему не спускал глаз с ветрового стекла. Подружка невесты посмотрела на миссис Силсберн и выразительно подняла брови. Миссис Силсберн в свою очередь выразила на лице полное понимание и сочувствие. Тем временем лейтенант перенес всю тяжесть тела на левую, ближайшую к окну, ягодицу и вытащил из правого кармана парадных форменных брюк пачку сигарет и картоночку спичек. Его жена взяла сигарету, и он тут же дал ей прикурить. Миссис Силсберн и я смотрели, как зажглась спичка, словно зачарованные каким-то необычным явлением.

— О, простите!— сказал лейтенант и протянул пачку миссис Силсберн.

— Очень вам благодарна, но я не курю! — торопливо проговорила миссис Силсберн почти с сожалением.

— А вы, солдат? — И лейтенант после едва заметного колебания протянул пачку и мне. Скажу откровенно, что хотя мне и понравилось, как он заставил себя предложить сигарету и как в нем простая вежливость победила кастовые предрассудки, но все-таки сигарету я не взял.

— Можно взглянуть на ваши спички? — спросила миссис Силсберн необыкновенно нежным, почти как у маленькой девочки, голоском.

— Эти? — сказал лейтенант. Он с готовностью передал картоночку со спичками миссис Силсберн.

Миссис Силсберн стала рассматривать спички, и я тоже посмотрел на них с выражением интереса. На откидной крышечке золотыми буквами по красному фону были напечатаны слова: «Эти спички украдены из дома Боба и Эди Бервик».

— Преле-е-стно! — протянула миссис Силсберн, качая головой. — Нет, правда, преле-е-стно!

Я попытался выражением лица показать, будто не могу прочесть надпись без очков, и бесстрастно прищурился. Миссис Силсберн явно не хотелось возвращать спички их хозяину. Когда она их отдала и лейтенант спрятал их в нагрудный карман, она сказала:

— По-моему, я такого никогда не видела, — и, сделав почти полный оборот на своем откидном сидении, с нежностью стала разглядывать нагрудный карман лейтенанта.

— В прошлом году мы заказали их целую кучу! — сказал лейтенант. — Вы не поверите, как это экономит спички!

Но тут жена посмотрела, вернее — надвинулась на него.

— Мы не для того их заказывали! — сказала она и, бросив на миссис Силсберн взгляд, говорящий: «Ох, уж эти мне мужчины!» — добавила: — Не знаю, мне просто показалось, что это занятно. Пошло, но все-таки занятно. Сама не знаю.

— Нет, это прелестно. По-моему, я нигде...

— В сущности, это и не оригинально. Теперь все так делают. Кстати, эту мысль мне подали родители Мюриель, ее мама с папой. У них в доме всегда такие спички. — Она глубоко затянулась сигаретой и, продолжая говорить, выпускала маленькие, как будто односложные клубочки дыма: — Слушайте, они потрясающие люди! Оттого меня просто убила вся эта история. Почему такие вещи не случаются со всякой швалью, нет, непременно попадают к порядочным людям! Вот чего я не могу понять! — И она посмотрела на миссис Силсберн, словно ожидая разъяснения.

Улыбка миссис Силсберн была одновременно загадочной, светской и печальной, — насколько я помню, это была улыбка как бы некоей Джоконды Откидного Сидения.

— Да, я и сама часто думала... — вполголоса произнесла она. И потом несколько неопределенно добавила: — Ведь мать Мюриель — младшая сестрица моего покойного мужа.

— А-а! — с интересом сказала невестина подружка. — Значит, вы все сами знаете! — И, протянув неестественно длинную левую руку перед носом своего мужа, она стряхнула пепел сигареты в пепельницу у дверцы. — Честное слово, такого абсолютно блестящего человека я за всю свою жизнь, пожалуй, не встречала. Понимаете, она читала часть того, что эта женщина прочла и забыла, это было бы для меня счастье! Понимаете, она и преподавала, она и в газете работала, она сама шьет себе платья, она все хозяйство ведет сама! Готовит

она, как бог! Нет, черт возьми, я вам честно скажу, по-моему, она — просто чудо!

— А она одобряла этот брак? — перебила миссис Силсберн. — Понимаете, я спрашиваю только потому, что я несколько месяцев пробыла в Детройте. Моя золовка внезапно скончалась, и я...

— Она слишком хорошо воспитана, чтобы вмешиваться, — сухо объяснила невестина подружка. — Поймите меня, она слишком — ну, как бы это сказать — деликатна, что ли. — Она немного помолчала. — В сущности, только сегодня утром я впервые услышала, как она возмутилась по этому поводу. Да и то лишь потому, что очень расстроилась из-за бедняжки Мюриель. — Она снова протянула руку и стряхнула пепел с сигареты.

— А что она говорила сегодня утром? — с жадностью спросила миссис Силсберн.

Невестина подружка, казалось, что-то припоминала.

— Да, в общем, ничего особенного, — сказала она, — я хочу сказать — ничего злого или очень обидного, словом, ничего такого... Она только сказала, что, по ее мнению, этот Симор — потенциальный гомосексуалист и что он, в сущности, испытывает страх перед браком. Понимаете, в ее словах не было никакой злобы или еще чего-нибудь. Она просто высказалась, вы понимаете, мудро. Видите ли, она сама проходит курс психоанализа вот уже много-много лет подряд. — Невестина подружка взглянула на миссис Силсберн. — Никакого секрета тут нет. Я знаю, что миссис Феддер сама рассказала бы вам, так что я ничьих секретов не выдаю!

— Знаю, знаю, — торопливо сказала миссис Силсберн. — Она ни за что на свете...

— Понимаете, — продолжала невестина подружка, — не тот она человек, чтобы говорить такие вещи наобум, она знает, что говорит. И никогда, никогда она не сказала бы ничего подобного, если бы бедняжка Мюриель не была в таком состоянии, просто как убитая, понимаете. — Она мрачно тряхнула головой. — Бог мой, вы бы видели эту несчастную крошку!

Несомненно, надо бы мне тут прервать рассказ и описать, как я мысленно отреагировал на основные высказывания невестинной подружки. Но, пожалуй, пока что лучше об этом промолчать, и, надеюсь, читатель на меня не обидится.

— А что она еще говорила? — спросила миссис Силсберн. — Что говорила Рэа? Она еще что-нибудь сказала?

Я не смотрел на нее — я не сводил глаз с невестинной подружки, но мне вдруг на миг показалось, что миссис Силсберн готова всей тяжестью навалиться на нее.

— Да нет. Пожалуй, нет. Почти ничего... — Невестина подружка раздумчиво покачала головой. — Понимаете, как я уже говорила, она в общем ничего бы не сказала, особенно при таком количестве людей, если бы бедняжка Мюриель не была так безумно расстроена... — Она снова стряхнула пепел с сигаретки. — Она только добавила, что этот Симор, безусловно, шизоидный тип и что если правильно воспринимать события, то для Мюриель даже лучше, что все так обернулось. Конечно, мне это вполне понятно, но не уверена, что Мюриель тоже так понимает. Он до такой степени ее охмурил, что она не понимает, на каком она свете. Вот почему это меня так...

Но тут ее прервали. Прервал я. Насколько помню, голос у меня дрожал — так со мной бывает всегда, когда я серьезно расстроен.

— Что же привело миссис Феддер к выводу, что Симор — потенциальный гомосексуалист и шизоидный тип?

Все взгляды, нет, все прожекторы — взгляд невестиной подружки, взгляд миссис Силсберн, даже взгляд лейтенанта — сразу скрестились на мне.

— Что? — спросила невестина подружка резко, пожалуй, даже враждебно.

И снова у меня мелькнуло неопределенное смутное чувство: она знает, что я — брат Симора.

— Почему миссис Феддер думает, что Симор — потенциальный гомосексуалист и шизоидный тип?

Невестина подружка уставилась на меня, потом выразительно фыркнула. Она обернулась и воззвала к миссис Силсберн с подчеркнутой иронией:

— Как по-вашему, может н о р м а л ь н ы й человек выкинуть такую штуку, как он сегодня? — Она подняла брови и подождала ответа. — Как по-вашему? — переспросила она тихо-тихо. — Только честно. Я в а с спрашиваю. Пусть этот джентльмен слышит.

Ответ миссис Силсберн был сама деликатность, сама честность.

— По-моему — нет, конечно! — сказала она.

Меня охватило внезапное безудержное желание выскочить из машины и броситься бегом, со всех ног, куда попало. Но насколько я помню, я все еще не двинулся с места, когда невестина подружка снова обратилась ко мне.

— Послушайте, — сказала она тем деланно терпеливым тоном, каким учительница говорила бы с ребенком, не только умственно отсталым, но и вечно сопливым. — Не знаю, насколько вы разбираетесь в людях. Но какой человек в здравом уме накануне того дня, когда он собирается жениться, всю ночь не дает покоя своей невесте и без конца плетет какую-то чушь, что он, мол, слишком счастлив и потому венчаться не может и что ей придется отложить свадьбу, пока он не успокоится, не то он никак не сможет явиться. А когда невеста ему объясняет, как ребенку, что все уже договорено и устроено давным-давно, что ее отец пошел на н е в е р о я т н ы е расходы и хлопоты, чтобы устроить прием, и все что полагается, что ее родственники и друзья съедутся со всех концов с т р а н ы, — он после этих объяснений заявляет ей, что страшно огорчен, но, пока он так безумно счастлив, свадьба состояться не может, ему надо успокоиться, — словом, какой-то идиотизм! Вы сами подумайте, если только у вас голова работает. Похоже это на н о р м а л ь н о г о человека? Похоже это на человека в с в о е м у м е? — В ее голосе уже появились визгливые нотки. — Или так поступает человек, которого надо бы засадить за решетку? — Она строго уставилась на меня, а когда я промолчал и не стал ни защищаться, ни сдаваться, она тяжело откинулась на спинку сидения и сказала мужу: — Дай-ка мне еще сигаретку, пожалуйста. А то я сейчас обожгусь. — Она передала ему обгоревший окурок, и он его потушил. Потом вынул пачку. — Нет, ты сам раскури, — сказала она, — у меня сил не хватает.

Миссис Силсберн откашлялась:

— По-моему, это просто неожиданное счастье, что все вышло так...

— Нет, я в а с спрашиваю, — со свежими силами обратилась к ней невестина подружка, беря из рук мужа зажженную сигарету. — Разве так, по-вашему, поступает нормальный человек, нормальный муж ч и н а? Или это поступки человека совершенно н е в з р о с л о г о, а может быть, и буйно помешанного, форменного психопата?

— Господи, я даже не знаю, что сказать. По-моему, им просто повезло, что все вышло...

Вдруг невестина подружка резко выпрямилась и выпустила дым из ноздрей.

— Ну ладно, не в этом дело, замолчите на минуту, мне не до того,— сказала она. Обращалась она к миссис Силсберн, но на самом деле ее слова относились ко мне, так сказать, через посредника:— Вы когда-нибудь видели... в кино? — спросила она. Она назвала театральный псевдоним уже и тогда известной, а теперь, в 1955 году, очень знаменитой киноактрисы.

— Да,— быстро и оживленно сказала миссис Силсберн и выжидательно замолчала.

Невестина подружка кивнула.

— Хорошо,— сказала она,— а вы когда-нибудь случайно не замечали, что улыбается она чуть-чуть криво? Вроде как бы только одним углом рта? Это очень заметно, если внимательно...

— Да-да, замечала.— сказала миссис Силсберн.

Невестина подружка затагнулась сигаретой и взглянула — совсем мельком — в мою сторону.

— Так вот, оказывается, это у нее что-то вроде частичного паралича,— сказала она, выпуская клубочки дыма при каждом слове.— А знаете отчего? Это ваш нормальный Симор, говорят, ударил ее, и ей наложили девять швов на лицо.— Она опять протянула руку (возможно, ввиду отсутствия более удачных режиссерских указаний) и стряхнула пепел с сигареты.

— Разрешите спросить, где вы это слышали? — сказал я. Губы у меня тряслись, как два дурака.

— Разрешаю,— сказала она, глядя не на меня, а на миссис Силсберн.— Мать Мюриель случайно упомянула об этом часа два назад, когда Мюриель чуть глаза не выплакала.— Она взглянула на меня.— Вас это удовлетворяет? — И она вдруг переложила букет гардений из правой руки в левую. Это было единственное проявление нервозности, какое я в ней заметил.— Кстати, для вашего сведения,— сказала она, глядя на меня,— знаете, кто вы, по-моему, такой? По-моему, вы — брат этого самого Симора.— Она сделала коротенькую паузу, а когда я промолчал, добавила:— Вы даже похожи на него, если судить по его дурацкой фотографии, и я знаю, что его брат должен был приехать на свадьбу. Кто-то — кажется, его сестра — сказал об этом Мюриель.— Она не спускала с меня глаз.— Вы его брат? — резко спросила она.

Голос у меня, наверно, сорвался, когда я отвечал.

— Да,— сказал я. Лицо у меня горело. Но в каком-то смысле я чувствовал себя куда больше самим собой, чем днем, в том состоянии обалдения, в каком я сошел с поезда.

— Так я и знала,— сказала невестина подружка.— Не такая уж я дура, уверяю вас. Как только вы сели в машину, я сразу поняла, кто вы.— Она обернулась к мужу: — Разве я не сказала, что он — его брат, в ту самую минуту, как он сел в машину? Не сказала?

Лейтенант уселся поудобнее.

— Да, ты сказала, что он, должно быть... да, да, сказала,— проговорил он.— Да. Ты сказала.

Даже не глядя на миссис Силсберн, можно было понять, как внимательно она следит за ходом событий. Я мельком взглянул мимо нее, назад, на пятого пассажира, маленького старичка, проверяя, остается ли он все таким же безучастным. Нет, ничего не изменилось. Никогда безучастие человека не доставляло мне такого удовольствия.

Но тут невестина подружка снова взялась за меня:

— Кстати, для вашего сведения, я знаю также, что ваш братец вовсе не мозольный оператор. И нечего острить. Я прекрасно знаю, что он лет сто подряд играл роль Билли Блэка в программе «Что за умный ребенок!».

Тут миссис Силсберн внезапно вмешалась в разговор.

— Это ведь на радио? — спросила она, и я почувствовал, что она смотрит и на меня с новым, более глубоким интересом.

Невестина подружка ей не ответила.

— А вы кем были? — спросила она меня. — Наверно, вы — Джорджи Блэк? — Смесь любопытства и грубой прямооты в ее голосе показала мне не только забавной — меня она совсем обезоружила.

— Нет, Джорджи Блэком был мой брат Уолт, — сказал я, отвечая только на второй ее вопрос.

Она обратилась к миссис Силсберн:

— Кажется, это секрет, что ли, но этот человек и его братец Симор выступали по радио под вымышленными именами. Семейство Блэк!

— Успокойся, детка, успокойся, — сказал лейтенант с некоторой тревогой.

Его жена обернулась к нему.

— Нет, не успокоюсь! — сказала она, и опять вопреки рассудку где-то во мне зашевелилось нечто похожее на восхищение — такой у нее был металл в голосе, неважно, какой он пробы. — Братец у него, говорят, умен как дьявол, — сказала она, — поступил в университет чуть ли не в четырнадцать лет. Но если считать его умным после всего, что он сделал сегодня с этой девочкой, так я — Махатма Ганди! Тут меня не собьешь! Это возмутительно — и все!

Мне стало еще больше не по себе. Кто-то пристально изучал левую, наименее защищенную сторону моей физиономии. Это была миссис Силсберн. Она подалась назад, когда я сердито взглянул на нее.

— Скажите пожалуйста, это вы были Бадди Блэк? — спросила она, и по уважительной нотке в ее голосе мне показалось, что сейчас она протянет мне карандаш и маленький альбом для автографов в сафьяновом переплете. От этой мысли мне стало неловко, особенно потому, что был сорок второй год и прошло добрых десять лет после расцвета моей весьма прибыльной карьеры. — Я спрашиваю только потому, что мой муж ни одного-единственного раза не пропускал вашу пере...

— А если хотите знать, — перебила ее невестина подружка, — для меня это была самая ненавистная радиопрограмма. Я таких вундеркиндов просто ненавижу. Если бы мой ребенок хоть раз...

Но конца этой фразы мы так и не услышали. Внезапно и решительно ее прервал самый пронзительный, самый оглушающий, самый фальшивый трубный вой в до мажоре, какой можно себе представить. Ручаюсь, что мы все разом подскочили в самом буквальном смысле слова. И тут показался духовой оркестр с барабанами, состоящий из сотни, а то и больше морячков, начисто лишенных слуха. С почти преступной развязностью они терзали национальный гимн «Звездное знамя». Миссис Силсберн сразу нашлась — она заткнула уши.

Казалось, уже целую вечность длится этот невыразимый грохот. Только голос невестинной подружки смог бы его перекрыть, да никто другой, пожалуй, не осмелился бы. А она осмелилась, и всем показалось, что она кричит нам что-то во весь голос бог знает откуда — из-под трибун стадиона «Янки».

— Я больше не могу! — крикнула она. — Уйдем отсюда, поищем телефон. Я должна позвонить Мюриель, сказать, что мы задержались, не то она там с ума сойдет!

Миссис Силсберн и я в это время смотрели, как наступает местный Армагеддон, но тут мы снова повернулись на наших откидных сидениях лицом к нашему командиру, а может быть, и спасителю.

— На Семьдесят девятой есть кафе Шрафта! — заорала она в лицо миссис Силсберн.— Пойдем выпьем содовой, я оттуда позвоню: там хоть вентиляция есть.

Миссис Силсберн восторженно закивала и губами изобразила слово «да!».

— И вы тоже! — крикнула мне невестина подружка.

Помнится, я с необъяснимой, неожиданной для себя готовностью крикнул ей в ответ непривычное для меня слово: «Чудесно!»

(Мне до сих пор не ясно, почему она включила меня в список покидающих корабль. Может быть, ею руководила естественная любовь прирожденного командира к порядку. Может, она чувствовала смутную, но настойчивую необходимость высадить на берег всех без исключения. Мое непонятно быстрое согласие на это приглашение можно объяснить куда проще. Хочется думать, что это был обыкновенный религиозный порыв. В некоторых буддийских монастырях секты Зен есть нерушимое и, пожалуй, единственно непреложное правило поведения: если один монах крикнет другому «эй!», тот должен без размышлений отвечать «эй!».)

Тут невестина подружка обернулась и впервые за все время заговорила с маленьким старичком. Я буду век ему благодарен за то, что он по-прежнему смотрел вперед, словно вокруг ничего ни на йоту не изменилось. И по-прежнему он двумя пальцами держал незажженную гаванскую сигару. Оттого ли, что он явно не замечал, какой страшный грохот издает проходящий оркестр, оттого ли, что нам заведомо была известна непреложная истина: всякий старик после восьмидесяти либо глух как пень, либо слышит, но очень плохо — словом, невестина подружка, почти касаясь губами его уха, прокричала ему, вернее — в него:

— Мы сейчас выходим из машины! Пойщем телефон, может быть, выпьем чего-нибудь. Хотите с нами?

Старичок откликнулся мгновенно и просто неподражаемо: он взглянул на невестину подружку, потом на всех нас и расплылся в улыбке. Улыбка ничуть не стала менее ослепительной оттого, что в ней не было ни малейшего смысла, да и оттого, что зубы у старичка были явно и откровенно вставные. Он снова вопросительно взглянул на невестину подружку, чудом сохраняя все ту же неугасимую улыбку. Вернее, он посмотрел на нее, как мне показалось, с надеждой, словно ожидая, что она или кто-то из нас тут же мило передаст ему корзину со всякими яствами.

— По-моему, душенька, он тебя не слышит, — крикнул лейтенант.

Его жена кивнула и снова поднесла губы, как мегафон, к самому уху старичка. Громовым голосом, достойным всяких похвал, она повторила приглашение вместе с нами выйти из машины. И снова, по всей видимости, старичок выразил полнейшую готовность на что угодно — хоть пробежаться к реке и немножко поплавать. Но все же создавалось впечатление, что он ни единого слова не слышит. И вдруг он подтвердил это. Озарив нас всех широчайшей улыбкой, он поднял руку с сигарой и одним пальцем многозначительно похлопал себя сначала по губам, потом по уху. Жест был такой, будто дело шло о первоклассной шутке, которой он решил с нами поделиться.

В эту минуту миссис Силсберн чуть не подпрыгнула рядом со мной, показывая, что она все поняла. Она схватила невестину подружку за розовый шелковый рукав и крикнула:

— Я знаю, кто он такой! Он глух и нем! Это глухонемой дядя отца Мюриель!

Губы невестинной подружки сложились буквой «о». Она резко повернулась к мужу и заорала:

— Есть у тебя карандаш с бумагой?

Я тронул ее рукав и крикнул, что у меня есть. Торопясь, как будто по неизвестной причине нам была дорога каждая секунда, я достал из внутреннего кармана куртки маленький блокнот и огрызок чернильного карандаша, недавно реквизируемый из ящика стола в ротной канцелярии форта Беннинг.

Преувеличенно четким почерком я написал на листке: «Парад задерживает нас на неопределенное время. Мы хотим поискать телефон и выпить чего-нибудь холодного. Не угодно ли с нами?» — и, сложив листок, передал его невестинной подружке. Она развернула его, прочла и передала маленькому старичку. Он тоже прочел, заулыбался, посмотрел на меня и усиленно закивал головой. На миг я решил, что это вполне красноречивый и полный ответ, но он вдруг помахал мне рукой, и я понял, что он просит дать ему блокнот и карандаш. Я подал блокнот, не глядя на невестину подружку, от которой волнами шло нетерпение. Старичок очень аккуратно пристроил блокнот и карандаш на коленях, на минуту застыл все с той же неослабевающей улыбкой, подняв карандаш и явно собираясь с мыслями. Карандаш стал очень неуверенно двигаться. В конце появилась аккуратная точка. Затем блокнот и карандаш были возвращены мне лично, в собственные руки, сопровождаемые исключительно сердечным и теплым кивком. Еще не совсем просохшие буквы изображали два слова: «Буду счастлив». Невестина подружка, прочтя это через мое плечо, издала звук, похожий на фырканье, но я сразу посмотрел в глаза великому писателю, пытаюсь изобразить на своем лице, насколько все мы, его спутники, понимаем, что такое истинная поэма и как мы бесконечно ему благодарны.

Поодиночке, друг за другом, мы высадились из машины — с покинутого корабля, — посреди Мэдисон-авеню в море раскаленного, размякшего асфальта. Лейтенант на минуту задержался, чтобы сообщить водителю о бунте команды. Отлично помню, что оркестр все еще продолжал маршировать и грохот не стихал ни на миг.

Невестина подружка и миссис Силсберн возглавляли шествие к кафе Шрафта. Почти как передовые разведчики, они маршировали рядом по восточной стороне Мэдисон-авеню в южном направлении. Окончив свой доклад водителю, лейтенант догнал их. Вернее, почти догнал. Он немножко отстал, чтобы незаметно вынуть бумажник и проверить, сколько у него с собой денег.

Мы с дядюшкой невестинного отца замыкали шествие. То ли он интуитивно чувствовал, что я ему друг, то ли просто потому, что я был владельцем блокнота и карандаша, но он скорее тянулся ко мне, чем шел за мной. Донишко его превосходного шелкового цилиндра едва достигало мне до плеча. Я пошел сравнительно медленно, приноравливаясь к его мелким шагам. Через квартал-другой мы значительно отстали от всех. Но, кажется, нас это не особенно беспокоило. Помню, как мы иногда смотрели друг на друга с идиотским выражением радости и благодарности за компанию.

Когда мы с моим спутником дошли наконец до вращающейся двери кафе Шрафта на Семьдесят девятой улице, лейтенант, его жена и миссис Силсберн уже стояли там. Они ждали нас тесно сплоченным и, как мне показалось, довольно воинственно настроенным отрядом. Как только наша не по росту подобранная пара подошла, они оборвали разговор. Не так давно в машине, когда гремел военный оркестр, какое-то общее неудобство, я бы сказал — общая беда, создали в нашей маленькой компании видимость дружеской связи, как бывает в группе туристов Кука, попавших под страшный ливень на развалинах Помпеи. Но

когда мы с маленьким старичком подошли к дверям кафе, мы с беспощадной ясностью поняли, что ливень кончился.

Мы обменялись взглядами, словно узнав друг друга, но никак не обрадовавшись.

— Закрyто на ремонт, — сухо объявила невестина подружка, глядя на меня. Неофициально, но вполне отчетливо она снова дала мне понять, что я тут чужой, лишний, и в эту минуту без всякой особой причины я вдруг испытал такое одиночество, такую оторванность от всех, какой еще не чувствовал в этот день. И тут же — об этом стоит сказать — на меня с новой силой напал кашель. Я вынул носовой платок из кармана.

Невестина подружка повернулась к своему мужу и миссис Силсберн.

— Где-то тут кафе Лоншан, — сказала она, — но где, не знаю.

— Я тоже не знаю, — сказала миссис Силсберн. Казалось, она сейчас заплачет. Пот просочился даже сквозь толстый слой грима на лбу и на верхней губе. Лево́й рукой она прижимала к себе черную лакированную сумку. Она держала ее, как любимую куклу, и сама походила на очень несчастную, неумело накрашенную, напудренную девочку, убежавшую из дому.

— Сейчас ни за какие деньги не достать такси, — уныло сказал лейтенант. Он тоже здорово полинял. Его залихватская фуражка «героя-летчика» казалась жестокой насмешкой над бледной, потной, отнюдь не лихой физиономией, и я припоминаю, что у меня возникло побуждение — сдернуть эту фуражку у него с головы или хотя бы поправить ее, придать ей не такой нахальный излом, — побуждение, вполне родственное тому, какое испытываешь на детском празднике, где обязательно попадаете́я ужасно некрасивый малыш в бумажном колпаке, из-под которого вылезает то одно, а то и оба уха.

— О боже, ну и денек! — во всеуслышание объявила невестина подружка. Веночек из искусственных незабудок уже совсем сбился набор, и она вся взмокла, но мне показалось, что по-настоящему пострадала только самая, так сказать, незначительная принадлежность ее особы — букет из гардений. Она все еще рассеянно держала его в руке. Но он явно не выдержал испытания. — Что же нам делать? — спросила она с несвойственной ей растерянностью. — Не идти же туда пешком. Они живут чуть ли не около Ривердейла. Может, кто-нибудь посоветует?

Она посмотрела сперва на миссис Силсберн, потом на мужа и наконец — как видно, с отчаяния — на меня.

— У меня тут неподалеку квартира, — сказал я вдруг, очень волнуясь. — Всего в каком-нибудь квартале отсюда, не больше.

Помнится, что я сообщил эти сведения чересчур громким голосом. Может быть, я даже кричал, не знаю.

— Это квартира моя и брата. Пока мы в армии, там живет наша сестра, но сейчас ее нет дома. Она служит в женском морском отряде и куда-то уехала. — Я посмотрел на невестину подружку, вернее — мимо нее. — Можете оттуда позвонить, если хотите, — сказал я, — и там хорошая система вентиляции. Можно остыть, передохнуть.

Несколько оправившись от потрясения, все трое — лейтенант, его жена и миссис Силсберн — устроили что-то вроде переговоров, правда, только глазами, но никаких видимых результатов не последовало.

Первой решила действовать невестина подружка. Напрасно она пыталась узнать по глазам мнение остальных. Пришлось обратиться прямо ко мне.

— Вы сказали, там есть телефон? — спросила она.

— Да. Если сестра не велела его выключить, только вряд ли она это сделала.

— А почему мы знаем, что там нет вашего б р а т ц а? — сказала невестина подружка.

В моем воспаленном мозгу такая мысль и возникнуть не могла.

— Нет, не думаю, — сказал я. — Конечно, всякое бывает, ведь квартира и его тоже, только не думаю, что он там, не может этого быть.

Невестина подружка уставилась на меня — она глядела очень пристально, но, как ни странно, довольно вежливо: если ребенок не спускает с тебя глаз, это нельзя считать невежливостью. Потом, обернувшись к мужу и миссис Силсберн, она сказала:

— Пожалуй, пойдем. Оттуда хоть позвонить можно.

Они кивнули в знак согласия. Миссис Силсберн, та даже припомнила правила из учебника хорошего тона — как отвечать на приглашения у дверей кафе. Сквозь расплывающийся под солнцем грим мне навстречу пробилась слабенькая улыбочка вполне хорошего тона. Помнится, что я ей очень обрадовался.

— Ну, пошли, уйдем от этого солнца! — сказала наша руководительница. — А что делать с этим? — И, не дожидаясь ответа, она подошла к обочине и без всяких сантиментов вышвырнула увядший букет гардений.

— Ладно, веди нас, Макдуф, — сказала она мне. — Пойдем за вами. Одно только скажу — лучше бы его там не было. Не то я убью этого ублюдка. — Она поглядела на миссис Силсберн. — Простите, что я так выразилась, но я не шучу.

Повинуясь приказу, я почти весело пошел вперед. Через минуту в воздухе слева около меня материализовался шелковый цилиндр, и мой личный, неофициальный, но постоянный спутник заулыбался мне снизу — в первый миг мне даже показалось, что сейчас он сунет ручонку мне в руку.

Трое моих гостей и мой единственный друг ждали на площадке, пока я бегло осматривал квартиру.

Все окна были закрыты. Оба вентилятора были выключены, и когда я вдохнул воздух, показалось, что я глубоко дышу, сидя в кармане старой меховой шубы. Тишину нарушало только прерывистое мурлыканье престарелого холодильника, купленного нами по случаю. Моя сестрица Бу-Бу по своей девичьей военно-морской рассеянности забыла его выключить. По беспорядку в квартире сразу было видно, что ее занимала молодая морячка. Нарядный синий кителек мичмана вспомогательной женской службы валялся подкладкой вниз на кушетке. На низком столике перед кушеткой стояла полупустая коробка шоколада — из всех оставшихся конфет, очевидно ради эксперимента, начинка была понемножку выдавлена. На письменном столе в рамке красовалась фотография весьма решительного юноши, которого я никогда раньше не видел. И все пепельницы в доме расцвели пышным цветом, до отказа забитые окурками в губной помаде и мятыми бумажными салфетками. Я не стал заходить на кухню, в спальню и в ванную, а голько быстро открывал двери, проверяя, не спрятался ли где-нибудь Симор. Во-первых, я разомлел и ослаб. Во-вторых, мне было некогда: пришлось поднять шторы, включить вентиляционную систему, опорожнить переполненные пепельницы. А кроме того, вся остальная компания тут же ввалилась за мной следом.

— Да тут жарче, чем на улице! — сказала вместо приветствия невестина подружка, заходя в комнату.

— Сейчас, одну минутку,— сказал я.— Никак не включу этот вентилятор.

Кнопку включения заело, и я никак не мог с ней справиться.

Пока я, даже не сняв, как помнится, фуражки, возился с вентилятором, остальные подозрительно осматривали комнату. Я искоса поглядывал на них. Лейтенант подошел к письменному столу и уставился на три с лишним фута стены над столом, где мы с братом из сентиментальных побуждений с вызовом прикрепили множество блестящих фотографий, восемь на десять. Миссис Силсберн села — как и следовало ожидать, подумал я,— в то единственное кресло, которое облюбовал для спанья мой покойный бульдожка; подлокотники, обитые грязным вельветом, были насквозь прослушены и прожеваны во время ночных его кошмаров. Дядюшка невестиного папы — мой верный друг — куда-то исчез без следа. И невестина подружка тоже скрылась.

— Сейчас я приготовлю что-нибудь выпить,— сказал я растерянно, все еще возясь с кнопкой вентилятора.

— Я бы выпила чего-нибудь холодного,— произнес знакомый голос. Я повернулся и увидел, что она растянулась на кушетке, а потому и пропала из моего поля зрения.— Сейчас я буду звонить по вашему телефону,— предупредила она меня,— но в таком состоянии я и рта раскрыть не могу. Все пересохло. Даже язык высох.

С жужжанием заработал вентилятор, и я прошел на середину комнаты между кушеткой и креслом, в котором сидела миссис Силсберн.

— Не знаю, что тут есть выпить,— сказал я,— я еще не смотрел в холодильник, но я думаю, что...

— Несите что угодно,— прервала меня с кушетки наша неутомимая ораторша,— лишь бы мокрое. И холодное.

Каблуки ее туфель лежали на рукаве сестрино кителя. Руки она скрестила на груди. Под голову примостила диванную подушку.

— Не забудьте лед, если есть,— сказала она и прикрыла глаза.

Я бросил на нее короткий, но убийственный взгляд, потом нагнулся и как можно тактичнее вытащил китель Бу-Бу у нее из-под ног. Я уже хотел выйти по своим хозяйским обязанностям, но только я шагнул к дверям, со мной заговорил лейтенант, стоявший у письменного стола.

— Где достали картинки? — спросил он.

Я подошел к нему. На голове у меня все еще сидела огромная армейская фуражка с нелепым козырьком. Я как-то не догадался ее снять. Я встал рядом с лейтенантом, хотя и чуть позади него, и посмотрел на фотографии. Я объяснил, что по большей части это фотографии детей, выступавших в программе «Какой умный ребенок!» в те дни, когда мы с Симором участвовали в этой передаче.

Лейтенант взглянул на меня.

— А что это за передача? Никогда не слыхал. Детская передача, что ли? Ответы на вопросы?

Я не ошибся: в его тон незаметно и настойчиво вкрался легкий оттенок армейского превосходства. И он слегка покосился на мою фуражку.

Я снял фуражку и сказал:

— Да нет, не совсем.— Во мне вдруг заговорила фамильная гордость.— Так было, пока мой брат Симор не принимал участия. И все стало примерно по-старому, когда он ушел с радио. Но при нем все было иначе, вся программа. Он вел ее как беседу ребят за круглым столом.

Лейтенант поглядел на меня с несколько повышенным интересом.

— А вы же участвовали? — спросил он.

— Да.

С другого конца комнаты из невидимого пыльного убежища на кушетке раздался голос его жены.

— Посмотрела бы я, как м о е г о ребенка заставили бы участвовать в этом идиотизме, — сказала она, — или играть на сцене. Вообще выступать. Я бы скорее у м е р л а, чем допустила, чтобы мой ребенок в ы с т а в л я л с я перед публикой. У таких вся жизнь бывает исковеркана. Уж одно то, что они вечно на виду, вечно их рекламируют — да вы спросите любого психиатра. Разве тут может быть н о р м а л ь н о е детство, я вас спрашиваю?

Ее голова с веночком набекрень вдруг вынырнула на свет божий. Словно отрубленная, она выскочила из-за спинки кушетки и усталилась на нас с лейтенантом.

— Вот и ваш братец такой, — сказала голова. — Если у человека детство начисто изуродовано, он никогда не становится по-настоящему взрослым. Он никогда не научится приспосабливаться к нормальным людям, к нормальной жизни. Миссис Феддер именно так и говорила там, в чьей-то дурацкой спальне. Именно так. Ваш братец никогда не мог научиться приспосабливаться к другим людям. Очевидно, он только и умеет доводить людей до того, что им приходится накладывать швы на физиономию. Он абсолютно не приспособлен ни к браку, ни вообще к сколько-нибудь нормальной жизни. Миссис Феддер и м е н н о так и говорила. — Тут голова сверкнула глазами на лейтенанта. — П р а в а я, Боб? Говорила она или нет? Скажи правду!

Но гут подал голос не лейтенант, а я. У меня пересохло во рту, в паху прошиб пот. Я сказал, что мне в высокой степени наплевать, что миссис Феддер натрепала про Симора. И вообще что про него треплют всякие профессиональные дилетантки или любительницы, вообще всякие сукины дочери. Я сказал, что с десяти лет Симора обсуждали все — от дипломированных философов до интеллигентных служителей мужских уборных. Я сказал, что все это было бы законно, если бы Симор задира л нос оттого, что у него способности выше среднего. Но он ненавидел выставляться. Он и на эти выступления по средам ходил, как на собственные похороны. Едет с тобой в автобусе или в метро и молчит как проклятый, клянусь богом. Я сказал, что вся эта дешевка, разные критики и фельетонисты только и знали что похлопывать его по плечу, что ни один черт так и не понял, какой он на самом деле. А он — поэт, черт их деря. Понимаете, настоящий п о э т. Да если бы он ни строчки не написал, так и то он бы всех вас одной левой перекрыл, только бы захотел.

Тут я, слава богу, остановился. Сердце у меня колотилось как не знаю что, и, будучи неврастеником, я со страхом подумал, что именно «из таких речей рождаются инфаркты»¹. До сих пор я понятия не имею, как мои гости реагировали на эту вспышку, на поток жестоких обвинений, которые я на них вылил. Первый звук извне, заставивший меня очнуться, был общепонятный шум спускаемой воды. Он шел с другого конца квартиры. Я внезапно осмотрел комнату, взглянул на моих гостей, мимо них, даже сквозь них.

— А где старик? — спросил я. — Где старичок? — Голос у меня стал ангельски кротким.

Как ни странно, ответил мне лейтенант, а не его жена.

— По-моему, он в уборной, — сказал он. Он заявил это с особой прямоотой, как бы подчеркивая, что принадлежит к тем людям, которые без всякого стеснения говорят о гигиенических функциях организма.

¹ Перефразированная цитата из «Гамлета».

— А-а,— сказал я.

В некоторой растерянности я обвел глазами комнату. Не помню, да и не хочу вспоминать, старался ли я нарочно не замечать грозных взглядов невестинной подружки или нет. На одном из стульев я обнаружил шелковый цилиндр дяди невестинного отца. Я чуть было не сказал ему вслух: «Привет!»

— Сейчас принесу выпить чего-нибудь холодного,— сказал я.— Одну минуту.

— Можно позвонить от вас по телефону? — вдруг спросила невестина подружка, когда я проходил мимо кушетки. И она спустила ноги на пол.

— Да, да, конечно,— сказал я и тут же перевел взгляд на миссис Силсберн и лейтенанта.— Пожалуй, сделаю всем по «Тому Коллинзу», конечно, если найду лимоны или апельсины. Подходит?

Ответ лейтенанта удивил меня неожиданно компанейским тоном.

— Давай! Давай!— сказал он, потирая руки, как заправский пьянчуга.

Миссис Силсберн перестала рассматривать фотографии над столом, чтобы дать мне последние указания:

— Для меня, пожалуйста, только самую чуточку джина в питье, самую чуточную чуточку, пожалуйста! Одну капельку, если вам не трудно!

Как видно, за то короткое время, что мы провели в квартире, она уже немного отошла. По-видимому, тут помогло и то, что она стояла почти под самым вентилятором, который я включил, и на нее шел прохладный воздух. Я пообещал сделать питье, как она просила, и оставил ее у фотографий мелких «знаменитостей», выступавших по радио в тридцатых, даже в конце двадцатых годов — среди ушедших теней нашего с Симором отрочества. Лейтенант тоже не нуждался в моем обществе: заложив руки за спину, он с видом одинокого знатока-любителя уже направлялся в книжным полкам. Невестина подружка пошла за мной, громко зевнув во весь рот, и даже не сочла нужным ни подавить, ни прикрыть свой зевок.

А когда мы с ней подходили к спальне — телефон стоял там, — на встречу нам из дальнего конца коридора показался дядюшка невестинного отца. На лице его было то же суровое спокойствие, которое так омануло меня в машине, но, приблизившись к нам, он сразу переменял маску: теперь его мимика выражала наивысшую приветливость и радость. Я почувствовал, что сам расплываюсь до ушей и киваю ему в ответ, как болванчик. Видно было, что он только что расчесал свои жиденькие седины, казалось, что он даже вымыл голову, найдя где-то в глубине квартиры карликовую парикмахерскую. Мы разминулись, но что-то заставило меня оглянуться, и я увидел, как он мне машет ручкой таким широким жестом — мол, доброго пути, возвращайся поскорее! Мне стало весело до чертиков.

— Что это он? Спятил? — сказала невестина подружка.

Я выразил надежду, что она права, и открыл перед ней двери спальни.

Она тяжело плюхнулась на одну из кроватей — кстати, это была кровать Симора. Телефон стоял на ночном столике посередине. Я сказал, что сейчас принесу ей выпить.

— Не беспокойтесь, я сама приду,— сказала она.— И закройте, пожалуйста, двери, если не возражаете... Я не потому, а просто не могу говорить по телефону при открытых дверях.

Я сказал, что этого я тоже не люблю, и собрался уйти. Но, проходя мимо кровати, я увидел на диванчике у окна парусиновый саквояжик.

В первую минуту я подумал, что это мой собственный багаж, неизвестно как добравшийся своим ходом на квартиру с Пенсильванского вокзала. Потом я подумал, что его оставила Бу-Бу. Я подошел к саквояжку. Молния была расстегнута, и с одного взгляда на то, что лежало сверху, я понял, кто его законный владелец. Вглядевшись пристальней, я увидел поверх двух глаженных форменных рубашек то, что ни в коем случае нельзя было оставить в одной комнате с невестинной подружкой. Я вынул эту вещь, сунул ее под мышку, по-братски помахал рукой невестинной подружке, уже вложившей палец в первую цифру на диске в ожидании, когда я наконец уберусь, и закрыл за собой дверь.

Я немного постоял за дверью в благословенном одиночестве, обдумывая, что же мне делать с дневником Симора, который, спешу сказать, и был предметом, обнаруженным в саквояжке. Первая конструктивная мысль была — спрятать его, пока не уйдут гости. Потом мне подумалось, что лучше всего отнести дневник в ванную и спрятать в корзину с грязным бельем. Однако, серьезно обмозговав это дело, я решил отнести дневник в ванную, там почитать его, а уж потом спрятать в корзину с бельем.

Весь этот день, видит бог, проходил не только под знаком каких-то внезапных предзнаменований и символических явлений, но он был весь построен на широчайшем использовании письменности как средства общения. Ты прыгал в переполненную машину, а судьба уже окольными путями позаботилась о том, чтобы у тебя нашелся блокнот и карандаш на тот случай, если один из спутников окажется глухонемым. Ты прокрадывался в ванную комнату и сразу смотрел — не появились ли высоко над раковиной какие-нибудь слегка загадочные или же ясные письмена.

Много лет подряд все наше многочисленное семейство — семь человек детей при одной ванной комнате — пользовалось немного липким, но очень удобным способом общения — писать друг другу на зеркале аптечки мокрым обмылком. Обычно в нашей переписке содержались весьма выразительные поучения, а иногда и неприкрытые угрозы: «Бу-Бу, после ванны не смей швырять мочалку на пол. Целую. Симор». «Уолт, твоя очередь гулять с З. и Фр. Я гулял вчера. Угадай — кто». «В среду — годовщина их свадьбы. Не ходи в кино, не торчи в студии после передачи, не напорись на штраф. Бадди, это относится и к тебе». «Мама жаловалась, что Зуи чуть не съел все слабительное. Не сставляйте всякие вредности на раковине, он может дотянуться и все съесть».

Это примеры из нашего детства, но и много позже, когда мы с Симором во имя независимости, что ли, отпочковались и наняли отдельную квартиру, мы с ним только номинально отреклись от старых семейных обычаев. Я хочу сказать, что обмылков мы не выбрасывали.

Когда я забрался в ванную с дневником Симора под мышкой и тщательно запер за собой двери, я тут же увидел послание на зеркале. Но почерк был не Симора, это явно писала моя сестрица Бу-Бу. А почерк у нее был страшно мелкий, едва разборчивый, все равно, писала она обмылком или чем-нибудь еще. И тут она ухитрилась уместить на зеркале целое послание: «Выше стропила, плотники! Входит жених, подобный Арею, выше самых высоких мужей¹. Привет. Некто Сафо, бывший сценарист киностудии «Элизиум». Будь счастлив, счастлив, счастлив со своей красавицей Мюриель. Это приказ. По рангу я всех вас выше».

Надо заметить, что «киносценарист», упомянутый в тексте, был любимым автором — в разное время и в разной очередности — всех юных

¹ Стихи Сафо «Эпиталама» (фрагмент 100).

членов нашего семейства главным образом из-за неограниченного влияния Симора в вопросах поэзии на всех нас. Я несколько раз перечитал цитату, потом уселся на край ванны и открыл дневник Симора.

Дальше идет точная копия тех страниц из дневника Симора, которые я прочел, сидя на краю ванны. Мне кажется, что можно опустить день и число. Достаточно сказать, что все записи, по-моему, сделаны в форте Монмаут в конце 1941 года и в начале 1942 года, за несколько месяцев до того, как был назначен день свадьбы.

«Во время вечерней поверки было очень холодно, и все-таки в одном только нашем взводе шестерым стало дурно, пока оркестр без конца играл «Звездное знамя». Должно быть, человеку с нормальным кровообращением непереносимо стоять в неестественной позе по команде «смирно», особенно если держишь винтовку «на караул». У меня, наверно, нет ни кровообращения, ни пульса. В неподвижности я — как дома. Темп «Звездного знамени» созвучен мне в высшей степени. Для меня это ритм романтического вальса».

«После поверки получили увольнительные до полуночи. В семь часов встретился с Мюриель в отеле «Билтмор». Две рюмочки, два буфетных бутерброда с рыбой. Потом ей захотелось посмотреть какой-то фильм с участием Грир Гарсон. Смотрел на нее в темноте, когда самолет сына Грир Гарсон не вернулся на базу. Рот полуоткрыт. Поглощена, встревожена. Полное отождествление себя с этой метро-голдвин-майеровской трагедией. Мне было и радостно и жутко. Как я люблю ее, как мне нужно ее бесхитростное сердце. Она взглянула на меня, когда дети в фильме принесли матери котенка. М. восхищалась котенком, хотела, чтобы я тоже восхищался им. Даже в темноте я чувствовал ее обычную отчужденность — это всегда так, когда я не могу беспрекословно восхищаться тем же, чем она. Потом, когда мы что-то пили в буфете на вокзале, она спросила меня: «Правда, котенок — прелесть?» Она уже больше не говорит «чудненький». И когда это я успел так напугать ее, что она изменила своей обычной лексике? А я, педант несчастный, стал объяснять, как Р. Г. Блайс определяет, что такое сентиментальность: мы сентиментальны, когда уделяем какому-то существу больше нежности, чем ему уделил господь-бог. И я добавил (поучительно?), что бог, несомненно, любит котят, но, по всей вероятности, без калашек на лапках, как в цветных фильмах. Эту художественную деталь он предоставляет сценаристам. М. подумала, как будто согласилась со мной, но ей эта «мудрость» была не очень-то по душе. Она сидела, помешивая ложечкой питье, и чувствовала себя отчужденной. Она тревожится, когда ее любовь ко мне то приходит, то уходит, то появляется, то исчезает. Она сомневается в ее реальности просто потому, что эта любовь не всегда весела и приятна, как котенок. Один бог знает, как мне это грустно. Как человек хитруется словами обесценить все на свете!»

«Обедал сегодня у Феддеров. Очень вкусно. Телятина, пюре, фасоль, отличный свежий салат с уксусом и оливковым маслом. Сладкое Мюриель приготовила сама: что-то вроде пломбира со сливками и сверху малина. У меня слезы выступили на глазах. Сайге¹ пишет: «Не знаю почему, — но благодарность — всегда слезами светлыми течет». Около меня на стол поставили бутылку кетчупа. Видно, Мюриель рассказала миссис Феддер, что я все поливаю кетчупом. Я готов отдать многое, лишь бы подслушать, как Мюриель воинственно заявляет своей маме, что — да, он даже зеленый горошек поливает кетчупом! Девочка моя дорогая...

¹ Японский поэт.

После обеда миссис Феддер заставила нас слушать ту самую радио-передачу. Ее энтузиазм, ее увлечение этими передачами, особенно тоска по тем дням, когда выступали мы с Бадди, вызывают во мне чувство неловкости. Сегодня вечером программу передавали с какой-то морской базы, чуть ли не из Сан-Диего. Слишком много педантичных вопросов и ответов. У Франши голос насморочный. Зуи слегка рассеян, но блистателен. Конферансье заставил их говорить про жилищное строительство, и маленькая дочка Берков сказала, что она ненавидит одинаковые дома — она говорила про те длинные ряды стандартных домиков, какие строят по плану. Зуи сказал, что они «очень милые». Он сказал, что было бы очень мило прийти домой и оказаться не в том домике, и по ошибке пообедать не с теми людьми, и спать не в той кровати, и утром со всеми попрощаться, думая, что это твое семейство. Он сказал, что ему даже хотелось бы, чтобы все люди на свете выглядели совершенно одинаково. Тогда каждый думал бы, что вот идет его жена, или его мама, или папа, и люди все время обнимались бы и целовались без конца, и это было бы «очень мило».

Весь вечер я был невыносимо счастлив. Когда мы сидели в гостиной, я восхищался простотой отношений Мюриель с матерью. Это так прекрасно. Они знают слабости друг друга, в особенности слабости в светской беседе, и глазами подают друг другу знаки. Миссис Феддер предостерегает Мюриель взглядом, если она в разговоре проявляет не тот «литературный» вкус, а Мюриель следит, чтобы мать не слишком ударялась в многословие и пышный слог. Споры не грозят перейти в постоянный разлад, потому что они — мать и дочь. Это такое потрясающее, такое прекрасное явление. Но бывают минуты, когда я сижу, словно околдованный, и вдруг начинаю мечтать, чтобы мистер Феддер тоже принял участие в разговоре. Подчас мне это просто необходимо. А то, когда я захожу в их дом, мне, по правде сказать, иногда кажется, что я попал в какой-то светский женский монастырь на две персоны, где царит вечный беспорядок. Иногда перед уходом у меня появляется такое чувство, будто М. и ее мама напихали мне полные карманы всяких флакончиков, тубиков с губной помадой, румян, всяких сеточек для волос, кремов от пота и так далее. Я чувствую себя бесконечно им обязанным, но не знаю, что делать с этими воображаемыми дарами».

«Сегодня нам не сразу выдали увольнительные после вечерней проверки, потому что кто-то выронил винтовку, когда нас инспектировал приезжий британский генерал. Я пропустил поезд 5.52 и на час опоздал на свидание с Мюриель. Обед в китайском ресторане на Пятьдесят восьмой улице. Мюриель раздражена, весь обед чуть не плачет, видно, по-настоящему напугана и расстроена. Ее мать считает, что я — шизоидный тип. Очевидно, она говорила обо мне со своим психоаналитиком и он с ней полностью согласен. Миссис Феддер просила Мюриель деликатно осведомиться, нет ли в нашей семье психически больных. Думаю, что Мюриель была настолько наивна, что рассказала ей, откуда у меня шрамы на руках. Бедная моя, славная крошка. Однако из слов Мюриель я понял, что не это беспокоит ее мать, а совсем другое. Особенно три вещи. Одну я упоминать не стану — это даже рассказать невозможно. Другая — это то, что во мне, безусловно, есть какая-то «ненормальность», раз я еще не соблазнил Мюриель. И наконец третье: уже несколько дней миссис Феддер преследуют мои слова, что я хотел бы быть дохлой кошкой. На прошлой неделе она спросила меня за обедом, что я собираюсь делать после военной службы. Собираюсь ли я преподавать в том же колледже? Вернусь ли я к преподавательской работе вообще? Не думаю ли я вернуться на радио хотя бы в роли комментатора? Я

ответил, что сейчас мне кажется, будто войне никогда не будет конца и что я знаю только одно: если наступит мир, я хочу быть дохлой кошкой. Миссис Феддер решила, что это я сострил. Тонко сострил. По словам Мюриель, она меня считает тонкой штучкой. Она приняла мои серьезнейшие слова за одну из тех шуток, на которые надо ответить легким музыкальным смехом. А меня этот смех немного сбил с толку, и я забыл ей объяснить, что я хотел сказать. Только сегодня вечером я объяснил Мюриель, что в буддийской легенде секты Зен рассказывается, как одного учителя спросили, что самое ценное на свете, и он ответил — дохлая кошка, потому что ей цены нет. М. успокоилась, но я видел, что ей не терпится побежать домой и уверить мать в полной безобидности моих слов. Она подвезла меня на такси к вокзалу. Она была такая милая, настроение у нее стало много лучше. Она пыталась научить меня улыбаться и растягивала мне губы пальцами. Какой у нее чудесный смех! О господи, до чего я счастлив с ней! Только бы она была так же счастлива со мной. Я все время стараюсь ее позабавить, кажется, ей нравится мое лицо, и руки, и затылок, и она с гордостью рассказывает подружкам, что обручена с Билли Блэком, с тем самым, который столько лет выступал в программе «Что за умный ребенок!». По-моему, ее ко мне влечет и материнское, и чисто женское чувство. Но, в общем, дать ей счастье я, наверно, не смогу. Господи, господи, помоги мне! Единственное довольно грустное утешение для меня в том, что моя любимая безоговорочно и навеки влюблена в самый институт брака. В ней живет примитивный инстинкт вечной игры в свое гнездышко. То, чего она ждет от брака, и нелепо и трогательно. Она хотела бы подойти к клерку в каком-нибудь роскошном отеле, вся загорелая, красивая, и спросить: взял ли ее Супруг почту? Ей хочется покупать занавески. Ей хочется покупать себе платье «для дамы в интересном положении». Ей хочется, сознает она это или нет, уйти из родительского дома, несмотря на привязанность к матери. Ей хочется иметь много детей — красивых детей, похожих на нее, а не на меня. И еще я чувствую, что ей хочется каждый год открывать свою коробку с елочными украшениями, а не материнскую».

«Сегодня получил удивительно смешное письмо от Бадди, он только что отбыл наряд по камбузу. Пишу о Мюриель и всегда думаю о нем. Он презирал бы ее за то, из-за чего ей хочется выйти замуж, я про это уже писал. Но разве за это можно презирать? В каком-то отношении, вероятно, да, но мне все это кажется таким человеческим, таким прекрасным, что даже сейчас я не могу писать без глубокого-глубокого волнения. Бадди отнесся бы с неодобрением и к матери Мюриель. Она ужасно раздражает своей безапелляционностью, а Бадди таких женщин не выносит. Не знаю, понял ли бы он, какая она на самом деле. Она человек, навеки лишенный всякого понимания, всякого вкуса к главному потоку поэзии, который пронизывает все в мире. Неизвестно, зачем такие живут на свете? А она живет, забегает в гастрономический магазин, ходит к своему психоаналитику, каждый вечер проглатывает роман, затягивается в корсет, заботится о здоровье Мюриель, о ее благополучии. Я люблю Мюриель. Я считаю ее бесконечно мужественной».

«Вся рота сегодня без отпуска. Целый час стоял в очереди к телефону в канцелярии, чтобы позвонить Мюриель. Она как будто обрадовалась, что я не приеду сегодня вечером. Меня это забавляет и восхищает. Всякая другая девушка, если бы даже она на самом деле хотела провести вечер без своего жениха, непременно выразила бы по телефону хотя бы сожаление. А когда я сказал Мюриель, что не могу приехать,

она только протянула: «А-а!» Как я боготворю эту ее простоту, ее невероятную честность! Как я надеюсь на нее!»

«3 ч. 30 м. утра. Сажу в дежурке. Не мог заснуть. Накинул шинель на пижаму и пришел сюда. Дежурит Эл Аспези. Он спит на полу. Могу сидеть тут, если буду вместо него подходить к телефону. Ну и вечерок! К обеду явился психоаналитик миссис Феддер, допрашивал меня с перерывами до половины двенадцатого ночи. Иногда очень хитро, очень неглупо. Раза два я ему даже поддался. По-видимому, он — старый поклонник мой и Бадди. Кажется, он лично и профессионально заинтересовался, почему меня в шестнадцать лет сняли с программы. Он сам слышал передачу о Линкольне, но у него создалось впечатление, будто я сказал в эфир, что геттисбургская речь Линкольна «вредна для детей». Это неправда. Я ему объяснил, что я сказал, что детям вредно заучивать эту речь наизусть в школе. У него еще создалось впечатление, будто я сказал, что это нечестная речь. Я ему объяснил, что под Геттисбургом было убито и ранено 51 112 человек и что если уж кому-то пришлось выступать в годовщину этого события, так он должен был выйти, погрозить кулаком всем собравшимся и уйти — конечно, если оратор до конца честный человек. Он не возражал мне, но как будто решил, что у меня какой-то комплекс стремления к совершенству. Он много и вполне умно говорил о ценности простой, непритязательной жизни, о том, как надо принимать и свои и чужие слабости. Я с ним согласен, но только теоретически. Я сам буду защищать всяческую терпимость до конца дней на том основании, что она — залог здоровья, залог какого-то очень реального, завидного счастья. В чистом виде это и есть путь Дао — несомненно, самый высокий путь. Но человеку взыскательному для достижения таких высот надо было бы отречься от поэзии, уйти за поэзию. Потому что он никак не мог бы научиться или заставить себя отвлеченно любить плохую поэзию, уж не говорю — равнять ее с хорошей. Ему пришлось бы совсем отказаться от поэзии. И я сказал, что сделать это очень нелегко. Доктор Симс сказал, что я слишком резко ставлю вопрос — так, по его словам, может говорить только человек, ищущий совершенства во всем. А разве я это отрицаю?

Должно быть, миссис Феддер с тревогой рассказала ему, откуда у Шарлотты те девять швов. Наверно, я необдуманно говорил с Мюриель про эти давно минувшие дела. Она тут же, по горячему следу, все выкладывает матери. Без сомнения, я должен был бы протестовать, но не могу. М. бедняжка и меня слышит только тогда, когда все слышит и ее мама. Но я не собирался пережевывать историю про Шарлоттины швы с мистером Симсом. Во всяком случае не за рюмкой виски».

«Сегодня на вокзале я более или менее твердо обещал Мюриель, что обращусь на днях к психоаналитику. Симс говорил, что у нас на базе есть отличный врач. Очевидно, они с миссис Феддер не раз устраивали конференцию на эту тему. И почему это меня не злит? А вот не злит, и все. Очень странно. Наоборот, это меня как-то греет, неизвестно почему. Даже к традиционным тещам из юмористических журналов я чувствую смутную симпатию. Во всяком случае меня не убудет, если я пойду к психоаналитику. К тому же тут, в армии, это бесплатно. М. любит меня, но никогда она не почувствует ко мне настоящую близость, никогда не будет со мной своей, домашней, легкой, пока меня слегка не прочистят.

Но если я когда-нибудь и обращусь к психоаналитику, так дай бог, чтобы он заранее пригласил на консультацию дерматолога. Специалиста по болезням рук. У меня на руках остаются следы от прикосновения к

некоторым людям. Однажды в парке, когда мы еще возили Франни в колясочке, я положил руку на ее пушистое темечко и, видно, продержал слишком долго. И еще раз, когда я сидел с Зуи в кино на Семьдесят второй улице и там шел страшный фильм. Зуи было лет семь, и он спрятался под стул, чтобы не видеть какую-то жуткую сцену. Я положил руку ему на голову. От некоторых голов, от волос определенного цвета, определенной фактуры, у меня навсегда остаются следы. И не только от волос. Один раз Шарлотта убежала от меня — это было около студии, и я схватил ее за платье, чтобы она не убежала, не уходила от меня. Платьице было светло-желтое, ситцевое, мне оно понравилось, потому что было ей шито навырост. И до сих пор у меня на правой ладони осталось светло-желтое пятно. Господи, если я и вправду какой-то клинический случай, то, наверно, я — параноик наоборот. Я подозреваю, что люди вступают в сговор, чтобы сделать меня счастливым».

* * *

Помню, что я закрыл дневник, даже захлопнул его на слове «счастливым». Некоторое время я сидел, сунув дневник под мышку, пока не ощутил некоторое неудобство от долгого сидения на краю ванны. Я встал такой разгоряченный, словно вылез из ванны, а не просто посидел на ней. Я подошел к корзине с грязным бельем, поднял крышку и почти со злобой буквально швырнул дневник Симора в простыни и наволочки, лежавшие на самом дне. Потом за отсутствием более конструктивных мыслей я снова сел на край ванны. Минуту-другую я смотрел на зеркало аптечки, перечитывая послание Бу-Бу, потом встал и, выходя из ванной, так хлопнул дверь, будто можно было силой закрыть это помещение на веки веков.

Следующим этапом была кухня. К счастью, двери оттуда выходили в коридор, так что можно было попасть на кухню, не проходя мимо гостей. Пробравшись туда и закрыв двери, я снял свою форму, то есть куртку, и бросил ее на полированный столик. Казалось, вся моя энергия ушла на снятие куртки, и я постоял в одной рубашке, отдыхая перед геркулесовым подвигом приготовления коктейлей. Потом резким движением, словно за мной кто-то следил сквозь невидимый глазок в стене, я открыл шкаф и холодильник в поисках ингредиентов для коктейля «Том Коллинз». Все оказалось под рукой, вместо лимонов нашлись апельсины, и вскоре у меня был готов целый кувшин довольно приторного питья. Я взял из шкафа пять стаканов и стал искать поднос. А искать поднос дело сложное, и я так завозился, что под конец уже с еле слышными тихими стонами открывал и закрывал всякие шкафы и шкафчики.

Но в тот момент, как я, уже в куртке, неся поднос с кувшином и стаканами, выходил из кухни, над моей головой вдруг словно вспыхнула воображаемая электрическая лампочка — так на карикатурах изображают, что персонажу пришла в голову блестящая мысль. Я поставил поднос на пол. Я вернулся к шкафчику с напитками и взял початую бутылку виски. Я взял стакан и налил себе — пожалуй, нечаянно — по крайней мере пальца на четыре этого виски. Бросив на стакан молниеносный, хотя и укоризненный взгляд, я, как истинный прожженный герой ковбойского фильма, одним махом опрокинул стакан. Скажу прямо, что об этом деле я до сих пор без содрогания вспомнить не могу. Конечно, мне было всего двадцать три года и я поступил так, как в данных условиях поступил бы любой другой здоровый балбес двадцати трех лет. Но суть вовсе не в этом. Суть в том, что я, как говорится, непьющий. От одной унции виски меня либо начинает выворачивать наизнанку, либо я начинаю искать еретиков среди присутствующих. Бывало, что после двух унций я сваливался замертво.

Но этот день был, выражаясь крайне мягко, не совсем обычным, и я помню, что, когда я снова взял поднос и стал выходить из кухни, я никакой внезапной метаморфозы в себе не заметил. Казалось только, что в желудке данного субъекта начинается сверхъестественная генерация тепла, и все.

Когда я внес поднос в комнату, я не заметил никаких особых изменений и в поведении гостей, кроме ободряющего факта, что дядюшка невестиного отца присоединился к ним. Он утопал в глубоком кресле, когда-то облюбованном моим покойным бульдогом. Его маленькие пожки были скрещены, волосы прилизаны, жирное пятно на лацкане так же заметно и — чудо из чудес! — его сигара дымила сь! Мы приветствовали друг друга еще более пылко, чем всегда, словно наши периодические расставания были слишком долгими и терпеть их никакого смысла нет.

Лейтенант все еще стоял у книжной полки. Он перелистывал какую-то книжку и, по-видимому, был совершенно поглощен ею. (Я так и не узнал, что это была за книга.) Миссис Силберн уже явно пришла в себя, вид у нее был свежий, а толстый слой грима нанесен заново. Она сидела на кушетке, отодвинувшись в самый угол, подальше от дядюшки невестиного отца, и перелистывала журнал.

— О, какая прелесть! — сказала она «гостевым» голосом, увидев поднос, который я только что поставил на столик. Она улыбнулась мне со светской любезностью.

— Я налил только чуточку джина, — соврал я, размешивая питье в кувшине.

— Тут стало так прохладно, так чудесно, — сказала миссис Силберн. — Кстати, можно вам задать один вопрос?

И она отложила журнал, встала и, обойдя кушетку, подошла к письменному столу. Подняв руку, она коснулась кончиком пальца одной из фотографий.

— Кто этот очаровательный ребенок? — спросила она.

Под мерным, непрерывным воздействием кондиционированного воздуха, в свеженаложенном гриме она уже больше не походила на измученного заблудившегося ребенка, каким она казалась под жарким солнцем у дверей кафе на Семьдесят девятой улице. Теперь она разговаривала со мной с тем сдержанным изяществом, которое было ей свойственно, когда мы сели в машину около дома невестиной бабушки, — тогда она еще спросила, не я ли — Дикки Бриганза.

Я перестал мешать коктейль и подошел к ней. Она уперлась лакированными ноготком в фотографию, вернее, в девочку из группы ребят, выступавших по радио в 1929 году. Мы всемером сидели у круглого стола; перед каждым стоял микрофон.

— В жизни не видела такого очаровательного ребенка, — сказала миссис Силберн, — знаете, на кого она немножко похожа? Особенно глаза и ротик.

Именно в эту минуту виски — не всё, а примерно с один палец — уже начало на меня действовать, и я чуть не ответил: «На Дикки Бриганзу», — но инстинктивная осторожность взяла верх. Я кивнул головой и назвал имя той самой киноактрисы, о которой невестина подружка еще раньше упоминала в связи с девятью хирургическими швами.

Миссис Силберн удивленно посмотрела на меня.

— Разве она тоже участвовала в программе «Что за умный ребенок!»?

— Ну как же. Два года подряд. Господи боже, конечно, участвовала. Только под настоящей своей фамилией. Шарлотта Мэйхью.

Теперь и лейтенант стоял позади меня справа и тоже смотрел на фотографию. Услыхав театральный псевдоним Шарлотты, он отошел от книжной полки взглянуть на фотографию.

— Но я не знала, что она в детстве выступала по радио! — сказала миссис Силсберн. — Совершенно не знала! Неужели она и в детстве была так талантлива?

— Нет, она больше шалила. Но пела не хуже, чем сейчас. И потом она удивительно умела подбадривать остальных. Обычно она сидела рядом с моим братом, с Симором, у стола с микрофонами, и как только ей нравилась какая-нибудь его реплика, она наступала ему на ногу. Вроде как пожимают руку, только она пожимала ногу.

Во время этого краткого доклада я опирался на спинку стула, стоявшего у письменного стола. И вдруг мои руки соскользнули — так иногда соскальзывает локоть, опирающийся на стол или на стойку в баре. Я потерял было равновесие, но сразу выпрямился, и ни миссис Силсберн, ни лейтенант ничего не заметили. Я сложил руки на груди.

— Случалось, что в те вечера, когда Симор был особенно в форме, он даже шел домой прихрамывая. Честное слово! Ведь Шарлотта наступала ему на пальцы изо всей силы. А ему хоть бы что. Он любил, когда ему наступали на ноги. Он любил шаловливых девчонок.

— Ах, как интересно! — сказала миссис Силсберн. — Но я понятия не имела, что она тоже участвовала в радиопередачах.

— Это Симор ее втянул, — сказал я. — Она — дочка остеопата, жили они в нашем доме, на Риверсайд-Драйв. — Я снова оперся на спинку стула и всей тяжестью навалился на нее, отчасти для сохранения равновесия, отчасти чтобы принять позу старого мечтателя у садовой ограды. Звук моего голоса был удивительно приятен мне самому. — Мы как-то играли в мячик... Вам интересно послушать?

— Да! — сказала миссис Силсберн.

— Как-то после школы мы с Симором бросали мяч об стенку дома, и вдруг кто-то — потом оказалось, что это была Шарлотта, — стал кидать в нас с двенадцатого этажа мраморными шариками. Так мы и познакомились. На той же неделе мы привели ее на радио. Мы даже не знали, что она умеет петь. Нам просто понравился ее прекрасный нью-йоркский выговор. У нее было произношение обитателей Дикман-стрит.

Миссис Силсберн засмеялась тем музыкальным смешком, который napал убивает любого чуткого рассказчика — и трезвого, как стеклышко, и не совсем трезвого. Очевидно, она только и ждала, чтобы я кончил, — ей не терпелось задать лейтенанту мучивший ее вопрос.

— Скажите, на кого она похожа? — спросила она настойчиво. — Особенно рот и глаза? Кого она вам напоминает?

Лейтенант посмотрел на нее, потом на фотографию.

— Вы хотите сказать — на этой фотографии? В детстве? Или теперь, в кино? О чем вы говорите?

— Да, пожалуй, и тогда и теперь. Но особенно на этой фотографии.

Лейтенант рассматривал фотографию довольно сурово, как мне показалось, словно он никоим образом не одобрял, что миссис Силсберн — женщина, и притом невоеннообязанная, — заставила его изучать какую-то фотографию.

— На Мюриель, — сказал он отрывисто. — Похожа тут на Мюриель. И волосы и все.

— Вот именно! — сказала миссис Силсберн. Она обернулась ко мне. — Да, именно на нее! — повторила она. — Вы знакомы с Мюриель? Я хочу сказать — вы ее видели в такой прическе, знаете, волосы заколоты таким пышным...

— Я сегодня впервые увидел Мюриель, — сказал я.

— Тогда просто поверьте мне на слово.— И миссис Силсберн выразительно постучала по фотографии указательным пальцем.— Эта девочка могла бы быть двоюродной сестрой Мюриель в те годы. Как две капли воды.

Виски упорно одолевало меня, и я никак не мог воспринять эту информацию полностью и уж, конечно, не мог предугадать все возможные выводы из нее. Я вернулся к столику — должно быть, чересчур стараясь идти по прямой — и снова стал перемешивать коктейль. Когда я очутился по соседству с дядей невестинного отца, он, стараясь привлечь мое внимание, приветствовал мой приход, но я был настолько поглощен высказанным предположением о сходстве Мюриель с Шарлоттой, что не ответил ему. Кроме того, у меня немного кружилась голова. Появилось неудержимое желание смешивать коктейль, сидя на полу, но я удержался.

Минуты две спустя, когда я начал разливать напиток, миссис Силсберн снова обратилась ко мне с вопросом. Она почти что пропела его, так мелодично прозвучал ее голос:

— Скажите, а это будет очень-очень нехорошо с моей стороны, если я спрошу про тот случай, о котором упоминала миссис Бервик? Я про те девять швов, помните, она рассказывала. Ваш брат, наверно, нечаянно толкнул ее или как?

Я поставил кувшин — он мне показался необычайно тяжелым и неудобным — и посмотрел на нее. Как ни странно, несмотря на легкое головокружение, я чувствовал, что даже дальние предметы ничуть не туманятся в глазах. Наоборот, миссис Силсберн, стоявшая в центре комнаты, назойливо, словно в фокусе, выделялась из всего окружающего.

— Кто такая миссис Бервик? — спросил я.

— Моя жена, — ответил лейтенант несколько отрывисто. Он смотрел на меня, словно комиссия из одного человека, призванная проверить, почему я так медленно наливаю коктейль.

— Да-да, конечно, — сказал я.

— Что это было? Несчастный случай? — настаивала миссис Силсберн.— Он ведь не нарочно? Или нарочно?

— Что за чушь, миссис Силсберн!

— Как вы сказали? — холодно бросила она.

— Простите. Не обращайтесь внимания. Я немного опьянел. Выпил на кухне лишнее минут пять назад.

Я вдруг оборвал себя и резко повернулся. В коридоре под знакомыми решительными шагами загудел не покрытый ковром пол. Шаги стремительно двигались, вернее, надвигались на нас, и через миг невестина подружка влетела в комнату.

Она ни на кого не взглянула.

— Дозвонилась наконец, — сказала она удивительно ровным голосом, без малейшего нажима, — чуть ли не час дозванивалась.— Лицо у нее напряглось, покраснело — вот-вот лопнет.— Холодное? — спросила она и, не останавливаясь, не ожидая ответа, подошла к столику. Она схватила тот единственный стакан, который я успел налить, и жадно, залпом выпила его.— В жизни не бывала в такой жаркой комнате, — сказала она, ни к кому не обращаясь и ставя пустой стакан. Она тут же схватила кувшин и снова налила стакан до половины, громко звякая кубиками льда.

Миссис Силсберн сразу оказалась у столика.

— Что они сказали? — нетерпеливо спросила она.— Вы говорили с Рэей?

Невестина подружка сначала выпила, поставила стакан и потом сказала:

— Я со всеми говорила,— и слова «со всеми» она подчеркнула сердито, хотя и без обычной для нее театральности. Взглянув сначала на миссис Силсберн, потом на меня, а потом на лейтенанта, она добавила: — Можете успокоиться: все хорошо и благополучно.

— Что это значит? Что случилось? — строго спросила миссис Силсберн.

— А то и значит. Жених уже не страдает от счастья.

В голосе невестинной подружки снова появились привычные удивления.

— Как это? С кем ты говорила? — спросил лейтенант.— Ты говорила с миссис Феддер?

— Я же сказала: я разговаривала со всеми. Со всеми, кроме этой прелестной невесты. Она сбежала с женихом.— Невестина подружка посмотрела на меня.— Сколько сахара вы плюхнули в это питье? — раздраженно спросила она.— Вкус такой, будто...

— Сбежала? — ахнула миссис Силсберн, прижимая руки к груди.

Невестина подружка только взглянула на нее.

— А вам-то что? Не волнуйтесь, дольше проживете!

Миссис Силсберн безвольно опустилась на кушетку. И я, кстати сказать, тоже. Я не спускал глаз с невестинной подружки, и миссис Силсберн тоже неотрывно глядела на нее.

— Видно, он сидел у них на квартире, когда они туда приехали. Мюриель вдруг схватила чемоданчик, и они тут же уехали, вот и все.— Невестина подружка выразительно пожала плечами. Взяв стакан, она допила его до дна.— Во всяком случае всех нас приглашают на свадьбу. Или, как это там называется, когда жених с невестой уже скрылись. Насколько я поняла, там уже целая куча народу. И у всех по телефону голоса такие веселые.

— Ты сказала, что говорила с миссис Феддер. Она-то что тебе сказала? — спросил лейтенант.

Невестина подружка довольно загадочно покачала головой:

— Она изумительна! Боже, какая женщина! Говорила совершенно спокойным голосом. Насколько я поняла по ее словам, этот самый Симор обещал посоветоваться с психоаналитиком, чтобы как-то выправиться.— Она снова пожала плечами.— Кто его знает? Может, все и утрясется. Я слишком обалдела, не могу думать.— Она посмотрела на мужа.— Пойдем стсюда. Где твоя шапочка?

Не успел я опомниться, как невестина подружка, лейтенант и миссис Силсберн гуськом пошли к выходу, а я, хозяин дома, замыкал шествие. Я уже сильно пошатывался, но никто не обернулся, а потому и не заметил, в каком я состоянии.

Я услышал, как миссис Силсберн спросила невестину подружку:

— Вы заедете туда?

— Право, не знаю,— услышал я ответ,— если и заедем, так только на минуту.

Лейтенант вызвал лифт, и все трое, как каменные, усталились на шкалу указателя. Казалось, слова стали лишними. Я стоял в дверях квартиры в нескольких шагах от лифта, бессмысленно глядя вперед. Дверцы лифта открылись, я громко сказал: «До свидания!» — и все трое разом повернули головы. «До свидания! До свидания!» — проговорили они, а невестина подружка крикнула: «Спасибо за угощение!» — и дверца захлопнулась.

Неверными шагами я возвратился в свою квартиру, пытаюсь на ходу расстегнуть куртку или как-нибудь стянуть ее.

Мое возвращение в комнату восторженно приветствовал единственный оставшийся гость — я совсем забыл про него. Когда я вошел, он поднял мне навстречу до краев налитый стакан. Более того, он буквально помавал стаканом, кивая при этом головой в мою сторону и ухмыляясь, словно наконец наступил тот долгожданный, счастливейший миг, по которому мы с ним так стосковались. Я никак не мог ответить ему такой же улыбкой. Однако помню, что я его похлопал по плечу. Потом я тяжело опустился на кушетку прямо против него, и мне наконец удалось расстегнуть куртку.

— А у вас есть дом? — спросил я его. — Кто за вами ухаживает? Голуби в парке, что ли?

В ответ на столь провокационные вопросы мой гость снова с необыкновенным пылом поднял в мою честь стакан. Я закрыл глаза и лег на кушетку, задрал ноги и вытянувшись. Но от этого комната закружилась каруселью. Я снова сел, рывком опустив ноги на пол, и от резкого движения чуть не потерял равновесия, пришлось схватиться за столик, чтобы не упасть. Минуту-другую я сидел согнувшись, закрыв глаза. Потом, не вставая, потянулся к кувшину и налил стакан, расплескивая питье с кубиками льда по столу и по полу. Я посидел немного с полным стаканом в руке и, не сделав ни глотка, поставил его прямо в лужицу посреди столика.

— Рассказать вам, откуда у Шарлотты те девять швов? — спросил я внезапно. Мне казалось, что голос у меня звучит совершенно нормально. — Мы жили на озере. Симор написал Шарлотте, пригласил ее приехать к нам в гости, и наконец мать ее отпустила. И вот как-то она села посреди дорожки — погладить котенка нашей Бу-Бу, а Симор бросил в нее камнем. Ему было двенадцать лет. Вот и все. А бросил он в нее потому, что она с этим котенком на дорожке была чересчур хороша. И все это поняли, черт меня дери, и я, и сама Шарлотта, и Бу-Бу, и Уэйкер, и Уолт, вся семья. — Я уставился на оловянную пепельницу, стоявшую на столике. — Шарлотта ни разу в жизни не напомнила ему об этом. Ни одного разу.

Я посмотрел на своего гостя, словно ожидая, что он начнет возражать, назовет меня лгуном. Конечно, я лгал. Шарлотта так и не поняла, почему Симор бросил в нее камнем. Но мой гость ничего не оспаривал. Напротив. Он ободряюще улыбался мне, словно любое слово, какое я сейчас скажу, для него будет непреложной истиной. Но я все же встал и вышел из комнаты. Помню, что, уходя, я чуть было не вернулся и не поднял с полу два кубика льда, но это предприятие казалось настолько сложным, что я проследовал дальше и вышел в коридор. Проходя мимо кухни, я снял, вернее стащил, куртку и бросил ее на пол. В ту минуту мне казалось, что именно в этом месте я всю жизнь оставлял свою одежду.

В ванной я немного постоял над корзиной с бельем, обдумывая, взять или не взять дневник Симора, читать его дальше или нет. Не помню, какие аргументы я выдвигал «за» и «против», но в конце концов я открыл корзинку и вытащил дневник. Я снова сел с ним на край ванны и перелистывал страницы, пока не дошел до последней записи Симора.

«Один из солдат только что опять звонил в справочную аэропорта. Если и дальше будет проясняться, мы к утру сможем вылететь. Опенгейм сказал: нечего сидеть, как на иголках. Звонил Мюриель, все объяснил. Было очень странно. Она подошла к телефону и все говорила: «Алло! Алло!» А я потерял голос. Она чуть не повесила трубку. Хоть бы

успокоиться немного. Оппенгейм решил поспать, пока не вызовут наш рейс. Надо бы и мне выспаться, но я слишком взвинчен. Я ей звонил главным образом, чтобы упросить, умолить ее просто уехать со мной вдвоем и где-нибудь обвенчаться. Слишком я взвинчен, чтобы быть на людях. Мне кажется, что сейчас — мое второе рождение. Святой, священный день. Слышимость была такая ужасная, да и я еле-еле мог говорить, когда нас соединили. Как страшно, когда говоришь: «Я тебя люблю», а на другом конце тебе в ответ кричат: «Что? Что?» Весь день читал отрывки из Веданты. Брачующиеся должны служить друг другу. Поднимать, поддерживать, учить, укреплять друг друга, но более всего слушать друг друга. Воспитывать детей честно, любовно и бережно. Дитя — гость в доме. его надо любить и уважать, но не властвовать над ним, ибо оно принадлежит богу. Как это изумительно, как разумно, как трудно и прекрасно и поэтому правдиво. Впервые в жизни испытываю радость ответственности. Оппенгейм уже дрыхнет. Надо бы и мне заснуть. Не могу — кто-нибудь должен бодрствовать вместе со счастливым человеком».

* * *

Я только раз прочел эту запись, закрыл дневник, отнес его в спальню и бросил в саквояж Симора, лежавший на диванчике у окна. И потом я упал — вернее, повалился на ближайшую кровать. Мне показалось, что я уснул — или потерял сознание — еще раньше, чем коснулся постели.

Когда я часа через полтора проснулся, у меня раскалывалась голова и во рту все пересохло. В спальне было почти темно. Помню, что я довольно долго сидел на краю кровати. Потом, мучимый жаждой, я встал и медленно побрел в другую комнату, надеясь, что там в кувшине на столике еще осталось что-нибудь мокрое и холодное.

Мой последний гость, очевидно, сам выбрался из квартиры. Только пустой стакан и сигара в оловянной пепельнице напоминали о его существовании. Я до сих пор думаю, что окурки этой сигары надо было тогда же послать в подарок Симору — ведь все свадебные подарки обычно бессмысленны. Просто окурки сигары в небольшой красивой коробочке. Можно бы еще приложить чистый листок бумаги вместо объяснения.

Хорошо ловится рыбка-бананка...

В гостинице жили девяносто семь ньюйоркцев, агентов по рекламе, и они так загрузили междугородный телефон, что молодой женщине из 507 номера пришлось ждать с полудня почти до половины третьего, пока ее соединили. Но она не теряла времени зря. Она прочла статейку в женском журнальчике — карманный формат! — под заглавием: «Секс — либо радость, либо ад!». Она вымыла гребенку и щетку. Она вывела пятнышко с юбки от бежевого костюма. Она переставила пуговку на готовой блузке. Она выщипнула два волосика, выросшие на родинке. И когда телефонистка наконец позвонила, она, сидя на диванчике у окна, уже кончала покрывать лаком ногти на левой руке.

Но она была не из тех, кто бросает дело из-за какого-то телефонного звонка. По ее виду можно было подумать, что телефон так и звонил без перерыва с того дня, как она стала взрослой.

Телефон звонил, а она наносила маленькой кисточкой лак на ноготь мизинца, тщательно обводя лунку. Потом завинтила крышку на бутылочке с лаком и, встав, помахала в воздухе левой — еще не просохшей —

рукой. Другой, уже просохшей, она взяла переполненную пепельницу с диванчика и перешла с ней к ночному столику — телефон стоял там. Сев на край широкой, уже оправленной кровати, она после пятого или шестого сигнала подняла телефонную трубку.

— Алло,— сказала она, держа поодаль растопыренные пальчики левой руки и стараясь не касаться ими белого шелкового халатика: на ней больше ничего, кроме туфель, не было — кольца лежали в ванной.

— Даю Нью-Йорк, миссис Гласс,— сказала телефонистка.

— Хоршш, спасибо,— сказала молодая женщина и поставила пепельницу на ночной столик.

Послышался женский голос:

— Мюриель? Это ты?

Молодая особа отвела трубку от уха:

— Да, мама. Здравствуй, как вы все поживаете?

— Безумно за тебя волнуюсь. Почему не звонила? Как ты, Мюриель?

— Я тебе пробовала звонить и вчера и позавчера вечером. Но телефон тут...

— Ну, как ты, Мюриель?

Мюриель еще немного отодвинула трубку от уха.

— Чудесно. Только жара ужасающая. Такой жары во Флориде не было уже...

— Почему ты мне не звонила? Я волновалась, как...

— Мапочка, милая, не кричи на меня, я великолепно тебя слышу. Я пыталась дозвониться два раза. И сразу после...

— Я уже говорила папе вчера, что ты, наверно, будешь вечером звонить. Нет, он все равно... Скажи, как ты, Мюриель? Только правду!

— Да все чудесно. Перестань спрашивать одно и то же...

— Когда вы приехали?

— Не помню. В среду утром, что ли.

— Кто вел машину?

— Он сам,— ответила дочь.— Только не ахай. Он правил осторожно. Я просто удивилась.

— Он сам правил? Но, Мюриель, ты мне дала честное сло...

— Мама, я же тебе сказала,— перебила дочь.— Он правил очень осторожно. Кстати, не больше пятидесяти в час, ни разу...

— А он не фокусничал — ну, помнишь, как тогда, с деревьями?

— Мапочка, я же тебе говорю — он правил очень осторожно. Перестань, пожалуйста. Я его просила держаться посреди дороги, и он послушался, он меня понял. Он даже старался не смотреть на деревья, видно было, как он старается. Кстати, папа уже отдал ту машину в ремонт?

— Нет еще. Запросили четыреста долларов.

— Но, мамочка, Симор обещал папе, что он сам заплатит. Не понимаю, чего ты...

— Посмотрим, посмотрим. А как он себя вел в машине — и вообще?

— Хорошо! — сказала дочь.

— Он тебя не называл этой ужасной кличкой?..

— Нет. Он меня зовет по-новому.

— Как?

— Да не все ли равно, мама!

— Мюриель, мне не о б х о д и м о знать. Папа говорил...

— Ну, ладно, ладно! Он меня называет Святой Бродяжка выпуска 1948 года,— сказала дочка и засмеялась.

— Ничего тут нет смешного, Мюриель. Абсолютно не смешно. Это ужасно. Нет, это просто очень грустно. Когда подумаешь, как мы...

— Мама,— прервала ее дочь,— погоди, послушай. Помнишь ту

книжку, он ее прислал мне из Германии? Помнишь — какие-то немецкие стихи? Куда я ее девала? Ломаю голову и не могу...

— Она у тебя.

— Ты уверена?

— Конечно. То есть она у меня. У Фредди в комнате. Ты ее тут оставила, а места в шкафу... В чем дело? Она ему нужна?

— Нет. Но он про нее спрашивал по дороге сюда. Все допытывался — читала я ее или нет.

— Но книга немецкая!

— Да, мамочка. А ему все равно, — сказала дочь и закинула ногу на ногу. — Он говорит, что стихи написал единственный великий поэт нашего века. Он сказал — надо было мне хотя бы достать перевод. Или выучить немецкий — вот, пожалуйста!

— Ужас. Ужас! Нет, это так грустно... Папа вчера говорил...

— Одну секунду, мамочка! — сказала дочь. Она пошла к окну — взять сигареты с диванчика, закурила и снова села на кровать. — Мама? — сказала она, выпуская дым.

— Мюриель, выслушай меня внимательно.

— Слушаю.

— Папа говорил с доктором Сиветским.

— Ну? — сказала дочь.

— Он все ему рассказал. По крайней мере так он мне говорит... но ты знаешь папу. И про деревья. И про историю с окошком. И про то, что он сказал бабушке, когда она обсуждала, как ее надо будет хоронить, и что он сделал с этими чудными цветными открыточками... помнишь, Бермудские острова — словом, про все.

— Ну? — сказала дочь.

— Ну и вот. Во-первых, он сказал: сущее преступление, что военные врачи выпустили его из госпиталя, честное слово! Он определенно сказал папе, что не исключено, никак не исключено, что Симор совершенно может потерять способность владеть собой. Честное благородное слово.

— А здесь в гостинице есть психиатр, — сказала дочь.

— Кто? Как фамилия?

— Не помню. Ризер, что ли. Говорят, очень хороший врач.

— Ни разу не слыхала!

— Это еще не значит, что он плохой.

— Не дерзи мне, Мюриель, пожалуйста! Мы ужасно за тебя волнуемся. Папа даже хотел дать тебе вчера телеграмму, чтобы ты вернулась домой, и потом...

— Нет, мамочка, домой я пока не вернусь, успокойся!

— Мюриель, честное слово, доктор Сиветский сказал, что Симор может окончательно потерять...

— Мама, мы только что приехали. За столько лет я в первый раз по-настоящему отдыхаю. Не стану же я хватать вещички и лететь домой. Да я и не могла бы сейчас ехать. Я так обожглась на солнце, что еле хожу.

— Ты обожглась? И сильно? Отчего же ты не мазалась «бронзовым» кремом, — я его положила тебе в чемодан? Он на самом...

— Мазалась, мазалась. И все равно сожглась.

— Вот ужас! Где ты обожглась?

— Вся, мамочка, вся, с ног до головы.

— Вот ужас!

— Ничего, выживу.

— Скажи, а ты говорила с этим психиатром?

— Да, немножко.

— Что он сказал? И где в это время был Симор?

— В Морской гостиной, играл на рояле. С самого приезда он оба вечера играл на рояле.

— Что же сказал врач?

— Ничего особенного. Он сам заговорил со мной. Я сидела рядом с ним — мы играли в «бинго», и он меня спросил — это ваш муж играет на рояле в той комнате? Я сказала «да», и он спросил — не болел ли Симор недавно? И я сказала...

— А почему он вдруг спросил?

— Не знаю, мама. Наверно, потому, что Симор такой бледный, худой. В общем, после «бинго» он и его жена пригласили меня чего-нибудь выпить. Я согласилась. Жена у него — чудовище. Помнишь то жуткое вечернее платье, мы его видели в витрине у Бонвита? Ты еще сказала, что для такого платья нужна тоненькая-претоненькая...

— То, зеленое?

— Вот она и была в нем! А бедра у нее! Она все ко мне приставала — не родня ли Симор той Сюзанне Гласс, у которой мастерская на Мэдисон-авеню — шляпы!

— А он-то что говорил? Этот доктор?

— Да так, ничего особенного. И вообще мы сидели в баре, шум ужасный.

— Да, но все-таки ты ему сказала, что он хотел сделать с бабусиным креслом?

— Нет, мамочка, никаких подробностей я ему не рассказывала. Но, может быть, удастся с ним поговорить опять. Он целыми днями сидит в баре.

— А он не говорил, что может так случиться — ну, в общем, что у Симора появятся какие-нибудь странности? Что это для тебя опасно?

— Да нет же, — сказала дочь. — Видишь ли, мама, для этого ему нужно собрать всякие данные. Про детство и всякое такое. Я же сказала: мы почти не разговаривали — в баре стоял ужасный шум.

— Ну что ж... А как твое синее пальтишко?

— Ничего. Прокладку из-под плеч пришлось вынуть.

— А как там вообще одеваются?

— Ужасающе. Ни на что не похоже. Всюду блески — бог знает что такое.

— Номер у вас хороший?

— Ничего. Вполне терпимо. Тот номер, где мы жили до войны, нам не достался, — сказала дочь. — Публика в этом году жуткая. Ты бы посмотрела, с кем мы сидим рядом в столовой. Прямо тут же, за соседним столиком. Вид такой, будто они приехали на грузовике.

— Сейчас везде так. Юбочку носишь?

— Она слишком длинная. Я же тебе говорила.

— Мюрнель, ответь мне в последний раз: как ты? Все в порядке?

— Да, мамочка, да! — сказала дочка. — В сотый раз — да!

— И тебе не хочется домой?

— Нет, мамочка, нет!

— Папа вчера сказал, что он готов дать тебе денег, чтобы ты уехала куда-нибудь одна и все хорошенько обдумала. Ты могла бы совершить чудесное путешествие на пароходе. Мы оба думаем, что тебе...

— Нет, спасибо, — сказала дочь и села прямо. — Мама, этот разговор влетит в...

— Только подумать, как ты ждала этого мальчишку всю войну, то есть только подумать, как все эти глупые молодые жены...

— Мамочка, давай прекратим разговор. Симор вот-вот придет.

— А где он?

— На пляже.

- На пляже? Один? Он себя прилично ведет на пляже?
- Слушай, мама, ты говоришь про него, словно он — буйно помешанный.
- Ничего подобного, Мюриель, что ты!
- Во всяком случае голос у тебя такой. А он лежит на песке, и все. Даже халат не снимает.
- Не снимает халат? Почему?
- Не знаю. Наверно, потому что он такой бледный.
- Боже мой! Но ведь ему необходимо солнце! Ты не можешь его заставить?
- Ты же знаешь Симора,— сказала дочь и снова скрестила ножки.— Он говорит: «Не хочу, чтобы всякие дураки глазели на мою татуировку».
- Но у него же нет никакой татуировки! Или он в армии себе что-нибудь наколот?
- Нет, мамочка, нет, миленькая,— сказала дочь и встала.— Знаешь что, давай я тебе позвоню завтра.
- Мюриель! Выслушай меня! Только внимательно!
- Слушаю, мамочка! — Она переступила с ноги на ногу.
- В ту же секунду, как только он скажет или сделает что-нибудь странное... ну, ты меня понимаешь, немедленно звони! Слышишь?
- Мама, но я не боюсь Симора!
- Мюриель, дай мне слово!
- Хорошо. Даю. До свидания, мамочка! Поцелуй папу.— И она повесила трубку.

— Сими Гласс — Семиглаз,— сказала Сибилла Карпентер, жившая в гостинице со своей мамой.— Где Семиглаз?

— Кисонька, перестань, ты маму замучила. Стой смирно, слышишь? Миссис Карпентер растирала маслом от загара плечики Сибиллы, спинку и худенькие, похожие на крылышки лопатки. Сибилла, кое-как удерживаясь на огромном, туго надутым мячике, сидела лицом к океану. На ней был желтенький, как канарейка, купальник — трусики и лифчик, хотя в ближайšie девять-десять лет она еще прекрасно могла обойтись и без лифчика.

— Обыкновенный шелковый платочек, но это заметно только вблизи,— объясняла женщина, сидевшая в кресле рядом с миссис Карпентер.— Интересно, как это она умудрилась его завязать. Прелесть что такое.

— Да, наверно, мило,— сказала миссис Карпентер.— Сибиллочка, кисонька, сиди смирно.

— А где мой Сими Гласс? — спросила Сибилла.

Миссис Карпентер вздохнула.

— Ну, вот,— сказала она. Она завинтила крышку на бутылочке с маслом.— Беги теперь, киска, играй. Мамочка пойдет в отель и выпьет «мартини» с миссис Хаббель. А оливку принесет тебе.

Вырвавшись на волю, Сибилла стремглав добежала до пляжа, потом свернула к рыбацкому павильону. По дороге она остановилась, брыкнула ножкой мокрый, развалившийся дворец из песка и скоро очутилась далеко от курортного пляжа.

Она прошла с четверть мили и вдруг понеслась бегом прямо к дюнам на берегу. Она добежала до места, где на спине лежал молодой человек.

— Пойдешь купаться. Сими Гласс? — спросила она.

Юноша вздрогнул, схватился рукой за отвороты купального халата.

Потом перевернулся на живот, и скрученное колбасой полотенце упало с его глаз. Он прищурился на Сибиллу.

— А, привет, Сибиллочка!

— Пойдешь купаться?

— Только тебя и ждал,— сказал тот.— Какие новости?

— Чего? — спросила Сибилла.

— Новости какие? Что в программе?

— Мой папа завтра прилетит на ариплане! — сказала Сибилла, подкидывая ножкой песок.

— Только не мне в глаза, крошка! — сказал юноша, придерживая Сибиллину ножку.— Да, пора бы твоему папе приехать. Я его с часу на час жду. Да, с часу на час.

— А где та тетя? — спросила Сибилла.

— Та тетя? — Юноша стряхнул песок с негустых волос.— Трудно сказать, Сибиллочка. Она может быть в тысяче мест. Скажем, у парикмахера. Красится в рыжий цвет. Или у себя в комнате — шьет кукол для бедных деток.— Он все еще лежал ничком и теперь, сжав кулаки, поставил один кулак на другой и оперся на него подбородком.— Ты лучше спроси меня что-нибудь попроще, Сибиллочка,— сказал он.— До чего у тебя костюмчик красивый, прелесть. Больше всего на свете люблю синие купальнички.

Сибилла посмотрела на него, потом — на свой выпяченный животик.

— А он желтый,— сказала она,— он вовсе желтый.

— Правда? Ну-ка, подойди!

Сибилла сделала шаг вперед.

— Ты совершенно права. Дурак я, дурак!

— Пойдешь купаться? — спросила Сибилла.

— Надо обдумать. Имей в виду, Сибиллочка, что я серьезно обдумываю это предложение.

Сибилла ткнула ногой надувной матрасик, который ее собеседник подложил под голову вместо подушки.

— Надуть надо,— сказала она.

— Ты права. Вот именно надуть и даже сильнее, чем я намеревался до сих пор.— Он вынул кулаки и уперся подбородком в песок.— Сибиллочка,— сказал он,— ты очень красивая. Приятно на тебя смотреть. Расскажи мне про себя.— Он протянул руки и обхватил Сибиллины шиколотки.— Я — Козерог,— сказал он.— А ты кто?

— Шэрон Липшюц говорила — ты ее посадил к себе на рояльную табуретку,— сказала Сибилла.

— Неужели Шэрон Липшюц так и сказала?

Сибилла энергично закивала.

Он выпустил ее ножки, скрестил руки и прижался щекой к правому локтю.

— Ничего не поделаешь,— сказал он,— сама знаешь, как это бывает, Сибиллочка. Сижу, играю. Тебя нигде нет. А Шэрон Липшюц подходит и забирается на табуретку рядом со мной. Что же мне — столкнуть ее, что ли?

— Столкнуть.

— Ну, нет. Нет! Я на это не способен. Но знаешь, что я сделал,— угадай!

— Что?

— Я притворился, что это ты.

Сибилла сразу нагнулась и начала копать песок.

— Пойдем купаться! — сказала она.

— Так и быть,— сказал ее собеседник.— Кажется, на это я способен.

— В другой раз ты ее столкни! — сказала Сибилла.

— Кого это?

— Шэрон Липшюц.

— Ах, Шэрон Липшюц! Как это ты все время про нее вспоминаешь? Мечты и сны.

Он вдруг вскочил на ноги, взглянул на океан.

— Слушай, Сибиллочка, знаешь, что мы сейчас сделаем? Попробуем поймать рыбку-бананку.

— Кого?

— Рыбку-бананку, — сказал он и развязал пояс халата. Он снял халат. Плечи у него были белые, узкие, плавки — ярко-синие. Он сложил халат сначала пополам в длину, потом свернул втрое. Развернув полотенце, которым перед тем закрывал себе глаза, он разостлал его на песке и положил на него свернутый халат. Нагнувшись, он поднял надувной матрасик и сунул его под мышку. Свободной левой рукой он взял Сибиллу за ручку.

Они пошли к океану.

— Ты-то уж наверняка не раз видела рыбок-бананок? — спросил он. Сибилла покачала головой.

— Не может быть! Да где же ты живешь?

— Не знаю, — сказала Сибилла.

— Как это не знаешь? Не может быть! Шэрон Липшюц и то знает, где она живет, а ей тоже всего три с половиной.

Сибилла остановилась и выдернула руку. Она подняла ничем не приметную ракушку и стала рассматривать с подчеркнутым интересом. Потом бросила ее.

— Шошный лес, Коннетикат, — сказала она и пошла дальше, выпятив животик.

— Шошный лес, Коннетикат, — повторил ее спутник. — А это случайно не около соснового леса в Коннетикате?

Сибилла посмотрела на него.

— Я там живу! — сказала она нетерпеливо. — Я живу Шошный лес, Коннетикат. — Она пробежала несколько шажков, подхватила левую ступню левой же рукой и запрыгала на одной ножке.

— До чего ты все хорошо объяснила, просто прелесть, — сказал ее спутник.

Сибилла выпустила ножку.

— Ты читал «Негритенок Самбо»? — спросила она.

— Как странно, что ты меня об этом спросила, — сказал ее спутник. — Понимаешь, только вчера вечером я его дочитал. — Он нагнулся, взял ручонку Сибиллы. — Тебе понравилось? — спросил он.

— А тигры бегали вокруг дерева?

— Да-а, я даже подумал — когда же они остановятся? В жизни не видел столько тигров.

— Их всего шесть, — сказала Сибилла.

— Всего? — переспросил он. — По-твоему, это мало?

— Ты любишь воск? — спросила Сибилла.

— Что? — переспросил он.

— Ну, воск.

— Очень люблю. А ты?

Сибилла кивнула.

— Ты любишь оливки? — спросила она.

— Оливки? Ну, еще бы! Оливки с воском. Я без них ни шагу.

— Ты любишь Шэрон Липшюц? — спросила девочка.

— Да. Да, конечно,— сказал ее спутник.— И особенно я ее люблю за то, что она никогда не обижает собачек у нас в холле, в гостинице. Например, карликового бульдожку той дамы из Канады. Ты, может быть, не поверишь, но есть такие девочки, которые любят тыкать в этого бульдожку палками. А вот Шэрон — никогда. Никого она не обижает, не дразнит. За это я ее и люблю.

Сибилла промолчала.

— А я люблю жевать свечки,— сказала она наконец.

— Это все любят,— сказал ее спутник, пробуя воду ногой.— Ух, холодная! — Он опустил надувной матрасик на воду.— Нет, погоди, Сибиллочка. Давай пройдем подальше!

Они пошли вброд, пока вода не дошла Сибилле до пояса. Тогда юноша поднял ее на руки и положил на матрасик.

— А ты никогда не носишь купальной шапочки, не закрываешь головку? — спросил он.

— Не отпускай меня! — приказала девочка.— Держи крепче!

— Простите, мисс Карпентер. Я свое дело знаю,— сказал ее спутник.— А ты лучше смотри в воду, карауль рыбку-бананку. Сегодня отлично ловится рыбка-бананка.

— А я их не вижу,— сказала девочка.

— Вполне понятно. Это очень странные рыбки. Очень странные.— Он толкал матрасик вперед. Вода еще не дошла ему до груди.— И жизнь у них грустная,— сказал он.— Знаешь, что они делают, Сибиллочка?

Девочка покачала головкой.

— Понимаешь, они заплывают в пещеру, а там — куча бананов. Посмотреть на них, когда они туда заплывают,— рыбы как рыбы. Но там они ведут себя просто по-свински. Одна такая рыбка-бананка заплывла в банановую пещеру и съела там семьдесят восемь бананов.— Он подтолкнул плотик с пассажиркой еще ближе к горизонту.— И, конечно, они от этого так раздуваются, что им никак не выплыть из пещеры. В двери не пролезают.

— Дальше не надо,— сказала Сибилла.— А после что?

— Когда после? О чем ты?

— О рыбках-бананках.

— Ах, ты хочешь сказать — после того, как они так наедаются бананов, что не могут выбраться из банановой пещеры?

— Да,— сказала девочка.

— Грустно мне об этом говорить, Сибиллочка. Умирают они.

— Почему? — спросила Сибилла.

— Заболевают банановой лихорадкой. Страшная болезнь.

— Смотри — волна идет,— сказала Сибилла с тревогой.

— Давай ее не замечать,— сказал он,— давай презирать ее. Мы с тобой гордецы.— Он взял в руки Сибиллины шиколотки и нажал вниз. Плотик подняло на гребень волны. Вода залила светлые волосики Сибиллы, но в ее визге слышался только восторг.

Когда плотик выпрямился, она отвела со лба прилипшую мокрую прядку и заявила:

— А я ее видела!

— Кого, радость моя?

— Рыбку-бананку.

— Не может быть! — сказал ее спутник.— А у нее были во рту бананы?

— Да,— сказала Сибилла.— Шесть.

Юноша вдруг схватил мокрую ножку Сибиллы — она свесила ее с плотика — и поцеловал пятку.

— Фу! — сказала она.

- Сама ты — «фу»! Поехали назад! Хватит с тебя?
— Нет!
— Жаль, жаль! — сказал он и подтолкнул плотик к берегу, где Сибилла прыгнула на песок. Он взял матрасик под мышку и понес на берег.
— Прощай! — крикнула Сибилла и без малейшего сожаления побежала к гостинице.

Молодой человек надел халат, плотнее запахнул отвороты и сунул полотенце в карман. Он поднял мокрый, скользкий, неудобный матрасик и взял его под мышку. Потом пошел один по горячему мягкому песку к гостинице.

В подвальном этаже — дирекция отеля просила купальщиков подыматься наверх только оттуда — какая-то женщина с намазанным цинковой мазью носом вошла в лифт вместе с молодым человеком.

— Я вижу — вы смотрите на мои ноги, — сказал он, когда лифт подымался.

— Простите, не расслышала, — сказала женщина.

— Я сказал: вижу, вы смотрите на мои ноги.

— Простите, но я смотрела на пол! — сказала женщина и отвернулась к дверцам лифта.

— Хотите посмотреть мне на ноги, так и говорите, — сказал молодой человек. — Зачем это вечное притворство, черт возьми?

— Выпустите меня, пожалуйста! — торопливо сказала женщина лифтерше.

Дверцы лифта открылись, и женщина вышла, не оглядываясь.

— Ноги у меня совершенно нормальные, не вижу никакой причины, чтобы так на них глазеть, — сказал молодой человек. — Пятый, пожалуйста. — И он вынул ключ от комнаты из кармана халата.

Выйдя на пятом этаже, он прошел по коридору и открыл своим ключом двери 507 номера. Там пахло новыми кожаными чемоданами и лаком для ногтей.

Он посмотрел на молодую женщину — та спала на одной из кроватей. Он подошел к своему чемодану, открыл его и достал из-под груды рубашек и трусов трофейный пистолет. Он вынул обойму, посмотрел на нее, потом вложил обратно. Он взвел курок. Потом подошел к пустой кровати, сел, посмотрел на молодую женщину, поднял пистолет и выстрелил себе в правый висок.

Перевела с английского Р. Райт-Ковалева.



ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

В. КАВЕРИН

★

ЗА РАБОЧИМ СТОЛОМ

1

Вспоминая свои университетские годы, я вижу черты поразительного несходства между системами образования студента-филолога двадцатых и пятидесятих годов. Мы сами выбирали тему и направление работы, и никто не досаждал нам опекой; на лекции мы могли ходить или не ходить. Это давало неоценимые преимущества в сравнении с положением современного студента. Неудобно было манкировать семинарами, которыми руководили любимые профессора. Но если семинарами руководили нелюбимые, то есть бездарные, профессора, мы не ходили и на семинары. Много времени мы проводили в архивах и библиотеках, работая над рефератами, с которыми выступали часто, независимо от того, входили ли они в курсовую программу. Программа была нужна главным образом для того, чтобы спохватиться — да ведь я же еще не сдал римскую литературу! Римскую или другую литературу можно было сдавать независимо от сессии, то есть когда студент был готов к испытаниям. Конечно, этот свободный выбор был ограничен пределами года: нельзя было экзамены второго курса сдавать на третьем. Но зато мы могли серьезно заниматься не всеми предметами на свете — понадобятся они нам потом или нет, — а только теми, которые действительно отвечали нашим интересам. В двадцать лет мы были взрослыми людьми, которые должны были выбрать свой путь в науке и в жизни. Вот почему самая мысль о том, что я обязан пойти на лекцию, которую не желаю слушать, в ту пору показалась бы мне вздором.

Мешало ли нам отсутствие внешней, ограниченной рамками программы занятий? Нет, помогало. Располаясь своим временем как угодно, я учился в двух вузах одновременно и своевременно окончил тот и другой. Многие мои товарищи, ныне видные ученые, выступили со своими работами задолго до окончания университета. Ощущение свободы в вузе подготовило нас к самостоятельной жизни.

Мы были тесно связаны с литературой своего времени, и многочисленные диспуты, дискуссии, доклады в литературных и философских обществах были для нас тем же университетом. той же школой ответственной любви к искусству, — школой, в которую нас никто не заставлял ходить и которая принесла всему поколению неоценимую пользу. Вот почему нередко встреча со студентом-филологом, даже аспирантом, даже кандидатом так поражает меня в наши дни. За любым словом мне чудится связанность, неуверенность.

Перелистайте многие диссертации, статьи и книги, написанные в со-роковых и в начале пятидесятих годов. Догматизм, холодная поучитель-

ность, вульгарность мешали тогда правильному развитию литературной науки. И до сих пор на карте истории советской литературы остались белые пятна. Стереть их — лучше поздно, чем никогда — необходимо.

Таким белым пятном были, например, до недавнего времени «Серапионовы братья». Об этом маленьком литературном обществе знают мало. Зато как много вокруг него нагромождено всяких домыслов и легкомысленных предположений! Право, иной раз начинаешь сомневаться: да существовали ли эти пресловутые «братья»? Не листаю ли я страницы фантастического романа, на последней странице которого появляется автор и сообщает читателям, где правда и где ложь?

Откроем Большую Советскую Энциклопедию: «Серапионовы братья» — литературная группа, возникшая в Петрограде в 1921 году и существовавшая до середины 20-х гг. Название получила от одноименного цикла рассказов немецкого писателя-романтика Э. Т. А. Гофмана. Идеино-порочные установки группы проявлялись в идеалистических взглядах на искусство, в отрицании общественного значения литературы, проповеди безыдейного, аполитичного искусства. Теоретиком группы был писатель Л. Луц. Вредное влияние взглядов «Серапионовых братьев» особенно отразилось на творчестве М. Зощенко... Для некоторых писателей, входивших в группу «Серапионовы братья» (Вс. Иванов, Н. Тихонов, К. Федин, В. Каверин, М. Слонимский, Н. Инкитин и другие), влияние ее взглядов было непродолжительным; преодолев его, эти писатели создали значительные произведения в духе социалистического реализма» (Б. С. Э., изд. 2-е, статья «Серапионовы братья»).

Характерно это «и другие». Стало быть, «братьев» было много?

Прежде всего: это была маленькая, состоящая из десяти человек группа молодых писателей. Возникла она в феврале двадцать первого года. Но это произошло не в один день, мы сами остановились на этой дате.

Вспомните эти годы: только что последние суда, переполненные эмигрантами, отчалили от берегов Крыма. Еще шла борьба с бандами зеленых. Гражданская война, едва отзвеневшая на полях и в лесах, еще продолжалась — без свиста пуль и грохота снарядов — в учреждениях, научных институтах, в вузах, на каждой улице, едва ли не в каждом доме. Процесс перехода интеллигенции на сторону советской власти был противоречив и остр.

Он был тем болезненнее, что внутренняя эмиграция, которая в ту пору была страшнее внешней, действовала — и не без успеха.

Вставьте в эту историческую рамку самый факт появления десяти молодых людей, решивших посвятить свою жизнь новой литературе, и вы увидите, что создание группы «Серапионовых братьев» было одним из ударов по этой внутренней эмиграции — и сильным ударом. Вот почему 27 февраля 1922 года ЦК РКП(б) признал необходимым поддержать издание произведений «Серапионовых братьев». Вот откуда взялся успех «Серапионовых братьев», о которых один остроумный критик заметил, что их перевели на испанский язык прежде, чем они написали что-либо по-русски. Вот почему после пятой годовщины нашего «ордена» Горький написал Федину: «Сомнительно, конечно, что это история литературы», — пишете Вы. — У меня этого сомнения — нет. Да, вы, «Серапионы», — история литературы».

Еще более ложно весьма распространенное мнение, что Лев Луц был теоретиком «Серапионовых братьев» и что его статья «На Запад», которую он написал, будучи студентом второго курса, является декларацией «Серапионовых братьев».

«Я на днях прочел у «Серрапионов» большую статью «На Запад»,— писал Горькому Лунц 16 декабря 1922 года.— Пря произошла потрясающая, едва не побили меня. Это было, без сомнения, самое интересное наше заседание. Меня здорово облаяли, особенно за западничество».

Должен заметить, что у меня нет никаких оснований претендовать на первенство в этом вопросе. Еще Федин в книге «Горький среди нас» подробно рассказал о спорах, происходивших в кругу «Серрапионовых братьев». Он впервые и совершенно справедливо заметил, что статьи Лунца, воспринимавшиеся как «серрапионовские» декларации, «никогда ими не были». К этому можно прибавить только одно: не только «не были», но и не могли ими быть.

В 1922 году редакция маленького журнала «Литературные записки», выходившего при Доме литераторов в Петрограде, предложила «серрапионовым братьям» напечатать свои автобиографии. Лунц отнесся к этому предложению с иронией: «Глупо писать автобиографию, не напечатав своих произведений. А лирических жизнеописаний с претензией на остроумие — я не люблю».

В самом деле: мы работали меньше года, кроме Фебина, который начал печататься до революции. Но недаром Зошенко в своей автобиографии упоминает о том, что он был «арестован — 6 раз, к смерти приговорен — 1 раз, ранен — 3 раза, самоубийством кончал — 2 раза» («Литературные записки», № 3, 1922). Недаром Федин писал впоследствии, что «большинство из нас прошло необыкновенные испытания, и никогда в иное время семь-восемь молодых людей не могли бы испробовать столько профессий, испытать столько жизненных положений, сколько выпало на нашу долю. Восемь человек олицетворяли собою санитаря, наборщика, офицера, сапожника, врача, факира, конторщика, солдата, актера, учителя, кавалериста, певца, им пришлось занимать десятки самых пестрых должностей, они дрались на фронтах мировой войны, участвовали в гражданской войне, их нельзя было удивить ни голодом, ни болезнью,— они слишком долго и слишком часто видели в глаза смерть».

Мы — Лунц, Владимир Познер, впоследствии известный французский писатель, и я — были самыми молодыми из «братьев», и, вероятно, о нас Федин написал как о людях «с опытом, который дается родительским домом, университетом и кинематографом». Едва ли он был прав. «Юности, еще не искушенной жизнью... нет в современной России»,— писал Горький в статье, посвященной памяти Лунца. Были биографии и у нас, но мы были слишком молоды, чтобы догадаться об этом. Поэтому я отделался шуткой, а Лунц воспользовался предложением «Литературных записок», чтобы изложить свои взгляды.

Вот что писал о них Федин: «Он ожесточенно раскачивал «правую фракцию» Серрапионовых братьев, где еще сильны традиции статичного русского рассказа. Он вечно шел на приступ против «стоячей прозы», он бил по ней веселой шрапнелью авантюрного, бульварного романа, напускал на нее разбойников Александра Дюма и пиратов Стивенсона... Он пылко верил, что русской литературе пристало время научиться у Запада, как нужно писать романы, чтобы они двигались, а не лежали... Он знал непобедимую силу романа приключений и секрет этой силы — движенье... Как ни одиноки две трагедии Лунца («Бертран де Борн» и «Вне закона». — В. К.), как ни выпадают они из театрального шаблона современности,— они более современны духу и вкусам нашей эпохи, чем цирковые станки и трапедии. В этих мелодрамах тлеют и горят подлинными героическими страсти, и пафос революций отметил их своим благоволеньем больше, чем им отмечены бесчисленные драмы современности» («Жизнь искусства», № 22, 1924).

Наша литература ничего не проиграет, если в библиотеках и книжных магазинах появится книга Лунца — талантливая, отмеченная чертами интеллектуальных исканий двадцатых годов. Все, что он написал, не могло возникнуть до революции, он был «биологически» связан с ней, как и другие «серапионовы братья». Но в своих убеждениях и вкусах он был одинок. Ближе всего к нему был я — и не могу сказать, что эта близость помешала мне учиться и работать. Но и я, как и другие «братья», не думал, что «искусство реально, как сама жизнь. И, как сама жизнь, оно без цели и без смысла: существует, потому что не может не существовать» («Литературные записки», № 3, 1922). И нужно было сознательно закрыть глаза на все написанное Ивановым, Фединым, Тихоновым, Зошенко, Никитиным, Полонской, Слонимским, чтобы не заметить, что эти романы, рассказы, стихи и статьи не имеют ничего общего с литературными взглядами Лунца.

Трудно сказать, какое место занял бы он в нашей литературе. Горький возлагал на него большие надежды и с похвалой отзывался о его произведениях.

2

Давно не издавались многие произведения Михаила Зошенко. Сборники, вышедшие в 1959 и 1962 годах, составлены главным образом из произведений, написанных в последнее десятилетие его жизни. По этим книгам невозможно судить о нем. Читая их, нельзя представить себе, что с ним в советскую литературу пришел тонкий, оригинальный юмор, что, встречаясь с трагикомическими нелепостями жизни, люди говорят: «Это для Зошенко».

Недавно, разговаривая с К. Г. Паустовским о рассказах В. Аксенова, мы сошлись на том, что в глубине его стиля чувствуется интонация Зошенко. Именно с этой интонацией Зошенко появился в литературе двадцатых годов. Он не был похож ни на кого. Его манеру называли тогда «сказом», сравнивали его с Лесковым. Но он не был похож и на Лескова. Все было ново — позиция рассказчика, разговорный, удивительно «нелитературный» язык, тема, сам герой — мелкий человек, мещанин, искренне удивлявшийся тому, что мешает его благополучному существованию.

«Серапионовы братья» жили, работали, ссорились и мирились в атмосфере зошенковского юмора, под раскаты хохота, неизменно звучащие, когда с серьезным, почти грустным лицом он читал нам свои рассказы. Да, это была настоящая творческая среда, тесно связанная с жизнью литературы — жизнью молодой, полной надежд и не боявшейся смеха. Мы смеялись над собой иногда беспощадно, мы смеялись над многозначительностью символистов, над их неоправданно высоким (так нам казалось) отношением к жизни. На смену этому отношению пришли простота, домашность и добродушная зошенковская ирония.

Самая трудная для художника сторона жизни — ежедневное, обыденное, ускользающее от внимания — всегда была для Зошенко главной заботой. Белинский утверждал, что факты личной жизни имеют такое же значение, какие историки придают явлениям жизни народов. Зошенко смело писал о самом ничтожном. Он понимал, что в ничтожном подчас отражается вся огромность интересов общества, все значение перемен, происходящих в нашем сознании.

Он имел огромный читательский успех, его слова и выражения вошли в разговорный язык, он получал тысячи писем. Одновременно росло непонимание. Зошенко был сильным бойцом против мещанства в жизни и в искусстве. Именно он начал эту линию в нашей

литературе. Нашлись критики, поставившие знак равенства между Зошенко и его героем — мещанином, которого он беспощадно высмеивал. Для этого нужно было только одно — не чувствовать юмора. Впрочем, чтобы не почувствовать зошенковского юмора, нужна полная глухота — такие люди едва ли могут отличить музыку от уличного шума!

Это было бессознательное непонимание. Но было и сознательное. Волей-неволей каждой своей строкой Зошенко высмеивал славословие, все чаще звучавшее тогда в литературе. Его смех странно звучал среди неумеренных восхвалений.

Ища выхода, он обратился к «несмешным» жанрам, написав (1936—1939) историю падения Керенского, жизнь Тараса Шевченко, жизнь работницы Касьяновой («Возмездие»), ответившей (когда Зошенко попросил разрешения написать о ней): «Если это получится как забава, то не надо. Мне было бы неприятно, если б вы посмеялись над моей жизнью». Разумеется, Зошенко исполнил эту просьбу.

Он написал «Черного принца» — историю английского парохода, потонувшего в 1854 году с грузом золота в Балаклавской бухте. Все эти произведения лишены той музыки юмора, того изящества, которые звучат в его творчестве двадцатых годов. К счастью, работая над ними, Зошенко не лишился своего необычайного дара. Все начинало звенеть, когда он становился самим собою. В 1949 году, когда его уже не печатали, он перевел книгу финского писателя Лассила «За спичками», — и что это получилась за тонкая, живая, полная подлинного народного юмора книга!

Так или иначе Зошенко оставался одним из уважаемых представителей старшего поколения советских писателей. И вот этот широко известный писатель оказался в полном одиночестве. От него отвернулись даже те, кого он считал своими друзьями. В газетах и журналах его, врага всякой пошлости, стали называть пошляком, хулиганом.

Это продолжалось около десяти лет! И все эти десять лет Зошенко работал. Как настоящий художник, он понимал, что его единственное спасение — работа. Он работал каждый день. Он писал пьесы, писал фельетоны, которые возвращались автору с вежливыми или невежливыми отзывами. Он писал письма Сталину, в которых требовал справедливости. Писал, но не получал ответа.

Почему на М. Зошенко обрушились эти беды? В 1945 году он напечатал в детском журнале «Мурзилка» маленький рассказ «Приключения обезьяны». Никто на него не обратил внимания. Но в 1946 году редактору «Звезды» приходит в голову несчастная мысль перепечатать этот рассказ в разделе «Новинки детской литературы», и начинается то, что теперь, в наши дни, понять уже трудно! Старые «грехи» припоминаются автору «Приключений обезьяны». Он «принадлежал к реакционной группе «Серрапионовых братьев». Он «находился под гнетворным влиянием Льва Лунца». «Он настаивал на аполитичности искусства» и т. д. и т. п.

Но читателю уже известна вся глубина «реакционности» «Серрапионовых братьев». Ясно, что влияние Лунца, с которым, кстати сказать, Зошенко никогда не соглашался, не могло продолжаться с 1924 года (когда умер Лунц) до 1946, когда М. Зошенко давным-давно был известным беллетристом, написавшим десятки книг и пользовавшимся глубоким уважением. В автобиографии, напечатанной в 1922 году, он действительно заявил, что у него нет «точной идеологии». Но там же он говорит: «По общему размаху мне ближе всего большевики. И большевичить я с ними согласен. Да и кому быть большевиком, как не мне?»

Офицер русской, а потом Красной Армии, Зошенко был трижды ранен и неоднократно награжден. Его личное и гражданское мужество не-

оспоримо. А с каким спокойствием, с каким достоинством переносил он незаслуженные лишения, горечь одиночества! С каким благородным спокойствием! Без страха, без озлобления! Не думая о себе, оправдывая слабых друзей. Добиваясь только одного — возможности работать.

Широко известно, что партия на XX съезде покончила с произволом и что тысячи честных людей, восстановленные во всех правах, вернулись к работе и к жизни. В сущности говоря, судьба М. Зошенко так или иначе внутренне связана с этими бесчисленными судьбами. Когда в 1952 году он приехал в Москву и остановился в одном из общих номеров гостиницы «Москва», соседи, случайно узнавшие его фамилию, долго не хотели верить, что перед ними тот самый М. Зошенко. Разумеется, это были люди, далекие от литературного круга. Необычайность его истории заключается в том, что она совершалась открыто, на виду, как бы под стеклом, подобно тому, как под стеклом экспериментального улья совершается на виду у всех жизнь пчелы, которая трудится, выполняя неведомое ей самой предназначение, не зная, что чужой внимательный взгляд следит за каждым ее движением.

Все это позади. И, быть может, не следует перебирать в памяти слишком горькие воспоминания. Но ведь больше нет нужды притворяться, что у нас такая уж короткая память. В этом году Михаилу Михайловичу Зошенко исполнилось бы семьдесят лет. Думаю, что эта дата должна быть отмечена новыми изданиями его книг, неповторимо оригинальных, исполненных русского юмора и глубоко нравственного понимания жизни.

3

Самые необыкновенные из профессий, перечисленных Фединым в книге «Горький среди нас», принадлежали Всеволоду Иванову — все-таки никто, кроме него, не протыкал себя булавками и не глотал огонь перед изумленной аудиторией. Впоследствии он рассказывал мне, что это не так уж и сложно.

Но сразу вспыхнувший интерес к нему вовсе не был связан с необычностью его биографии. Напротив, каждый его рассказ — а он приходил по меньшей мере раз в месяц на «серапионовские чтения» с новым рассказом — поражал своей «обыкновенностью», которая потому и была его силой, что представляла собой первую живую запись того, что происходило в стране. Тогда я не понимал, что это — мнимая обыкновенность. Девятнадцатилетний студент, увлеченный возможностью устроить в литературе свой мир, а в этом мире свой беспорядок, я не понимал тогда, что «бытовизм» Иванова бесконечно далек от сознательного самоограничения натуралиста, от раскрашенной фотографии в литературе.

Он как раз не боялся раскрашивать, но что это были за фантастические, смелые, рискованные цвета! В книге, которая недаром так и называется «Цветные ветра», эта смелость достигает размаха, который подлинным «бытовикам» показался бы кощунством.

Без сомнения, уже тогда Иванова больше всего интересовала та неожиданная, явившаяся как бы произвольно, фантастическая сторона революции и гражданской войны, которая никем еще тогда не ощущалась в литературе. Он раньше Бабеля написал эту фантастичность в революции, как нечто обыкновенное, ежедневное. Именно эта черта и сделала его «Партизанские рассказы» литературным фактом принципиального значения. На фоне необычайности того, что происходило в стране, история, рассказанная в «Дитё», кажется естественной, хотя

она глубоко проговоречит представлениям устоявшегося дореволюционного мира. Вот почему, когда в 1922 году я спросил Иванова, кто, по его мнению, пишет сейчас лучше всех, он ответил: «Разумеется, Бабель».

Это показалось мне шуткой. Имя Бабеля я услышал впервые.

Иванов был человеком, редко удивлявшимся, почти не принимавшим участия в спорах, но умевшим слушать — за его тогдашней молчаливостью скрывалась огромная, вскоре сказавшаяся жажда познания. Можно сказать, что в этом смысле все мы — в разной степени — продолжали. Он начинал — и начинал широко, с размахом.

В те дни, когда он писал на оборотной стороне географических карт, вырванных из Британской Энциклопедии, — впоследствии он рассказал об этом в своей автобиографии, — ему казалось, что он может работать в любом жанре, не только в прозе. Однажды он явился к нам с поэмой и от души удивился, когда мы в один голос сказали, что она никуда не годится. Как известно, Л. Н. Толстой дважды начинал своих «Казачков» стихами. Эти стихи относятся к гениальной прозе «Казачков» примерно так же, как поэма Иванова, которую мы добродушно, но беспощадно раскритиковали, к его «Партизанским рассказам», которые были встречены нами с восторгом.

Я упомянул, что он писал на оборотной стороне географических карт, но, без сомнения, среди его ранних рукописей найдутся и толстые разлинованные листы бухгалтерских книг. Мы все писали тогда на конторской бумаге. На Большой Морской, очень близко от Дома искусств, где мы собирались, был банк, в котором никто не работал — саботаж — и куда мог зайти любой прохожий через распахнутые настежь огромные двери. Это было навсегда запомнившееся зрелище неизвестной, сложной, остановившейся на полном ходу, полной самоуважения жизни. Темный сумеречный свет стоял в высоких залах с тяжелыми люстрами, с высокими пыльными лакированными барьерами. Отодвинутые кресла еще хранили, казалось, движение быстро, в испуге или негодовании, вскочивших людей. И везде на столах лежали толстые, как библия, гроссбухи — бумага, бумага, прочная, линованная, довоенная, дореволюционная, забытая, как забыт был тогда вкус белого хлеба.

Мы писали на ней долго, годами. Помнится, зайдя к Тихонову в 1928 году, я удивился, увидев, что его новые стихи написаны на этой бумаге. Не сомневаюсь, что Александр Грин был — и не однажды — в залах этого огромного опустевшего банка. Его лучший рассказ «Крысолов» пронизан ощущением ужаса перед фантомом огромной заброшенной канцелярии, в которой господствуют крысы, ставящие себя бесконечно выше людей с их мнительностью и жалкой любовью. Грин, так же как Лунц, Шкловский, Слонимский, жил в Доме искусств.

Мне кажется, что Иванов как писатель сложился в те молодые годы. Уже тогда его героями были глубоко задумавшиеся люди, правдолюбцы, пытающиеся найти единственную в мире, выкованную в муках справедливость. Уже тогда они искали ее, путаясь в снежной пыли, как путается и не может уйти от заколдованного селезня Богдан в рассказе «Полынья».

В книге «Тайное тайных», составившейся из рассказов первой половины двадцатых годов, талант Иванова высказался с определенностью и силой. Дело было не только в том, что Иванов первый в советской литературе соединил опыт гражданской войны с глубоким знанием сибирской деревни. И это немало. Но главное все-таки заключалось в том, что этот опыт был окрашен любовью к необычному, глубоко свойственной

русскому характеру и русской литературе. Быт интересовал Иванова не сам по себе, а как путь к тайному тайных, к глубоко запрятанной сущности человеческих отношений, загадочно и остро раскрытых в годы исторического перелома. Иногда это — широкий путь, по которому, сидя в автомобиле с женой, неподвижно, как перед фотоаппаратом истории, ведет своих партизан Вершинин. Иногда — извилистая, теряющаяся в песках Тууб-Коя тропинка Омехина, выбирающего между совестью, долгом и острой жаждой любви.

В новой прозе, которую пытался уже в те годы построить Иванов, намерения героев расходятся с их поступками, а цель — не только не оправдывает средства, а кажется решением другой, никем не заданной цели. Впоследствии в романе «У» он развил и упрочил это направление. Нарушение традиционных представлений возникло в его творчестве как отражение тех неожиданностей, которые пришли с революцией. Жизнь предстала перед ним как галерея неограниченных возможностей — о них он и стал писать, вдохновленный Горьким, который понимал и подерживал его дарование.

Вот откуда взялся его интерес к русской фантастике, к Владимиру Одоевскому, к Вельтману, произведения которых он собирал годами. Он искал и находил любимую традицию в прошлом русской литературы.

На месте будущего историка я попытался бы проследить развитие этой традиции, начиная с загадки гениального «Носа», через трагическую иронию драматургии Сухова-Кобылина и сказок Салтыкова-Щедрина — к Михаилу Булгакову, показавшему в «Дьяволиаде» и «Роковых яйцах» образцы гротеска, твердо стоящего на бытовой основе. Тогда нетрудно было бы доказать, что искусство Чаплина, парадоксально смешавшего бесконечно далекие жанры, во многом предсказано русской литературой.

Частые встречи с Ивановым оборвались, когда в середине двадцатых годов он переехал в Москву, но дружеские отношения остались, и не на год или два, а на всю жизнь. Чистота, озарявшая наши молодые споры, была порукой этих отношений. Юность шла за нами по пятам, напоминая о том, что надо беречь достоинство писателя, как это ни было подчас тяжело. Наши отношения, лишённые малейшей предвзятости, всегда были проникнуты интересом и вниманием друг к другу. Главной чертой его характера была прямота, сливающаяся с глубоким интересом к людям.

Я не помню, чтобы какие бы то ни было обстоятельства заставили его назвать черное белым. Но он вовсе не был холоден, равнодушен. Напротив: однажды я был свидетелем его смелого выступления, когда в короткой и сильной речи он горько упрекнул в равнодушии тех, кто из осторожности или трусости стремился обойти события, взволновавшие всю страну.

Что сказать о его трудной писательской судьбе? В недавно опубликованном рассказе «Сизиф, сын Эола» солдату Полиандру не очень повезло в жизни, потому что он служил царю Кассандру, «соединившему в себе рядом с беспощадной вспыльчивостью еще более беспощадное честолюбие». Он хотел, чтобы Кассандр думал о нем хорошо, но «Кассандр не верил солдату Полиандру, всем солдатам — он боялся его шита, его широкой красной шеи, его огромного голоса, к раскатам которого любил прислушиваться другие солдаты». И вот нищий, израненный, но еще полный надежд солдат отправляется на родину. В горах он встречает Сизифа, который некогда правил Коринфом и который — как в знаменитом мифе — должен вечно вкатывать в гору обломок скалы.

В рассказе Иванова древнегреческий миф приобретает странные, смутно знакомые очертания. За фигурой могучего и прямодушного

солдата, которого боятся именно потому, что он прямодушен, чудятся нелицемерные черты старого друга, идущего вперед «при любых обстоятельствах и при любых силах, ибо добродетель — главная и всеединая цель человеческого существования». Но и сам Сизиф — этот друг, уже немолодой, в старости, когда его лицо «наполнено тем победным избытком дней, который... указывает на необыкновенную силу и умелое и терпеливое расходование этой силы». Солдат встречается с Сизифом в последний день его бессмысленной, неустанной работы. Зевс простил его за послушание. Завтра он будет свободен. И начинается разговор между солдатом и сыном бога.

С мечом в руках солдат прошел Персию, Индию, Египет. Он видел сатиров с пурпуровыми рогами, убивал сирен и центавров. Сизиф не знает и не видел ничего, разучился говорить в одиночестве, события мира прошли мимо него в бесшумной дали. «Камень был тяжелый, — говорит он изумленному солдату, — и мне было трудно оглядываться». Наступает ночь, они ложатся спать, условившись вместе отправиться в Коринф, чтобы убить Кассандра и покорить Грецию. Но утром солдат видит, как Сизиф снова катит вверх в гору огромный базальтовый черный шар.

«... — Ты ли это, о Сизиф?! Разве мудрый Зевс не простил тебя? И разве ты не дал мне согласия идти вместе со мною в Коринф и далее, куда поведет нас судьба?»

И тогда ответил Сизиф, толкая камень плечом:

— Бедра, голени и ступни мои — старые. Молодое поколение греков идет слишком быстро. Я могу отстать и тогда зачехну где-нибудь на востоке, в жарком песке пустыни... А здесь. Здесь я привык. У меня имеются бобы, капканы для диких коз, вино изредка и к нему сыр. Что мне еще надо? Я привык. Иди, путник, в свой Коринф, а я пойду в свою гору».

Писательская судьба Иванова была трудна не только потому, что на ней сказались тяжелые времена сталинского произвола. Некоторые его романы и повести, долго пролежавшие в письменном столе и лишь теперь появляющиеся в свет, — нелегкое чтение. Не для того он отдал годы труда, чтобы читатель нашел в этих книгах развлечение или забаву. Они связаны с судьбой страны, с ее историей — трагически и неразрывно. Путь солдата Полиандра, мечтавшего о легкой жизни, о том, чтобы «спать на пуху, под песнопения красавиц», не прельщал автора «Сизифа».

Вот почему, входя в его дом, я неизменно чувствовал дыхание всей страны с ее радостями и горестями, надеждами и трудами. За большим столом Всеволода Иванова собирались люди, значение которых неоспоримо в истории нашей культуры. Русские ходоки в далекие чужие земли вспоминались, когда он рассказывал о своих путешествиях, — а путешествовал он всю жизнь — верхом, пешком, на плотах, на лодках, по воде и по суше. С молодых лет он отправился в «Индию литературы», и путешествие, полное загадок, опасностей и открытий, продолжалось ни много ни мало — до самой смерти.

Ходоком, искателем нового, пылливо всматривающимся в неведомую жизнь, в непостижимые ее взлеты и беспощадные приговоры, он был — и останется — в нашей литературе.

Всегда полезно оглянуться назад, тем более что время, как известно, заставляет переоценивать многое. Случается, что книги, которые, кажется, будут читаться десятки лет, быстро стареют. а другие, занимая при выходе в свет весьма скромное место, впоследствии определяют

основные линии развития нашей литературы. Но как быть с теми книгами, которые по воле (или против воли) автора появляются дважды, в двух редакциях?

О чем, о ком писал Фадеев в первой редакции «Молодой гвардии»? О советских юношах и девушках, о комсомольцах, которые остались одни за мертвой стеной фашистского нашествия и которые в трагических, почти безнадежных обстоятельствах показали высокую силу души.

Десятки очерков начинаются с того, что журналист, прослышав о прославленном экскаваторщике или строителе ГЭС, приезжает к нему и изумляется, убеждаясь в том, что знаменитому человеку едва исполнилось двадцать два года. Эти юноши в подавляющем большинстве — дети русского рабочего класса. Унаследованный от отцов и дедов инстинкт, умелые руки, которые знают, как взяться за дело, — вот что это такое.

О таких-то мальчиках и девочках написал Фадеев. И вся сила, все значение его книги состояли именно в том, что, оставшись в одиночестве, без поддержки, предоставленные самим себе, они не только не потеряли уверенности в победе, но нашли свое место в общей народной борьбе и не пожалели для этого ни сил, ни самой жизни.

Критик Л. Левин, много занимавшийся Фадеевым, справедливо заметил, что тема одиночества, связанная с необходимостью принять решение, которое касается сокровенных глубин сознания и стремится к самым высоким целям, всегда была характерна для творчества Фадеева. В сущности говоря, эта тема осветила почти все, что он написал. И надо сказать, что в «Молодой гвардии» она нашла, быть может, наиболее выразительное воплощение.

Весь пафос этой книги — так поняли ее миллионы читателей — заключался именно в том, что семнадцатилетние девочки и мальчики остались одни и все-таки совершили то, что совершили бы на их месте сложившиеся, зрелые люди. Так в настоящем прозревалось будущее, за которое они отдали жизнь.

В первой редакции «Молодой гвардии» было много недостатков. Роман был написан, так сказать, по горячим следам. Он встал в ряд книг, созданных участниками войны, которые рассказывали главным образом о том, что им пришлось пережить.

Этот характер послевоенной прозы отразился, мне кажется, на первой редакции «Молодой гвардии». Отразился в свежести непосредственных впечатлений, в той почти физиологической силе ненависти, с которой написаны поработители-немцы, в торопливой хроникальности второй половины романа. Главная мысль — чисто фадеевская, как бы идущая за ним по пятам, — была выражена в «Молодой гвардии» с впечатляющей силой.

Теперь перед нами произведение взвешенное, обдуманное. Написан ряд новых сцен, и некоторые из них, особенно те, в которых участвуют Проценко и его жена Катя, можно смело отнести к лучшим страницам романа. Читая страницы, в которых показано отношение родителей Земнухова, Кошевого, Борц к смертельно опасной деятельности дегей, невольно вспоминаешь, что Фадеев многому научился у Льва Толстого.

Наконец в новой редакции есть одна глава, которая, быть может, представляет собой лучшее, что написал Фадеев. Я имею в виду сцены перехода Кати через фронт с помощью десятилетнего мальчугана. Здесь все удалось — и трагедия детской души, столкнувшейся с грозными испытаниями, и трогательная теплота отношений, вдруг возникающая между Катей и Сашко, как между матерью и сыном.

Да, следует признать, что во второй редакции своего романа Фадеев нарисовал выразительную картину народного сопротивления. Но

мысль, которая озаряла каждую строчку «Молодой гвардии», которая была зажжена где-то в глубине романа,—эта мысль оказалась притусшенной.

Было бы напрасной задачей представить себе тот сложный путь, который прошел Фадеев, работая над второй редакцией своего романа, как пришел он к убеждению в том, что эта мучительная работа действительно необходима для советского общества и литературы. Ведь без этой уверенности, без этой борьбы с самим собой, в которой он должен был оказаться победителем, он не мог подвергнуть свой роман такой глубокой, коренной переделке. Но не была ли эта победа трагической, огнявшей слишком много творческих сил?

Это было весной 1955 года, когда он неожиданно позвонил мне по телефону и стал расспрашивать о моих делах и здоровье. Потом вдруг предложил пройтись. Это удивило меня. Мы были знакомы, но виделись редко. Он ждал меня на дороге, неподалеку от его дома. Разговор начался, кажется, с вопроса о продлении прав наследства Михаила Булгакова, пьесы которого после многолетнего перерыва вновь стали появляться на сцене. Фадеев очень хлопотал об этом деле и огорчился, что, несмотря на все его просьбы и настояния, не удалось довести его до благополучного конца. (К сожалению, этот вопрос так до сих пор и не решен.)

Он выглядел превосходно, и когда я ему сказал об этом, засмеялся и ответил, что его ничто не берет.

— Вот только бессонница мучает,— сказал он.— Хотя мне кажется, что я все-таки научился с нею бороться.

И он рассказал о том, как, измученный бессонницей, скатывал в один огромный ком множество сновидений, проглатывал их, забывался коротким беспокойным сном и через два часа просыпался с туманом в голове и с опустошенным сердцем.

— В конце концов мне удалось переломить себя, хотя это было чертовски трудно. Однажды я выбросил все сновидения и решил: сон или смерть. Конечно, в конце концов пришел сон. Правда, на третьи сутки. А ведь какое это счастье проспать подряд четыре часа! Ты ведь сам страдаешь бессонницей, ты меня понимаешь.

Разговор был легкий, даже веселый. И так же легко Фадеев коснулся того, о чем мне не хотелось, да я и не мог бы заговорить.

— Я ведь только что из Кремлевки,— сказал он.— На этот раз продержали четыре месяца. И в общем это было даже хорошо, потому что я много работал.— И он засмеялся высоким смехом, который был какой-то разный у него — то искренний и мальчишески простой, то прикрывающий затаенную неловкость.

По началу нашего разговора он действительно показался мне выздоревшим без притворства, без того стремления, которое иногда овладевало им: показать всем, что он здоров и что вообще все благополучно.

Потом как бы мельком он спросил, читал ли я главы его романа «Черная металлургия», напечатанные в «Огоньке». Я ответил, что да, читал, и что, судя по тщательности психологических зарисовок, которые следуют непрерывно одна за другой, можно представить себе, что это должно быть многотомное произведение.

И вдруг я почувствовал, что за кажущимся спокойствием, с которым он говорил о своем романе, скользнуло что-то совсем другое.

— Ты знаешь, а ведь я решил оставить эту книгу,— так спокойно, как будто это решение ничего не значило для него, сказал он.— Не то что решил, а вышло так, понимаешь, что я не могу продолжать ее.

— Как не можешь? Ведь ты уже много сделал!

— Да нет, не так уж и много.

— Но ведь ты же был так увлечен, так энергично собирал материал, ездил в Магнитогорск, и, кажется, не раз?

— Да, ездил и собирал. А вот теперь, видишь, дело повернулось так, что я никак не могу кончить.

Он говорил уверенным голосом, в котором по-прежнему скользило стремление подчеркнуть, что ничего особенного не произошло и все превосходно.

— Но что же случилось? Откуда вдруг такое решение?

И я стал доказывать ему, что было бы преступлением отказаться от этого романа, который уже почти написан в уме и материал для которого был изучен тщательно и с любовью.

— Да нет, понимаешь, там произошла такая история... Ведь этот материал — я говорю сейчас не о тех молодых героях, о которых ты читал в «Огоньке», — он оказался ложным, совсем другим, чем я его понимал. В основе моего романа должен был лежать вопрос о прогрессе в промышленности, то есть о движущих силах этого прогресса. Но во главе движения я, понимаешь ли, поставил не тех людей, которым действительно были дороги интересы нашей промышленности, а стало быть, и народа.

— Ничего не понимаю!

— Ну да, это довольно сложно. Коротко говоря, я воспользовался материалами одного вредительского процесса, а теперь оказалось, что люди, которые были обвинены по этому процессу, потому что они якобы мешали нашему движению вперед, именно они-то оказались правы. А те, кто обвинял их и кто добился их уничтожения, оказались людьми, лишенными чести, любви к родине и вообще каких бы то ни было других чувств, кроме любви к себе.

Он замолчал, и хотя это было сказано бодрым голосом уверенного человека, убеждающего себя и других, что все обстоит благополучно, — в нем прозвучало отчаяние.

— Постой, но ведь именно теперь-то тебе и нужно по-настоящему приняться за дело!

И я стал доказывать, что все это должно было не оттолкнуть его от романа, а как раз наоборот. Он был введен в заблуждение, как тысячи других, и его долг сказать всему миру о том, как он был беспощадно обманут. Он должен провести черту под тем, что уже написал, и продолжать роман, в котором все встанет на свое место, потому что пришло наконец время, когда все действительно становится на свои места. Тогда в книгу ворвется исповедь. Рядом с ненаписанным, ложным романом возникнет другой, в котором не будет неправды.

Он почти не слушал меня.

— Да, приблизительно то же советовал мне Федин, — нехотя сказал он. — И Твардовский. Я говорил с ними об этом. Нет, ничего не выйдет! Мне всегда было очень трудно писать о подлецах, а сейчас особенно трудно...

Мы заговорили о другом, но я все же не мог успокоиться. Мне всю жизнь было жаль напрасной работы, может быть, потому, что работа мне всегда давалась с трудом, и я не мог примириться с мыслью, что начатый роман, в который само время вмешалось, направив мысль по единственно правильному пути, будет медленно остывать где-то среди других начатых и брошенных рукописей.

— Может быть, ты все-таки попробовал бы пойти вслед за своими героями? — сказал я. — Мне кажется, что они сами приведут тебя куда нужно.

И я стал убеждать его, что, если он поработает еще хоть немного,

книга сама начнет писать себя, складываться почти независимо от его воли.

— Только не бросай ее! Ты знаешь — книги, как женщины. Они не любят, когда их бросают.

Он снова засмеялся, на этот раз невесело. Не знаю, о чем он подумал — о женщинах или книгах.

— Нет, понимаешь, у меня это все-таки не выйдет. Ведь я всегда стараюсь выразить только одну мысль, но уж зато до конца. Так я писал «Разгром», и «Последний из удэге», и «Молодую гвардию». И в этом новом романе тоже была одна мысль, которая казалась мне очень важной для всех. Она вела вперед книгу. Так что — нет! Уж если писать эту вещь, так с самого начала.

Мы долго ходили по темным дорогам, вдоль которых еще лежал по обочинам снег. Кто-то из писателей встретился нам на спуске, недалеко от кладбища, и Фадеев снова высоко захохотал и широко протянул ему руку, мгновенно превратившись в бодрого, прямого, знаменитого человека, уверенного в том, что для всех важно и всех касается его существование.

Потом я проводил его, и мы расстались. Но я еще побродил немного. Я думал о ненаписанной книге. Это был бы роман о тысячах обманутых надежд, о трагедии веры в человека, о мужестве тех, кто все-таки шел вперед. О молодежи, которая должна переоценить многое, но которая помнит, что именно ей предстоит вести вперед время.

Потом я стал думать об этом человеке, одаренном необычайной силой, сказывавшейся во всем и, может быть, более всего в борьбе, которую он вел против самого себя. Картина его души представилась мне — и чего только в ней не было, чем только она не поражала! Тут было и чувство, что он настигнут бедой, от которой нет спасения, с которой он сам не в силах справиться, и спокойствие смертельно раненого. Здесь была власть над собой, уходящая из рук, и стремление во что бы то ни стало показать, что она вовсе не уходит из рук. Здесь было почти детское желание убедить, что он, в сущности, был создан для светлой жизни простого и справедливого человека. Здесь было жалкое стремление показать, что, в сущности, все в порядке, в то время как решительно все — он знал, что я это чувствую, — было в полном расстройстве и беспорядке. И печаль очень усталого человека, и то, о чем он мучительно думал и о чем, конечно, не мог и не хотел говорить со мною.

5

Я знал Николая Алексеевича Заболоцкого в течение многих лет. Мы были друзьями. Это не была полная, окончательная откровенность, та близость, при которой между друзьями нет и не может быть никаких тайн. Между нами была известная сдержанность, может быть, потому, что я инстинктивно чувствовал в нем эту черту. Он был человеком глубокой мысли и глубокого чувства, но выражение мысли и чувства было не так-то легко для него. Все выражалось в слове. А слово было для него не только элементом речи, но как бы орудием какого-то действия, свершения. Думая о нем, невольно вспоминаешь библейское «в начале бе слово».

Я не сразу понял, по молодости лет, ту главную черту, которая кажется мне для него необычайно характерной: что бы ни происходило с ним, вокруг него, при его участии или независимо от него — всегда и неизменно было связано для него с сознанием того, что он был поэтом.

Это вовсе было не ощущением учительства, стремлением поставить

себя выше других. Это было чертой, которая морально, этически поверяла все, о чем он думал и что он делал. Ощущение высокого призвания было для него эталоном в жизни. Он был честен, потому что он был поэтом. Он никогда не лгал, потому что он был поэтом. Он никогда не предавал друзей, потому что он был поэтом. Все нормы его существования, его поведения, его отношения к людям определялись тем, что, будучи поэтом, он не мог быть одновременно обманщиком, предателем, льстецом, карьеристом. Прекрасно понимая, что ложь и поэзия — «две вещи несовместные», он не мог писать того, чего не думал.

Когда я встретился с ним, это был розовощекий мальчик, только что вернувшийся из армии, мальчик, которому, как это часто бывает с молодыми поэтами, казалось, что он все начинает сначала. Я помню, как однажды он встретился у меня с Антокольским, поэтом совсем другого направления, и как Антокольский, выслушав его стихи, сказал, что они похожи на стихи капитана Лебядкина. Заболоцкий не обиделся. Подумав, он сказал, что ценит Лебядкина выше многих современных поэтов.

Он был тогда одним из «обереутов» — так называлось поэтическое направление, к которому принадлежали мало кому известные Даниил Хармс и Александр Введенский. В том, что они писали, было много «нового во что бы то ни стало», нового, которое казалось им важным для нашей поэзии только потому, что оно было новым. С этим направлением боролись. Поэтов упрекали в семи смертных грехах, и упреки эти были иногда справедливы.

Но для меня, тогда еще совсем молодого писателя, за этим мнимовым чудилась подлинная новизна, обязывающая задуматься над собственной работой. Это осталось навсегда. Стихи Заболоцкого всегда возвращали меня к мысли об ответственности в собственной работе.

Даже для самых слепых или по меньшей мере близоруких уже и тогда в стихах Заболоцкого был виден не только острый и оригинальный талант, но талант социально направленный — вот что крайне важно отметить. Лучшие стихи тех лет, вошедшие в последнее, составленное им самим незадолго до смерти собрание, — это стихи против пошлости, против косности в быту и сознании.

Странно, что они не были поняты нашей критикой. Странно хотя бы потому, что в стихотворениях «Новый быт», «Свадьба», «Ивановы» почти впрямую (что редко для Заболоцкого) дано его тогдашнее кредо:

Ужели там найти мне место,
Где ждет меня моя невеста,
Где стулья выстроились в ряд,
Где горка — словно Арарат,
Имеет вид отменно важный,
Где стол стоит и трехэтажный
В железных латах самовар
Шумит домашним генералом?

О, мир, свернись одним кварталом,
Одной разбитой мостовой,
Одним проплеванным амбаром,
Одной мышьиной норой,
Но будь к оружию готов:
Целует девку — Иванов!

В картине мещанского праздника («Свадьба»), написанной с бешенством и отвращением, это кредо высказано с определенностью, не оставляющей и тени сомнения:

А там — молчанья грозный сон,
Седые полчища заводов,
И над становьями народов —
Труда и творчества закон.

Одновременно возникает вторая, крайне важная для Заболоцкого тема природы. Я не знаю в нашей поэзии другого поэта, который с такой проникновенной задумчивостью остановился бы перед самым понятием природы, перед ее многообразным воплощением, перед сложными, подчас поразительными отношениями, которые возникают между нею и человеком. «Школа жуков», «Торжество земледелия», «Прогулка», «Меркнут знаки зодиака» — я думаю, что по меньшей мере треть всего, что написал Заболоцкий, связано с размышлениями о природе, с картинами природы, с преображением природы.

Поэма «Торжество земледелия» сыграла особенно важную роль во всей его дальнейшей работе. Он был поражен идеей преображения природы, которое только что начиналось в нашей стране. Странно представить себе, что это высокопоэтическое произведение было понято как попытка исказить в нашем представлении это чудо преображения. Может быть, здесь была виновата необычная форма поэмы? Но полжите рядом «Фауста» Гёте и «Торжество земледелия» — и сразу станет видно, откуда идет это стремление взглянуть на мир глазами батрака, коня, предков, кулака, сохи, животных, солдата, тракториста. И духовный и материальный мир природы глубоко задет духом преображения, спором человека с природой, стремлением человека преобразить и подчинить ее.

Человек с его надеждами, стремлениями, несчастьями, любовью поздно появился в стихах Заболоцкого. Этой теме научила его сама жизнь. «Я умирал не раз. О, сколько мертвых тел я отделил от собственного тела!» («Метаморфозы»). Появилось «Я» Заболоцкого, и тогда оказалось, что пригодилось все — и ирония, и ненависть к пошлости, и вера в светлое будущее, без которых он не мог бы жить и работать.

Заболоцкий провел несколько лет вне литературы, вне поэзии, вне той жизни, которой были полны его друзья по делу литературы. Это были трудные для него годы, о которых он не рассказывал ничего или почти ничего. Это были годы, когда, работая землекопом, дорожным рабочим, чертежником, он совершил подвиг — не могу иначе назвать его перевод «Слова о полку Игореве», который является, как мне кажется, одной из вершин его мастерства. Можно смело сказать, что, каков бы ни был суд потомков над нашей во многом виноватой и ни в чем не повинной поэзией, перевод «Слова о полку Игореве» займет в ней высокое место.

Многие ли из нас читали «Слово» в подлиннике? Это очень трудно. Гениальный памятник древнерусской литературы, в сущности говоря, никогда не читался. Его изучали любители, студенты-филологи (в том числе и я, когда это было нужно к экзаменам по истории древней литературы). Но до появления перевода Заболоцкого «Слово о полку Игореве» не было «чтением». Более того — увлекательным «чтением».

Здесь дело не только в том, что Заболоцкому удалось передать с исчерпывающей точностью смысл каждого слова — в этом легко убедиться, положив рядом оригинал и перевод. И не в том, что ему удалось передать трагедию Руси, потерпевшей одно из самых тяжелых своих поражений. И даже не в том, что он понял «Слово» как интересное чтение и сумел передать читателю это ощущение. Заболоцкий сделал то, что до него не удалось другим переводчикам, среди которых были великие поэты. Он перевел «Слово» на язык современной поэзии.

Это могло быть сделано только в наше время хотя бы потому, что внутренне перевод «Слова» связан не только с поэтической деятельностью самого Заболоцкого. Он входит как неотъемлемое целое в ту работу, которой лучшие наши поэты отдали годы.

И подумать только, что о переводе «Слова о полку Игореве» нигде — ни в газетах, ни в журналах — не появилось ни строки! Можно, пожалуй, вообразить, что в нашей поэзии подвиги совершаются едва ли не ежедневно.

Все, что перевел Заболоцкий, стало фактом русской поэзии, как это в своё время произошло с переводами Лермонтова и Жуковского. С удивительной силой он видит и чувствует личность другого поэта, в себе самом находит его черты и передает их так же сильно, как они выражены в оригинале.

Настоящий поэт не может не принадлежать к направлению. Принадлежит к нему и Заболоцкий. Я не знаю, как впоследствии назовут это направлениеистики литературы. Пока можно сказать, что в борьбе между подлинной и приглаженной поэзией, между искренностью и выспренностью, обходными путями, всей той атмосферой, в которой существует «поэзия на случай», — это победившее направление. И еще одно: победа далась нелегко.

Время, народ требуют лица поэта, его поэтического характера, его позиции в жизни и литературе, той позиции, которую нельзя подменить решительно ничем и которая должна быть такой же сильной и своеобразной, как самый поэтический голос. Вот почему при чтении подлинного, глубокого поэта всегда возникает ощущение его личности, его поэтической биографии. Стоит только представить себе, насколько образ, возникающий при чтении Лермонтова, отличается от наших представлений, когда мы читаем Некрасова, чтобы оценить все значение личности поэта — не позы, а именно личности.

Размышляющие глаза Заболоцкого видны за его стихами; читая их, вы неизменно встречаете этот почти в упор направленный взгляд. Поэзия его почти всегда поучительна, потому что она построена на требованиях высокого разума.

В этой поучительности отчетливо видны классические традиции русской поэзии, ведущие нас от Жуковского (его влияние подчас скользит в стихах Заболоцкого) к Мандельштаму, которого, быть может, следует назвать одним из его учителей.

Вот почему Заболоцкому так близка и грузинская поэзия, в которой всегда были сильны мотивы рыцарской морали. Он переводил разных, не похожих друг на друга поэтов — Гурамишвили, Орбелиани, Важа Пшавела. Каждый раз нужно было открыть новый потайной ход к чужой душе, разгадать новую тайну. Для Гурамишвили нужно было обладать тем желанием добра, той поучительностью, о которой я говорил выше. Для Важа Пшавела нужно было иметь размышляющее направление ума, нужно было уметь думать о поэзии. Орбелиани нельзя было хорошо перевести, не обладая изяществом, светлой легкостью чувств. И во всех этих случаях нужно было прежде всего быть мастером русской поэзии.

В сороковых и пятидесятых годах Заболоцкий отдавал очень много времени переводам. Но работа над оригинальными стихами продолжалась, развивалась, была полна новых поисков и новых открытий.

Он пишет ряд психологических портретов: «Жена», «Неудачник», «Старая актриса» — и как бы подводит итог этим опытам в стихотворении «О красоте человеческих лиц».

Однажды мы говорили о нем с Евгением Шварцем, нашим общим и близким другом. Это было в трудную для Заболоцкого пору, когда его поэзия была объявлена «уродливой» и даже умные, казалось бы, критики нанесли ему нерасчетливо беспощадные удары.

— Нет, он счастлив,— упрямо сказал Шварц,— никто не может отнять у него счастья таланта.

Шварц был прав, потому что самые горькие из несчастий превращаются в поэзию силой таланта, и счастье поэта — это поэзия, как бы ни сложилась его жизнь.

В конце жизни он написал цикл «Последняя любовь» — десять стихотворений, объединенных одной темой и неожиданных, потому что прежде он не писал о любви. К его поэзии размышлений не шла «обыкновенность», этой, казалось бы, давно исчерпанной темы. Но в этом цикле вдруг открылась такая глубина нежности, которую трудно было прежде разглядеть за поэтической неторопливостью Заболоцкого, за торжественностью его стихового строя:

Я увидел во сне можжевеловый куст,
Я услышал вдали металлический хруст,
Аметистовых ягод услышал я звон.
И во сне, в тишине, мне понравился он.

Я почуял сквозь сон легкий запах смолы.
Отгнув невысокие эти стволы,
Я заметил во мраке древесных ветвей
Чуть живое подобье улыбки твоей.

Можжевеловый куст, можжевеловый куст,
Остывающий лепет изменчивых уст,
Легкий лепет, едва отдающий смолой,
Проколовший меня смертоносной иглой!

В золотых небесах за окошком моим
Облака проплывают одно за другим.
Облетевший мой садик безжизнен и пуст...
Да простит тебя бог, можжевеловый куст!

Изыщество, которое Заболоцкий передал в переводах грузинской лирики, точность которой он достиг в стихах о природе, жадное, неукротимое стремление к правде, озарившее весь его поэтический путь,— все соединилось в цикле «Последняя любовь». Почти каждое стихотворение — открытие в поэзии Заболоцкого, а такие, как «Чертополох» и «Можжевеловый куст», — в русской поэзии XX века.

Рукописное собрание стихотворений Николая Заболоцкого лежит передо мной на столе — сто семьдесят стихотворений и четыре поэмы. Принято считать, что Тютчев написал мало. Но он написал много. Это в полной мере относится и к Заболоцкому.

На последней странице — примечание: «Эта рукопись включает в себя полное собрание моих стихотворений и поэм, установленное мной в 1958 году. Все другие стихотворения, когда-либо написанные и напечатанные мной, я считаю или случайными, или неудачными. Включать их в мою книгу не нужно».

Неудачными или случайными он считал, без сомнения, и свои шуточные стихи и поэмы. Он был сдержан, молчалив, все, что он делал, было

проникнуто глубоким достоинством поэта. Вместе с тем он был человеком оригинального юмора, душевного веселья, и редкая встреча у него или у его друзей обходилась без шуточных эпиграмм, экспромтов, стихотворных посланий.

Незадолго до смерти он сжег все эти стихи, среди которых многие были настоящими шедеврами по тонкости, выдумке, блеску. Он не хотел шутить ни с поэзией, ни со своей жизнью, которая, может быть, предстала бы в этих стихах совсем другой, чем она была на деле. Разумеется, бесконечно жаль, что эти прелестные стихи погибли. Но, размышляя о светлой и трагической жизни поэта, начинаешь понимать, что он не мог поступить иначе. «Есть литература на глубине,— писал Юрий Тынянов о Хлебникове.— Есть жестокая борьба за новое зрение, с бесплодными удачами, с нужными сознательными «ошибками», с восстаниями решительными, с переговорами, сражениями и смертями. И смерти при этом бывают подлинные, не метафорические. Смерти людей и поколений».

В последнее время мы все чаще вспоминаем имена писателей, которых уже нет с нами, страницы недавней литературной истории, заставляющие о многом задуматься, многое переоценить. Это — не беспредметное оглядывание назад. Это — всматриванье, которое неизбежно сопутствует истинному изучению прошлого. Это — движение вперед, а чтобы двигаться вперед, нужна верная карта. Без белых пятен.



В МИРЕ НАУКИ

ЛЕОПОЛЬД ИНФЕЛЬД

★

СТРАНИЦЫ АВТОБИОГРАФИИ ФИЗИКА

МОИ ПРОФЕССОР — ВЛАДИСЛАВ НАТАНСОН

В 1964 году Ягеллонский университет отпраздновал шестисотлетие своего существования. Отступим от этой юбилейной даты на пятьдесят лет. На философском факультете был тогда только один профессор математики, один профессор экспериментальной физики и один профессор теоретической физики. Я хорошо помню лекции по математическому анализу профессора С. Зарембы, замечательного математика, о работах которого, как гласила молва, докладывал во Французской академии сам великий Анри Пуанкаре. Лекции эти слушали в 1917 году всего три студента: одна женщина (она приходила довольно неаккуратно), один способный студент (впоследствии он покончил жизнь самоубийством) и я... Курс закончил как единственный слушатель моего года — и лучший и худший. Величайший в те времена польский физик профессор Смолуховский внезапно умер в дни каникул первого года моих занятий. Остался только Владислав Натансон, мой профессор теоретической физики.

После смерти профессора Смолуховского кафедру экспериментальной физики занял профессор Р. Закжевский из Львова, а его кафедру получил Лориа. И все годы, пока я учился, Закжевский и Натансон были единственными профессорами физики в Ягеллонском университете. Доцентов не было. Больше того, у профессора Натансона не было никаких ассистентов, он не проводил ни практических занятий, ни семинаров — ничего, кроме лекций. Лишь ненадолго, насколько я помню, непосредственно перед моей докторантурой (в 1921 году), в Кракове появился профессор Чеслав Бялобжеский, который вскоре после этого получил кафедру в Варшаве.

Профессор Натансон читал лекции пять раз в неделю, с понедельника до пятницы. Начинал он точно в двадцать минут двенадцатого и был так пунктуален, что можно было ставить часы в момент его появления в аудитории, кончал он тоже пунктуально — минуту в минуту, причем каждая его лекция была продуманным целым, заранее точно скомпонованным, как произведение искусства. Он никогда не пользовался заметками. Одевался всегда торжественно, неизменно по одному и тому же образцу: черная визитка, какую в наши дни носят англичане, отправляясь на прием в Букингемский дворец; твердый борогничок, черный галстук, отлично выутюженные брюки в темную полоску. Студенты часто обсуждали вопрос: сколько таких костюмов хранится у профессора дома? Перед лекцией служанка всегда приносила в графинчике чай, который он попивал во время лекции. Читал он спокойно, с легким пафосом, ощутимым не в голосе, а в содержании лек-

Главы из недавно вышедшей в Польше книги «Очерки прошлого» Л. Инфельда — видного ученого, в прошлом одного из ближайших сотрудников Эйнштейна, в настоящее время члена Польской Академии наук, директора Института теоретической физики Варшавского университета.

ций. Он красиво писал мокрым мелом на мокрой доске — так красиво, что все время хотелось сфотографировать эту доску; мне было жаль, что губка стирает изысканные завитушки в буквах «О» и «Н». В жизни мне довелось слышать много прекрасных лекций, но ни одна из них не была такой технически совершенной, как лекции профессора Натансона.

Цикл лекций длился много лет. Кажется, до моего поступления в университет цикл этот продолжался семь-восемь лет, но впоследствии в программе занятий произошли изменения. Когда я учился на первом курсе, профессор Натансон читал термодинамику в течение всего года. Я несколько раз приходил на его лекции, зачарованный красотой доказательств, в которых я ничего не понимал. Только на втором и третьем курсе я стал систематически посещать лекции профессора Натансона. На втором курсе он читал теоретическую механику. Мне повезло. Я попал на начало цикла. К тому времени я уже знал механику по книгам Планка и Шефера. Однако я с большим интересом следил, как оригинально и красиво разрабатывал свои темы профессор Натансон. Я помню, как однажды он пришел с «Началами» Ньютона, надел очки и читал нам по-латыни, комментируя абзац за абзацем и попивая чай. Я хорошо помню последние в том году лекции по механике. Он посвятил их специальной теории относительности, с основами которой я тогда познакомился впервые. В первый раз я услышал и фамилию Эйнштейна, которого Натансон назвал «современным Коперником», «гением из гениев».

Я думаю о том, что дал мне профессор Натансон как физик и чего он мне не дал. Он мне дал самое важное — ощущение красоты теоретической физики, разбудил тогда еще дремавшую любовь к ней. В течение очень долгого времени я до такой степени поддавался обаянию профессора Натансона, что неумело старался подражать ему и на своих случайных лекциях, и в отношениях с людьми. Например, в Берлине, будучи студентом пятого курса, я на семинаре профессора Мизеса писал на мокрой доске мокрым мелом так, что никто, вероятно, не мог разобрать моих каракуль. Я зачитывался научно-популярными работами моего профессора и в своих популярных статейках подражал его прекрасному стилю барокко — наверное с жалкими результатами.

За все пять лет я не сдавал никаких экзаменов, только коллоквиумы, да и те были необязательны; собственно говоря, сдавали их только студенты, рассчитывавшие на стипендию, или особенно старательные, жаждущие установления более тесных отношений с профессором. Действительно, поскольку по теоретической физике не было ни ассистентов, ни практических занятий, ни семинаров, это был единственный возможный путь контакта с профессором. В начале пятого года моих занятий я съездил ненадолго (всего на полгода) в Берлин. Оттуда я привез свою первую работу, по которой намеревался получить докторскую степень. Профессор Натансон с превеликой любезностью и всегдашней своей добротой принял меня у себя на Студенческой и рекомендовал представить через деканат мою работу, о которой я упомянул ему всего в одной фразе. Я и мысли не допускал, будто можно будет потом спросить у профессора, как он оценивает мою работу, принял он ее или нет. Две недели спустя служитель сообщил мне, что он отнес профессору Закжевскому мою работу с замечаниями профессора Натансона. Теперь меня интересовало уже мнение обоих профессоров. В наши дни отзывы читают вслух. Студент сразу узнает, принята ли его работа или не принята. Я не помню, как и когда я официально узнал об этом в те времена в Кракове. Но тайком дал мне прочесть обе рецензии тот же самый университетский служитель. Они были исключительно хорошие и теплые.

Помню мой двухчасовой докторский экзамен по физике. Профессор Натансон чудесно спрашивал. Он начал с общих вопросов, все более углубляясь в предмет. Первый вопрос относился к теории колебаний. Потом мы перешли к вопросу о распределении энергии по степеням свободы и другим классическим проблемам. По теории относительности, которой касалась моя работа, не было задано ни одного вопроса.

Профессор Натансон был, разумеется, моим руководителем. После того, как

были сказаны сакраментальные слова: «*Spondeo et polliceor*»¹, я подал руку в предписанной очередности: ректору, декану, руководителю. Профессор Натансон пригласил меня к себе. Снова мы говорили о литературе, о перспективах науки, о книгах Эддингтона, которые он как раз получил из Англии, и о многих других вопросах, очень общих и далеких от нашего быта.

После окончания университета я несколько лет был преподавателем гимназии, сперва в провинции, потом в Варшаве. В эти годы я редко общался с Натансоном. Я не знал, помнит ли мой профессор своего ученика. Для меня он был тогда невидимым и недостижимым идеалом, божеством с Олимпа. Я зачитывался его статьями, изданными в виде книг. Помню, как едва ли не со слезами на глазах я читал его воспоминания о Потканьском, о Смолуховском, — воспоминания, проникнутые чувством одиночества и тоски. Мой профессор никогда не знал и так никогда и не узнал, как я перед ним преклонялся.

В Варшаве я опубликовал первые свои работы. Сначала популяризаторские, потом научные. Я всегда посылал их моему профессору и сразу же получал ответ. Профессор Натансон откликался на все письма в тот же день, когда их получал. К сожалению, я не унаследовал этого качества от моего учителя.

Зачитываясь популярными работами профессора Натансона, я знал лишь немногие его научные работы. Так, например, я штудировал его замечательную монографию (около восьмидесяти страниц) о радиации, опубликованную в «Математико-физических трудах», в томе, посвященном памяти Аугуста Витковского. Кроме того, у меня имелось (да и до сих пор я храню) его уже тогда устаревшее, но прекрасно написанное «Введение в теоретическую физику».

За восемь лет моего преподавания в гимназии я виделся с профессором (насколько я помню) всего два раза, да и то уже в последние два года, когда после долгого перерыва я вернулся к научной работе. В средней школе, где я преподавал, мои ученики и ученицы пользовались учебником профессоров Натансона и Закжевского. Учебник этот казался мне тогда необыкновенно хорошим. Написанный в стиле барокко, он был трудом теоретика, затрагивавшего глубоко — пожалуй, слишком глубоко для незрелого ума школьников — основы физики. Не знаю почему, но учебником этим редко пользовались в средней школе. Следовало бы его внимательно пересмотреть сегодня и установить, в какой степени можно его спасти. Я живо помню вступительные замечания, касающиеся научного понятия работы. Они содержали хорошо изложенный анализ этого понятия и его роли в нашей жизни.

После восьми лет работы в средней школе я занял благодаря стараниям профессора Лориа место ассистента во Львове, а потом в этом же университете я защищал диссертацию. Профессор Натансон помог мне при этой защите благоприятной критикой моих работ. Когда я послал ему мою первую научно-популярную книжку «Новые пути науки», то сразу же получил чудесное письмо. Он очень лестно отзывался о моей книге. Я запомнил часть фразы из этого письма, которая звучит злободневно и в наши дни: «Теории увядают и гибнут быстрее, чем цветы». Впоследствии, когда я из Кембриджа послал моему профессору нашу первую общую работу с Борном, содержащую новую постоянную, которую мы назвали «b», я получил письмо, из которого опять-таки помню одну фразу: «Ваше «b» запало мне глубоко в душу».

Из Кембриджа я вернулся в Краков на конференцию. Я радовался, что увижу профессора Натансона, что он будет присутствовать на моей лекции о совместной работе с Борном. К сожалению, профессор Натансон был болен. Я навестил его. Мы разговаривали о Кембридже. Он огорчился, узнав, что с знаменитых ворот Тринити-колледжа срезали дикий виноград. Профессор был, как всегда, мил, обаятелен, и разговор наш, как всегда, был безличен. Я видел его тогда в последний раз. В 1937 году, находясь в Принстоне (США), я получил сообщение о его смерти.

¹ Латинская формула торжественного обещания.

Только теперь я могу оценить сложный характер моего профессора. Я вижу в нем человека рыцарски благородного, неспособного на интриги, человека, воспитанного в обстановке благополучия, боявшегося соприкосновения с жизнью и ее грубой беспощадностью. Человека одинокого как в науке, так и в жизни, для которого безликость в отношениях с людьми была защитной броней; такой же броней была его изысканная, подчеркнутая вежливость. В отношении научном он подошел близко, даже очень близко, к великим открытиям, например, к формулам статистики Бозе. Из-за своей научной изолированности, отсутствия личных контактов он полностью не развернул своих способностей ученого, зато его литературные способности проявились во всем блеске. У него не было учеников, но он оказал большое влияние на национальную культуру. В первые годы нашего века он был единственным физиком-теоретиком в Польше. История теоретической физики в Польше начинается с профессора Натансона. Он дал ей достойное начало. Теперь, спустя двадцать пять лет после его смерти, у нас есть молодые физики, которые продолжают дело, начатое профессором Натансоном. Сегодня нет оснований опасаться, что теоретическая физика в Польше зачахнет. Она должна включиться в мировую науку активнее, чем до сих пор, должна избегать изоляции минувших лет и ошибок догматизма. Жизнь и деятельность профессора Натансона могут многому научить молодых ученых — прежде всего гуманистическому подходу к науке, умению прекрасно выражать мысли, уважению к научной работе, скромности и пониманию того, что мы, пусть и неумело, стараемся найти в науке отражение красоты природы, что наука приносит людям помощь и пользу.

НИЛЬС БОР И ЭЙНШТЕЙН

Впервые я увидел Нильса Бора в феврале 1937 года в Принстоне. Он приехал туда на несколько дней, и его принимали, как удельного князя. С давних пор я мечтал услышать его и познакомиться с ним. Для физиков Бор — как и Эйнштейн — фигура почти легендарная. Физики, хоть разок побывавшие в Копенгагене, не находят слов, чтобы выразить восхищение царившей там научной атмосферой и тем необычайно доброжелательным приемом, который им оказывал Бор. Я не раз пытался осуществить свою мечту. Однако неудача преследовала меня. Бор посетил Кембридж накануне моего приезда и вскоре после моего отъезда. Годом раньше я намеревался во время каникул побывать на ежегодной конференции физиков-теоретиков, которые регулярно созывал Бор, но он заболел, и съезд отменили. В дни моего недолгого пребывания в Копенгагене Бор отсутствовал. Нужно было переправиться через Атлантический океан и приехать в Принстон, чтобы наконец увидеть и услышать Нильса Бора.

Бор и Эйнштейн — пожалуй, рядом можно поставить и Планка — величайшие представители старшего поколения теоретиков, оказавшие наибольшее влияние на физику первой половины нашего века. Сегодня нет в живых ни Эйнштейна, ни Бора, ни Планка — они принадлежат теперь истории науки. Не будем даже пытаться дать ответ на праздный вопрос: кто из них более велик? Предоставим оценку будущим поколениям. Отметим лишь, что Бор и Эйнштейн по типу своего интеллекта были совершенно несохожи. Чтобы точнее определить различия между ними, приведу сравнение из истории науки. Оговорюсь лишь, что я сам несу ответственность за нижеприведенное сравнение, это мое собственное изобретение, а не официальный голос науки, хотя многие физики, с которыми я случайно разговаривал на эту тему, целиком разделяют мой взгляд.

Если мы обратимся к прошлому и попытаемся найти ученого, по типу интеллекта сходного с Бором, то сравнение с Фарадеем, по-моему, будет наиболее правильным. Их отделяют друг от друга сто лет развития науки, поэтому нельзя в нашей аналогии заходить слишком далеко. Но сходство существует безусловно, и можно попытаться назвать черты, характерные для обоих ученых. В каждом из них прежде всего поражает глубочайшая оригинальность научного мышления.

Фарадей создал новые концепции в науке об электричестве, совершенно отличные от существовавших до тех пор. Благодаря своей гениальной интуиции он пришел к пониманию того, что для описания явлений в этой области науки надо порвать с концепциями классической механики. Необычайная простота и оригинальность — вот черты творчества Фарадея. То же самое поражает в Боре. Бор понял, что мы не можем пользоваться понятиями классической механики в микромире, и первый применил квантовую теорию к описанию строения атома, подобно тому как Фарадей первый ввел понятие поля в описании явлений электричества. Результатом обоих открытий стало неправдоподобно быстрое развитие новых областей науки.

Но аналогии можно продолжить. Оба ученых обладали воображением, граничившим с ясновидением. Фарадей видел силовые линии электрических и магнитных полей там, где для современных ему физиков существовала только пустота — пространство, лишенное всякой материальной сущности. Достаточно было один раз услышать Бора, посмотреть на движения его рук, когда он показывал чертежи и модели, — и становилось ясно, что Бор на самом деле видел, как построен атом, что он мыслил образами, которые неустанно проходили перед его глазами. Наконец еще одна аналогия: оба оперировали сравнительно простыми математическими средствами. Разумеется, сто лет развития физики, разделяющие научную деятельность Бора и Фарадея, не позволяют нам принимать это сравнение слишком буквально. Фарадей не знал математики до самых ее глубин. А математический аппарат Бора по сравнению с той изощренностью, какую проявляют современные теоретики в применении математического аппарата, необычайно прост. Сила Бора не в математическом анализе, а в удивительной мощи фантазии, видящей физическую реальность конкретно, образно и открывающей в ней новые, никем не предугаданные связи.

Эйнштейн представляет совершенно противоположный тип интеллекта. Если мы и здесь решим воспользоваться сравнением из истории науки, то скорее всего нам следует назвать Ньютона. Эйнштейн мыслит логическими категориями. Ему значительно меньше, чем Бору, было свойственно образное мышление. Закон всемирного тяготения, впервые сформулированный Ньютоном, был итогом пятнадцатилетних усилий мысли и в принципе содержал окончательное решение этой проблемы — более чем на два века вперед, вплоть до момента, когда Эйнштейн сформулировал свою общую теорию относительности. Общая теория относительности, впервые со времен Ньютона посягнувшая на его закон тяготения, является результатом десятилетнего напряженного труда ее творца. Но однажды сформулированная, она содержит принципиальное решение данной проблемы, и работы других ученых не внесли в эту теорию ничего, что изменило бы ее подлинный смысл.

Вопрос, кто более велик — Ньютон или Фарадей, — бессмыслен даже в свете последующего опыта, который нам дает в настоящее время история развития науки. Раскладывать по полочкам и нумеровать людей такого масштаба, как Эйнштейн и Бор, — занятие тем более наивное и бессмысленное.

Взгляды Эйнштейна и Бора на состояние современной физики (в 1937 году) резко расходились. В успехах квантовой физики последних лет Бор усматривал подлинное достижение, которое уже прочно останется в науке. Эйнштейн был скептичен, он был противником статистического истолкования квантовой механики и верил, что нынешняя стадия физики — переходная. В 1937 году почти никто не разделял взглядов Эйнштейна на состояние современной науки, и он вполне отдавал себе в этом отчет. Ему был понятен энтузиазм молодых ученых, обусловленный темпом работы, тем фактом, что решения проблем так быстро подвигаются вперед. Однако никому не удалось внушить Эйнштейну доверия к последним завоеваниям новой физики.

В сознании людей имя Эйнштейна обычно связывается с теорией относительности. Однако Эйнштейн совершил принципиальные открытия и в другой области науки, а именно в области теории излучения, в которую он ввел идею квантов. Работы Эйнштейна сыграли основополагающую роль в развитии квантовой теории. Его главная идея основывалась именно на применении статистических мето-

дов в науке, тех самых, против слишком расширительного толкования которых он позднее выступал. Когда я спросил Эйнштейна, почему он стал противником взглядов, вытекавших из идей, которые он же сам ввел в науку, то услышал в ответ: «Я ввел их как нечто временное, как временную необходимость, но не предполагал, что другие возведут эту необходимость в добродетель».

В двадцатые годы в американском журнале «Physical Review» («Физическое обозрение») появилась работа Эйнштейна и его сотрудников, выразившая эти его взгляды. Недолгое время спустя в том же самом журнале была опубликована статья Бора, в которой он старался отразить упреки Эйнштейна, направленные против тогдашней атомной физики. Один из сотрудников Бора рассказывал мне, что Бор много раз изменял редакцию этой статьи, все более смягчая полемический тон и твердя, что недостаток вежливости в полемике всегда служит доказательством непонимания аргументов противника.

Если говорить о моих личных убеждениях, то я должен признать, что пока я был в Принстоне, то в области основ квантовой механики скорее находился под влиянием Бора, чем Эйнштейна, хотя Эйнштейн неоднократно пытался разъяснить мне свой образ мыслей. Теперь, спустя восемь лет после смерти Эйнштейна, я думаю, что он, пожалуй, был прав. Однако вопросы, связанные с основами квантовой механики, необычайно сложны. Современная физика — область настолько трудная, что тот, кто как следует ее узнал и полюбил, навсегда остается физиком и лишь попутно занимается ее философскими аспектами. А для философов ее основные принципы совершенно недоступны.

Но вернемся к 1937 году в Принстоне. Руководство Института физики организовало «мероприятие» весьма дурного вкуса — едва ли не публичную дискуссию между Бором и Эйнштейном. Я присутствовал на ней вместе с другими любопытствующими. Кажется, главная цель приезда Бора в Принстон заключалась в том, чтобы рассеять сомнения Эйнштейна, касающиеся истолкования квантовой физики.

Только теперь я понимаю, как много неприятных минут должна была доставить Эйнштейну эта встреча. Эйнштейн был типичным человеком-одиночкой, и контакты с людьми никогда не доставляли ему удовольствия, хотя он и делал все от него зависящее, лишь бы этого не показывать. Бор, напротив, был человек необычайно общительный, и обсуждения или споры с людьми приносили ему истинную радость.

Эйнштейн редко появлялся в темном костюме, очень старом и единственном у него, в воротничке, какой теперь носят к фраку, и в черном галстуке. Помню, что на ту дискуссию Эйнштейн пришел в своем праздничном темном костюме. Говорил он, однако, очень мало, произнес всего несколько слов. Бор перебивал его своими аргументами, аудитория была на стороне Бора. Что-то вроде матча Польша — ФРГ в Варшаве. Окончательный итог этой дискуссии был таков, какого можно было заранее ожидать: Бор, равно как и Эйнштейн, остался на своих прежних позициях.

Тогда же, в 1937 году, Бор прочел в Принстоне две лекции. Трудно представить себе худшего лектора, чем Бор. Он говорил так тихо, что его с трудом можно было расслышать в первых рядах. В большой переполненной аудитории пришлось поставить репродукторы, а так как лектор все время был в движении и часто подходил к доске, микрофон прикрепили к отвороту его скюртука. Бор то и дело запутывался в проводах, и его поминутно приходилось высвобождать из них. Опершись на стол, он почему-то мазал его тряпкой, что-то говорил, как бы обращаясь к самому себе: отдельные доходившие до нас слова не сливались в плавные предложения, время от времени он перебивал себя критикой своей же собственной лекции и замечаниями относительно того, что не сумеет достаточно ясно выразить свои мысли. Таким вот образом он читал лекцию полтора часа, причем каждое звено рассуждения было существенным для понимания дальнейшего. И, однако, несмотря на столь плохую техническую сторону лекции, она произвела необычайно глубокое впечатление. Мы видели, как, преодолев сопротивление,

рождаются фразы, мы понимали, какой труд затрачен на то, чтобы точно сформулировать эти сложные проблемы. Выступал человек, который глубоко и оригинально продумал основы современной науки. Во многих местах лекция была рассчитана почти исключительно на Эйнштейна. Бор постоянно ссылаясь на частные дискуссии с Эйнштейном, поскольку он пользовался — по его выражению — привилегией спорить с Эйнштейном об этих проблемах. После первой публичной лекции и после дискуссии Бора и Эйнштейна плотно обступили слушатели, следившие за течением спора, в котором Эйнштейн по преимуществу молчал, а Бор так долго и пламенно рассуждал, что опоздал на прием, устроенный в его честь.

Но перед этим состоялась дискуссия, в ходе которой Бор говорил о новой физике, той физике, которая должна вторгнуться и в школу. Это только вопрос времени. Мнение, высказанное Бором по этому поводу, дословно звучит так: «Нельзя будет долго скрывать от молодежи завоеваний новой физики. И тогда ее влияние скажется на образе мышления нового поколения».

Я запомнил некоторые остроумные замечания Бора, прозвучавшие во время дискуссии. Упомянув об ошибочной работе одного известного физика, он сопроводил свою критику замечанием, что ученый этот все-таки считается одним из лучших знатоков в данной области, «ибо знатоком является тот, кто на собственном опыте познал, какие горькие и глубокие ошибки можно совершить в самой узкой, избранной им области исследований».

В заключение Бора трогательно благодарили, вознося, как обычно бывает в таких случаях, до небес его научные заслуги. Смущенный Бор ответил анекдотом. Жил-был при дворе персидского шаха некий врач. Шах щедро платил своему врачу, пока его советы оказывали действие. Когда же шах состарился и болезни стали доминировать над ним, а врач ничем больше помочь не мог, владыка горько попрекнул его: «Столько лет я осыпал тебя богатствами, а ты не в состоянии меня вылечить». На это врач ответил: «Ты платил мне, царь, за мои знания. А если бы ты вздумал платить мне за то, чего я не знаю — не хватило бы сокровищ всей Персии».

Это было мое единственное соприкосновение с «духом Копенгагена».

«Дух Копенгагена» — это термин, широко распространенный среди физиков. В Копенгагене, где Бор стал профессором, возникла известная во всем мире школа теоретической физики, которая буквально озарила и до сих пор озаряет весь мир. Бора знали в Копенгагене так же хорошо, как и короля Дании, и так же почитали. Школа Бора оказала большое влияние на современную физику. Почти все современные физики так или иначе связаны с Копенгагеном. И теперь, хотя Бор уже умер, Копенгаген является Меккой физиков. Сын Нильса Бора, профессор физики, оказался достойным преемником своего отца.

Варшаву связывают с Копенгагеном очень хорошие отношения. Копенгагенские физики навещают Варшаву, а наши доценты и профессора — частые гости столицы Дании.

Академик Тамм из Советского Союза (лауреат Нобелевской премии) рассказал мне следующую историю. Во время визита Бора в Москву Ландау (также лауреат Нобелевской премии) задал ему вопрос:

— Как случилось, что Копенгаген стал таким прославленным центром теоретической физики и воспитал столько способных людей?

— Право, не знаю, — ответил Бор. — Быть может, только потому, что мы не боялись наивными вопросами обнаружить наше невежество.

Ч. П. СНОУ

Для того, чтобы понять литературное творчество Ч. П. Сноу, надо прежде всего знать и понимать Кембридж. Сноу — продукт Кембриджа. Там же глазным образом развертывается действие в его книгах.

Кембридж! Это странный город, вернее городок. И, однако, единственный в мире. В 1934 году (это время действия первой книги Сноу) в городе этом сосре-

доточилось наибольшее количество лауреатов Нобелевской премии. Назову только физиков того периода: лорд Резерфорд, Дж. Дж. Томсон, Дж. Чедвик, П. М. С. Блэкетт, Дж. Д. Кокрофт, П. А. М. Дирак. В 1934 году все они были в Кембридже, и все они раньше или позднее получили Нобелевские премии.

Я хорошо помню запущенные, старые залы и рабочие комнаты в Cavendish Laboratory, с которой связана история физики второй половины XIX века и первых тридцати пяти лет нашего столетия. Джеймс Клерк Максвелл, лорд Релей, Дж. Дж. Томсон, лорд Резерфорд — вот фамилии руководителей лаборатории Кавендиш, навсегда вошедшие в историю науки. Теперь миновал золотой век Кембриджа в экспериментальной физике. После 1934 года многое на свете изменилось, переместились и центры физических исследований. Но в 1934 году положение было таково, что, если вы хотели увидеть самых великих физиков на свете, вам не надо было трогаться из Кембриджа. Раньше или позже они обязательно должны были появиться в Кембридже.

Город жил наукой и жизнью студентов. Университет — это группа автономных колледжей, старых, богатых монастырей науки. Колледжи построены в стиле английской готики, сплошь увиты диким виноградом, сложены из камня, почерневшего от ветра; там полно дворигов, и галерей, и различных комнат, в которых жили студенты (у каждого было по две комнаты) и fellows, то есть научные работники колледжа, преподаватели, лекторы. Во дворах — густые газоны, которым не одна сотня лет; по газонам разрешалось ходить только fellows, а студентам ни в коем случае. По вечерам студенты носят короткие тоги, а те, у кого уже есть диплом, более длинные. Ритуал жизни опирается на средневековые обычаи, изменяющиеся очень медленно; по форме лекции построены, как во времена Эразма Роттердамского, но содержание их современное.

Задней стеной колледжа выходят на живописную речушку, в которой отражаются плакучие ивы и по которой в воскресные дни катаются на лодках бесчисленные нежные парочки, развлекаясь пением, вырывающимся из патефонов. Так было в 1933—1935 годах, когда я жил в Кембридже. Теперь патефоны, вероятно, уступили место транзисторным приемникам.

В 1934 году мой коллега дал мне прочесть только что вышедшую книжку. Как он мне сказал, написал ее fellow одного из малых колледжей, и ее героём, кажется, является Бернал. Я знал Бернала только с виду. В тот период я делал лишь первые шаги в научном мире, к сожалению с большим опозданием, правда не по моей вине, и я во многом отстал. Но я знал, что Бернал — которого я запомнил главным образом благодаря его дикой причёске и сандалиям на босу ногу — был молодой восходящей звездой Кембриджа.

Книжку Сноу «The Search» («Поиск») я прочитал залпом. Наряду с выдуманными фамилиями (под одной из них выступал Бернал) были в ней и подлинные фамилии, в том числе фамилия Дирака — одного из величайших физиков нашего времени. fellow Сент Джонс Колледжа, руководителя кафедры, ведшей свою родословную от Ньютона.

Герой этой книжки химик Артур Майлс описывает свою жизнь. Она заполнена борьбой за право вести научную работу, за успех и положение, за славу и личное счастье в любви. Мы находим здесь глубокое описание техники научного исследования в мире, где рядом с высоким бескорыстием соседствуют зависть, малодушие и интриги. Рядом с людьми, по типу своему напоминающими отшельников, людьми, для которых единственное содержание жизни составляет наука, выступают люди совершенно иного склада — карьеристы, стремящиеся захватить теплое местечко и готовые ради личного благополучия на любые подлоги.

В средней школе, где учится Майлс, физику преподает скучный, вялый учитель, больной и утомленный своей работой, придерживающийся неинтересных и устаревших программ. В один прекрасный день он входит в класс возбужденный и счастливый и рассказывает ученикам о новых атомных теориях:

«Два человека открыли, как обстоит дело с атомом. Один из них — англичанин Резерфорд, другой — датчанин по фамилии Бор. Уверю вас, друзья, оба

они — великие люди, и когда вы будете постарше, ваши лубочные герои, всякие Цезари и Наполеоны, покажутся вам петухами, кукарекающими на навозной куче, по сравнению с этими физиками».

Чудесно передана университетская атмосфера в Кембридже — атмосфера маленького провинциального городка, являющегося одновременно и величайшим научным центром мира, и средоточием мелких сплстен, снобизма и высшей духовной культуры.

Осенью 1936 года судьба закинула меня в Принстон. В начале 1937 года мы с Эйнштейном решили написать вместе популярную книжку. Так возникла «The Evolution of Physics» («Эволюция физики»). Я уже забыл, каким образом издательство «Кембридж Университи Пресс» летом 1937 года узнало о нашей работе. Помню только, что я получил телеграмму, извещающую, что представитель издательства Ч. П. Сноу едет в Соединенные Штаты и хочет со мной встретиться. Принстон во время каникул — это вымерший, душный город, и мы назначили наше первое свидание в нью-йоркской гостинице.

Каждый год в одном из городов Соединенных Штатов происходил слет «легионеров», бывших ветеранов первой мировой войны, людей, уже заметно стареющих, которые из пустой амбиции в течение этих нескольких дней прикидывались молодыми хулиганами, шумели, пили, горланили песни, ломали мебель и нападали на прохожих. Я не знал, что условленный день нашей встречи в Нью-Йорке совпадает с днем слета и что выбор «легионеров» в этом году пал именно на Нью-Йорк. С трудом я достал номер, весь отель был занят «легионерами». Стоял адский шум. Я был простужен. Все вместе создавало условия, весьма неблагоприятные для первой встречи. Когда Сноу вошел в мою комнату, мне показалось, что он моего возраста. Выяснилось, однако, что он на семь лет моложе. Он был рыжий (теперь, вероятно, уже седой), с небольшой лысинкой и резкими чертами; глаза за очками мягкие, умные, одет небрежно, как большинство ученых в Кембридже. Он был робок той робостью англичан, которая мешаает слишком быстро завязывать дружбу. Сноу попросил меня показать ему рукопись. Я объяснил, что она не закончена, что из последних трех глав две только набросаны «начерно», а последняя даже не начата.

Он жадно схватил главы, уже переписанные на машинке, и принялся читать. Окна моей комнаты выходили во двор. Оттуда доносились крики, громкие разговоры, звон разбиваемой посуды. Сноу читал, совершенно отключившись от внешнего мира. Отель, я, «легионеры» перестали для него существовать. Прочитав главы, перепечатанные на машинке, он настоял, чтобы я дал ему остальные, написанные «начерно». Их он тоже прочитал. Затем он спросил, нет ли у меня еще чего-либо. Я показал ему в конце концов набросок последней главы, предупредив, что эту часть, если не считать самого предварительного разговора, я еще не обсудил с Эйнштейном. Он и эту главу проглотил в полной сосредоточенности.

Мы решили поехать на следующий день в Лонг-Айленд к Эйнштейну. Хотя Эйнштейна совершенно не интересовали издательские формальности, я все-таки не заключал никаких договоров без согласия главного автора книжки. Железнодорожное сообщение с Лонг-Айлендом, пожалуй, самое худшее в Соединенных Штатах. В вагоне было душно и жарко. У нас было много времени, мы могли встать побеседовать. В памяти у меня сохранились только обрывки разговора, прерываемого долгими минутами молчания.

Я спросил его, что он теперь пишет. Не продолжение ли «The Search»? Он ответил отрицательно. У него уже есть готовая рукопись, его интересуют взаимоотношения между людьми. Рукопись эта была, вероятно, «Strangers and Brothers» («Чужие и братья») — первой книгой цикла, принесшего ему признание и славу. Я спросил, кто его любимый писатель. Не колеблясь, он ответил: Достоевский.

В настоящее время, рассказывал Сноу, он редактирует научно-популярный журнал «Discovery» («Открытие»), издаваемый «Кембридж Университи Пресс», и предлагает мне сотрудничество.

Мы приехали в Лонг-Айленд, где летом обычно жил Эйнштейн. На вилле мы его не застали. Он совершал свою каждодневную прогулку на парусной лодке. Эйнштейн любил этот вид спорта, дававший ему столь нужный отдых.

Наконец появился «маэстро». Он был смешно одет. Белые штаны, подвернутые до колен, обнаженный крепкий торс, а на голове белая дамская шляпа.

Я представил ему Сноу и сказал о цели нашего визита. Он тотчас согласился на все условия, и остальное время было заглочено попытками завязать светский разговор.

В обществе людей, которых он хорошо знал, Эйнштейн бывал живым, остроумным, он громко смеялся, и сам, казалось, отлично развлекался. Но в присутствии новых людей он робел, замыкался в себе и неохотно разговаривал. Сноу, тоже человек застенчивый, заготовил, однако, несколько общих вопросов, с которыми многие обращались к Эйнштейну. Я запомнил не вопросы, а самый характер разговора, несколько натянутого и утомительного. Не знаю, записал ли его потом Сноу. Вероятно, записал. Потому что он помнил вопросы и ответы, которые уже после смерти Эйнштейна опубликовал в «Стейтсмен», общественно-литературном еженедельнике, где время от времени появляются его рецензии и статьи.

«Эволюция физики» вышла в издании «Кембридж Университи Пресс». Я и позднее поддерживал связь со Сноу, когда он был редактором «Discovery». Однако с началом войны связь оборвалась, и я в течение долгого времени даже не слышал о выходе романа «Чужие и братья» (в 1940 году) и следующих семи книг этого цикла. Я прочитал их, уже вернувшись в Польшу...

Об общественных убеждениях Сноу можно судить по книжечке «Science and Government» («Наука и правительство»). Мы находим там два портрета ученых. Оба уже умерли, так что можно свободно писать об их взаимной неприязни и той роли, какую они играли во время второй мировой войны. Одним из них был Тизард, другим Линдеман. Тизард — посредственный ученый, но он хорошо понимал, что такое наука. Англия ему обязана организацией противоздушной обороны, созданием сети радарных устройств, которые спасли ее от налетов гитлеровских бомбардировщиков.

Вторая фигура более интересна, и ее двойников мы видим во всех странах. Линдеман был профессором в Оксфорде. Он стал им по предложению своего старого друга и будущего врага Тизарда. Если бы из истории науки вычеркнули фамилию Линдемана, в ней ничего бы не изменилось. Мне лично не попадалась ни одна его научная работа. Мне известно только, что он написал научно-популярную книжку, и я читал о ней разностороннюю рецензию Борна. Линдеман этот был, однако, большим снобом. Ему было очень важно создать себе репутацию у сильных мира сего — лордов, политических деятелей. Он проводил много времени в их обществе, они его называли сокращенно «проф.». Он познакомился с Черчиллем, который впоследствии дарил его абсолютным доверием. Здесь-то и начинается падение Тизарда; на его место в качестве главного советника Черчилля вступает Линдеман. Вскоре он становится лордом Черуэллом, членом палаты лордов. Трудно точно сказать, на какой срок затянулась война по вине Линдемана. Он был автором идеи массовых налетов на рабочие кварталы немецких городов и убеждал Черчилля, что таким путем они доведут Германию до катастрофы. Линдеман выбирал рабочие кварталы потому, что они наиболее плотно населены. Черчилль не поверил заверениям настоящих ученых (вроде Блэкетта), утверждавших, что оценки разрушений, сообщаемые Линдеманом, шестикратно завышены. Потом, после войны, выяснилось, что они были завышены в десять раз. Разумеется, такая политика задерживала открытие второго фронта, ибо Линдеман и Черчилль считали, что Германию удастся победить только ударами авиации и Англии и Соединенные Штаты должны напрячь свои силы именно в этом направлении.

Каждое государство имело и, вероятно, будет иметь своих Линдеманов, лжеученых, которые хотят прожить за счет политических комбинаций, или же ученых

с большим политическим честолюбием, значительно превышающим их научную ценность.

В чем новизна и значение Сноу в английской литературе и в литературе мировой? Быть может, лучше всего будет, если я приведу пример из польской жизни. Мы хотим, чтобы наши писатели показали нам (то есть интеллигентам), к сожалению, мало нам известный мир рабочих и шахтеров. Мы говорим такому автору: «Иди на заводы, иди в шахты, поработай там, скажем, полгода, а потом напиши об этом мире, который ты узнаешь изнутри».

Для современных людей мир науки, его могущество и бессилие, его мудрость и глупость кажутся таинственными и любопытными. Но мы не можем сказать писателю: «Иди в этот мир на полгода, узнай его и опиши его». Знакомство с ним потребовало бы десяти лет труда. Этот мир сумеет описать только тот человек, который к нему принадлежит или который из него вышел и которого природа к тому же наделила писательским дарованием.

Сноу — единственный в своем роде такой гибрид. Он ввел в роман новый мир, мир науки, мир подлинный, который он узнал собственной жизнью, собственным опытом.

В КАНАДЕ И В ПОЛЬШЕ

Помню грязный, невзрачный трехэтажный дом на улице Ст. Жорж, 47, в Торонто. Кажется, теперь его снесли. Но тогда, двадцать лет назад, в этом заброшенном, много лет не ремонтировавшемся здании помещался Институт прикладной математики (как его официально называли), а на самом деле Институт теоретической физики Торонтского университета, где я проработал с 1938 по 1950 год. На первом этаже находилась тесная и грязная аудитория. На втором этаже — директорская и одновременно конференц-зал, на третьем этаже, который, собственно, был мансардой, — мой маленький кабинет, комнаты трех других профессоров нашего института и комнатки для ассистентов. Торонтский институт был создан специально для профессора Синга, ранее профессора Тринити-колледжа в Дублине (Ирландия).

Профессор Синг, человек примерно моего возраста, был выдающимся математиком в большей мере, чем физиком, он пользовался широкой известностью и был ценим благодаря своей сверхъестественной работоспособности и математическому таланту. Случалось, после вечерней дискуссии он приходил на следующий день с готовой работой, прекрасно изложенной и безошибочно выполненной. Он был членом Королевского общества в Лондоне — Fellow of the Royal Society. Лекции он читал замечательно; по характеру своему был он человек необычайно прямой, честный, хотя и немного суховатый.

Годы войны поначалу мало сказывались на быте населения Канады. Рестораны снабжались почти нормально, цены возросли лишь незначительно, всего было вдоволь, и единственным напоминанием о войне был набор солдат-добровольцев. Только беженцы из Англии приносили вести о налетах авиации и бессонных ночах, а очень немногочисленная горстка поляков, перебравшихся в Канаду через Советский Союз и Японию, рассказала нам о страданиях Польши.

Вместе с профессором Сингом мы размышляли, каким образом послужить общему делу. Синг виделся в Оттаве с генералом Мак-Нутоном, бывшим командующим канадской армией во время первой мировой войны; в те дни Мак-Нуотон был начальником научного учреждения, именуемого «National Research Council» — «Национальный совет по научным исследованиям», — в Оттаве. Генерал вручил Сингу старые заметки, записи времен первой мировой войны, содержавшие ряд вычислений, касающихся действия артиллерии, и попросил проанализировать этот материал с точки зрения математической. Каждую субботу мы собирались с профессором Сингом и еще несколькими коллегами, раздумывали над данными Мак-Нуотона и старались на их основе создать стройную теорию. Спустя несколько месяцев мы закончили работу и написали статью, анализирующую эти

устаревшие данные. Профессор Синг передал рукопись генералу Мак-Ноутону, а я и мои коллеги были уверены, что тот выкинул наш доклад в корзинку.

Случайно, несколько лет спустя, я встретил своего ученика, офицера канадской армии, который сообщил мне, что наша работа опубликована в каком-то полусекретном журнале. Но это не все.

Уже после войны я был на лекции генерала Мак-Ноутона, меня с ним познакомили, и, не зная, о чем завести разговор, я рассказал ему, что являюсь одним из авторов работы, которую мы выполнили совместно с профессором Сингом. Мак-Ноутон очень обрадовалось это сообщение, и он ответил, что даже Советский Союз обратил внимание на нашу работу; он, мол, слышал от одного русского генерала, что она ценится в советской армии как образцовое пособие по баллистике. Свое высказывание Мак-Ноутон закончил лестным замечанием по поводу того, что мы своим трудом спасли не одну человеческую жизнь. Когда я рассказал эту историю профессору Сингу, он, как и я, искренне усомнился в том, что анализ устаревших данных спас хотя бы одну жизнь.

* * *

Спустя какое-то время пришел конец тому периоду, который мы в Канаде называли «*phony war*», а в переводе на русский принято называть «странной войной». Для Польши война была не странная, а весьма реальная, но за пределами Польши почти в течение года ничего не происходило, не было никаких жертв. Итак, когда для Канады кончилась «*phony war*», Совет по научным исследованиям в Оттаве потребовал, чтобы мы приняли участие в научной работе для военных целей. Мы провели собрание в Оттаве: несколько ученых, в том числе Синг и я, и очень высокие военные сановники. После обеда мы должны были посетить военные научные лаборатории. Перед тем, как ехать туда, профессор Синг сказал, что мне, пожалуй, лучше вернуться в Торонто и не тратить время на осмотр лабораторий. Меня удивила столь странная забота о моем времени. В конце концов Синг промямлил: «Я не могу вам лгать, я должен сказать вам всю правду». Оказалось, что я не получил так называемого «клиринга». Слово «клиринг» (*clearing*) означает «чистку». Каждый, кто имел доступ к военным делам, должен был пройти политическое очищение в RCMP, то есть в Royal Canadian Mounted Police — Королевской канадской конной полиции (равнозначной ФБР — Федеральному бюро расследования в США). Я предположил, что мне было отказано в «клиринге» из-за моих левых убеждений. Но Синг уверял, что полковник, с которым он об этом разговаривал, сказал, будто меры предосторожности в отношении моей особы пришлось принять потому, что у меня семья в Польше. Правда, я канадский подданный, но если немцы захотят вырвать у меня военные тайны, то смогут этого добиться, подвергнув пыткам моих близких в Польше.

Все же несколько месяцев спустя я получил «клиринг» и принял участие в теоретической работе над проблемой радара, занимаясь волноводами; это единственная отрасль, в которой я обладал секретными по тому времени сведениями. Мы действовали сообща, устраивали заседания то в Оттаве, то в Торонто, писали работы, которые рассматривались как секретные.

После войны, однако, все они оказались «дисквалифицированными», то есть были признаны работами, которые могут быть опубликованы в печати, и они действительно были опубликованы. Нельзя сказать, что в них разбираются особо важные проблемы, но все-таки они не лишены некоторого значения.

После поражения немцев под Сталинградом я приобрел уверенность, что антифашистский блок выиграет войну. И тогда я обратился также к научным темам, не связанным с войной.

Одновременно с нашей группой, занимавшейся радаром, в Монреале группа ученых работала над проблемами ядерной физики и конструкцией атомной бомбы. Об этом лишь глухо упоминалось, и я не имел представления, насколько далеко они продвинулись в своих изысканиях. У меня с ними не было научного контакта, хотя я и знал, что в работах группы принимает участие один из моих учеников.

* * *

Еще когда я учился в Кракове, на меня произвела исключительно сильное впечатление история молодого математика Галуа, ее рассказал мне мой старый милый учитель, о котором я сохранил наилучшие воспоминания, — профессор Бралец. История эта показалась мне необычайно трагической. Двадцатилетний юноша гибнет на дуэли, в последнюю ночь своей жизни пишет работу для потомства: в спешке записывает идеи, из которых родилась современная алгебра. Мне всегда хотелось разузнать побольше подробностей о судьбе Галуа. Потом, уже в Америке, во время моего сотрудничества с Эйнштейном, мне попала в руки книга Э. Белла «Men of Mathematics» («Математики»). В нее вошли биографии величайших математиков мира, и в том числе Галуа. Интерес мой усилился. Я дал себе слово, что когда-нибудь вернусь к этой теме и изучу ее по первоисточникам. Случайно мне представилась к тому возможность. Ко мне приехал редактор моей книги «Quest» («Искания») — она появилась в начале войны в Америке — и предложил мне написать новую книгу, возможно и биографию ученого; он даже высказал от имени издателя пожелание, чтобы это была книга о Копернике. По правде говоря, в то время Коперник мало занимал мои мысли. Мне представлялась слишком пустой задача, сводящаяся к тому, чтобы доказать англо-саксонским читателям, что Коперник был поляком. Кроме того, я мало видел трагического в его жизни. И сверх всего в Америке очень трудно было бы раздобыть материалы о Копернике. Тогда я вспомнил о Галуа и предложил редактору, что попытаюсь написать его биографию. Я искал материалы в Торонто, университетская библиотека помогала мне получать их в других американских библиотеках; я собрал изрядное количество ранее неизвестных, никем не использованных материалов, но осталось еще много невыясненных подробностей. Со слов профессора Синга я узнал, будто некий миллионер Уильям Маршалл Буллит, живущий в Луисвилле (штат Кентукки), собрал все материалы, касающиеся жизни Галуа; розысками этих материалов занимались оплачиваемые Буллитом люди в Париже, где послом был его близкий родственник, и так возникло это единственное в мире собрание.

Я списался с этим миллионером, и он очень любезно пригласил меня провести у него несколько дней и познакомиться с его коллекциями. Я воспользовался приглашением. Это было мое первое близкое соприкосновение с настоящим американским миллионером. Быть может, меня сочтут неблагодарным, если я откровенно расскажу о моих впечатлениях, ибо гостеприимный мистер Буллит принял меня очень любезно; я жил в его дворце, мне отвели две комнаты с ванной, с портретами дам и джентльменов в старомодных костюмах, предков — не знаю только настоящих или выдуманных.

Когда я добрался до Луисвилля, стояла жаркая погода. Дорога была тяжелая, я приехал грязный, вспотевший. По приезде позвонил мистеру Буллиту по телефону. Он пригласил меня к себе в контору. Женщина-шофер подвезла меня к небоскребу, где помещалось страховое предприятие Буллита; я увидел кабинет, такой же большой и такой же красивый, как приемная президента Академии наук в Польше. Мистер Буллит предложил мне выкупаться в роскошной ванной, примыкавшей к его кабинету. Сегодня, сказал он, мы не будем работать, а только поужинаем вместе и поедем на «дерби», у него там своя ложа, и он уже сообщил, что придет. Мы поехали в его прекрасной машине; он сам вел ее, браня каждого, кто попадался навстречу. У его машины был регистрационный номер «1», а это означало, что мистер Буллит важнейшая персона в городе, ибо начальные номера на машинах выдаются в соответствии с общественным положением их владельцев. Мы приехали в его дом-дворец. В пути мы разговаривали мало, потому что Буллит был уже глубокий старик, бодро доживавший свой восьмой десяток, несколько глуховатый, и беседовать с ним было нелегко.

— Эх, если бы Галуа жил теперь и видел все эти автомобили, что бы он на это сказал? — задумчиво произнес Буллит.

Я был очень утомлен и на глупый вопрос глупо ответил:

- Некоторые вещи, однако, не изменились.
- Что-что? — переспросил мистер Буллит.
- Некоторые вещи не изменились! — почти закричал я.
- Что, например? — заинтересовался мистер Буллит.

Я не знал, как выпутаться из этого дурацкого разговора.

- Допустим, борьба за свободу! — воскликнул я.

- Что-что?

— Борьба за свободу, — повторил я, сознавая, что разговор наш становится нелепым.

— Ах, да. Вы правы. Мы теперь тоже боремся за свободу против Рузвельта. — Происходило это в период предвыборной борьбы Дьюи — Рузвельт.

Домой мы приехали к ужину. Помню, что нам подали на закуску кукурузу. Потом я спрашивал у многих американцев, знают ли они, как миллионеры едят кукурузу. Никто не смог мне точно ответить. Известно было только, что миллионеры едят початки, разрезанные на куски, и что их придерживают специальными металлическими зажимами. Но никто не знал о существовании такой удивительной машинки, через которую надо кукурузу пропустить для того, чтобы потом ее зерна сами, как жареные голубки, попадали в рот. У каждого из нас возле прибора стояла именно такая серебряная машинка. К следующим блюдам подали две корзинки с сорока индийскими приправами, из которых я знал только перец и соль.

После ужина мы поехали на «дерби». Надо было где-то поставить машину. Мистер Буллит вел долгие переговоры с человеком, который следил за порядком на стоянке. Например, велел поставить машину таким образом, чтобы он, мистер Буллит, мог в любую минуту уехать и чтобы возле его машины не стояла никакая другая: «Если вы будете ко мне внимательны, то и я вас не забуду». Я был уверен, что после такого несколько раз повторенного вступления человек, следивший за порядком на стоянке, будет щедро вознагражден. Вероятно, сын его сможет учиться в колледже, а сам он получит самое меньшее сто долларов. Вскоре, однако, выяснилось, что мистер Буллит вместо полагавшихся двадцати пяти центов дал ему пятьдесят центов!

Во время «дерби» мы сидели в ложе Буллита вместе с его внучкой, ее мужем и еще одной женщиной. Обе дамы были очень красивы. Вдали прогуливались лошади; время от времени люди без видимой надобности вставали и хлопали. Я понятия не имел, в чем смысл этого «дерби».

Я прислушивался к разговору дам. Они болтали о своих самолетах, об их марках так, как «светские» дамы обычно разговаривают о своих автомобилях.

После «дерби» мы вернулись во дворец. Мой хозяин показал мне свою библиотеку, состоящую из нескольких тысяч томов. Она была гигантская и воистину прекрасная. Мне хотелось взять какую-нибудь книжку на сон, но книг было столько, что у меня буквально глаза разбегались. Наконец я выбрал несколько книг и пошел в отведенные мне апартаменты. Мои комнаты были обставлены старинной стильной мебелью, стены увешены картинами, портретами. Мне запомнилось еще, что в ванной туалетная бумага была разноцветная и надушенная. Зато оконные рамы были неплотно пригнаны, в них дул ветер, и из-за шума я не смог заснуть в этих богатых, роскошных хорамах.

Назавтра, часов в одиннадцать утра, мы прибыли в контору Буллита; три секретарши поджидали его; одна наливала воду в стакан, другая растворяла в этой воде таблетку какого-то лекарства, третья стояла с карандашом в руке и блокнотом. Он милостиво выпил воду с таблеткой, продиктовал какое-то письмо, после чего все три секретарши ушли. Мистер Буллит показал мне свою библиотечку, посвященную Галуа; я разглядывал это собрание и одновременно прислушивался к телефонным разговорам Буллита. Он кому-то звонил — не знаю кому — и говорил, что такой-то человек очень ему понравился и ему надо дать лучшую должность, после чего он позвонил другому и сообщил, что такой-то человек ему не нравится и его надо уволить с занимаемой должности. На гигантском пись-

менном столе лежал пук карандашей с надписями: «Vote for Dewey» — «Голосуй за Дьюи».

Быт миллионеров быстро утомил меня, и, закончив работу, я решил, не откладывая, уехать в Нью-Йорк, а оттуда в Торонто. Мистер Буллит спросил, какой вид транспорта я предпочитаю. Я ответил: поезд. Миллионер удивился: почему не самолет? В то время нельзя было лететь, не заказав билета за несколько недель вперед, и даже если место было заказано, то не было уверенности, не займет ли его на основе сложного приоритета какой-нибудь полковник. Я объяснил это мистеру Буллиту, а он заверил меня, что постарается обеспечить мне место. Он кому-то позвонил, и действительно, место тотчас нашлось. Я полетел. Это было мое первое путешествие на большом самолете. Мистер Буллит сам вез меня на аэродром, причем мы опаздывали на десять минут, и он гнал как сумасшедший, желая показать мне, что самолет специально его ждет. Даже уезжая, я должен был восхищаться тем, какая важная персона мистер Буллит. Путешествие было отличное, но хоть самолет и летел совершенно спокойно, а вид огней Вашингтона и Капитолия показался мне волшебно-прекрасным, когда мы спустя два с половиной часа (вместо целых суток езды в поезде) прилетели в Нью-Йорк, я чувствовал себя пресытившимся, усталым от моего пребывания в Луисвилле.

Это был единственный миллионер из семейства «хищников», с которым меня столкнула судьба.

С книгой о жизни Галуа у меня было много трудностей, главным образом по моей же вине. Наконец она появилась в Америке и не вызвала там особого интереса. В общем, если говорить о капиталистических странах, она имела успех, как это ни удивительно, только в Японии, где вышла уже вторым изданием. Зато она вызвала большой интерес в социалистических странах, особенно в Польше и Советском Союзе. Очень обрадовало меня письмо Эйнштейна относительно этой книги. Привожу его целиком:

«Я в полном восторге от Вашей книги о Галуа. Это мастерский психологический этюд, убедительное историческое полотно, и в нем преклонение перед человеческим и духовным величием, связанным с редкою прямою характера.

Переведя эти замечания на хороший английский, Вы можете послать их в Ваше издательство для соответствующего использования. Причем это сказано не просто так, а выражает мое искреннее восхищение. В особенности действенным я нахожу правдивое изображение мрачного фона этой драмы, убеждающее благодаря извечности ситуации, в которой находится человек исключительный. Вероятно, это и побудило Вас взяться за перо, мне понятны Ваши чувства».

* * *

Профессор Синг уехал из Канады еще во время войны, получив лучшую работу в Соединенных Штатах. В конце концов он вернулся в Ирландию, «приземлился» в своем родном Дублине. Наш скромный институт, ранее самостоятельный, стал частью Математического института, директором которого был декан Битти. Следует помнить, что положение декана в Польше иное, чем в Канаде и Соединенных Штатах. Там ректор университета назначает декана пожизненно и облагает его большой властью.

Декан Битти был человек пожилой, довольно ограниченный, как математик ниже посредственности, в целом человек порядочный, хотя и способный сделать гадость, впрочем скорей по глупости, чем от дурного характера. Декан Битти очень слабо разбирался в научной работе своих подчиненных. Однако отношения между нами были приличные, даже хорошие, иногда сердечные — главным образом благодаря либеральным взглядам Битти.

Я придавал очень большое значение созданию в Торонто сильного центра теоретической физики. Это была единственная в то время высшая школа в Канаде, которая присуждала докторскую степень в этой области знания. Я считал, что у меня есть талант преподавательский при довольно умеренном научном таланте. В самом деле, во время моего пребывания в Канаде Торонто стал единственным в

стране научным центром, где готовили кадры физиков-теоретиков. Но ни один черт этим не интересовался. Молодым ученым, прошедшим у меня докторантуру, предоставляли должности в других канадских центрах или в Соединенных Штатах — только не в Торонтоском университете. На мои усиленные просьбы увеличить наш коллектив я получил от очень богатого Торонтоского университета такой ответ: «Мы не можем, у нас нет средств». В конце концов после моих долгих настояний университет согласился принять моего лучшего ученика на освободившуюся должность. После того как он год проработал у нас, другой университет, в Соединенных Штатах, предложил ему жалование на восемьсот долларов выше. Мой молодой коллега сказал, что охотно останется в Торонто, если университет повысит ему жалование хотя бы на двести долларов, доказав этим, что как-то его ценят. Несмотря на мои усиленные просьбы, ректор университета Сидней Смит отказал.

В Канаде каждая провинция имеет свой университет. Самые крупные — университет Мак-Гилла в Монреале и университет в Торонто. В провинции Манитоба есть университет в ее главном городе Виннипеге. В последний день академического года каждый университет приглашает кого-нибудь из профессоров — выступить с речью перед студентами, получающими дипломы. Я был уже настолько известен в Канаде, что меня пригласили произнести такую речь в Виннипеге. В своей речи я коснулся той опасности, какую влечет за собой атмосфера, не благоприятствующая научной работе. Я сказал, что если и впредь способнейшие будут уезжать из Канады в Штаты, то согласно законам биологии умственный уровень в Канаде понизится. И добавил шутивно: «Если мы не изменим этой политики, то через тысячи лет Канада станет страной идиотов». В тот же день в городе вышли газеты с заголовком: «Инфельд предсказывает, что Канада будет страной идиотов».

Отсутствие уважения к научным занятиям, к авторитету ученого было характерно для Канады и, быть может, в еще большей мере для Соединенных Штатов. Меня все это сильно обескураживало. Я понимал, что мне не удастся изменить атмосферу. И действительно, отношение к ученым изменилось лишь после того, как Советский Союз запустил в космос первый спутник.

* * *

В Нью-Йорке я познакомился с Юлианом Тувимом. Между нами завязалось нечто вроде дружбы. Во всяком случае я почувствовал к Тувиму большую симпатию, к которой примешивалось восхищение и даже преклонение. В 1945 году Тувим проводил каникулы в Торонто. Однажды, зайдя к нему, я застал его в состоянии лихорадочного возбуждения:

— Вы слышали последние новости? Трумэн сообщил, что на какой-то японский город сброшена атомная бомба.

Я обомлел. Никак я не ожидал, что Соединенные Штаты так быстро создают атомную бомбу, да еще сбросят ее на агонизирующую Японию.

Несколько месяцев газеты полны были одних и тех же непрерывно повторяющихся громких фраз: «Величайшее изобретение со времен изобретения огня!», «Бог доверил нам заботу об этой великой тайне!», «Мы обязаны хранить великую тайну, которая известна только нам!», «Пока мы одни владеем этой тайной, мы в безопасности!», «Мы должны остерегаться шпионов, которые захотят вырвать у нас эту тайну!»

Генерал Робертс, шеф проекта «Манхеттен» (так назывался проект атомной бомбы), уверял, что Советский Союз будет обладать этой тайной самое раннее через двадцать пять лет, а может быть, и никогда. Никто, кроме меня, в Торонто всерьез не выступил против этого повального безумия. Началось с того, что группа профессоров вместе с ректором университета пригласила меня прочесть лекцию об атомной бомбе. Я очень коротко говорил о ядерной физике, а потом перешел к той идиотской шумихе, которая поднялась вокруг этого изобретения. Я старался объяснить, что не существует секрета атомной бомбы, как не существует секрета, как быть хорошим мужем, как нельзя сделать секрета из законов физи-

ки. Затем я сказал, что у Советского Союза есть хорошие физики и они безо всякого шпионажа сконструируют атомную бомбу через три, самое большое через четыре года. Слухи об этой лекции разнеслись очень широко. С этого момента у меня не было отбоя от приглашений прочесть лекцию об атомной бомбе. Я выступал около пятидесяти раз, изъездил вдоль и поперек всю Канаду. Кроме того, я написал брошюру на эту тему и много раз выступал по радио. Я мог бы читать эту лекцию даже во сне или стоя на голове. У меня накопился целый запас анекдотов, связанных с моими выступлениями. Самый смешной, пожалуй, следующий. Однажды я выступал перед очень богатыми людьми в Торонто. После лекции, главная цель которой состояла в доказательстве того, что не существует тайны атомной бомбы, один из слушателей спросил меня: «Что же нам делать, дабы застраховать эту тайну от России?»

Но одновременно у людей, которым было ненавистно то, что я проповедовал, все усиливалась неприязнь ко мне. Если бы Советский Союз создал атомную бомбу в названный срок, возник бы вопрос, откуда я это знал. Не вел ли я уже тогда закулисные переговоры с Россией?

* * *

Во время войны Общество канадско-советской дружбы созвало конгресс, на котором я был председателем научной секции. В ее работе принимали участие Стефансон, знаменитый арктический путешественник, и Норберт Винер, один из основоположников кибернетики. Винер сделал на этой конференции интересный доклад о советской математике.

Я познакомился с Винером еще до конгресса, так как его дочь училась в Торонто и он часто бывал в этом городе. Человек моего возраста, низкого роста, полный, круглощекий; в его маленьких глазках светилось восхищение внешним миром и явлениями, которые в нем разыгрываются, хотя он и смотрел на них через очень толстые стекла. Винер охотно рассказывал о себе. Его отец был преподавателем русского языка в Гарвардском университете — одном из лучших университетов в Соединенных Штатах. Насколько я помню, старик Винер — еврей, выходец из России. На четырнадцатом или пятнадцатом году жизни Норберт Винер поступил в университет, а восемнадцати лет получил докторскую степень. Затем отправился в Геттинген, эту Мекку математиков, для дальнейших занятий. Мне рассказали анекдот, относящийся к эпохе его пребывания в Геттингене. Винер делал доклад о своей работе, на котором присутствовал Гильберт, один из величайших математиков нашего столетия. После семинара, как и каждую неделю, все пошли в пивную, где Гильберт заказывал только пиво и две булочки, и никто не решался заказать что-либо другое. Пока пили пиво, пришел туда профессор Клейн, и Гильберт приветствовал его такими словами:

— Господин профессор, жаль, что вас не было на сегодняшнем докладе!

А Винер подумал: «Что же приятного он обо мне скажет?»

— Мы слушали много интересных докладов, бывали доклады разные, одни лучше, другие хуже, но такого плохого доклада у нас еще никогда не было!

А вот другой анекдот. Однажды, прохаживаясь возле МТИ (то есть Массачусетского технологического института), Винер встретил своего ассистента и завел с ним разговор. Они кружили возле места их встречи, а на прощанье Винер спросил:

— Где мы с вами встретились? В каком направлении я тогда шел?

— Почему вы спрашиваете, профессор?

— Потому что тогда я смогу сделать вывод — шел ли я обедать или я уже пообедал.

Однажды во время какого-то съезда мы встретились в Бостоне и без конца разговаривали с этим необычайно общительным человеком. Он рассказывал мне содержание детективного романа, который он собирался написать и в котором никому не удастся найти убийцу. Я помню только, что речь шла о хитроумном

использовании саней. Мы заболтались до трех часов ночи. Когда же, смертельно усталый, я наконец стал прощаться с ним, то услышал вопрос:

— А что, сейчас еще идет какое-нибудь заседание, на которое мне следовало бы пойти?

— Господин профессор, — ответил я, — теперь три часа ночи. Мы встретимся с вами сегодня в десять часов на утреннем заседании.

Тогда он вручил мне рукопись своей книги о кибернетике и попросил прочесть ее. Я взял рукопись, а в девять, когда мы встретились за завтраком, он спросил, прочел ли я уже его книгу.

В другой раз, когда Винер был у меня в Торонто, он блистательно рассуждал о философской книге, которую он пишет, и о математических машинах. Он сказал тогда, что человек может придумать такие машины, перед которыми у него не будет никакого превосходства. Мы спросили его, возможно ли, чтобы машина сумела сама себе ставить задачи, придумывать новые проблемы. Он со всей решительностью ответил «да»: машина сама может ставить перед собой задачи и решать их.

Как-то мы попросили его прочесть лекцию в Торонтском университете. Аудитория была переполнена. Я немножко опоздал и сел на последней скамье, где еще нашлось свободное место. Винер подошел к моей скамье и всю лекцию шептал мне на ухо, совершенно не считаясь с публикой.

Одна из его лекций произвела на всех нас большое впечатление, так как он облек свою тему в довольно популярную форму; он поделился своими идеями о кибернетике, тогда еще новыми, и мы попросили его повторить лекцию и изложить ее еще более популярно, чтобы мы могли пригласить врачей, инженеров, биологов. Винер согласился, но уже перед самой лекцией сказал мне: «Сегодня я буду говорить о другом» — и начал читать такую сугубо математическую лекцию, что никто из врачей и биологов, которые специально пришли его послушать, ничего не понял.

Когда после долгого отсутствия он зашел ко мне в Торонто, то первые слова, которые он произнес, входя в мою комнату и даже не успев пожать мне руку, звучали так: «Надо изменить закон Планка».

Он любил рисоваться знанием китайского языка и уверял, будто изучил его во время годичного пребывания в Китае. Может быть, это и правда!

Это был несомненно гениальный человек, но не в том значении, как мы говорим о гениальности Эйнштейна. Гениальность Эйнштейна была спокойная, благородная, неторопливая, а у Винера горела голова, горела она у него от идей великих и вздорных. Ему следовало иметь несколько ассистентов специально для того, чтобы они отличали его серьезные идеи от несерьезных.

* * *

Польская эмиграция в Канаде в основном делилась на две группы. Одна была прогрессивной, состояла из коммунистов или сочувствующих коммунизму, из людей разумных, понимавших, что будущее Польши связано с Советским Союзом. Другая, значительно более многочисленная, группа была настроена враждебно к Советскому Союзу. С первой группой я поддерживал контакт. Даже делал доклады для канадских рабочих польского происхождения. (Недавно я получил милое, трогательное письмо из Торонто от одного из моих тогдашних слушателей, он вспоминает о моей лекции теперь, спустя двадцать лет!) Со второй группой я соприкасался мало. Собственно говоря, я помню о встречах только с двумя лицами из этой группы. Одним из них был бывший польский консул в Германии, которого судьба забросила в Монреаль: время от времени он приезжал в Торонто навестить меня.

Это был человек довольно интересный, интеллигентный, не без чувства юмора, но настроенный враждебно к Советскому Союзу. Он старался убедить меня,

что польская армия войдет в Польшу через Балканы и станет источником новой силы, так называемой «третьей силы», которая установит равновесие между Россией и Германией.

Когда я сообщил ему в Монреаль, что намереваюсь подписать «призыв к разуму» (который в то время готовил Оскар Ланге), бывший консул приехал ко мне и уговаривал этого не делать, просил подождать хотя бы с месяц. Его настояния имели обратное действие, они убедили меня в том, что призыв надо написать немедленно.

Хуже обстояло у меня дело с профессором Халецким. Я встретился с ним в Торонто. Профессор Халецкий был президентом так называемой Польской академии в изгнании, которая объединяла всех польских ученых, находившихся во время войны за пределами родины. Пан Халецкий приехал в Торонто с лекцией. Тогдашний ректор университета мистер Коди пригласил меня вместе с Халецким на ужин. Коди был глубокий старик, уже собиравшийся выйти на пенсию, бывший пастор, по убеждению консерватор, в прошлом министр просвещения провинции Онтарио. Он числился почетным членом нашей Академии в изгнании. Человек мягкий, очень ограниченный, уже в силу своего возраста задетый склерозом. За ужином разговор у нас плохо клеился, а потом мы пошли на лекцию Халецкого. Лекция, построенная по всем правилам риторического искусства, дышала ненавистью к Советскому Союзу; я вернулся домой удрученный, разбитый и тотчас написал Халецкому письмо, уведомляя его, что выхожу из руководимой им Академии, а копии письма послал в редакции канадских газет и в редакцию польского журнала.

Почти одновременно я написал объективную (так мне кажется) статью о Польше для литературного ежемесячника «Форум».

В этой статье я выступил на защиту интересов польского государства (это было еще до того, как канадское правительство признало Польскую Народную Республику). Статья моя в большей своей части, хотя и не полностью, была перепечатана в Советском Союзе одновременно «Правдой» и «Известиями» и появилась во многих канадских газетах.

Вскоре после образования правительства национального единства были урегулированы дипломатические отношения между Польской Народной Республикой и Канадой. Как раз в тот момент я читал в Оттаве лекцию об атомной бомбе. Воспользовавшись этим случаем, я установил контакт с польской миссией в Канаде. Посланником тогда был доктор Фидеркевич. Миссия помещалась в двух комнатках оттавской гостиницы, которые одновременно служили жильем посланнику. Я познакомился с ним, мы вместе пошли на ленч, во время которого он рассказал мне, что польские сокровища — меч Болеслава Храброго, аррасы и другие ценные реликвии — находятся в Канаде. Сначала я было подумал, что он шутит. Однако оказалось, что это правда. Теперь, когда я пишу эти строки, национальные сокровища Польши наконец-то вернулись на родину.

Вся польская миссия присутствовала на моей лекции, и председатель собрания с трибуны приветствовал польского посланника.

После Фидеркевича посланником стал Мильникель, впоследствии посол Польской Народной Республики в Англии; меня с ним связывали и до сих пор связывают дружеские отношения. Посланник Мильникель предложил мне тогда съездить на несколько недель в Польшу. Он передал мне приглашение польского правительства, меня просили прочитать несколько лекций в польских университетах и одновременно дать консультацию относительно того, как организовать в Польше изучение физики.

Академический год в Канаде очень короткий — он кончается примерно 15 апреля, — так что в конце апреля 1949 года я уже смог — впервые за тридцать лет — поехать в разоренную войной Европу.

Я думал о поездке на родину как об интересном четырехнедельном путешествии, после которого я вернусь в Торонто к прежней жизни. Я был уверен, что

до самой смерти останусь в Канаде, что там меня и похоронят. Канада, в общем, мне нравилась. Это благоустроенная страна, жизнь там у меня была приятная, спокойная, особенно для семьи. Мы жили в маленьком домике с садом в квартале вилл. Мои дети, Эрик и Иоася, учились в хорошей школе, которая находилась в близком соседстве от нашего домика; жена заказывала все покупки по телефону, и мы ни в чем не нуждались. Я не предполагал, что когда-нибудь покину эту страну, мой дом, друзей, число которых увеличивалось с каждым годом.

О том, что думали люди по поводу моей кратковременной поездки в Польшу, можно судить по замечаниям одного из моих коллег:

— Как? — сказал он. — Вы не боитесь ехать в Польшу? Ведь вас оттуда не выпустят.

— Почему?

— Но ведь вы можете им оказаться полезны. Вас наверное не выпустят...

* * *

Со смешанными чувствами летел я в Польшу, в Варшаву. Польша — это место, где в гитлеровских лагерях погибли мои родные, даже не знаю, где именно; это место, где умерла моя младшая сестра, лучший любимый друг, прелестия и обаяния которой не забудет никто из тех, кто ее знал. С другой стороны, я чувствовал, что нынешний государственный строй в Польше мне значительно ближе и симпатичнее, чем режим межвоенного периода.

В Варшаве меня встретили: Михайлов — позднее я узнал, что он является начальником отдела науки в министерстве просвещения, — и Маевский, ассистент профессора Бялобжеского в Варшаве.

Мы ехали по улицам, где развалины перемежались одноэтажными домиками. Когда мы очутились на широкой улице, сплошь загроможденной руинами, я спросил, как она называется, и узнал, что мы едем по Маршалковской, одной из самых крупных артерий старой Варшавы. Потом мы свернули на улицу Новый Свят, уже частично отстроенную, но с еще не оштукатуренными домами. Наконец мы попали в гостиницу «Бристоль», где меня поместили. Михайлов и Маевский рассказали мне вкратце о состоянии теоретической физики в Польше. Оказалось, что состояние ее весьма тяжелое. В Варшаве тогда был один профессор физики — Бялобжеский, пожилой человек. Я знал его еще по межвоенному периоду. Он не внес в физику ничего нового и не создал своей школы. Кроме него, был профессор теоретической механики — профессор Рубинович, единственный в Польше физик-теоретик, известный за границей. В Кракове был профессор Вэйсенгоф, который тогда, кажется, уехал в Швейцарию; ему было шестьдесят лет. В Познани профессор Шенковский, мой бывший шеф, ранее профессор в Вильнюсе, человек лет пятидесяти. Только два молодых профессора из Торуня, фамилии которых я знал по оттискам их работ, представляли новое послевоенное поколение.

В тот же самый день я нанес визит Тувиму. Он приехал в Польшу за несколько лет до меня. На дверях его квартиры висела записка примерно такого содержания: «Абсолютно никого, решительно, ни под каким предлогом не принимаю без предварительного договоренности по телефону. Мой номер такой-то и такой-то». Я раздумывал, войти ли или спуститься вниз с седьмого этажа и позвонить по телефону, и решил попытать счастья — нажал кнопку звонка. Мне отворила сиделка. Я спросил, могу ли войти. Она впустила меня без возражений. Я вошел прямо в комнату, так как ни одна душа не выразила желания сообщить хозяину о моем приходе. В комнате было полно людей. Похудевший и изможденный Тувим сидел, повернувшись ко мне спиной, и меня не видел. Все разговаривали об операции желудка, которую перенес Тувим, и о том, какую он должен соблюдать диету. На меня никто не обращал внимания. Вдруг Тувим обернулся и вздрогнул от неожиданности, ему показалось, что перед ним возник материализовавшийся дух из Канады...

Я читал лекции в Варшаве, в Кракове и во Вроцлаве. Варшава жила очень активной жизнью, хотя и насчитывала всего несколько сот тысяч жителей. Город был мертвым, но жители его были полны жизни. Женщины отличались эlegantностью, порожденной скорей изобретательностью, чем тугим кошельком. Когда я говорил, что не понимаю, где живут люди, которых я вижу на улице, мне отвечали: «Ах! Вас не было в Варшаве четыре года назад! Вы увидели бы только горы развалин, через которые невозможно было пробраться. Вы бы вообще не увидели улиц, трамвайные рельсы исчезли, ничего — одни только камни да камни. Сто тысяч человек жило тогда главным образом на Праге. Там в одном здании было расквартировано все польское правительство...»

После пребывания в Варшаве приятно было увидеть Краков, город без развалин, грязный, но по-прежнему красивый, хотя уже ставший чужим. Я не встретил там никого из того множества людей, которых знал в годы молодости.

Я читал лекции также во Вроцлаве. Город показался мне безобразным. Старые профессора приняли меня сдержанно. Вежливо, соблюдая приличия, но с плохо скрываемой неприязнью. Зато молодые люди льнули ко мне.

Работники министерства просвещения приняли меня сердечно, куда сердечнее, чем так называемые академические круги. Из людей старшего поколения со мной был очень мил профессор Пеньковский, весьма много сделавший для польской экспериментальной физики, особенно в межвоенный период. Он был еще полон сил, человек, не терпящий возражений, но великолепный организатор, разносторонне образованный и с большим обаянием.

Мне многое не нравилось в Польше. Прежде всего меня отталкивала подозрительность по отношению к людям, приехавшим с Запада. Затем низкий жизненный уровень и низкий уровень науки, даже более низкий, чем в Канаде. Но многое мне нравилось. Прежде всего люди — интеллигентные, живые, с большим чувством юмора. Хотя дело с юмором обстояло не так-то просто. Его часто теряли в тот же момент, как поднимались на трибуну.

Но жизнь подготовила меня к тому, чтобы стать сторонником социализма, не придавать чрезмерного значения недостаткам и сохранять в памяти главным образом все хорошее. Короче говоря, несмотря на те недостатки, которые я видел, и те, в которых я, возможно, не отдавал себе полного отчета, я влюбился в эту Польшу. Мне было досадно, что уже подходит к концу мое пребывание на родине, мне тяжело было уезжать. Я жалел, что больше не услышу смеха моей старой приятельницы Викты, и не услышу родной речи, и не увижу больше многострадальную страну, где так много развалин. Поэтому я обрадовался, когда в последние дни моего пребывания вице-министр Красовская предложила мне вернуться в Польшу. Огромная динамика ее развития — вот что больше всего привлекало меня в Польше. Я видел, что завтрашний день будет лучше, чем сегодняшний...

* * *

Я приехал в Польшу в мае 1950 года. Занятия в университете еще не закончились, и я присутствовал на заключительных семинарах по теоретической физике. Студенты читали и реферировали устаревшую книгу по теории поля. Семинар заключался в том, что один из студентов излагал какую-либо главу, плохо понимая то, о чем он говорит, и никто его ни о чем не спрашивал. Царила атмосфера сонной скуки, я старался, как мог, ее рассеять, задавая студентам вопросы.

Семинары по теоретической физике происходили каждые две недели, а кроме того, тоже два раза в неделю, старый профессор вел семинар по философии физики. Семинар этот собирал не много слушателей, к тому же они резко делились на две группы: одни — их было большинство — питали к старому профессору симпатию, хотя он был известен своей религиозностью, а остальные — то есть меньшинство — придерживались более прогрессивных взглядов, и руководитель семинара не пользовался их расположением. Но вся аудитория, независимо от своих взглядов, дружно изнывала от тоски.

Таково было мое первое впечатление от преподавания физики в высших учебных заведениях Польши. Вообще в наших университетах физику тогда изучали только на первых трех курсах, и естественно, что в таких условиях не могло быть и речи о лекциях на специальные темы, а семинары, на которых я побывал, отнюдь не носили научного характера. Да и вообще пока еще трудно было говорить об активной научной работе.

Мне отвели маленькую комнатку (сперва я сидел в ней один, потом вместе с секретаршей), а в смежной передней поселили двух моих ассистентов, приехавших из Кракова и Познани специально, чтобы сотрудничать со мной. Так вот, тихо и скромно, в 1950 году родился Институт теоретической физики, в котором теперь работают десятки научных сотрудников.

Вскоре после моего приезда министерство поручило мне организовать летний курс лекций — своего рода конференцию физиков — в Закопане, на редкость красивой гористой местности. Здесь я познакомился, можно сказать, со всей польской физикой. С разных концов страны съехались ученые, чтобы принять участие в нашей работе. И хотя мне пришлось затратить немало сил на устранение всяких организационных неурядиц, конференция прошла успешно, я смог оценить возможности развития физики в Польше и познакомился с молодыми людьми, которые внушали большие надежды.

И вот начался новый учебный год. Внезапно и совершенно для меня неожиданно я снижал широкую популярность. Польские и иностранные газеты и радиостанции разнесли весть о том, что я покинул Запад и вернулся на родину. Популярность эта помогла мне кое-что сделать для нашего института. Вначале, как я уже говорил, он был так мал, что умещался в одной комнате. Мне было ясно, что институт должен разрастись, а значит, прежде всего надо найти для него помещение. В бытность мою на американском континенте я часто жаловался, что руководители научных учреждений заботятся только о фасаде здания, а уровень науки их мало занимает. Между тем достаточно и скромного помещения, если в нем работают подходящие люди. Все это верно, но есть граница, за пределами которой вопрос о досках, комнатах, лекционных залах и прочем приобретает первостепенное значение. После долгих дискуссий мы с профессором Пеньковским пришли к мысли, что к зданию Института экспериментальной физики надо пристроить новое крыло, половину отвести для экспериментальной физики, половину для теоретической.. Весной 1952 года мы перебрались в новое крыло, где в нашем распоряжении оказалось четырнадцать комнат, прекрасная библиотека, общая для всего института, аудитории для лекций и семинаров.

Интересно сравнить результаты моей работы за двенадцать лет в Канаде с результатами, полученными за такой же срок в Польше. В Канаде все двенадцать лет мы работали в одном и том же грязном маленьком домике. Когда я просил, чтобы его хотя бы покрасили и убрали грязь, то каждый раз слышал в ответ: «Не стоит, ведь дом предназначен к сносу».

Здесь, в Варшаве, я был уверен, что помещения, которое отвели институту, хватит лет на пятнадцать. Но я не представлял себе темпов прогресса в социалистической стране, когда ехал в Польшу. Спустя всего три года нам стало тесно. Мы построили новое здание, куда институт переехал в 1962 году.

В Торонто было пять профессоров теоретической физики; один за другим они бросали наш институт. К 1950 году нас осталось только двое, а в мае того же года мы оба одновременно покинули институт. В Канаде я воспитал много молодых физиков, ни одного из них не оставили при университете. Как я ни старался, мне не удалось создать в Торонто серьезный научный центр.

А в Варшаве, когда я приехал сюда, то оказался самым молодым из троих профессоров физики. Теперь один из них умер, другой ушел на пенсию, а я в свою очередь стал самым старым профессором. Следующий за мной по возрасту — на двадцать пять лет моложе меня. В целом состав нашего института такой (1963 год): шесть профессоров, шесть доцентов, причем два из них уже ожидают кафедру, много докторов, две преданные делу секретарши, работающие едва ли

не с основания института. Мы занимаемся различными теоретическими проблемами, наших профессоров, доцентов и докторов постоянно приглашают за границу, и мы поддерживаем живые контакты как с Востоком, так и с Западом.

К концу моей жизни я достиг того, к чему стремился всю жизнь: работаю в хорошем институте теоретической физики! И институт этот существует в Польше!..

Вот три условия, которые нужны для создания такого института.

Опирайтесь на помощь правительства, готовя новые кадры, и (особенно на первом этапе) располагать средствами для поездок молодых ученых за границу...

Не мешать молодым. Напротив, помогать им, предоставляя хорошие условия для научной работы.

Искать молодежь, способную двинуть науку дальше, чем мы, старики, и широко распахнуть перед нею двери.

Этого достаточно. Тогда можно, даже перевалив за пятый десяток, когда необходимая научная фантазия замирает, создать хороший институт.

* * *

А теперь коснемся другой стороны медали — тех трудностей, с которыми я столкнулся и которые были связаны преимущественно, а пожалуй, даже исключительно, с периодом культа личности Сталина.

Я приехал в Польшу в тот момент, когда шла подготовка к так называемому Конгрессу польской науки. Не знаю, у кого персонально возникла идея созыва такого конгресса. К сожалению, в этой невеселой истории я сыграл определенную роль в качестве вице-председателя комиссии по физике и математике. Подготовительные заседания у физиков и математиков проходили отдельно. На заседании физиков выступали два человека — оба посредственные ученые, догматически мыслящие «марксисты», они держались весьма бестактно, старались оказать давление на аудиторию, утверждали, будто до войны физики в Польше и в помине не было, она только теперь теперь начинает развиваться в нашей стране, для нас самое важное — штудировать философские труды и т. д. Такими выступлениями они унижали своих коллег. Я не мог этого вытерпеть и без обиняков высказался против подобных тирад. Тотчас развязались языки и у других участников заседания.

Потом один из упомянутых докладчиков жаловался на меня, уверяя, что все было заранее задумано, что я дал условный сигнал и за мной последовали другие профессора, ибо, будучи известным и уважаемым прогрессивным деятелем, я своим выступлением якобы прикрыл более консервативных коллег...

Другая сложность была связана с именем Эйнштейна.

Вскоре после приезда меня попросили написать какую-нибудь книгу. Я предложил перевести с английского мою книгу об Эйнштейне и очень удивился, когда издательство вернуло мне представленный экземпляр. Лишь позднее я узнал, что в Польше, как и в Советском Союзе, Эйнштейна тогда считали идеалистом. Почему? Кажется, в нашей книге «Эволюция физики» мы утверждали, будто все понятия являются свободным продуктом человеческого разума. Что это, в сущности, означает? Только то, что наше представление о мире изменяется с течением времени, что, скажем, пятьдесят лет тому назад мы ничего не знали о протонах, мезонах, нейтронах, что наши взгляды на материальный, объективный физический мир различны в различные периоды. Оно зависит от того, в какой период мы изучаем историю физики. В XIX веке были одни взгляды, в XX — другие, а теперь тоже они непрерывно изменяются. Совершенно другими были они до знакомства с теорией квантов и опять-таки другими после того, как эти теории были сформулированы.

Второй упрек — связанный с первым — основывался на том, что Эйнштейн, кажется, писал, что с точки зрения теории относительности безразлично, движется ли Земля вокруг Солнца, или Солнце движется вокруг Земли. А это значит, что Коперник был не прав, что нет разницы между теорией Птолемея и Коперника и, стало быть, Эйнштейн выступает против Коперника.

В Польше такой упрек звучал особенно резко, потому что у нас с давних пор существует культ Коперника не только как величайшего ученого всех времен, но и как величайшего человека... Разумеется, аргументация противников Эйнштейна была необоснованной, поскольку теория Коперника и теперь сохраняет значение, но только в определенных границах. Старые теории справедливы, если мы ограничиваемся фактами, которые они объясняют. Но каждая теория теряет свой смысл, когда сталкивается с фактами, которых не может объяснить, и уступает место новой теории, которая эти факты объясняет. Так было с теорией гравитации. Коперник был прав: мысль, что Земля вращается вокруг Солнца, действительно объясняет многие факты значительно лучше, чем утверждение, будто Солнце вращается вокруг Земли. Но это очевидное толкование приобрело глубокий смысл после того, как к теории Коперника добавилось великое открытие Кеплера, которое только и позволило правильно понять теорию Коперника.

Теория Эйнштейна не изменяет взглядов Коперника на движение Земли вокруг Солнца, она только иначе их формулирует.

Теория Эйнштейна была необходима прежде всего потому, что вновь открытые факты не укладывались в теорию Коперника, Кеплера и Ньютона, и факты эти объясняет теория Эйнштейна. Эйнштейн следующим образом заново формулирует точку зрения Коперника на движение Земли: мы должны избрать такую координатную систему, чтобы она и в бесконечности оставалась эвклидовой. Так сформулирована идея Коперника на языке Эйнштейна... И стало быть, утверждение, будто теория Коперника идет вразрез с теорией Эйнштейна, попросту ошибочно.

Пример этот показывает также, как несправедлив первый упрек, сводящийся к тому, что наши понятия якобы не являются в известном смысле свободным продуктом человеческого разума. Однако же Эйнштейн сформулировал идею о гелиоцентрической системе мира, то есть коперниковскую идею, в форме, совершенно отличной от той, в которую ее облек Коперник.

Необоснованность этих упреков связана с проблемой научной изоляции в годы культа личности Сталина. Между Востоком и Западом не было интеллектуального взаимодействия, столь необходимого для быстрого и правильного развития науки. Ибо наука интернациональна. Я никогда не сомневался в высоком уровне научных достижений в Советском Союзе, но считаю, что в результате изоляции у некоторых советских ученых нарушались пропорции в оценке ряда явлений.

В Советском Союзе, например, в те годы была опубликована статья о теории относительности, утверждавшая, будто Эйнштейн, собственно говоря, совершил плагиат, а именно — скопировал теорию Лобачевского. Таким образом, все то, что в теории Эйнштейна справедливо, открыл еще Лобачевский... Разумеется, вполне вероятно, что одновременно со Стефенсоном, а может и раньше, русский изобретатель придумал паровоз. Но существенно то, что Запад был к этому подготовлен, его цивилизация достигла такого уровня, когда изобретение паровой машины оказалось реализуемым...

До 1953 года мне была предоставлена полная свобода в чтении лекций о теории относительности и высказывании своего мнения. Но в 1953 году положение несколько усложнилось. Быть может, во мне глубоко укоренилась привычка к самостоятельности суждений и одного лишь факта, что какая-нибудь научная теория выдвинута советским ученым, еще недостаточно для доказательства ее истинности. Ни Лепешинская, ни Лысенко не были для меня авторитетами.

Некоторую роль в изменении моего положения в официальном мире сыграла дискуссия с академиком Фоком.

Фок — выдающийся физик-теоретик, ученый очень высокого класса — выступил со своим вариантом теории Эйнштейна, сохранив ее математический скелет, но полагая, что он значительно ее улучшил. Все известные физики в Советском Союзе — это выяснилось позднее — были против экспериментов Фока. Однако у нас считали, что поскольку Фок — советский физик, то, следовательно, правота на его стороне.

Я познакомился с Фоком летом 1952 года. Контакты между научным миром Польши и Советского Союза тогда были очень ограничены. Я выезжал в Швейцарию, Швецию, Норвегию, Англию, Италию, но, как мне того ни хотелось, меня не посылали в Советский Союз. И вообще в тот период мне не довелось познакомиться ни с одним советским физиком.

После того как в 1950 году удачно прошла конференция польских физиков в Закопане, мы стали созывать такие конференции каждый год. И поскольку я был их организатором, то в просторечии физики окрестили их «инфельдиадами». На «инфельдиаду», состоявшуюся летом 1952 года в Спале, были приглашены советские ученые. Приехала делегация в составе трех физиков во главе с Фоком. Вот тогда-то я и познакомился с ним и его коллегами.

В связи с приездом гостей конференция, разумеется, носила особенно торжественный характер... Как председатель организационного комитета, открывая конференцию, я приветствовал советских делегатов, в своем выступлении я объективно разобрал научные достижения Фока, которые действительно велики. В ответ Фок выступил с краткой, очень милой речью.

Отношения между нами были более чем корректными, я с ним спорил, стараясь убедить его в том, что он не прав, но, разумеется, безуспешно. В официальном порядке я мог лишь очень сдержанно отзываться на его возражения (высказанные, впрочем, в весьма вежливой форме) против того, как Эйнштейн понимает уравнение движения. Должен добавить, что проблему движения Фок решил упрощенно, не ознакомившись с фундаментальной работой Эйнштейна, Гофмана и моей. Решил он ее к тому же позднее, чем мы, и только для ньютоновского движения, что было несравненно легче того решения, которое дали мы и которое Фок совместно со своей ученицей получил лишь через восемь лет после нас.

Это было в 1952 году, а в 1953-м, как я уже говорил, атмосфера в научном мире стала мало приятной.

По распоряжению президента Берута в апреле 1952 года была создана Польская Академия наук. Накануне этого события Берут пригласил меня в Бельведер. Впервые, не считая предыдущих коротких встреч, я разговаривала больше часа с главой государства. Он произвел на меня очень благоприятное впечатление, показав себя как человек, ориентирующийся в проблемах науки и относящийся к ним с должным уважением. Берут, между прочим, сказал, что, находясь в тюрьме, прочитал мою книгу «Новые пути науки», и весьма похвально о ней отозвался.

Потом, когда была создана Академия, в нее, как правило, вошли люди достойные. Но наряду с ними туда попали и люди, чьи научные заслуги мало кому известны, и люди, которым дали звание академика по соображениям, непосредственно с наукой не связанным. Беседуя со мной, президент спросил мое мнение относительно того, кто должен быть членом Академии по разделу физики и математики. Затем он сказал мне, что возглавит Академию профессор Дембовский, а генеральным секретарем будет профессор Мазур. До войны Дембовский был профессором в Вильнюсе; я слышал, что он человек прогрессивных взглядов, и знал, что он написал хорошую популярную книгу, но с его научной работой я был мало знаком. Когда же я лично с ним познакомился, он произвел на меня странное впечатление. На первом заседании президиума Академии Дембовский произнес приветственную речь, в которой заявил, что польские ученые должны идти по следам Лысенко и Лепешинской, и ни одним словом не упомянул ни о Смолуховском, ни о Складовской-Кюри...

В журнале «Мысль философична» появилась работа Фока в переводе с русского, представлявшая его собственную интерпретацию теории относительности. Если судить по этой работе, то именно Фок открыл принципы движения теории относительности, а мы, опубликовав их годом раньше, совершили плагиат. Я не сдержался и написал в «Мысль философичну» коротенькую статью-письмо с опровержением. Кажется, в редакции целую ночь шла дискуссия по поводу того, помещать ли это письмо, или не помещать; в конце концов напечатали. Позднее я на-

писал статью в защиту Эйнштейна, и ее тоже после некоторой дискуссии напечатали в том же журнале...

Мои огорчения, по сути дела, были очень незначительны по сравнению с успехами. Ведь в те годы я организовал научный институт. Министерство выполнило все мои пожелания, и институт вел работу во многих направлениях, так как я считал, что, помимо теории относительности, нам нужно развивать и другие разделы нашей науки — например, физику твердого тела и ядерную физику.

* * *

...В 1955 году я неожиданно получил из Москвы приглашение на конференцию, посвященную теории поля. Академия наук СССР пригласила по одному представителю от каждой страны социалистического лагеря, и от Польши поехал я. Наконец-то сбывается мое давнишнее желание — я увижу Советский Союз. Это действительно были волнующие переживания...

Большое значение имело для меня знакомство с русскими физиками. В первую очередь назову Тамма, человека необычайно обаятельного. Невысокого роста, живой, годами, быть может, несколько старше меня, он тогда еще лазил по горам, был отличным альпинистом. Тамм, когда я заговорил с ним о Фоке, сказал, что все физики в Советском Союзе возражают против его теории, и предложил мне участвовать в публичной дискуссии, на которой советские ученые, а с ними и я поспорят с Фоком по поводу теории относительности. Я охотно согласился.

Я познакомился с Ландау, величайшим советским физиком, одним из величайших физиков мира. Ландау моложе меня. Тогда ему не было и пятидесяти. Он несколько похож на Дирака, высокий, худощавый, с буйной шевелюрой, спадающей на лоб, язвительный по отношению к своим коллегам, да и почти ко всем физикам. Несмотря на эту язвительность, он обладал обаянием мальчишки, который «дорвался» до физики и упоен ею. Были только два человека, о которых он хорошо отзывался, — Ферми и Эйнштейн. О многих других физиках он, в общем, говорил с ехидством.

Я познакомился также с Боголюбовым. С Таммом и с Ландау мы разговаривали по-английски, зато с Боголюбовым — по-польски. Потом я узнал, что Боголюбов в юности, кажется, был влюблен в какую-то польскую актрису и, видимо, потому изучил польский язык. Боголюбов — человек очень приятный, это замечательный физик-теоретик, который ради физики бросил математику...

Заседания конференции происходили в большом зале Института имени Лебедева, рассчитанном на несколько сот человек. Докладчики выступали с подиума, на котором было установлено две доски.

После приветственного слова Тамма первый доклад сделал Ландау. Текст доклада нам раздали в английском изложении, и возле каждого из нас сидел физик, переводивший с русского на английский то, что говорил докладчик. Возле меня сидел Лифшиц, многолетний сотрудник Ландау. Я с удовольствием беседовал с ним о положении в советской физике.

Доклад Ландау касался квантовой теории поля. Это был глубокий доклад, содержащий критические мысли по отношению к теории поля, те самые, которые позднее были высказаны в книге, посвященной Бору в связи с его семидесятилетием...

Для меня представляла наибольший интерес дискуссия между Фоком и русскими физиками, в которой и я участвовал. Дискуссия эта состоялась вместо одного из послеобеденных заседаний. Сперва выступил Фок, сформулировавший свои обвинения против теории Эйнштейна в защиту собственной концепции гармонических систем. Потом я взял слово в защиту теории Эйнштейна, после меня — Ландау, Тамм, Гинзбург; все физики, чьи имена хоть что-то значат в мире, единодушно выступали в защиту Эйнштейна. Они уверяли, что дополнительные уравнения Фока для координатной системы ничего существенного не добавляют. Но Фок стоял на своем и продолжал настаивать на своей интерпретации теории;

я убедился, однако, во время своего пребывания в Москве, что в этом отношении он совершенно одинок.

На последнем прощальном банкете я встретился с академиком Капицей, человеком очень разносторонним и наиболее непосредственным из всех русских физиков. Капица выглядел точно так же, как двадцать лет назад, когда я с ним познакомился в Англии. Волосы у него чуть больше припорошило сединой, но лицо осталось то же самое — живое, умное. Мы разговаривали на различные темы — об Англии, об отношении Запада к Востоку и о загадках.

Например: собаке привязали к хвосту металлическую сковородку. Когда собака бежит, сковородка стучается о мостовую. Вопрос: с какой скоростью должна бежать собака, чтобы не слышать стука сковородки? Мы с Ландау долго размышляли, какое тут возможно решение. Наконец Капица сжалился над нами и дал ответ, — разумеется, очень смешной¹...

В Ленинграде также впервые я побывал на квартире у академика Фока. Фок, который очень доброжелательно ко мне относился, несмотря на различия во взглядах на теорию относительности, пригласил меня к себе и принял с широким гостеприимством. Квартира Фока была полна антикварных редкостей, рукописей и книг...

* * *

...Итак, мне не приходится жаловаться на свою судьбу.

Лично для меня перемена к лучшему в научном отношении произошла, кажется, еще в 1954 году. Вот ее начало: ко мне пришла сотрудница «Мысли философичной», где я поместил статью в защиту теории относительности, и сообщила, что основной философский журнал в Советском Союзе публикует мою работу. Нападки на Эйнштейна прекратились. Мало-помалу Эйнштейна снова стали поднимать до положения едва ли не величайшего ученого всех времен. В Польше я тоже почувствовал отголоски этого триумфа: в 1954 году меня удостоили высокой награды — ордена Трудового знамени I класса...

Перевела с польского Ю. Мирская.

¹ Скорость равна нулю.



В МИРЕ ИСКУССТВА

ЛЕВ ЛЮБИМОВ

★

«ПЕРМСКИЕ БОГИ»

Пермский кафедральный собор строился с таким расчетом, чтобы его мощная, многоярусная колокольня главенствовала над городом, возвещая о нем на самых дальних подходах. И собор этот с его пилястрами, арками и дорическими портиками, громоздясь над высоким левобережьем Камы, хорошо просматривался с широкой реки и из бескрайней тайги на противоположном берегу. Громоздился как твердыня православия в этом крае, поздно обращенном в христианство. Ибо гербом юного города (годом рождения которого считается 1723-й, когда состоялась закладка медеплавильного завода) стал щит, увенчанный короной, символом верховной власти, на червленом поле которого был изображен медведь, хозяин тайги, как символ дикости обитателей края, с золотым евангелием на спине — символом христианского просвещения.

На рубеже XVIII и XIX веков, когда воздвигался этот собор, пермским губернатором был К. Ф. Модерах, имя которого не забыто в Перми и по сей день. Он был инженером и принимал участие в строительстве петербургских каналов, мостов, набережной Фонтанки и петергофских фонтанов. Величественная прямолинейность петровской столицы, и ему кое-чем обязанная, видимо, поразила его воображение, и Пермь, просторно выстроившаяся во время его губернаторства, пересеклась широкими диагоналями, идущими к реке, вдоль реки и в сторону Сибирского тракта.

Нынешняя громадная Пермь, протянувшаяся вдоль Камы почти на полсотни километров, с ее знаменитыми на всю страну заводами, стройными массивами новых жилых домов, театрами, клубами и семью высшими учебными заведениями, осталась верна этому принципу ясной размерности городского ансамбля. Высокая башня на Комсомольской площади как бы перекликается с далеким силуэтом бывшего кафедрального собора.

Собор не пришел в упадок, не облупился, не потрескался, и трава не прорастает на его карнизах. Просторное и торжественное помещение собора стало хранилищем памятников искусства. В нем размещена Государственная художественная галерея.

* * *

Пермская галерея была открыта в 1922 году. Можно сказать без преувеличения, что это во всех отношениях одна из наших самых замечательных областных галерей, наглядное доказательство того, какие плоды может принести упорное и просвещенное собирательство, согретое горячей любовью к искусству.

Археологи говорят, что памятников былых культур нет лишь там, где их не ищут. Это верно не только в отношении археологических находок. Мы все еще мало знаем художественные сокровища нашей страны, не отдаем себе отчета в

их великом множестве, не ищем их в суюду достаточно упорно и не умеем выявлять их во всем блеске, которого они заслуживают.

Скажем снова: Пермская галерея дает нам пример того, что в этой области может быть сделано, надлежит сделать.

В XIV веке княжество, именовавшееся в русских грамотах «Пермью Великой» (слово Пермь, по-видимому, происходит от коми-пермяцкого слова «перма», или «парма», что означает возвышенное лесистое место), стало частью Московского государства. С этого времени русская культура распространяется в Верхнекамье. Там с середины XVI века развивается в огромных масштабах предпринимательская деятельность Строгановых. Только по грамоте Ивана Грозного 1558 года (хранящейся в Ильинском районном музее Пермской области) они владеют в Прикамье землями площадью в три с половиной миллиона гектаров, а к началу XVII века им принадлежат здесь уже тринадцать с половиной миллионов гектаров земли!

Деятельность их, порой очень крутая, по подчинению местного населения, сооружению крепостей-городков в защиту от сибирских и ногайских кочевников и наконец снаряжению Ермака и его казаков для завоевания Сибири достаточно исследована. Мы знаем также, что Строгановы поставили в Прикамье множество церквей, привлекая для их украшения искуснейших живописцев того времени, в том числе и царских иконописцев из Москвы.

Исходя из этих предпосылок, Пермская галерея уже в двадцатые годы проявила должную инициативу: были организованы экспедиции в те места, где могли быть обнаружены произведения древнерусского искусства. Результаты оказались действительно замечательными. В Пермской галерее выставлено ценнейшее собрание древнерусской живописи, так называемой «строгановской школы», включающее такое замечательное произведение, как «Богоматерь Владимирская» (с восемнадцатью клеймами, изображающими нашествие татар на Москву и их бегство, что должно было воодушевлять казаков и строгановских наемных людей на походы против татар), написанная прославленным царским мастером Истомой Савиным, и некоторые из лучших образцов изысканного, торжественно изящного, яркого и часто кропотливо миниатюрного письма этой школы. Найдены были иконы и более ранние, местного письма и привезенные из Москвы, а также рукописные книги с рисунками, тоже в большинстве исполненные по строгановским заказам. Все это вместе с произведениями древнерусской живописи, полученными из государственного музейного фонда, и собранием местных серебряных изделий, местного лицевого шитья и низаного жемчуга составляет удивительный ансамбль древнерусского искусства, который мог быть создан только в этом крае.

Эта сокровищница занимает три совсем крохотных зала подвального помещения бывшего кафедрального собора. Конечно, экспозицию следовало бы развернуть более просторно, так, чтобы каждое произведение действительно «играло» на стене. Но и то, что сделано, радует и волнует. Как хорошо вот здесь на Урале, почти на границе с Азией, глотнуть из этого живительного родника русского художественного творчества! Как хорошо, что замечательные образцы этого творчества разысканы, спасены от гибели — неизбежной, если они предоставлены собственной участи, — и выставлены как памятники вдохновенного искусства нашего великого народа! Сияние красок, филигранная тонкость рисунка, стройная образность, изумительное чувство ритма, которым отмечены творения древнерусской живописи даже в XVII веке, когда она уже клонилась к упадку, озаряют радужным светом эти три зала, заслуженную гордость Пермской галереи. Но это еще не главная ее гордость.

Под сводами собора для размещения собранных произведений искусства установлены площадки, разделяющие здание на три этажа: эти площадки подступают вплотную к пышному золоченому иконостасу, прекрасной работе местных резчиков.

В первых двух этажах показан, по-видимому, максимум того, что может быть собрано областным музеем в нашей стране, желающим дать какое-то представле-

ние об общем развитии русского искусства и даже об искусстве других народов. При этом собрано как благодаря поступлениям из музейного фонда, так и, в общем, весьма относительным щедротам Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи и московского Музея изобразительных искусств имени Пушкина — где тысячи картин заполняют запасники, недоступные рядовому посетителю, — и наконец приобретениям у частных лиц, столь трудно осуществимые при ограниченности музейных средств. Тут Рокотов и Боровиковский, Брюллов и Александр Иванов, Васильев и Саврасов, Ге и Крамской, Репин и Суриков, Левитан и Серов, Коровин и Кустодиев. Есть значительный советский отдел, наиболее обеспеченный пополнением. Несколько интересных образцов искусства Франции, Фландрии, Голландии и даже раннего итальянского Возрождения. Коллекция западного и русского прикладного искусства. Все это хорошо показано в светлых просторных залах.

У входа на третий этаж надпись: «Пермская деревянная скульптура XVII—XVIII веков».

Мне рассказывали, что А. В. Луначарский, в 1928 году посетивший музей, задержался там так долго, что даже опоздал на собрание, где должен был выступать, и очень сетовал, что не знал раньше о пермской скульптуре, осмотру которой охотно уделит бы целый день. Вот тогда-то и были написаны следующие строки:

«Посегил художественную часть Пермского музея. Совершенно потрясающее впечатление производит богатейшая коллекция деревянных скульптур. Это ново, необычайно интересно с художественно- и культурно-исторической точки зрения и в то же время поражает своей художественной силой как в смысле своеобразного мастерства техники, так и по силе психологической выразительности.

Нар. ком. по просв. РСФСР

Ан. Луначарский.

11/1 1928».

А вскоре затем Луначарский опубликовал в журнале «Советское искусство» (№ 5, 1928) статью, прославляющую «пермский скульптурный гений», в которой он дает отдельным выставленным скульптурам такие оценки:

«Изумительное произведение искусства в смысле смелой стилизации и почти страшного выражения лица».

«Совершенно невиданное и совершенно потрясающее явление».

«Положительно шедевр экспрессионистской скульптуры, имеющий в себе какую-то высокохудожественную манеру».

Произведение «поэта-скульптора», поражающее «изумительной уверенностью художества и полетом психологического воображения».

А в целом:

«Свидетельство огромной талантливости, огромного художественного вкуса, огромной способности выразительности».

«Пермские боги» — так озаглавил свою статью Луначарский.

* * *

В те времена собор еще не был разделен на этажи, а собранию скульптуры отводилось, по-видимому, лучшее выставочное помещение. Судя по фотोगрафиям, это была хорошо продуманная и организованная экспозиция, в которой каждому произведению принадлежало достаточно просторное место, позволявшее рассмотреть его в разных аспектах. Теперь дело обстоит несколько хуже. Выставлено более ста скульптур, из которых часть в натуральную величину, а то и еще больших размеров. Это громадное собрание (даже независимо от фондов музея, где скульптур гораздо больше) размещено в вынужденной тесноте, создающей досадную скученность.

Но в первые минуты об этом не думаешь — так сильно, так неотразимо общее впечатление. Постараюсь как-то выразить его.

Незадолго перед моей поездкой в Пермь я еще раз побывал в Москве на замечательной выставке русской деревянной скульптуры, устроенной при ближайшем участии Н. Н. Померанцева, одного из первооткрывателей древнерусской пластики, мало известной и по сей день, подобно тому, как еще в конце прошлого века почти не была известна древнерусская живопись, слава которой сияет сейчас на весь мир. На московской выставке не было пермских скульптур. Однако не только поэтому пермская экспозиция произвела на меня такое впечатление. Именно множество собранных деревянных скульптур (какого нет ни в одном другом нашем хранилище) создает грандиозный художественный ансамбль, в котором сразу же поражает полное, мощное дыхание какого-то особого, вполне цельного и неведомого дотоле мира, нашедшего в этих скульптурах свое законченное воплощение.

И вот что неожиданно вспомнилось.

Так, например, посетители парижской колониальной выставки 1931 года были поражены воспроизведенным в натуральную величину огромным храмом Ангкор-Ват — великим памятником древней кхмерской культуры. Целый мир, особый, неповторимый, хоть и скрещиваются в нем и переплетаются другие миры, другие культуры, — единый в бесчисленных скульптурных орнаментах этого храма, но в каждом в отдельности выраженный лишь частично и полностью осязаемый, конкретный именно в их совокупности.

И так же поражают посетителей Эрмитажа памятники Пазырыкских курганов на Алтае: дотоле неведомый, удивительный своей цельностью — хоть и в нем следы других миров и культур, — древний мир кочевников, создавших такое поразительное по своей остроте, по своей выразительной силе, неувядающее в веках искусство.

Или подобное же изумление москвичей на грандиозной выставке мексиканского искусства...

Не будем высказывать суждений о масштабах, о внутренней значительности этих миров по сравнению с тем, который открывается посетителю в Пермской галерее. Важно, что и там и тут особые целые миры. А раз так, ведь каждый такой мир, выражающий в искусстве свое восприятие человеческой судьбы, всего нашего бытия, представляет собой абсолютную ценность.

Но какой же это мир в Перми? Как может он быть нов для нас, раз это прошлое нашей страны, притом сравнительно не отдаленное?

Но ведь и древнерусская живопись открыла нам целый новый мир красок, ритмов, красот, мечтаний, наших же, русских, но нами забытых... Быть может, не открыла, а напомнила, вновь пробудила.

«Вот наш гатент на благородство» — это сказал Фет о книжке тютчевских стихов, и люди моего поколения помнят со школьной скамьи его знаменитые строки:

В сыртах не встретишь Геликона,
На льдинах лавр не расцветет,
У чукчей нет Анакреона,
К зырянам Тютчев не придет.

Как это образно, как верно в мышлении поэта и как неверно по существу!

Ибо Пермская галерея показывает нам, что на камских льдинах расцвел лавр, символ славы, раз в сыртах — восточных кряжах Европы, подходящих к самому Уралу, или совсем близко от них, в дремучей тайге, нашли приют музы, как некогда в роще Геликона, и вдохновение посетило зырян, жителей этих мест, где родилась пермская деревянная скульптура.

Поднявшись в первый раз на верхний этаж Пермской галереи, я, не глядя по сторонам — так оно поразило меня, — подошел к одному очень большому рас-

пятию. Оно называется «Распятие Соликамское», или «Соликамская скульптура Распятого», так как происходит из кладбищенской часовни в городе Соликамске. Длинные худые руки распятого широко распростерты ввысь, узкая голова с темными кудрями полускрыта, щекой прикасаясь к плечу, туловище нарочито вытянуто, кажется бесконечно длинным, ноги в коленях изогнуты, мягко подчеркивая поворот наклоненной головы. Тело виснет, излом всей фигуры придает ему какую-то жуткую выразительность. Это тело, сверкающее чуть теплой белизной на черном фоне стенового убора, буквально разит вас щемящим созвучием своих объемоз и линий.

Кто автор этого произведения? Кто этот художник, такой уверенный и смелый, законченный мастер пластической композиции, постепенно переходящей книзу в полную круглую скульптуру, этот вдохновенный ваятель, остро видящий и запечатлевающий великую человеческую трагедию? Безвестный резчик уральской тайги, работавший, по-видимому, в XVII веке.

Я подошел к другому распятию, более темной раскраски. Это — «Распятие Ильинское», опять-таки названное по местонахождению кладбищенской часовни, где оно было обнаружено. Здесь лицо видно нам полностью. Явно восточного типа, скорее всего татарское лицо. Продолговатое и в то же время тяжело опухшее в щеках, с большим мясистым носом. Глаза закрыты. Узкий впалый живот, ясно обозначены ребра. Слабое тело висит не просто, не случайно, а — безнадежно. Именно так. И вся эта скорбь, это глубокое, до дна испытанное страдание, как бы устремленное в безнадежность, явственно сквозит в опущенных веках, тяжело вздувается в щеках и никнет вместе с головой в терновом венце.

И еще одно распятие неотразимо манит посетителя, как только вступает он в этот мир «пермских богов», — одно из самых больших, темно-коричневое, однотонное — «Распятие Рубежское». Предание гласит, что оно приплыло в 1755 году по Каме вниз к городу Усолью и остановилось на повороте реки против Рубежской церкви, куда его и внесли верующие. А откуда и почему плыло оно, предание умалчивает. Как бы то ни было, изучение этого высокого горельефа показывает, что он был вырезан из массивного материала в первой половине XVIII века.

Монголоидное лицо, простое, величавое и поникшее. Высоко поднятая грудь, сухие мускулистые руки и ноги. От всей фигуры веет силой, гибкой, пружинистой и себя сознающей. Скакать бы этому богатырю с колчаном и луком на лхихом коне! Но здесь его сила повержена и распята, и в этом трагизм образа, запоминающегося навсегда.

Я оглянулся: лицом к этим распятиям сидели фигуры, которые тоже запомнились мне навсегда, — «Страдающие Христы». Их здесь семь или восемь в натуральную или почти натуральную величину, поставленных в ряд, и имена им: «Соликамский», «Усть-Косьвинский». «Сиринский», «Редикорский», «Чермозский», «Усольский». «Подъячевский»... Вот этот обнажен, а тот — в синем пермяцком шабуре, праздничном халате с цветной опояской. Один — типичный коми-пермяк, другой — чисто русский всем своим обликом. Полную гамму чувств, раздумий, переживаний выражают их лица, и у каждого рука приложена к щеке — не то чтобы защитить лицо от удара, не то в недоуменной тоске, когда удар уже нанесен. У одного в глазах ужас, жуткое созерцание, у другого скорбь и вопрос: «За что?» — или же глубокая дума на добром лице, как у этого русского мужичка в терновом венце и кандалах, который называется «Христом Соликамским». Дума щемящая и опять-таки недоуменная. И мне ясно, что себя в этих сидящих и распятых «Спасителях», израненных, забрызганных собственной кровью, изобразил житель этих мест, крестьянин, изобразил свое страдание и вместе с тем извечную думу о мире, о жизни, о смысле ее.

Эти «Сидящие Спасители», «Страдающие Христы» находились в церквях или часовнях в причудливых деревянных «темницах» с закрытой дверью и маленьким окошком с решеткой — в память об унижении Христа, которого взяли под стражу. Обычно верующие облачали их в ризы. В галерее выставлена и такая «темничка», как говорили в народе, богато украшенная, с ангелами и ко-

лоннами: но в ней образ поруганного искупителя кажется еще более страдальческим в своей обездоленности. Впрочем, этот «Сидящий Спаситель» здесь какой-то особый, словно съжившийся, тщедушный, он даже не защищается от удара, руки его беспомощно скрещены, он весь как бы поник, глубоко-глубоко пригорюнившись, в извечной печали униженных и оскорбленных.

Но вот далее образ совсем другой, грандиозный, сверкающий, образ силы, которая должна восстановить в мире правду и справедливость.

С Юпитером сравнивает этот образ Луначарский, «крестьянским богом» охарактеризован он в «Истории русского искусства», выпущенной Академией наук СССР (т. V, М., 1960), где пермской деревянной скульптуре посвящено несколько страниц. Они написаны большим знатоком русской скульптуры Г. М. Пресновым при участии И. Э. Грабаря. Вот что сказано в них об этом образе, имя которому «Саваоф на облаках» (он в сиянии, с треугольным нимбом на голове, со скипетром в правой руке и со сферой в левой) — из церкви в городе Лысьве:

«Скульптура эта, водруженная некогда на верху иконостаса, окруженная золотыми лучами и покоящаяся на облаках, с таким покоряющим архитектурным великолепием завершает фронтоны, что трудно найти в русской монументальной пластике подобное совершенство художественного решения. Необычайно велика чисто пластическая сила головы Саваофа, редкостной выразительности которой мог бы позавидовать не один великий мастер скульптуры».

Да, он царит здесь во всей своей мощи и славе, подлинно как громовержец, как повелитель, как древний языческий бог.

Так кто же создатель этого образа, излучающего такую чудесную силу? Кто этот художник, к дарованию которого, очевидно, приложимы самые высокие эпитеты, раз ему могли бы позавидовать величайшие ваятели?

Вспомним мысленно этих титанов и к их прославленным в веках именам ребко добавим еще одно, впервые вот на этой странице появляющееся в печати. Ибо лишь сравнительно недавно оно было установлено, по-видимому с достаточной долей вероятности, путем долгих расспросов местных жителей, из которых один поведал, что дед его, тоже резчик, как и внук, хвалился тем, что лысьвенского «Саваофа» сработал его дед...

Имя этого прапрадеда, этого русского резчика XVIII века — Дмитрий Домнин.

Всю неделю, что я пробыл в Перми, я каждый день подымался на верхний этаж галереи. Мир пермской скульптуры очень многообразен, а новизна его и яркая выразительность обладают большой притягательной силой. В некоторых «Распятых с предстоящими» отдельные фигуры опять-таки запоминаются навсегда. Так, одна «Скорбящая богородица» показала себя совершеннейшим выражением материнского горя. Это фигура маленькая — нужно хорошо разглядеть ее среди других, чтобы оценить в ней памятник подлинно трагического звучания. А на лице другой «Скорбящей», очевидно, тоже входившей некогда в группу «предстоящих», и во всем изломе ее фигуры печать милой женственности, чуть жеманной и даже притворной: в скорбь ее не так уже веришь, но веришь сразу, что это образ, тоже вырванный из самой жизни. В статуе апостола Петра — удивительная смелость композиционного решения: тут и внутренний порыв, подчеркнутый поворотом головы и подлинно грандиозным аккордом волнистых складок тяжелого облачения, а во всем облике, сливающимся с этим облачением, — широко утвердившаяся мощь. Монументален и ясен Никола Можай с его удлинненной головой, как бы венчающей волей и разумом его застывшую неподвижность.

...А какое знание материала, умение его использовать! Эти бороды, гармонично струящиеся или резко очерченные и властные... Эти руки, так музыкально сложенные в мольбе... Как все это замечательно вырезано, выдолблено, как подчинено творческой воле художника! И раскраска (даже позднейшая, ибо пермские скульптуры по-настоящему не реставрированы, не восстановлены в своем первоначальном виде), эти тона, то мерные, приглушенные, то подчеркивающие своими контрастами драматизм изображаемой сцены...

Береза, липа, сосна. Как другие ваятели подчиняют своему искусству стихию камня, так эти резчики, жители тайги, подчиняли себе стихию дерева, леса, вечно шумящего вокруг них, со всеми его щедротами и обманам, глухоманью, зарастающими тропами и лучами солнца, пробивающимися сквозь тьму. Творчество их было упорно, кропотливо и вдохновенно, ибо они стремились выразить этим материалом, покорным их воле, свою думу о мире, думу, скажем еще раз, горькую, как их собственная участь, но и светлую, потому что надежда на справедливость всегда теплится у обездоленного. И так как дума эта и надежда были их кровными, не отделимыми от их существа, они выразили их по-своему, как никто кроме них не выражал.

* * *

Я покидал Пермь с твердым убеждением, что это собрание деревянной скульптуры — подлинная сокровищница искусства.

Собранием такой значительности и такого своеобразия вправе гордиться не только областной город Пермь, но и вся наша страна, и его следует широко пропагандировать в народе. Но вот крупный местный инженер впервые узнал от меня о пермской деревянной скульптуре. На другой же день он отправился в галерею, а затем позвонил мне и благодарил за сведения об «удивительной достопримечательности» его родного города.

Но как узнать о пермской скульптуре?

Передо мной справочник-путеводитель «Пермь», выпущенный Пермским книжным издательством в 1964 году. В этой книге 262 страницы, из них всего четыре посвящены Пермской государственной художественной галерее. Их все же достаточно (названо много произведений и особенно художников), чтобы составить себе представление обо всех собраниях музея за исключением того, о котором здесь идет речь. Этому собранию отведена всего одна строка с небольшим, да и то в скобках! Мы узнаем, что в галерее «представлена уникальная пермская деревянная скульптура». Одну строку легко и проглядеть, а «уникальность», поскольку это понятие никак не раскрыто, пожалуй, не заострит внимание посетителя, который, с путеводителем в руках обойдя нижние этажи галереи, быть может, поленится подняться на третий...¹

Заглянем, однако, в труд, специально посвященный пермскому государственному хранилищу произведений искусства, и не просго в путеводитель, а в самый настоящий, достаточно подробный и хорошо иллюстрированный каталог — «Пермская государственная художественная галерея. Каталог произведений живописи, скульптуры, графики. Третье, дополненное издание» (Пермское книжное издательство, 1963).

В предисловии целых три строки по занимающему нас предмету:

«Необычайно интересно единственное в стране собрание местной деревянной скульптуры XVII—XVIII вв. Произведения эти свидетельствуют о высоком мастерстве народных скульпторов — резчиков по дереву».

Что и говорить, эпитеты полновесные и три строки эти запоминаются. Откроем же раздел каталога, посвященный русской скульптуре, чтобы узнать о происхождении и предполагаемой датировке работ этих мастеров. Увы, сведений этих нет, да и нет о них вообще никаких сведений. Дело в том, что это собрание, «необычайно интересное» и «единственное в стране», не включено в каталог.

Правда, сказано, что «в дальнейшем» будут опубликованы еще каталоги. в частности каталог местной деревянной скульптуры. Но почему же такая второ-

¹ Укорять за такой лаконизм авторов путеводителя по Перми все же не следует. Они могут сослаться на авторитет: ведь Большая Советская Энциклопедия в заметке о Пермской художественной галерее ограничивается сообщением, что «галерее принадлежит уникальная коллекция пермской деревянной скульптуры 17—19 вв.». Уникальная! Тот же абстрактный термин и та же скороговорка.

очередность? Или, по мнению составителей каталога, народная скульптура — это какое-то низшее искусство? Но в таком случае они не давали бы ей такой высокой оценки. Нет, тут что-то не то. Ведь знают же точно эти составители, что не отдельные произведения известных мастеров, гораздо полнее представленных в более крупных хранилищах, составляют гордость галереи, а именно эти уникальные скульптуры, для ознакомления с которыми каждому, кто любит искусство, стоит специально съездить в Пермь.

Впрочем, этому собранию все же посвящена обстоятельная работа «Пермская деревянная скульптура» Н. Н. Серебренникова (Материалы предварительного изучения и опись. С картой и 60 иллюстрациями. Пермь. 1928. С предисловием А. В. Луначарского).

Но эта книга, выпущенная почти сорок лет тому назад тиражом в тысячу экземпляров, давно стала библиографической редкостью. О ней самой и об ее авторе следует сказать особо.

* * *

Н. Н. Серебренников — это деятель совершенно замечательный.

Я говорю ему:

— Николай Николаевич, позвольте мне выразить вам мое самое искреннее восхищение. Вы открыли забытое искусство Пермского края, вы собрали его и первый описали в вашей книге. Ваша заслуга огромна, и огромной должна быть наша признательность вам.

Но он отвечает мне:

— Не я, так другой собрал бы и описал. Ведь не открой Колумб Америки, рано или поздно в нее все равно проникли бы европейцы.

— Нет, — возражаю я, — тут уже нет аналогии. Как материк Америка существует независимо от ее первооткрывателей. Но если бы вы не обнаружили, не спасли и не сохранили эти образцы нашего народного творчества, они бы сгнили в монастырских чуланах да на колокольнях или пошли бы на дрова. И пермская скульптура исчезла бы из памяти людей. Спасибо вам!

...Н. Н. Серебренников был долгое время директором Пермской галереи. Всю свою энергию, все свои знания и весь свой художественный вкус он вложил в ее создание и обогащение. Да, эта галерея — дело всей его жизни. И следует позавидовать жизни, наполненной таким служением, таким добрым и неостывающим порывом. Ведь не только деревянная скульптура пермских крестьян, но и иконы строгановской школы — его находки. И он же раздобыл для галереи чуть ли не все лучшее, что показано в ее других отделах.

И вот теперь, уже на пенсии, этот старый человек с таким умным лицом, скромный, но и напористый, занят мыслью: как бы еще обогатить «свою» галерею. Услышал, что во Франции как будто находится картина Серова, известная нам только по репродукциям, и спрашивает меня, нельзя ли ее разыскать и приобрести. Но у меня нет нужных сведений, и я вижу, как это огорчает его.

Мне приходилось бывать за границей у музейных работников. Обычно их квартиры — маленькие музеи. Ведь там все считают нормальным, что, собирая для государства, они не забывают и себя. Но вот у нас совсем другое — и я это замечаю уже не в первый раз. На квартире Н. Н. Серебренникова я вижу много папок и книг, но только эрудиция хозяина и блеск его глаз, когда он говорит о каком-нибудь творении искусства, напоминают о том, что среди таких творений протекала вся его жизнь...

В 1923 году Н. Н. Серебренников, только что поступивший на работу в галерею, как-то вечером проходил вдоль погоста в селе Ильинском. Окно часовни шумно хлопало, раскрывшись от ветра. Внутри виднелись причудливые очертания какого-то довольно большого предмета. Он зажег фонарик и разглядел распятие, то самое «Распятие Ильинское», о котором я говорил как об одном из замечательных украшений галереи. Выразительность лица распятого поразила юно-

го музейного работника. Эта деревянная скульптура была первой его находкой, которая и дала толчок всей его собирательской деятельности.

Книга Н. Н. Серебrenникова не претендует на литературность. Это всего лишь подборка сведений, без которых не обойтись будущему историку народного искусства Пермского края. И очень важно, что сведения эти были своевременно собраны и зафиксированы.

Как же, однако, проходили экспедиции, организованные галереей? По свидетельству Н. Н. Серебrenникова, наиболее удачным для собирания деревянной скульптуры был 1923 год, когда экспедиции пользовались материальной и моральной поддержкой местных властей. При поездке в 1925 году особое внимание уделялось разъяснению верующим, почему художественные произведения должны быть переданы галерее, — это, однако, не всегда приводило к успеху. Но в следующем году, по-видимому вследствие культурного сдвига в деревне, получение скульптур стало более легким.

Во все шесть экспедиций двадцатых годов пришлось проехать более пяти тысяч верст. Серебrenников добавляет, что на все эти экспедиции ушло точно 193 человеко-дня и было израсходовано 615 рублей. Все экспедиции были организованы на средства и при содействии Пермского исполкома.

Как мне сказал Н. Н. Серебrenников, экспедиции производились и позднее, однако уже в меньших масштабах (последняя — в марте 1941 года). Много скульптур до сих пор не вывезено, причем их местонахождение известно. Но ведь и всех собранных не удалось разместить в галерее. А между тем, как я мог убедиться, в фондах ее, кроме дубликатов, находятся некоторые замечательные работы.

Какова же судьба скульптур, оставленных на месте? Об этом можно судить по состоянию, в котором были обнаружены многие из выставленных ныне в галерее, — ну, хотя бы одна из «Скорбящих», извлеченная на колокольне из-под кучи разъедающего дерево голушиного помета.

О многих скульптурах еще в двадцатых годах сохранялись легенды, о которых подробно рассказано в книге Серебrenникова. Эти легенды и факты, с ними связанные, очень важны для понимания развития деревянной скульптуры в Пермском крае.

А. В. Луначарский недаром озаглавил свою статью «Пермские боги». Язычество не окончательно вымерло с христианизацией края, и можно даже сказать, что в нем долго удерживалось «двоеверие», сохранявшее многие признаки идолопоклонства.

Так, пермяки часто не ощущали различия между божеством и его изображением. Известны случаи, когда пермяк, рассердившись за какую-нибудь неудачу на бога, «наказывал» его, ставя икону, на которую он молился, вниз головой. А вот другие примеры. Близ деревни Толстик сотрудники галереи долго ожидали доставки из местной часовни на паром отобранных ими скульптур. Когда же наконец они прибыли, староста часовни объяснил опоздание тем, что, «когда людей провожают, с ними прощаются», тем большее внимание следует оказывать таким священным статуям. Вот и решили вместо простой упаковки устроить им нечто вроде погребения: на дно ящиков положили стружки и паклю, чтобы статуям было «удобнее», и застелили их новым холстом. Об одном «Сидящем Спасителе» ходила легенда, что он по ночам путешествует по округе, посещая бедных. А так как он при этом изнашивает обувь, верующим полагалось четыре раза в год снабжать его новой...

Книга Серебrenникова не переиздавалась. Очевидно, были на то какие-то особые причины. В свое время Серебrenников признал, что допустил в ней ошибки идеологического порядка. Какие именно — я так и не понял. Ведь книга его посвящена происхождению отдельных скульптур, выяснению манеры различных мастеров, либо воспроизведению весьма скудных данных, часто всего лишь на-

меков, разбросанных в местных публикациях прошлого века, сведениям чисто этнического характера да обстоятельному описанию каждой статуи с точным указанием ее размера, окраски и из какого дерева она сработана...

В настоящее время Н. Н. Серебренников готовит к печати новый труд о пермской скульптуре. Я попросил его показать мне рукопись. Но он сказал мне, что не может этого сделать, так как отдал ее на просмотр «видному специалисту», однако, как он мне пояснил затем, не по скульптуре, а по атеизму.

...В 1928 году Луначарский пришел в восторг от «пермских богов». Но потом о них позабыли, и в самой галерее их перевели в более тесное помещение. Я слышал, будто в свое время некоторые местные работники назидательно пояснили, что в «воспитательном отношении» эти скульптуры могут быть использованы отнюдь не как произведения искусства, а только для атеистической пропаганды.

Тут, мне кажется, следовало бы все же разобраться. Атеист, который доказывал бы, что бога нет, при помощи пермских скульптур, поступал бы, вероятно, не более рассудительно, чем верующий, ссылающийся на эти скульптуры как на доказательство существования бога.

Древнерусская иконопись общепризнана. Однако в нашей популярной литературе об искусстве (а подчас и не только в популярной) упорно проводится примерно такая мысль: значение и заслуга лучших иконописцев заключается в том, что они вопреки религии, вопреки церковному заказу, которому подчинялись, создали отличные произведения живописи. А в подтексте так и слышится: вот было бы хорошо, если бы они уже тогда могли творить без церковного принуждения, по-нашему! Мне всегда кажется, что те, кто пишет так, сами должны ощущать некоторую неловкость. И тем не менее почему-то пишут, даже по сей день... И так получается под их пером, что, не будь вообще христианства, и в частности не будь во времена Рублева на Руси православия, не будь церкви, не будь сам Рублев монахом, он, пожалуй, и впрямь достиг бы немалых успехов на поприще самого полнокровного реализма...

Пермские скульптуры реалистичны, даже поразительно реалистичны. Но как в то же время не признать, что простые люди, их создавшие, были людьми верующими? Самое благоразумное — очевидно, рассуждают иные — вообще не распространяться об этих диковинных изваяниях в «темницах», благо о них вообще мало кто знает у нас...

Это, конечно, лучше, чем доказывать, например, что деревенский резчик Дмитрий Домнин, творя своего грандиозного «Саваофа», относился с вольтеровским скептицизмом к «навязанному» церковниками сюжету. Но, пожалуй, еще лучше сказать открыто, что вера этих простых людей была чистосердечной, как они сами. Языческое идолопоклонство еще жило в них, но они сочетали его с восприятием евангельской легенды страдания и искупления, ибо они жаждали правды и справедливости и верили, что обретают их в образе Христа, наивно обожествляя его воплощение в скульптуре как идола. И потому, что горячее и сильное была в них эта жажда и эта вера, они творили образы правдивые и предельно выразительные, образы истинно человеческие, способные взволновать и восхитить в наши дни самого убежденного атеиста.

Энгельс пишет, что «...все массовые движения средних веков выступали всегда в религиозном облачении... но всякий раз за религиозной экзальтацией скрывались очень осязательные мирские интересы»¹.

Мы рассматриваем здесь не целеустремленное народное движение, подобное тем, о которых говорит Энгельс. Однако мирские интересы бедняков и рабов, их помыслы и грезы о лучшей участи находят свое выражение и в религиозной экзальтации пермской народной скульптуры.

¹ Ф. Энгельс. К истории раннего христианства. К Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XVI, ч. II, стр. 410.

* * *

Как-то в Русском музее я имел интереснейшую беседу с заведующим отделом скульптуры Г. М. Пресновым, о котором я уже упомянул здесь как о крупнейшем знатоке русского пластического искусства. Эта беседа происходила перед знаменитой бронзовой статуей императрицы Анны Иоанновны работы Растрелли-старшего, в которой с поразительным реализмом запечатлена вся грузная сила самодержавия. Г. М. Преснов предложил мне задуматься над таким вопросом: откуда в искусстве этого мастера, по рождению итальянца, такая острая выразительность, такой подлинно беспощадный реализм, чуждый скульптуре латинского мира? Он повел меня затем в запасник и показал раскрашенные деревянные скульптуры народных мастеров конца XVII и начала XVIII века. Какие сугубо выразительные, дышащие внутренней силой изображения! И невольно напрашивалась мысль: вот могучий животворный источник, обновлявший творчество лучших иностранных мастеров, работавших в петровской столице.

В своей обстоятельной статье о русской народной скульптуре первой половины XVIII века в многотомной «Истории русского искусства», изданной Академией наук СССР, Г. М. Преснов облек эту мысль в следующую форму с полагающимся сожалением по поводу того, что наши народные мастера не избирали для своих произведений более интересные сюжеты:

«Глубоко связанная с народной жизнью, деревянная скульптура развивалась в русле традиций русской пластической культуры и являлась, как всякое народное искусство, важным фактором в процессе сложения светской скульптуры XVIII века. И если ей присущи черты известной косности, дух смирения, приверженность к веками отстоявшимся культовым типам, то в ней все же пробивается такая живая реалистическая струя, которая не могла не воздействовать оздоровляющим образом на пышное и парадное искусство петербургского двора и тянувшегося за ним дворянства»¹.

Выставка русской деревянной скульптуры, устроенная Союзом художников СССР, Государственной центральной художественно-реставрационной мастерской имени академика И. Э. Грабаря и Государственным историческим музеем, произвела в Москве и в Ленинграде огромное впечатление. Можно сказать без преувеличения, что в плане искусствоведческом, да и вообще в плане культуры, эта выставка призвана иметь мировое значение.

А что это так, вот тому два свидетельства, столь же авторитетные, как и яркие по своей формулировке:

«Выставка открывает огромный мир неведомых, чудесных образов эпического народного творчества, поражающего глубиной мысли и богатством неистощимой выдумки».

С. Коненков. «В мире прекрасного»
(«Правда», 27 августа 1964 года).

«Для художника пластическое совершенство древней деревянной скульптуры — загадка. Подражать ему невозможно. Слепо копировать бессмысленно. Оно

¹ Эту реалистическую струю русского народного творчества отмечает и французский писатель Андре Мальро (ныне занимающий во французском правительстве пост министра по делам культуры) в своей известной книге по философии искусства «Голоса тишины» (André Malraux. Les voix du silence. Париж. 1951, стр. 206). В ней он воспроизводит снимок семи сидящих в ряд «Страдающих Спасителей», вырезанных из дерева и изображенных в натуральную величину — в терновых венках и с рукой, приложенной к щеке. Скульптуры в плохом состоянии, у некоторых не хватает ног. Под снимком сообщается, что это образцы искусства Севера России XVII века, а в примечании указано: «Коллекция автора». Я написал Андре Мальро, прося сообщить все, что он знает об этих скульптурах и почему он относит их к XVII веку, а не к XVIII. Г-н Мальро любезно ответил мне, что указание «коллекция автора» в данном случае относится к коллекции фотографий, а приведенные сведения были сообщены ему «в свое время» Максимом Горьким. Известно, какой интерес проявлял Горький к народному творчеству. Возможно, эти сведения он сообщил Андре Мальро в марте 1936 года, когда тот вместе с Михаилом Кольцовым и Вабелем посетил его в Тессели для совещания о дальнейшей работе Ассоциации писателей в защиту культуры.

неповторимо. Но постараться понять дух этих прекрасных творений, их гармонию, их закон, их язык мы должны».

П. Корин. «Раздумья на выставке»
(«Советская культура», 5 сентября
1964 года).

С. Т. Коненков правильно указал, что произведения искусства, представленные на выставке, надо сделать достоянием народа при помощи и кино, и богато иллюстрированных изданий, и специальной монографии. Кажется, в этой области кое-что уже делается. А вот что сказал П. Д. Корин о Н. Н. Померанцеве, которому мы обязаны и самой этой выставкой, и обнаружением замечательных творений русского искусства, и организацией их реставрации: «Восстанавливая красоту, он помог восстановить истину».

Эта пленительная красота озаряет долгий путь нашего народа: выставка показывала его пластическое творчество начиная с XIII века. Поздней былинного эпоса, героикой борьбы народа за свержение татарского ига веет от архангелов в воинских доспехах, особенно от образов Георгия Победоносца в его таком смелом и прекрасном порыве, от величаво-незыблемого Николая Можайского с мечом в руке, поздней мудрой и властной женственностью от образов Параскевы Пятницы, устроительницы свадеб и покровительницы рыбаков.

У первооткрывателя этих памятников мне тоже посчастливилось побывать. Заслуги Н. Н. Померанцева общепризнаны: он заслуженный деятель искусств РСФСР. И это высокое звание в данном случае выражает вот что: несколько десятилетий неутомимых поисков и поразительных находок, благодаря которым и был открыт этот сказочный мир русской деревянной пластики. Мир, которым еще полвека тому назад почти никто не интересовался (в дореволюционной России эту скульптуру никто как будто не собирал) и изучение которого только теперь начинается. То, что Н. Н. Серебrenников проделал в Пермском крае, Н. Н. Померанцев осуществляет во всероссийском масштабе и продолжает это благое дело по сей день. У этого крупнейшего знатока древнерусского искусства (изобразительного и прикладного), вечно озаренного своей благородной страстью, — с утра до вечера кипучая деятельность, вся направленная на поиски и на описание найденного, на обогащение музеев нашей страны, на прославление ее художественного гения. Вот он говорит о своем любимом деле, и, слушая его, вы сами погружаетесь в эту стихию вечного поиска той красоты, которая раз уже была достигнута и, значит, должна озарять и нас, потомков ее создателей.

Но почему эти творения русской деревянной пластики оставались так долго неизвестными и почему их, в общем, сохранилось так мало?

Частые пожары во времена жестоких княжеских междоусобиц да опустошительные набеги чужеземцев — вот одна из причин массовой гибели деревянной скульптуры. А кроме того, начиная с XVIII века высшее русское духовенство отнюдь не поощряло это искусство. Тут сыграли роль различные факторы. И то, что статуи, стоявшие многочисленными в католических костелах, пугали в православных храмах синод как заимствование религиозных обычаев «латинян». И то, что, как выразился один из церковников, резные изображения по своему воздействию не могут быть отождествлены с иконописными «ввиду крайней легкости низведения в них духовно-божественного к самому наглядному образу, земному, материальному».

Особым указом от 21 мая 1722 года правительствующий синод потребовал изъятия статуй из церквей и часовен. Новый указ, воспрещающий статуи, был издан синодом 30 ноября 1832 года. Многие из них были уничтожены по приказу духовенства, а другие запрятаны почитателями и потом ими забыты. Н. Н. Померанцев обнаруживал их «на пыльных чердаках монастырских зданий, на колокольнях, в рухлядных, кладовых или чуланах».

Вот из какого забвения, из какого небытия извлечены восхищающие нас произведения искусства.

* * *

Но какое же место в этом огромном мире древнерусской пластики занимает деревянная скульптура Пермского края?

В уже упомянутой статье Г. М. Преснов пишет, что «безвестные даровитые резчики, которыми исстари славилась Русь, такие же народные поэты-художники, какими были народные сказители и певцы». И далее: «Пермская скульптура... кажется более примитивной и менее поэтичной, но с грезвой выразительностью передает она в образах святых национальный типаж населения Пермского края — великороссов, зырян, воголов».

Из беседы с Н. Н. Померанцевым я вынес впечатление, что он склонен видеть в этой скульптуре явление локального значения, которое, несмотря на отдельные прекрасные достижения, в целом представляет главным образом интерес этнографического характера.

Однако в очерке «Резьба и скульптура XVII века», помещенном в IV томе академического издания «История русского искусства», очерке, одним из авторов которого является тот же Н. Н. Померанцев (остальные: Н. Е. Мнева и М. М. Постникова-Лосева), читаем:

«Среди деревянной резьбы русского Севера совсем особое место занимает скульптура Пермского края. По-видимому, языческие традиции круглой скульптуры здесь никогда не умирали. Именно они обусловили позднейший расцвет местной деревянной пластики».

И далее авторы очерка отмечают, что собрание народной деревянной скульптуры в Пермской галерее производит сильное впечатление на зрителя «как количеством статуй, так и их высоким своеобразием, свежестью и непосредственностью выражения».

Слов нет, былинный лад, эпическое вдохновение деревянной скульптуры Новгорода и Москвы, Твери и Калуги не так явственны в пермской скульптуре. Но вот даже высокоэрудированные авторы, не склонные преувеличивать ее значение, признают, что эта скульптура знала период расцвета, отмечают обилие сохранившихся ее памятников (которое трудно было бы объяснить одной лишь собирательской энергией Н. Н. Серебренникова), очевидно, свидетельствующее о ее большом распространении, наличие в ней языческих традиций круглой скульптуры и наконец свежесть и непосредственность, обеспечивающие ей в высокое своеобразие — лучше не скажешь! Иначе говоря, перед нами действительно мир цельный и неповторимый.

Острая выразительность, острый реализм, согретые подлинным огнем, очень глубоким и облагораживающим все, что без него могло бы выродиться в тривиальность, подлинно народное мироощущение, крестьянская дума, величавая и скорбная, в которой ведь тоже самая подлинная поэзия (это и почувствовал Луначарский), и неоспоримое своеобразие — вот что привлекает нас в этой скульптуре. Свообразие, при котором в русле русской художественной традиции нашли свое выражение иные мотивы — зырянские, монгольские. Свообразие, при котором наряду с барочными формами, западным влиянием, в частности польским, идущим через Украину, создаются образы, как бы прямо выхваченные из жизни зорким глазом подмеченные, вдохновенным воображением завершенные и умелой (поразительно умелой!) рукой запечатленные в полном согласии с внутренним душевным ладом художника-простолюдина, бесконечно талантливому в своей действительно неповторимой непосредственности.

* * *

В книге Н. Н. Серебренникова, без которой, повторяем, нельзя будет обойтись историку пермской скульптуры, находим следующую интересную справку:

«Составленные нами карточки со сведениями о находжении в том или ином селении образцов деревянной скульптуры были классифицированы по географическому положению селений. Тогда стало видно, что всего больше скульптур в

Верхне-Камском и Коми-Пермяцком округах, затем в порядке убывающем: с Пермском, Кунгурском, Тагильском округах, т. е. чем южнее и западнее, тем изваяний меньше. Тогда же бросилось в глаза, что больше всего зарегистрированных предметов деревянной скульптуры приходится на местности... где прежде русифицирования населения жили «инородцы»...»

Заглянем же в прошлое этих «инородцев», даже самое далекое.

...В Пермском краеведческом музее, помещающемся по соседству с галереей, в бывших архиерейских покоях, имеется крупнейшее собрание предметов пермского звериного стиля, к сожалению, почти полностью застрявшее в фондах. В этом году пермский журналист Б. Назаровский поднял в местной печати кампанию (пермская «Молодая гвардия», 31 января 1965 года) за то, чтобы эти предметы послужили образцами для сувениров, прославляющих своей самобытностью Пермский край. Он напомнил, что более ста лет тому назад, проезжая по Прикамью, П. И. Мельников-Печерский обратил внимание на эти древности и в своих «Дорожных записках на пути из Тамбовской губернии в Сибирь» призывал изучать их, причем заранее иронизировал над возможным недоумением: «Исследовать пермские древности? Да сколько пермских барынь и барышень почтут это нарушением приличия.. Древности пермские! Как это можно...»

Пермские древности ныне изучаются, им посвящены солидные труды. Но Б. Назаровский прав: надо сделать их достоянием народа, шире показывать их и публиковать, и надо, чтобы их стиль, все то художественное наследие, которое они представляют, были бы использованы в наши дни. «В Италии, Греции, Египте, Мексике, да и во многих других странах, — пишет он, — существует целая индустрия, занятая репродуцированием предметов древнего искусства, индустрия, приносящая миллионные доходы от реализации этих репродукций как сувениров. У нас кое-что делается в этом направлении в союзных республиках, особенно в Эстонии. Мы же ничего пока не делаем».

В самом деле, ведь пермские древности как нельзя более подходят для этой цели. Это миниатюрные украшения, главным образом из бронзы, изображающие зверей и птиц. Их изготовляли, по-видимому, в великом множестве с древнейших времен и вплоть до начала второго тысячелетия нашей эры, а некоторые их мотивы сохранились до сих пор в деревенской резьбе. Это, например, бляхи с монументальной (да, именно монументальной, несмотря на размер), широко выпяченной головой медведя, грозного хозяина тайги (отсюда и герб Перми), или чудесные «шумящие подвески», порой очень сложной формы, с болтающимися в ряд стилизованными колокольчиками или гусиными лапками — плод живой и изобретательной фантазии, отмеченной большим художественным вкусом. В них много изящества и декоративности. Так древние обитатели тайги искали в искусстве воплощения своих грез, самозабвенного восторга охотника, с помощью подобных изображений закликающего духов, чтобы утвердить свою власть над миром зверей.

...И также очень давно жители уральской тайги видели и держали в своих руках произведения самого высокого и утонченного искусства. Ведь знаменитые эрмитажные собрания византийского серебра и иранского, эпохи Сасанидов, собрания, единственные в мире по своему богатству, составлены главным образом из находок в этих краях.

Вот, например, ранневизантийское блюдо VI века с изображением пастуха. Фигура его, спокойная и гармонически построенная, задумчивый взгляд его, устремленный вперед, удивительно живые фигуры животных, вся композиция, с таким совершенством вписанная в круг, — ясный отзвук великого античного искусства. Блюдо это было найдено близ города Соликамска, того самого города Пермской области, откуда доставлены в галерею деревянные «Распятая» и «Страдающие Христы».

А славящееся на весь мир блюдо с изображением царя Шапура, охотящегося на львов, — IV века нашей эры — шедевр из шедевров иранского искусства по бурному динамизму, выразительности и внутренней согласованности всей компо-

зиции, происходит из клада, обнаруженного по соседству, в нынешней Кировской области.

Эти памятники великих культур попадали в X—XI века в эти края в обмен на пушнину. Очевидно, таежные жители ценили их не только за металл — и почему не предположить, что солнце Эллады, величавое и утонченное искусство Византии, изобразительная и декоративная сила искусства сасанидского Ирана благодатно озарили их своим сиянием?

... В 1517 году в Польше вышла книга редактора Краковского университета Матвея Меховского «Сочинение о двух Сарматиях», в которой имеются такие строки:

«За землю, называемую Вяткою, при проникновении в Скифию, находится большой идол «Золотая Баба»... окрестные народы чтут ее и поклоняются ей; никто проходящий... не минует ее с пустыми руками и без приношений; даже если у него нет ценного дара, то он бросает в жертву идолу хотя бы шкурку или вырванную из одежды шерстину и, благоговейно склонившись, проходит мимо».

О «Золотой Бабе» упоминает и посол императора Максимилиана Сигизмунд Герберштейн, дважды ездивший в Москву в начале XVI века, в своих знаменитых «Записках о московитских делах». Причем помещает ее изображение в царственной одежде и с копьем в руке.

Самое же подробное описание идола мы находим в книге полонизированного итальянца Алессандро Гваньини «Описание Европейской Сарматии» (1578):

«В этой Обдорской области около устья реки Оби находится некий очень древний истукан, высеченный из камня, который москвитяне называют «Золотая Баба», то есть золотая старуха. Это подобие старой женщины, держащей ребенка на руках и подле себя имеющей другого ребенка, которого называют ее внуком. Этому истукану обдорцы, угричи и вогуличи, а также и другие соседние племена... жертвуют самые дорогие собольи меха... закалывают в жертву ему отборнейших оленей, кровью которых мажут ему рот, глаза... сырые же внутренности жертвы пожирают, и во время жертвоприношения колдун вопрошает истукана, что им надо делать и куда кочевать: истукан же (странно сказать) обычно дает вопрошающим верные ответы и предсказывает истинный исход их дел. Рассказывают даже, что в горах, по соседству с этим истуканом, слышен какой-то звон и громкий рев: горы постоянно издают звук наподобие трубного»¹.

Сплошная фантастика? Вряд ли сплошная. Идолам, созданным их руками, поклонялись жители этих мест, идолам, в которых они старались воплотить свое представление о высших силах природы.

«Многое заставляет предположить, — пишет А. В. Луначарский в статье о «пермских богах», — что «Золотая Баба» — это докатившееся до пермяков через степи изображение сидящего Будды. Спокойный, в веках отдыхающий бог, в котором для высокоразвитой буддийской религиозности отражалась философская идея нирваны, а для простого человека, задавленного трудом и страданием, — идея успокоения, принят был и первобытным пермяком с чувством глубокого удовлетворения».

...А вот и более точные данные о пермской языческой скульптуре. Деятельность первого пермского епископа Стефана Пермского, «просветителя зырян», объявленного впоследствии «святым», относится к концу XIV века. Из «жития» его мы узнаем, что в то время население Пермского края поклонялось «издолбленным болванам», деревянным идолам, которых было великое множество. Стефан Пермский с учениками разыскивал их повсюду «и по погостам распытуя, и в домах взыскуя, и в лесах находя я, и в привержках обретая, и zde и онде и везде их находяя». Они уничтожали этих идолов, «еже суть болваны истуканные, извьянные, долбленые, вырезом вырезаемые».

...Пришельцы из России и русская государственность привили (часто насиль-

¹ Эти выдержки и еще другие из рассказов об этом таинственном истукане приведены в книге Ю. Курочкина «Легенда о Золотой Бабе» (Пермское книжное издательство, 1963).

ственно) зырянам религиозность более высоко развитую, чем поклонение лесным шайтанам, а вместе с ней принесли им новые образы, новые художественные формы.

Но обрусение местного населения сопровождалось, очевидно, и обратным процессом: русские пришельцы кое-что заимствуют у «инородцев».

«Болвана истуканного» заменяет Никола Можай, «Золотую Бабу» — образ Христа, и этим новым образом, с новым вдохновением «изваянным, долбленным, вырезом вырезаемым», поклоняется местный житель — будь то русский или зырянин.

Самые ранние из дошедших до нас образцов пермской деревянной пластики относятся к XVII веку. В своих храмах население Пермского края, русское и «инородческое», видело иконы строгановской школы, видело, вероятно, и скульптуры, исполненные в исконных русских областях. Искусство этого края следует общему течению всего русского искусства: петровская реформа, влияние Запада накладывают на него свою печать. Но так же, как все русское искусство остается самобытным в мировом масштабе, пермское искусство остается самобытным в лоне русского искусства, в масштабе России¹.

Пермская народная скульптура достигла расцвета в XVII и XVIII веках, а в XIX веке начинается ее постепенный упадок. К концу прошлого столетия она стандартизируется, становится ремесленной и уже не представляет для нас интереса.

* * *

«Пермские боги» умерли. Но ведь умерли и боги Олимпа. Однако образы их живы и по сей день.

И кажется нам, что самой живой жизнью дышит творчество деревенских резчиков Пермского края, ибо оно непосредственно, самобытно, правдиво и чистосердечно. И нужно все сделать, чтобы это творчество было бы как можно шире известно у нас и во всем мире.

¹ Очерк этот был уже закончен, когда я получил текст интересного доклада о пермской скульптуре, прочитанного 10 марта с. г. в Московском высшем художественно-промышленном училище (бывшем Строгановском) скульптором В. Б. Шеловым. Очень верно его заключение: «Сплав древнерусских и пермских художественных традиций с западноевропейскими и даже античными влияниями создали здесь в XVIII веке нигде больше не повторявшиеся памятники народного творчества. Безыменные пермские мастера скульптуры были творцами великого искусства».



ПУБЛИЦИСТИКА

Г. ЛИСИЧКИН

★

ГЕКТАРЫ. ЦЕНТНЕРЫ. РУБЛИ

(Заметки экономиста)

Вскорить развитие нашего сельского хозяйства — это одна из самых боевых задач, стоящих сейчас перед партией и народом. Как, какими путями достичь этого?

Повысить культуру земледелия и животноводства, применить передовые приемы ведения хозяйства, разработанные и в нашей стране, и за ее рубежами, — рекомендуют технологи, агрономы и зоотехники.

Увеличить капиталовложения в сельское хозяйство, укреплять материально-техническую базу колхозов и совхозов новыми тракторами, машинами, производственными постройками, — советуют экономисты.

Широко использовать принцип материальной заинтересованности сельских тружеников в росте производства сельскохозяйственных продуктов, — единодушно настаивают и теоретики и практики сельскохозяйственного производства.

Бесспорно, все это лежит в основе успехов любого хорошо налаженного хозяйства.

Что же нужно для осуществления этих рекомендаций, для того, чтобы добиться тех результатов, которых мы все так ждем?

Различного рода поучения и рекомендации, как лучше сеять пшеницу и доить коров, обычно складываются на полки шкафов в колхозных конторах, пылятся, и о них просто забывают. Иногда же — то ли по своей охоте, а чаще по указанию «сверху» — колхоз или совхоз начинает вдруг лихорадочно осваивать директивную «новинку». Проходит какое-то время, и в хозяйстве появляется еще один монумент очередному модному увлечению: силосная башня, доильная установка, ферма для беспривязного содержания скота — в животноводстве, а в растениеводстве — исковерканный севооборот, запущенное семенное хозяйство и тому подобное. Однако силосные башни и доильные установки сами по себе ни в чем не повинны. Ведь где-то ими пользуются, и не без успеха.

Та же судьба постигает и капиталовложения. С 1958 по 1964 год в сельское хозяйство вложены были немалые средства. Основные производственные фонды увеличились здесь за это время более чем в полтора раза, количество тракторов в пересчете на пятнадцатисильные возросло более чем на миллион штук, производство удобрений увеличилось в два с лишним раза. А объем производства сельскохозяйственных продуктов вырос совсем незначительно — совершенно не пропорционально вложениям. Значит, рост капиталовложений — это тоже хотя и очень важное, но не решающее условие увеличения производства сельскохозяйственных продуктов. Даже оплата труда и та, оказывается, еще не предопределяет успехов производства, хотя кое-кому и кажется: стоит повысить оплату — и производство продуктов возрастет, ведь все сразу станут старательными.

В совхозах за последние годы пересматривались тарифы и расценки за выполнение норм. Причем каждый раз, разумеется, повышались. Но производство продуктов от этого отнюдь не увеличилось так, как рассчитывали.

Спрашивается, почему же меры, объективно необходимые для обеспечения подъема сельского хозяйства, не дают того эффекта, которого от них мы вправе ждать?

На наш взгляд, одна из причин этого состоит в том, что сельский труженик недостаточно еще привлечен к непосредственному решению тех вопросов, от которых зависит судьба сельского хозяйства. Ведь никто другой, а они и только они — работники совхозов и колхозники — пахут, сеют, ухаживают за скотом, ведут учет и организуют трудовой процесс в своем хозяйстве. Попробуйте всерьез разобраться в причине неудач с кукурузой, с травами, с «елочками» и так далее, и вы увидите, в чем корень зла: решали, быть или не быть «елочкам», кукурузе и так далее, отнюдь не эти люди, то есть не те, кто должен был претворять все это в жизнь. Вот почему и не достигли успеха даже там, где по всем данным можно было ждать высокого эффекта.

Жизнь требует, чтобы труженики земли принимали самое непосредственное участие в решении таких жизненно важных вопросов, как планирование своего производства, реализация выращенной ими продукции, регулирование цен на нее, приобретение техники, необходимой для производства. От этого так же, как и от их добросовестного труда на полях и фермах, зависит успех дела.

Но каковы организационные формы, которые бы позволили осуществить это? Где поставить предел местной инициативе, чтобы обеспечить общенародные интересы? Такие вопросы встают ныне перед нашим обществом и государством.

Разумеется, спорить об этом можно бесконечно, особенно если идти, так сказать, по пути исключений: может совхоз, колхоз делать то-то или это компетенция вышестоящих организаций. Гораздо важнее подумать о принципиальных критериях, чтобы решить проблему в целом. Но правильный выбор пути пока еще во многом затруднен из-за некоторых догматических представлений и предрассудков, которые засели у нас в головах. О них-то и пойдет сперва речь.

1

Создание социалистических предприятий в нашем сельском хозяйстве в силу сложившихся исторических условий шло вполне естественно по двум путям: совхозному и колхозному. Несколько позднее один тип социалистических предприятий — колхозы — получил определение «низшей» формы социалистической собственности, а совхозы — «высшей».

Разделение это отнюдь не чисто формальное. Причисление хозяйства к той или иной категории означает иную систему управления производством, иное материально-техническое обеспечение, обуславливает различие в сбыте продукции, распределении доходов и во всем остальном, что существенно отличает колхозы от совхозов.

Постараемся, однако, разобраться: почему, скажем, совхозная собственность удостоена оценки «высшая», а колхозная — всего только «низшая».

По степени обобществления кооперативно-колхозная собственность, несомненно, ниже совхозной. Но почему? Да потому, что каждый из наших совхозов представляет собой не самостоятельное предприятие, а ячейки как бы одного гигантского суперсовхоза, в рамках которого каждый отдельный совхоз занимает лишь место, сходное с отделением или бригадой внутри совхоза. Но и этот супергигант не что иное, как своеобразный цех некоего суперкомбината, вбирающего в себя предприятия всех остальных отраслей народного хозяйства. Все они объединены здесь друг с другом не столько экономическими, сколько административными связями, что налагает свой характерный отпечаток на всю их хозяйственную жизнь. Это прежде всего отражается на правах и обязанностях совхоза, его коллектива и руководителей. Решение всех основных вопросов, ведение расширенного, а частично и простого воспроизводства принадлежит в этих условиях не отдельному предприятию, являющемуся лишь тысячной долей этого огром-

ного суперхозяйства, а центральному руководству (Госплану, министерству, комитетам), возглавляющему этот суперкомбинат.

В самом деле, ни один совхоз не вправе без одобрения «сверху» решить вопрос о строительстве коровника или детского сада, не может сбыть по своему усмотрению собственную продукцию даже тогда, когда все планы выполнены и продукция может просто погибнуть. Совхоз не вправе самостоятельно решить — без согласия вышестоящих организаций — и того, какую ему технику купить, какое оборудование, оказавшееся лишним, продать или даже передать другому предприятию, какие штаты работников держать в хозяйстве. Подобно тому, как управляющий отделением совхоза не может самостоятельно, без ведома директора, решать подобные вопросы относительно своей бригады и имущества, закрепленного за ней, директор совхоза и его коллектив находятся в точно такой же зависимости от центрального руководства того суперхозяйства, в которое входит этот совхоз.

Иное дело колхозы. Здесь каждое хозяйство — законченное, самостоятельное предприятие. Административно оно не связано ни с каким другим хозяйством. Все контакты с внешним миром колхоз осуществляет по экономическим каналам через торговлю или добровольное производственное кооперирование. Вопросы простого и расширенного воспроизводства решает каждое отдельное хозяйство. В этом отношении колхозная собственность действительно находится на более низкой ступени обобществления, чем, скажем, совхозная.

Но так ли уж это плохо?

По нашему мнению, сама схема организации управления совхозами препятствует проявлению местной инициативы, хозяйственной предприимчивости, оперативности и гибкости в решении важнейших вопросов производства. Небезынтересна в этом отношении практика США. Вот что об этом пишет В. И. Терещенко, экономист, достаточно глубоко знающий данный вопрос. То, что крупное предприятие более эффективно в отношении использования оборудования, сырья, помещений и так далее, — это уже общеизвестная истина. Но вот где установить «потолок», чтобы не впасть в «гигантоманию»? Общая тенденция в США — считать определяющим фактором здесь момент управленческий. «Потолок» устанавливают, исходя не из теоретической оптимальности в использовании машин, материалов и так далее, а из практической возможности «охватить» данный вид деятельности управлением, возможности справиться как технически, так и психологически с организационным аппаратом больших масштабов. Американская практика показывает, что человеческие способности в этом отношении довольно ограничены. Единственным способом «поднятия потолка» поэтому становится децентрализация управления и передача максимально большего количества функций «низам» управленческого аппарата. Вот почему огромные габариты многих современных американских предприятий уравниваются их управленческой децентрализацией.

Всему миру известна гигантская американская монополия «Дженерал моторс», нанимавшая более шестисот тысяч рабочих и получившая полтора миллиарда долларов прибыли в 1962 году. Но далеко не все знают, что эта капиталистическая империя состоит фактически из тридцати пяти автономных отделений, настолько независимых от центрального правления, что они даже могут конкурировать между собой. Деятельность общего для них всех правления ограничивается лишь разработкой общей «стратегии» производства. Использование патентов, некоторые вопросы планирования, принципы торговой и финансовой политики и разделения рынков, распределение крупнейших заказов (особенно правительственных), вопросы экспорта и т. д. — вот круг проблем, которыми занимается правление фирмы. «Тактика» же производства — это дело каждого отделения фирмы, самостоятельно решающего все производственные вопросы.

В 1947 году дела фирмы «Форд» значительно пошатнулись и дошли до того, что компания терпела до девяти миллионов долларов убытка ежемесячно. Причина этого заключалась в чрезмерной централизации управления, традиционно сохранившейся с дней основания фирмы стариком Генри Фордом. Форд был талантливым инженером, но, как говорят, плохим экономистом. Его выросшую фирму, удалось спасти лишь после

того, как она попала в руки его сына, Форда-второго, и управляющего Э. Бриджа, реорганизовавших предприятие на началах децентрализации производства.

В данном случае не грех оглянуться и на опыт Запада, потому что наш собственный тоже говорит в защиту децентрализации. Ведь и в развитии совхозов чрезмерная централизация стала, на наш взгляд, серьезным тормозом. Примеров тому можно было бы привести множество. Мы ограничимся лишь одним.

До недавнего времени производство мяса для многих колхозов и совхозов Белгородской области РСФСР было убыточным. Но тут есть десять заводов, перерабатывающих сахарную свеклу, которые ежегодно дают два с половиной миллиона тонн жомов. Жом — превосходный корм для скота, но использовали его очень мало. Тогда областные руководители обратились к колхозам с предложением создать на базе заводских отходов откормочные пункты. Уже к осени прошлого года семь колхозов перешли к такому промышленному откорму. Они выделили средства и строительные материалы, областные специалисты составили типовые проекты сооружений, хозяйствам изменили задания по продаже продукции государству: увеличили заказ на мясо и освободили от продажи зерна.

Результаты не замедлили сказаться. Производство мяса стало высокорентабельным даже при старых ценах (себестоимость центнера 44,7 рубля, а цена — 116,2 рубля). Эта операция оказалась исключительно выгодной и для колхозов и для государства: прежде сдавали всего около шестнадцати процентов скота с высшей упитанностью, а теперь сдают более восьмидесяти процентов. Весь «областной план» по мясу теперь выполняют несколько специализированных хозяйств, а остальные, для которых это производство убыточно, освободились теперь от необходимости нести это тяжелое бремя и сосредоточили свои усилия и средства на том, что у них удастся лучше.

Такой хозяйственный маневр был не случайно проведен в колхозах этой области. «Чтобы сделать то же самое в совхозах, — говорил первый секретарь Белгородского обкома КПСС тов. Н. Васильев, — потребовалось бы не менее десяти лет на переписку, согласование, увязки». Это сигнал, к которому следовало бы прислушаться.

Но не только степень обобществления отличает колхозы от совхозов. Если приглядеться повнимательнее, то нетрудно заметить, что регулирование экономической жизни совхозов происходит не в результате действия товарно-денежного механизма, а на основе составленных вышестоящими организациями хозяйственных планов, регулирующих распределение материальных ресурсов, труда, денежных средств. Совхозу определяют план, сколько и какой продукции он должен сдать государству. Получив его, специалисты составляют план-заявку, в котором перечисляют, что нужно хозяйству для того, чтобы выполнить заказ государства. В этот список входят горючее, машины, ядохимикаты, удобрения и т. п. Государственные организации рассматривают заявку хозяйства, сверяя ее с техническими нормами расходования материалов. После долгого поэтапного утверждения начинает действовать материально-техническое снабжение. Совхоз получает то, что просил, причем ему почти безразлично, по каким ценам отпускается тот или иной материал или оборудование, точно так же, как безразлично, по каким ценам будет сдана заготовителю его собственная продукция. Ведь если у совхоза не хватит средств, чтобы выкупить то, что ему зарежено, то вышестоящие организации переведут сюда деньги со счетов тех хозяйств, где они окажутся. Так что проблемы денежных средств в совхозе по сути нет. Поэтому здесь нет и экономической необходимости разумно заказывать технику или какие-либо материалы.

Вот совхоз «Джамалтузский» (Целинный край) запросил отгрузить ему в 1965 году десять тракторов, а у самого на машинном дворе стоит сорок «безработных» тракторов; три силосоуборочных комбайна — у самих без дела стоит семь таких же комбайнов да четыре разукomплектованы; три картофелесажалки, а в хозяйстве уже сейчас три лишние картофелесажалки. Производственное управление механически проштемповало заявку — не на их, да и не на совхозные деньги будут сделаны все эти покупки. (Кстати сказать, совхоз этот убыточный, а посмотрите, какие аппетиты!)

Можно, конечно, возразить: совхозу, мол, не безразлично, с прибылью или с убытком закончился год, но это скорее по форме, чем по существу. Достаточно сказать, что удельный вес премий за счет прибылей предприятия в фонде оплаты труда рентабельных совхозов составляет ничтожный процент, тем более что все начисления идут в основном не от фактической, а от так называемой плановой прибыли. Но и возможности потратить остающуюся в хозяйстве прибыль на покупку машин, строительство культурно-бытовых учреждений и тому подобное сильно ограничены тем, что эти средства, как и кредиты, которые совхоз может брать лишь в некоторых случаях в банке, во-первых, не обеспечиваются материально-техническими средствами, на них нельзя купить новый трактор, комбайн и т. д., потому что все это не продается, а распределяется, а, во-вторых, их расходование опять же таки может происходить лишь при согласии вышестоящих организаций. В совхозе «Долинный» (Бахчисарайский район Крымской области) часть прибылей в прошлом году была оставлена в хозяйстве, но использовать их на строительство артезианской скважины директор не может, хотя большое село испытывает недостаток воды, вышестоящие организации не дали на то своего благословения.

Стало быть, такие категории товарного производства, как деньги, цена, торговля, кредит, спрос и предложение, на экономику совхозов не оказывают сейчас существенного влияния, хотя внешне, формально все это сохранено. Все эти категории играют здесь иную роль, чем в товарно-денежном хозяйстве. Совхоз ничего не покупает и не продает. Это может подтвердить не только экономист. Недаром о совхозах не принято говорить: «продал зерно, мясо»; «сдал» — вот слово, которое точнее отражает характер отчуждения совхозной продукции. Даже цены здесь называются не «продажными» или «закупочными», а «сдаточными». То же и с покупками. О совхозе говорят: «получил по разнарядке трактор», а не «купил». За этим скрывается большой смысл и философия хозяйствования, прямо противоположная товарному производству. Деньги, цены здесь превращены в категории, с помощью которых просто ведется учет производства.

Иное дело в колхозах. Развитие этого типа хозяйств целиком зависит от использования механизма товарно-денежных отношений. Колхозы очень чувствительны к уровню цен, к колебаниям спроса и предложения на их продукцию. Максимальное использование стоимостных рычагов — вот что обуславливает подъем производства. Колхоз строит свои отношения на принципах купли-продажи не только с отдельными хозяйствами и лицами, но и с государством. Технику, удобрения, горючее, стройматериалы — все это колхозы покупают, а не получают.

Итак, второе принципиальное отличие колхозов от совхозов состоит в том, что свою производственную деятельность они строят на использовании закона стоимости, товарно-денежных отношений. Известно, что еще в недалеком прошлом большинство наших экономистов смотрело на роль товарных отношений при социализме, опираясь на сталинские утверждения, что «...товарное обращение несовместимо с перспективой перехода от социализма к коммунизму», что «...переход от социализма к коммунизму и коммунистический принцип распределения продуктов по потребностям исключают всякий товарный обмен, следовательно, и превращение продуктов в товары, а вместе с тем и превращение их в стоимость». С этих позиций, естественно, кооперативно-колхозная собственность должна была казаться низшей формой по сравнению с совхозной, где товарные категории исключены из сферы регулирования производства.

Рассуждения о «высшей» и «низшей» форме носят далеко не абстрактный характер. Практически они служат основанием того, что колхозы и государственные предприятия ставятся зачастую в неравные условия хозяйствования. Примеров и этого много, я поделюсь некоторыми своими наблюдениями. Одному заводу были занаряжены металлорежущие станки, оказавшиеся не той точности обработки, которой требовало производство. Председатель колхоза «Дружба народов» (Красногвардейский район Крымской области) И. А. Егудин попросил директора завода продать это оборудование колхозу: для его ремонтных мастерских они более чем подходили. Несмотря на хлопоты обеих сторон, продать станки колхозу не удалось, а несколько позднее они были на заводе уничтожены и сданы в металлолом.

В том же колхозе есть замечательный винный завод, но бутылки для розлива хозяйство не может получить ни на одном из государственных заводов. Приходится собирать посуду в самых неожиданных местах. Вот если бы колхоз был предприятием государственным, то дело обстояло бы совсем иначе.

В этом, да и во многом другом наглядно проявляется пренебрежительное отношение к товарному характеру производства. На него смотрят как на потенциальное зло и, насколько это возможно, пытаются не обращать внимания, считая временной неприятностью.

Сталкиваясь с подобными фактами и невольно задумываешься: в чем же их причина? Не в том ли, что по инерции продолжаем считать, будто товарные отношения мешают нашему движению к коммунизму?

Безусловно, с теоретической точки зрения, высокопродуктивное нетоварное производство — более высокая стадия развития, чем общественное товарное производство. Но можно ли сказать про наши совхозы, что они уже достигли того уровня, когда товарные категории действительно не оказывают уже на их производство никакого влияния, что и гарантирует более высокую производительность совхозов по сравнению с колхозами? Если это так, то на случай, подобные упомянутым выше, и обижаться нельзя.

2

Попробуем произвести сравнение сопоставимых колхозов и совхозов. Мы специально подчеркиваем сопоставимых, а то часто экономически крепкий совхоз сравнивают со слабым колхозом и делают весьма далеко идущие выводы. Мы возьмем таких два хозяйства, где основные средства производства в расчете на землю примерно одинаковы. Это будут: колхоз «Дружба народов» и совхоз «Большевик», оба из одного и того же Красногвардейского района Крымской области. Экономический потенциал обоих хозяйств примерно одинаков, руководители в обоих случаях, как говорится, на высоте, а вот показатели производства отличаются резко. Достаточно сказать, что в 1963 году совхоз произвел в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий в два с лишним раза меньше валовой продукции, чем колхоз, а в 1964 году — в полтора раза меньше. На 100 га угодий у колхоза в полтора раза больше крупного рогатого скота, а коров — почти вдвое. Огромна разница и в рентабельности обоих хозяйств. Могут возразить: подмеченный случай не типичен. Нет. Сравнения, проведенные в других сопоставимых хозяйствах Крыма, обнаруживают ту же тенденцию.

Более того, совсем в другом конце нашей страны, в Вологодской области, встречаешься с тем же самым явлением. По данным Вологодского статистического управления, показатели и здесь складываются не в пользу совхозов.

Экономисты подсчитали, что совхозы страны в настоящее время, несмотря на более высокую техническую вооруженность, получают с каждого гектара земли меньше валовой продукции, чем колхозы, да и в расчете на сто рублей вложений труда и средств выход продукции в совхозах ниже. Не в пользу совхозов выглядят и показатели себестоимости, исчисленной по сопоставимой денежной оценке оплаты труда.

Все это говорит о том, что производственные отношения в совхозах не соответствуют уровню развития производительных сил и их нынешнее состояние тормозит эффективное использование тех богатств, которые уже сосредоточены здесь. Кстати, это нетрудно заметить даже невооруженным глазом, если только присмотреться к тому, как относятся к труду, к земле, к технике в том и в другом случае.

Вот как объясняет более высокие показатели своего хозяйства председатель колхоза «Дружба народов» Илья Абрамович Егудин. Отвечая на наш вопрос, он приводит, казалось бы, самые обыденные примеры.

— В совхозе, — говорит он, — рабочий день начинается в восемь часов, но лишь к девяти человек добирается в поле, к съему месту работы. А часов в пять уже можно кончать и идти домой. В нашем же колхозе, особенно летом, работы начинаются в шесть утра. И до восьми вечера, а иногда и дольше люди трудятся. Конечно, — добав-

ляет Илья Абрамович,— дело это нелегкое, но крестьянину нельзя равняться на рабочего. Специфика сельского хозяйства требует иного подхода к нормированию рабочего времени, тем более что зимой напряженность сельского труда резко падает.

Кстати, заметим, что у колхозников этой артели нет зависти к рабочим соседнего хозяйства. За свой напряженный труд они и больше получают, а в жизни люди боятся чаще не того, как бы не переработать, а ищут, как бы заработать.

Характерно и отношение к общественному имуществу. Прямо скажем, что всюду, где нам приходилось говорить на эту тему, люди отмечали, что в колхозах больше чувствуется забота о сохранности техники, о ее разумном использовании. Тот же колхоз «Дружба народов» взял у соседних совхозов семь списанных комбайнов и, восстановив их, использует до сих пор. Такие факты не единичны.

Чем же объяснить их? Конечно, не тем, что в совхозах работают менее добросовестные люди. Видимо, здесь действуют какие-то объективные причины, недостаточно еще понятные и изученные.

Экономические корни такого явления, как нам кажется, в том, что в колхозе оплата труда тесно связана с конечными результатами производства, с объемом и стоимостью продукции. Общий фонд оплаты формируется здесь как часть валового дохода, то есть как часть вновь созданного коллективом продукта, поступающего на нужды производственного и личного потребления. Величина валового дохода зависит от рентабельности отдельных культур, от оптимального сочетания различных отраслей производства. Чтобы получить высокую оплату труда, колхозники, следовательно, должны думать не только о том, чтобы добросовестно выполнить лишь свою работу, но и набрать больше норм на своем участке, но должны в первую очередь беспокоиться об общем успехе хозяйства. Иначе будет много трудодней, а делиг на них будет нечего.

Вот почему колхозники в «Дружбе народов» не спешат домой с поля: ведь их кормит не столько выполненная ими норма, а тот доход, который пропадет, если вовремя не обработать поля и собрать урожай. Вот почему они и заботливее относятся к технике, чувствительнее к выбору оптимальной структуры хозяйства. В данном случае моральные и экономические стимулы действуют в одном направлении.

В совхозах такого единства нет. Фонд оплаты труда формируется здесь как среднеарифметическое от расценок за выполнение отдельных норм на отдельных операциях. Его размер, следовательно, совершенно не зависит от оптимальной структуры хозяйства, от эффективности капитальных и других затрат, от себестоимости производимой продукции. Короче говоря, фонд оплаты здесь не зависит от размеров валового дохода, то есть ликвидирована всякая зависимость между тем, какой прибавочный продукт создается данным коллективом, и тем, что этот коллектив получает. Поэтому в ином знаменитом совхозе рабочие получают такую же оплату в расчете на человеко-день, как и в соседнем убыточном совхозе, который на рубль затрат дает государству раз в пять меньше продукции, а государство еще и перекрывает его же убытки.

В совхозах индивидуальная сделщина разъединила людей. Их благополучие не зависит от общего успеха хозяйства. Тем самым стремления людей направляются не на увеличение производства продукции, а к погоне за числом формально выполненных норм. Попытка избежать этого с помощью аккордно-премиальной системы оплаты не дает ожидаемого эффекта. И понятно почему — ведь фонд оплаты труда бригады совхозных рабочих определяется из расчета тех же самых норм, а не от суммы валового дохода, то есть не от размера вновь создаваемого здесь продукта. Поэтому противоречие, которое призвана решить эта система оплаты труда, лишь перемещается во времени: если раньше, до внедрения этой системы, погоня за нормой велась каждый день и на каждой операции, то теперь ту же задачу предстоит решать одновременно в момент утверждения фонда оплаты бригады. Важно отметить еще и другое. Фонд оплаты труда бригады при такой системе никак не увязывается с успехом всего коллектива в целом.

По существу разобщенность, порождаемая сделщиной, переносится уже на бригады. Но их материальное благополучие зависит не от размера созданного ими прибавочного продукта, передаваемого в общий котел, а совершенно от других моментов.

Если, даже косвенно, оплата труда не зависит от себестоимости продукции и величины валового дохода, то бережное отношение к технике, предприимчивость и инициатива поддерживаются одной лишь моральной стороной, а экономические стимулы отключаются.

Аккордно-премиальная система в нынешнем ее виде — это попытка преодолеть пороки индивидуальной сдельщины не в масштабах хозяйства, а на отдельных его участках. Валовой доход не стал еще в совхозах главным критерием всех оценок. А если так, то людям становится экономически безразлично, работать до пяти или восьми вечера, тем более что и до пяти можно выработать норму, и подчас даже не одну. Нет нужды, а чаще — возможности, думать об улучшении структуры хозяйства. Если даже совхоз построит у себя консервный завод, способный резко повысить рентабельность всего хозяйства, оплата труда в коллективе не повысится, потому что при нынешних условиях оплачиваются только физические усилия, а предприимчивость, инициатива, ум работников не принимаются во внимание. А это уже явная непоследовательность осуществления социалистического принципа распределения. Потому-то здесь и иное, чем в колхозах, отношение к технике, имуществу.

Директор совхоза «Долинный» все эти высокие материи иллюстрирует простыми, бытовыми картинками. Полгода назад это хозяйство было колхозом, а он сам — председателем колхоза. Когда у одной из доярок корова попортила халат, забытый ею по небрежности в стойле, колхозница, чувствуя свою вину, никуда не обращалась за сочувствием, а пошла в магазин и купила новый.

В этом году точно такой же случай произошел с другой дояркой, теперь уже совхозной. В инструкциях отыскали пункт, обязывающий дирекцию списать убыток за счет хозяйства. Случай пустяковый, но как много за ним кроется.

В колхозе списание имущества идет через правление и ревизионную комиссию, и колхозники зорко следят, чтобы беспечность и нерадивость одного не была поставлена в вину им всем, то есть за счет их всех. В совхозе рабочий дальше отстоит от средств производства, меньше чувствует себя их хозяином. И это неизбежно отражается на успехах производства.

Но если взглянуть на те же явления не с эмоциональной точки зрения, а с позиций экономиста, то, пожалуй, можно заметить следующее. Наша политэкономия почему-то считает всякий труд, затрачиваемый на государственном предприятии, общественно необходимым, и эта теоретическая предпосылка служит основанием к тому, что предприятию оплачивается любое количество затраченного труда. Из-за этого общество вынуждено оплачивать не только действительно полезный труд, но и тот, что вложен в овощи, которые сгнили в совхозе, в скот, который пал по недосмотру. Тем самым общество невольно стимулирует любые затраты, не считаясь с их экономическим эффектом. В колхозах оплачиваются не любые затраты, а только те, которые зафиксированы в ценах. Вот почему здесь куда больше стремления к экономному расходованию труда и техники, особенно если уровень цен создает реальные условия для хозяйствования. Ведь и в совхозах не все затраты общественно необходимы — значит, их оценка также, очевидно, должна производиться через посредство цены.

Все это — иллюстрации того, что объективные экономические закономерности — в данном случае товарно-денежные отношения — продолжают действовать в совхозах так же, как и в колхозах, и в остальном народном хозяйстве. Мы пытаемся игнорировать эти закономерности в нашей хозяйственной практике, и они жестоко мстят нам за это, потому что нынешний уровень производства еще не позволяет перейти к той схеме хозяйствования, которую нам так хотелось бы иметь. И выбирать нам здесь не дано. Если без предвзятости задуматься над приведенными и еще больше не приведенными примерами, то нетрудно заметить, что многие трудности в реализации совхозной продукции, в материально-техническом снабжении, в осуществлении принципа распределения по труду обусловлены конфликтом между объективной товарной природой совхозов и нашими стремлениями пренебречь ею. Значит, того отличия совхоза от колхоза, о котором мы говорили раньше, — товарный и нетоварный характер производства — по сути дела не существует. Совхозное производство по-прежнему остается, как и колхоз-

ное, товарным. Нетоварная оболочка, в которую облечено совхозное производство, лишь маскирует его настоящую сущность. Но она сразу же обнаруживает себя, как гольфо повнимательней познакомимся и проанализируем недостатки, типичные для многих хозяйств.

3

Иначе поэтому, на наш взгляд, следует смотреть и на проблему перерастания колхозно-кооперативной собственности в общенародную. Если под общенародной собственностью понимать лишь ту, что преодолела товарные отношения и перешла на систему прямого продуктообмена, то, как видим, ни совхозная, ни колхозная собственность до этого еще не доросла. Не тот уровень производительности.

Если же под этим понимать лишь то, что и следует понимать, то есть отношение к собственности, не впуская сюда вопроса о судьбе товарно-денежных отношений при социализме, то между кооперативно-колхозной собственностью и общенародной уже сейчас нет никакой разницы. В самом деле, основное средство производства — земля — общенародная собственность. Неделимые фонды, куда входят остальные средства производства колхозов, тоже не представляют собой групповой собственности, так как групповая собственность в точном смысле этого слова предполагает возможность ее раздела между членами группы. Того крестьянского инвентаря и скота, на основе которых зарождались колхозы, сейчас нет и в помине. А у тех новых машин, ферм, скота, которые теперь есть в колхозах, совсем иная природа. Академик С. Г. Струмилин, на наш взгляд, совершенно прав, характеризуя неделимые фонды колхозов тоже как общенародную собственность.

Происходит, на наш взгляд, смешение двух понятий: характера собственности и значения товарных отношений при социализме. Укоренилось представление, что общенародной собственностью может быть лишь та, которая полностью преодолела закономерности товарного производства. Представление это ошибочно — ведь в таком случае и любую другую общественную собственность нельзя отнести у нас к общенародной.

Правильнее было бы рассматривать колхозную собственность как общенародную, но такую, где непосредственное управление производством осуществляет не государство, а коллектив людей, которому государство передало свое право на это. По существу кооперативная форма управления общенародной собственностью есть элемент того механизма общественного самоуправления, о котором говорится в Программе КПСС. Опыт этого самоуправления, его результаты и условия, в которых оно проявляется свои положительные и отрицательные стороны, изучен пока крайне недостаточно. А ведь у такой формы управления общенародной собственностью есть много положительных сторон. И главное заключается в том, что такие явления, как разрыв, отдаление средств производства от трудящихся, которые присущи совхозам, отрицательно влияющие на жизнедеятельность этих предприятий, здесь в значительной степени преодолеваются. Чувство хозяина у тружеников колхозов развито неизмеримо выше.

Нередко можно слышать: «Самоуправление — дело хорошее, но это вопрос далекого будущего».

Мол, наши условия еще не созрели для практических решений. Опыт колхозов, деятельность которых протекает в мало-мальски нормальных условиях (экономических и административных), говорит совсем о другом. Самоуправление, когда оно опирается на материальную базу и использование товарно-денежных отношений, уже сейчас показывает свое преимущество: заинтересованность масс, инициативность. К сожалению, в опровержение этой мысли можно привести больше примеров, чем в ее подтверждение. Но это объясняется другим: есть еще немало колхозов, где низкая оплата труда, застой в производстве сильно отразились на трудовой дисциплине, на общественной активности колхозников. То чувство хозяина в людях, которое подкупает в колхозе «Дружба народов», здесь настолько глубоко запрятано, что его и не скоро разглядишь. Поэтому на фоне экономически слабых хозяйств совхоз с его ста-

бильной системой материально-технического обеспечения, не зависящей от уровня производства, нередко вызывает зависть многих колхозников и дает основание утверждать, что такая, нетоварная, форма производства гораздо выгодней и спокойней.

Короче говоря, арифметика может высказаться не в пользу тех рассуждений, которые здесь приведены. Но при анализе общественных явлений нужно пользоваться не арифметикой, а алгеброй и даже высшей математикой. А вот тогда одни и те же факты могут выглядеть по-разному. Нам представляется неверным относить все существующие в развитии колхозов недосгатки на какие-то внутренние пороки этой формы хозяйства и пытаться преодолевать их путем реорганизации колхозов в совхозы. Если присмотреться повнимательнее, то нетрудно увидеть, что причина, порождающая отставание значительного числа колхозов, сродни той, что вызывает низкую экономическую эффективность совхозов: нарушение объективных законов товарно-денежного хозяйства.

В самом деле, чем до последнего времени отличался на практике колхоз от совхоза?

Ассортимент и объем производства определялся, как и для совхозов, путем административных заданий, которые далеко не всегда учитывали степень заинтересованности в них самих хозяйств. Каналы реализации весьма строго регулировались указаниями «сверху», поэтому колхоз продавал свою продукцию не там, где выгодно, а там, где ему скажут, и по цене, которая даже не покрывала себестоимости.

Что касается внутренних вопросов, то и в их решении можно было наблюдать постоянное вмешательство извне. Это сказывалось и в назначении председателей, и в регулировании оплаты труда, и в руководстве самим агротехническим процессом — ведь общеизвестно, что до самого недавнего времени вышестоящие организации вмешивались во все колхозные дела довольно свободно. Так что от колхозов как самоуправляющихся товарных хозяйств в ряде случаев ничего и не оставалось. Категории товарного хозяйства — цена, прибыль, спрос и предложение — и здесь, как и в совхозах, выключались все больше из регулирования производством, а на смену им приходила административная система управления, пытавшаяся преодолеть товарный характер колхозов. Поэтому-то неудачи в развитии производства колхозов следует объяснять не тем, что они вели товарное хозяйство и имели много прав, которыми плохо пользовались, а как раз наоборот, тем, что их товарное существо слишком часто игнорировали, а экономическую и общественную основу самоуправления подрывали вмешательством извне. Именно те хозяйства, которые сохранили по тем или иным причинам свое товарное существо (государственные цены оказались для них правильными, через потребкооперацию и колхозный рынок они сбывали выгодно свою продукцию), те колхозы, которые придерживались демократических принципов управления производством и уклонялись от административного вмешательства извне, эти-то хозяйства и добились самого высокого экономического эффекта. Именно поэтому, а не почему-либо другому здесь добились высокой культуры земледелия, большой эффективности капиталовложений, настоящей материальной заинтересованности всех и каждого в развитии общественного хозяйства. Опыт этих колхозов должен стать рецептом для излечения остальных. Не заимствовать его надо не формально, выдергивая то один, то другой агроприем или еще какую яркую новинку, а сосредоточив все внимание на том, как, используя товарные отношения, привести в состояние максимальной активности колхозников, от настроения и труда которых зависит абсолютно все.

Каждый раз, когда наша практика вставала на этот путь, положение в сельском хозяйстве улучшалось.

Посмотрим, например, какова была природа тех трудностей, которые встречались на пути развития колхозного производства до 1953 года. Нетрудно заметить, что они были вызваны грубыми нарушениями закономерностей товарно-денежного хозяйства, проявившимися прежде всего в установлении цен на продукцию сельского хозяйства. Как известно, в предвоенный и послевоенный периоды заготовительные цены на зерно, картофель, овсян, мясо, молоко почти не изменялись и оставались до 1953 года теми

же, что и в 1928 году. Цены на промышленные товары за это время выросли во много раз. Пропорции обмена резко ухудшились. Длительное нарушение эквивалентности обмена подорвало экономику многих колхозов, снизило темпы расширенного воспроизводства. А поскольку при этом была подорвана и материальная заинтересованность колхозников в развитии общественного хозяйства, то это еще больше ухудшило положение. Сентябрьский Пленум ЦК КПСС в 1953 году в значительной степени исправил положение, резко повысив цены на сельскохозяйственную продукцию, оживив товарные отношения. Результаты не замедлили сказаться: прирост валовой продукции за 1955—1959 годы составил 7,6 процента. В конце 1958 года и в дальнейшем был проведен ряд экономических мер, которые повторили прежние ошибки, вновь нарушив товарный характер нашего социалистического производства. Известно, что закупочные цены, установленные в 1958 году, не возмещали даже затрат на производство многих сельскохозяйственных продуктов. С 1 января 1959 года были на девяносто процентов повышены цены на запасные части к тракторам и машинам, увеличился уровень обложения колхозов подоходным налогом. С 1958 по 1961 год четыре раза подряд снижались цены на зерно, сахарную свеклу и подсолнечник. В 1960 году были уменьшены нормы продажи сахара по льготным ценам. Колхозы были принуждены досрочно расплатиться за технику, мастерские и другие сооружения, купленные ими у МТС и РТС. Расходы у колхозов увеличились, а доходы уменьшились. Результат: рост валовой продукции сельского хозяйства составил за последние пять лет всего лишь 1,9 процента в год. Мартовский Пленум ЦК КПСС 1965 года исправил допущенные ошибки, создав реальную экономическую основу для ускорения темпов развития сельского хозяйства.

Все эти факты достаточно хорошо и широко известны, однако из них не всегда делаются правильные выводы. А они напрашиваются: всякий раз, когда нарушаются законы товарного производства, в сельском хозяйстве наблюдается спад, и, наоборот, как только наши экономические меры начинают строиться с учетом объективных требований закона стоимости — начинается подъем, темпы которого прямо пропорциональны тому, насколько широко и умело используются в практических делах требования товарно-денежного хозяйства. Именно в этом секрет успехов сельского хозяйства. В этом же — гарантия нового подъема, подготовленного мартовским Пленумом.

Закон стоимости, товарно-денежные отношения действуют и тогда, когда их не признают. И в этом случае они действуют против людей, пытающихся строить экономику на основе своих собственных точек зрения и желаний. Гораздо выгодней и эффективней было бы не тратить сил на бессмысленную борьбу с тем, что не в наших силах изменить, ведь не спорим же мы о том, признать закон сохранения энергии или нет. Мы берем его как объективно существующий факт и, познавая, используем в практике.

Намного полезней было бы углубиться в изучение того, как объективно существующий экономический закон действует в условиях социализма, что можно сделать, чтобы наилучшим образом использовать его на благо экономики страны. Пока же действие закона стоимости признается у нас в лучшем случае лишь в сфере торговли товарами личного потребления да на стыке государственной и колхозной собственности. «Будь в социалистическом обществе только один собственник, никаких товарных отношений в нем не существовало бы», — заявляют некоторые экономисты. Те явления, о которых мы говорили относительно совхоза «Большевик», — а круг их можно было бы расширить до бесконечности — показывают, что это далеко не так. Поэтому сводить действие закона стоимости, стоимостных категорий в государственном секторе к простой учетной форме — просто ошибочно.

Когда заходит речь о сознательном и широком использовании закона стоимости в нашей хозяйственной практике, то это почти автоматически вызывает, мягко выражаясь, настороженность и недоверие.

— Чем же наша экономика будет тогда отличаться от капиталистической? — возмущаются даже самые эрудированные экономисты.

На это можно ответить:

— Главным: целью производства!

И это не мало.

Вспомним замечания В. И. Ленина на книгу Н. И. Бухарина «Экономика переходного периода». В разделе, где Бухарин, характеризуя капиталистическое производство как производство ради прибыли, противопоставляет его социалистическому, цель которого он видит только в удовлетворении общественных потребностей, В. И. Ленин написал: «Не вышло. Прибыль тоже удовлетворяет «общ[ест]в[енные]» потребности. Надо было сказать: где *прибав[очный] продукт* идет не классу собственников, а всем трудящимся и только им»¹.

Это замечание Ленина имеет принципиальное значение. Оно заставляет обращать внимание не на форму, а на существо явления. У нас же до самого недавнего времени, а нередко и по сей день попытки использовать прибыль, кредит, торговлю, процент на капитал и так далее некоторые товарищи готовы рассматривать чуть ли не как возрождение капитализма, хотя капитализм отличают не эти категории, а то, что используются-то они в интересах узкой группы собственников.

Точно так же, как энергия расщепленного атома может быть использована и в интересах жизни, мира, и в целях войны, разрушения,— все зависит от того, кто и с какими намерениями будет ею пользоваться,— так же обстоит дело и с законом стоимости. При социализме закон этот должен быть использован в интересах планомерного, пропорционального развития народного хозяйства, поскольку он открывает совершенно новые возможности для обуздания его стихийных, разрушительных сил. Однако у многих экономистов слишком глубоко укоренилось представление, что плановое ведение хозяйства невозможно на основе использования закона стоимости, что эти два понятия, исключаящие друг друга, несовместимы. На самом же деле это не так.

Действительно, в капиталистическом обществе с его антагонистическими противоречиями между рабочими и капиталистами и между самими капиталистами закон стоимости не может проявлять себя иначе, чем как стихийная, неуправляемая сила, действие которой ведет к разрушениям и спадам.

Но ведь у нас условия-то совсем другие. Уничтожение частной собственности на средства производства создает принципиально новую обстановку для действия закона стоимости. Открываются возможности для ведения планового хозяйства, основанного на использовании объективного экономического закона.

Тут следует сразу же оговориться: в понятие планового хозяйства можно вкладывать два совершенно различных смысла. Один из них очень близок нам, и с его методологией мы уже достаточно знакомы — это когда плановость понимается как отказ потребителю в праве выбирать продукты из ограниченного их запаса. Вот, например, совхоз «Сааку», под Таллином. На его территории построены несколько лет назад красивые двухэтажные коттеджи и добротные фермы из местного строительного материала — камня, которого здесь, кажется, больше, чем земли. Но это было тогда, когда планирование не охватило еще всех звеньев хозяйства. Теперь Госстрой взял под наблюдение все строительство. Он предписывает совхозу, из какого стройматериала и как строить дома и фермы. Причем из центра уловить местные особенности невозможно, поэтому происходят курьезы. В таежной Сибири строят железобетонные коровники, хотя рядом лес, который, казалось бы, ничего не стоит. В том же совхозе «Сааку» строят сейчас тоже хорошие дома, фермы, но из кирпича и железобетона. Строительство обходится дороже, но это «не бьет» по совхозу, за все эти излишества платит государство, а руководителю хозяйства даже в какой-то степени удобнее — не надо ломать голову, как сделать все подешевле. Тем более что ему это никто и не позволит: отклонения от планового проекта никто не будет финансировать.

Строить дом из местного дешевого материала или из того, что предписано инструкцией? Государственному предприятию выбирать здесь, как и во многом другом, не дано. Отказ потребителю в праве выбирать покупку дорого обходится обществу.

¹ «Ленинский сборник», XI, стр. 381—382.

Создается, зачастую искусственно, состояние дефицитности. Если нет возможности удовлетворить спрос, то ему не может быть предоставлено право быть регулятором территориального распределения товаров. Вот и возникает такой регулятор, как плановое распределение, которое может иметь множество видов и форм, но суть которого очень точно охарактеризовал покойный академик Немчинов: карточное rationирование.

Такой метод регулирования основывается на планах снабжения, составленных с учетом условных коэффициентов и запросов местных организаций. Совершенно неправильно считать такой способ регулирования экономики чисто социалистическим и видеть в нем наше преимущество перед капитализмом в деле планирования народного хозяйства. Кстати, и в капиталистических странах в период войн, экономических затруднений вводятся рационализация и плановое распределение ряда товаров.

Наши реальные преимущества в планировании экономики состоят в совершенно ином, но эти преимущества надо правильно представлять себе, чтобы эффективно ими пользоваться. Только общенародная собственность впервые открывает возможность направлять с помощью плана стихийные рыночные отношения, не ликвидируя, а используя их. Все дело в том, что в социалистическом обществе государство может активно влиять на изменение и совершенствование главных пропорций развития народного хозяйства. Уже одно то, что в перспективном плане, например, на 1970 год предусмотрены объемы производства стали, чугуна, нефти, электроэнергии и других важнейших продуктов, устанавливает определенные рамки, ограничивая действие закона стоимости. Государство сознательно форсирует производство этих видов продукции и в таких пропорциях, которые обеспечат оптимальную структуру всего народного хозяйства в целом и не только в нынешний период, но и на будущее. Устанавливая эти пропорции, общество в лице государства нередко не считается с уровнем рентабельности отдельных производств. Если бы регулирование основных пропорций народного хозяйства было предоставлено воле закона стоимости, то экономический прогресс во многом замедлил бы свои темпы. Сколько десятилетий пришлось бы ждать нашей стране рождения таких гигантов довоенного периода, как комбинаты Магнитогорска, Челябинска, Днепропетровска и другие, если бы их возникновение было поставлено в зависимость от действия одного лишь закона стоимости!

Да и в капиталистических странах экономисты понимают значение общественного планирования основных перспективных пропорций. Ведь и там государство берет на себя развитие тех отраслей, которые не могли бы расти на основе действия одного закона стоимости, когда руководствуются стремлением к максимальной прибыли на вложенные средства. Известно, что радиоэлектроника, атомная энергетика и другие отрасли развиваются в США в значительной степени за счет государственных дотаций или непосредственно на государственных предприятиях. Но капиталистическое общество располагает ограниченными возможностями, которые даже отдаленно не могут быть сопоставлены с возможностями социалистического общества.

После того, как пропорции народного хозяйства установлены, распределение стали, нефти, угля и тому подобного по отраслям должно происходить в большем соответствии с законом стоимости. Что изготовить из имеющейся стали, чугуна: трактор, комбайн, легковую машину или грузовик? Ответ даст изучение платежеспособного спроса и предложения. Но значит ли, что тут наступает безраздельное, бесплановое действие закона стоимости? Безусловно, нет. Спрос и предложение можно тоже регулировать. Общество, государство, используя экономические рычаги — цену, кредит, — а также регулируя исследовательские и научные работы, имеет большие возможности влиять на обращение товаров между предприятиями, направляя их так, как это выгоднее для общества при постоянном сохранении равновесия между спросом и предложением. Своеобразие этих методов регулирования, планирования заключается, как видим, в том, что оно происходит не на основе преодоления, а на основе использования системы товарного хозяйства.

Осознав роль закона стоимости в системе хозяйственного строительства — вещь не простая. К. Маркс писал в «Капитале», что «форма стоимости, получающая свой

законченный вид в денежной форме, очень бессодержательна и проста. И, тем не менее, ум человеческий тщетно пытался постигнуть ее в течение более, чем 2000 лет...».

И все-таки этого срока оказалось мало, чтобы постичь в этой области окончательно все. После Октябрьской революции в период военного коммунизма была сделана попытка заменить механизм товарно-денежных отношений прямым продуктообменом. Эта попытка не увенчалась успехом, так как она не соответствовала требованиям объективных экономических закономерностей. Прозорливость В. И. Ленина как раз и состояла в том, что он одним из первых понял это и сделал крутой поворот, изменив сразу принципы, методы социалистического хозяйственного строительства в связи с переходом на новую экономическую политику.

Как это ни странно, но нэп чаще всего воспринимается сейчас как особая политика молодого социалистического государства, которая заменила продрозверстку продналогом, поставила задачу налаживания товарной смычки между социалистической промышленностью и единоличным крестьянским хозяйством, допустив на время, в ограниченных масштабах, оживление частной инициативы.

Если видеть в нэпе только эти его стороны, то для нас он представлял бы теперь скорее исторический, чем практический интерес.

Но ведь в период нэпа наша экономика без сельского хозяйства уже состояла почти из одних социалистических, государственных предприятий.

Мудрость и дальновидность В. И. Ленина была как раз в том, что в те первые годы он сформулировал принципы, на которых должны были строиться отношения между социалистическими предприятиями. Они были основаны не на субъективных желаниях, а на подлинном знании объективных экономических закономерностей. Ленин видел в широком использовании товарных отношений в социалистическом секторе возможность такой мобилизации инициативы и всех скрытых резервов, которая позволила бы социалистическим элементам одержать победу в соревновании с капиталистическими.

Учитесь торговать, говорил Ленин. В эти слова он вкладывал гораздо больший смысл, чем требование белых халатов для продавцов и взаимную вежливость работников торговли и покупателей. Оно означало, что социалистические предприятия должны не административными, а экономическими методами овладеть рынком, вытесняя с него все отсталое, тормозящее технический прогресс. И, конечно же, к ним, к социалистическим предприятиям, а не к «мешочникам» и «нэпманам» адресовал Ленин свой призыв учиться торговать.

Именно в эти годы большинство социалистических предприятий было переведено на коммерческий расчет, то есть все существование их было поставлено в зависимость от выручки за реализованную продукцию. «Государственная казна за долги тресгов не отвечает»,— было заявлено в декрете о государственных промышленных предприятиях, действующих на началах коммерческого расчета. Тогда же были созданы первые социалистические тресты и синдикаты, которые объединяли предприятия одного направления и имели широкую инициативу в области производства и реализации продукции, ограниченную лишь контролем и общим руководством госорганов — ВСНХ.

Таким образом, социалистическое хозяйственное строительство велось при Ленине и какое-то время после его смерти из учета требований объективно существующего рынка, из стремления овладеть им, а не игнорировать и преодолевать. Известно, каких замечательных успехов добилась наша страна в те грудные годы.

— Да, но все это было в период строительства основ социализма,— могут возразить нам.— Вряд ли те приемы и методы пригодны в нынешних условиях, когда социализм уже построен и страна приступила к строительству коммунизма!

Именно так считал И. В. Сталин. Не торговля, а прямой продуктообмен был поставлен в повестку дня. Стали меняться методы хозяйственного строительства. Но жизнь вновь показала, что и сейчас еще этот переход преждевремен.

В Программе КПСС записано, что развитие товарно-денежных отношений не противоречит, а способствует строительству коммунизма. Тем не менее этот теоретический вывод слишком медленно прокладывает себе путь в практику нашего хозяй-

ственного строительства. Видимо, сила привычки и предрассудки мешают этому и в наши дни.

Все это, казалось бы, имеет весьма далекое отношение к проблемам сельского хозяйства. Но так может показаться лишь тем, кто смотрит на эту отрасль лишь глазами технолога, агронома или зоотехника.

Марговский Пленум ЦК КПСС объявил беспощадную борьбу субъективизму в руководстве народным хозяйством. Это позволяет поставить вопрос о необходимости определения критериев объективности.

Чем, например, руководствоваться при распределении техники между хозяйствами? Их потребностями безотносительно к результатам хозяйственной деятельности, то есть платежеспособности? Но тогда субъективизм в оценке этих потребностей расцветет пышным цветом. Чем определять ассортимент и объем плановых заданий хозяйствам, чтобы создать и здесь преграду субъективизму? Как установить оптимальное соотношение цен, чтобы не было перепроизводства одних продуктов и дефицита в других? Где определяется уровень цен — в производстве или в кабинете ведомства?

Стоит лишь встать на точку зрения товарности нашего производства, как сразу же представляется возможность выработать такие объективные критерии для решения главных вопросов, основываясь на которых можно противостоять субъективизму.

В первую очередь само собой отпадает искусственное разделение социалистических предприятий на «высшие» и «низшие» и образуется единая система руководства хозяйством на основе использования стоимостных категорий. Это решительно изменит характер планирования производства в колхозах и совхозах.

Не разверстка заказов на производство всего списка сельскохозяйственных культур, а переход действительно к свободной контрактации всех продуктов. В качестве переходной меры, страхуясь от непредвиденностей, можно было бы временно сохранить планы задания лишь по зерну.

На первый взгляд такое предположение многим покажется просто кощунственным — ведь социалистическое планирование в сельском хозяйстве ассоциируется обычно с системой доведения плановых заданий до колхозов и совхозов. Но тем, кто так думает, можно возразить, что такое планирование «выдуманно» еще задолго до того, как родились нынешние ярые его защитники. В 1914—1916 годах в России до уездов также доводились планы по производству и продаже хлеба при стабильных государственных ценах на него.

Планирование с помощью директив гораздо менее эффективно, чем подлинно экономическое планирование. Достаточно посмотреть на примеры самого последнего времени. До мартовского Пленума ЦК КПСС было немало призывов увеличивать производство пшеницы, подсолнечника, крупяных культур. Но успех был не тот, какой хотелось бы видеть. Более того, площади под этими культурами даже сокращались. И это нетрудно объяснить. В ряде районов при существовавшем тогда уровне цен было просто невыгодно заниматься этими культурами. После мартовского Пленума цены на пшеницу, подсолнечник и крупяные культуры были существенно повышены. Буквально через несколько дней, когда началась посевная, колхозы и совхозы отреагировали на это увеличением посевов тех культур, в которых так заинтересовано общество. Площади под пшеницей увеличились на два миллиона гектаров, под подсолнечником — на 250 тысяч гектаров, а под гречихой — на 310 тысяч гектаров. И все это без давления, приказов, инструкций. Можно ли сказать, что «стихия» сработала лучше, чем план? Ничего подобного. Тут просто столкнулись два принципа планирования: административный, исходное положение которого — сей, производи, даже если это противоречит экономическим законам, и принцип экономического планирования. Он строится на расчете: например, при цене семь единиц за центнер хозяйства сами без понуканий засеют сто единиц пшеницей, а при цене в десять единиц посеют той же пшеницы расширятся в полтора, скажем, раза. Как, на сколько, где — все это при такой системе планирования должны рассчитать экономисты заранее. Это куда труднее и сложнее, чем ото-

слать в хозяйства бумажку, где будет начертано: посеять столько-то, продать столько-то. Труднее, но зато реальнее результат.

Итак, речь идет не об отрицании планирования, а о совершенно иной методологии его. При экономическом планировании центр внимания переносится на изучение цены, рентабельности, ее географии, на изыскание путей для ускорения комплексной механизации того производства, развитие которого сдерживается.

Планирование с помощью экономических рычагов требует особого внимания к механизму цен. Цены не должны устанавливаться в административном порядке, хотя назначать цены могут административные органы. Все дело в том, чем руководствоваться при их установлении. Одно время в стране было плохо с горохом. Тогда цены на него подняли до двухсот рублей за тонну. За несколько лет площади под горохом сильно увеличились. В прошлом году план по производству гороха был выполнен на триста процентов. Возникла проблема сбыта этой продукции. Скармливать скоту — слишком дорого, себестоимость подскакивает так, что ни один руководитель без крайней нужды на это не идет, но и населению такого количества гороха не нужно.

Как же избежать повторения подобных случаев?

Совершенно очевидно, что если цена основывалась бы на данных платежеспособного спроса и предложения, то субъективизму в области ценообразования был бы положен конец. Разумеется, переход на такую систему цен должен быть осуществлен так, чтобы продукты в магазинах становились не дороже, а дешевле.

Могут возразить: а не получится ли так, что все колхозы и совхозы при стоимостном планировании одновременно захотят производить одни и те же продукты? Но это исключено. Конечно же, изменится несколько структура посевов в отдельных районах. Вряд ли в Одессе, Херсоне и им подобных местах будут сеять, как сейчас, картофель. Но по сути это даже и хорошо. Нынешняя себестоимость картофеля в Николаевской области — двадцать восемь копеек за килограмм, а в центральной полосе есть немало хозяйств, где она не превышает полутора копеек. Не будь плановых заданий, обязывающих одесситов выращивать сейчас картофель, они бы засеяли свои черноземы пшеницей, а белорусы и все другие нечерноземные районы с лихвой восполнили бы их долю. И это шло бы естественным путем: где что растет, там то и выращивать нужно, а не насильно без нужды природу.

Наверное, с таким предложением сейчас не согласятся даже сами одесситы. И их можно понять. Так же, как и северян, занимающихся выращиванием помидоров в парниках, когда на юге они вызревают в это время под открытым небом. Дело в том, что свободное движение продукции по стране затруднено сейчас уйма ограничений. Попробуйте отправить с юга виноград, свежие овощи — и вы убедитесь в этом. Хозяйствам не дают для этого вагонов, не разрешают вообще вывозить продукцию за границы области, пока она в целом не выполнит свой плач продажи в централизованные фонды: кооператорам одной области запрещено появляться в другой и закупать те продукты, которые там в избытке. Банк тоже строго следит за тем, чтобы торговые отношения не особенно-то развивались: кооператор, например, не имеет зачастую права заплатить наличными колхознику за мешок картошки, который он желает продать, да и мало ли других препятствий придумано на пути продукции от производителя к потребителю. Вот почему в иных случаях та или иная область производит неестественный для ее условий продукт, чтобы иметь хоть дорогую, но гарантированную продукцию.

Если снять ограничения в торговле сельскохозяйственными продуктами, отказаться от пренебрежительного отношения к торговле ведущего свое начало от того порока, который В. И. Ленин в свое время охарактеризовал как «комчанство», то возникли бы вполне естественно специализированные районы, обеспечивающие страну самыми дешевыми продуктами. Большую роль в решении этой задачи мог бы сыграть Центросоюз. Но тогда необходимо возродить коммерческую сущность этой наиболее разветвленной организации, самой природой созданной для осуществления продуктообмена между городом и деревней.

Последовательное совершенствование товарно-денежных отношений в нашем народном хозяйстве должно развиваться и в снабжении хозяйств техникой, удобрениями и прочим. Не распределение, а продажа всех материальных фондов и колхозам и совхозам по ценам спроса и предложения — вот та мера, которая могла бы обеспечить рациональное использование техники в сельском хозяйстве. Это позволило бы направлять средства производства в решающие отрасли и районы сельскохозяйственного производства и обеспечивать комплексное их использование.

На такое предложение обычно реагируют так:

— А как же экономически слабые хозяйства?

В этой реакции больше эмоций, чем трезвого смысла. Во-первых, на ребенка и взрослого человека обувь нужна совершенно разных размеров: что подходит одному — не годится другому. А во-вторых, даже удобрения и тракторы могут разорить хозяйство, когда оно не подготовлено к их использованию. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на то, как в иных районах работают с теми же удобрениями: агрохимической лаборатории нет, специалистов тоже. почвенная карта не составлена, вносить удобрения нечем, хранить негде. Результат? Даже такое благо, как удобрения, оборачивается хозяйству убытком, не принося того эффекта, который должен быть. Но такому хозяйству заарядили удобрения, и оно их должно «выбрать», хотя рядом стоит хозяйство, где все готово для разумного использования достижений науки, и оно-то недополучает как раз то, что без пользы тратится у соседа.

А сколько примеров можно привести с «каруселями» и «елочками» и тому подобными механизмами, которые были «брошены» на укрепление экономики отстающих колхозов, но, попав гуда, окончательно подорвали эти хозяйства! Подъем экономически слабых хозяйств зависит часто не от нехватки той или иной машины, которую можно бы дать и в кредит, а от не соответствующей экономической зрелости хозяйства структуры производства.

Свободная продажа техники, удобрений, химикатов колхозам и совхозам на разных началах позволила бы более разумно, чем сейчас, распределить средства между хозяйствами.

Совершенствование производственных отношений в сельском хозяйстве потребовало бы серьезного укрепления хозрасчетных отношений государства не только с колхозами, но и совхозами. О хозрасчете в совхозах говорят немало и уже давно. Однако смысл в это понятие не всегда вкладывается одинаковый. Для одних хозрасчет — это учетная категория, позволяющая в какой-то степени соразмерять успехи хозяйства в выполнении тех планов, которые доведены ему «сверху». В рамках этого голкования ведутся многочисленные споры: что позволить и чего не позволять директору совхоза. По существу здесь ставится вопрос о некотором, несущественном расширении прав директора — управляющего одной из ячеек супергигантского хозяйства, о чем речь шла выше. Эти поправки не задевают нетоварных принципов существующей системы, поэтому, на наш взгляд, ничего хорошего они не сулят. Правы, пожалуй, те, кто в расширении прав директора на нынешней основе усматривает опасность разбазаривания общественных средств. Если государство будет оплачивать штаты работников в совхозах, а их формирование целиком перепоручит директору, то где экономическая гарантия того, что они не будут разбухать?

Более радикально предлагают поступить, например, директор давно известного совхоза «Гигант» (Ростовская область) Д. Ангельев и кандидат экономических наук М. Туманова. На примере этого хозяйства они показали, как могло бы строиться распределение доходов в совхозе, обеспечивая процесс простого и расширенного воспроизводства за счет собственных совхозных средств. Из валовой выручки от продажи продукции государству, поступившей в 1963 году и составившей 6,6 миллиона рублей, совхоз отчислял бы средства на восполнение материальных затрат по производству (1,8 миллиона), а остальной валовой доход (4,8 миллиона) распределял бы по заранее обозначенной пропорции в фонд зарплаты (скажем, 48 процентов) и чистый доход, часть которого (скажем, пять процентов от стоимости основных фондов) шла бы государству (700 тысяч рублей), а остальная оставалась бы в совхозе на нужды расширенного воспроизводства.

Такая схема, как справедливо подчеркивают авторы («Известия», № 14, 1965 года), создала бы условия, когда увеличение продажи продукции вело бы к росту фонда оплаты труда, к увеличению отчислений на расширенное воспроизводство и в централизованный фонд государства. При таком понимании хозрасчет в совхозах становится на иную основу — на принципы товарного ведения хозяйства. И тут он уже не отличается от коммерческого расчета, за который боролся В. И. Ленин. Осуществление такой схемы помогло бы преодолеть разрыв между уровнем развития производительных сил и производственных отношений, о котором говорилось в начале нашей статьи. Тогда и в совхозах рабочие и служащие стали бы больше чувствовать себя хозяевами производства, а это не замедлило бы сказаться на уровне производства, на себестоимости продукции. Таким образом, решение проблем сельского хозяйства находится в тесной связи с общим совершенствованием экономических отношений в нашем народном хозяйстве в направлении более широкого использования товарных отношений.

Стало быть, на наш взгляд, путь к увеличению производства сельскохозяйственной продукции пролегает не через искусственное противопоставление колхозов и совхозов и форсирование перевода ряда колхозов в совхозы, а в том, чтобы последовательно развивать и тут и там товарные отношения, укреплять демократические принципы управления производством, совершенствовать принцип распределения по труду, добиваться максимального и гармонического сочетания моральных и экономических стимулов.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

С. МАРШАК

★

МОЛОДЫМ ПОЭТАМ

В последние два года жизни С. Я. Маршак работал над новой большой статьей о поэтическом мастерстве. Первоначально С. Я. Маршак намеревался обратиться с этой статьей к намечавшемуся на конец 1962 года Всесоюзному совещанию, посвященному работе молодых писателей. Но позднее он продолжал писать статью, не связывая ее с каким-нибудь определенным поводом или датой. Готовя статью, Самуил Яковлевич собственноручно полностью или частично переписал для себя с различными пометками, касающимися особенностей стихосложения и содержания, более сотни стихотворений Пушкина, Баратынского, Козлова, Лермонтова, Некрасова, Блока, Маяковского и около двухсот стихотворений Ахмадуллиной, Берестова, Вознесенского, Евтушенко, Казаковой, Коржавина, Куняева, Матвеевой, Мориц, Р. Рождественского.

Смерть помешала Самуилу Яковлевичу закончить статью — статья оборвана почти на полуслове и еще не получила окончательной отделки. Но оставленная ушедшим поэтом рукопись, которая публикуется ниже, даже в незаконченном виде интересна и полезна для многих пишущих стихи и любящих поэзию.

I

Оглядывая пройденный мною более чем полувековой литературный путь и вспоминая судьбы многих поэтов, бывших моими современниками, я хочу высказать здесь кое-какие мысли, которые, как мне кажется, могут пригодиться молодежи.

В наше время книги стихов — если не все, то очень многие — долго не залеживаются на прилавках магазинов и полках библиотек. Расходятся даже томики лирических стихов, которые еще не так давно с трудом пробивали себе дорогу к читателю.

В разных концах нашей страны все увереннее заявляют о своем существовании поэты, о которых мы раньше не слыхали. А целая плеяда молодых успела приобрести за несколько лет такую широкую известность, какую их старшие собратья завоевывали долгими годами труда.

Как в первые годы революции, во дни молодости Маяковского и его ровесников, молодые поэты находят не только читателей, но и многочисленных слушателей.

Стихи, читаемые вслух с эстрады, вызывают немедленный и непосредственный отклик аудитории — не то что страницы стихов в журналах и сборниках. Лучшие поэты тридцатых, сороковых и пятидесятых годов редко слышали столь шумные аплодисменты, какие выпали на долю молодых поэтов последних лет.

Для Маяковского подмостки были трибуной. В сущности, вся его поэзия — оратория, рассчитанная на чтение вслух.

Но если эстрада — не трибуна, а только эстрада, она таит для поэтов серьезные опасности. К аплодисментам надо относиться с осторожностью.

Я не хочу, пользуясь своим возрастом, читать молодежи наставления, предостерегать ее словами Жуковского:

Ах, дети, дети, как опасны ваши лета!

Но разобраться в том, что такое успех, расшифровать это общее и довольно смутное понятие бесполезно.

Успехи бывают различного качества.

Почти одновременно с Маяковским стал известен Игорь Северянин. Сенсацию в литературных, а еще больше в окололитературных кругах вызвали его пышные и претенциозные «поэзы», щеголявшие звучными иностранными именами и служившие одной только цели — самопрославлению автора.

У нас были опубликованы несколько лет тому назад грустные и простые, проникнутые тоской по утраченной родине стихи того же Игоря Северянина, написанные им в эмиграции.

Читая их, видишь, что пышный, жеманный и манерный стиль «поэз», в которых было отведено так много места самолюбанию и самопрославлению, не был органичен для их автора, что поэт мог легко снять его с себя, как театральный костюм или маску.

Таких «ряженных» — то в заграничном плаще, то в русской поддевке, то в кубанке и с шашкой наголо — было в литературе немало.

И, может быть, одно из самых существенных отличий настоящего поэта от поддельного заключается в том чувстве собственного достоинства, которое не позволяет поэту рядиться в поисках дешевого успеха.

Каждый из сколько-нибудь известных литераторов получает немало писем от читателей. Многие из этих писем полны комплиментов. Но по-настоящему радуют писателя не похвалы, а подтверждение того, что самые заветные его мысли и чувства, выношенные в тиши, полностью дошли до читателей и тем самым приобрели какую-то объективную ценность.

В драматических произведениях Пушкина есть два сходных между собою эпизода.

В сцене у фонтана Григорий Отрельев признается честолюбивой Марине Мнишек, что он не царевич, хотя это признание для него и невыгодно и опасно. Но он не хочет, чтобы «гордая полячка» любила в его лице мнимого царевича, а не его самого.

В «Камежном госте» дон Гуан, добившись свидания с донной Анной, признается ей, что он не дон Диго, чьим именем он себя назвал, а дон Гуан, убийца командора, ее мужа.

Такое неосторожное, опрометчивое признание должно оттолкнуть от него донну Анну и может погубить его, но он ревнует любимую женщину к тому, за кого себя выдает, ему нужно, чтобы она любила его, именно его — дон Гуана.

Таковы и настоящие поэты. Они предстают перед читателем не ряженными, а со всей своей подлинной биографией, своим характером и мировоззрением. И если читатели полюбят его именно таким — без румян и маскарадного костюма, — он радуется своему успеху.

Нет карьеры поэта — есть судьба поэта.

И только человек, лишенный чувства собственного достоинства, может гордиться случайно завоеванным успехом, успехом не по адресу, «тафтяными цветами» моды, как называл такой успех Евгений Баратынский.

Вспомните его стихи:

Не бойся едких осуждений,
Но улоительных похвал:
Не раз в чаду их мощный гений
Сном расслабленья засыпал.

Когда, доверясь их измене,
Уже готов у моды ты

Взять на венок своей Камелы
Ге тафтяные цветы,—

Прости я громко негодую;
Прости, наставник и пророк!
Я с укоризной указую
Тебе на лавровый венок.

Когда по ребрам крепко стиснут
Пегас упрямым седоком,
Не горе, ежели прихлыстнут
Его критическим хлыстом.

«Тафтяными цветами» моды довольствовался Бенедиктов, а на моей памяти очень многие стихотворцы и беллетристы. Достаточно назвать романиста Арцыбашева, ныне совершенно забытого. А ведь у него была хоть и недолгая, но гораздо более шумная слава, чем, скажем, у Чехова, слава которого росла медленно, но досрела до славы одного из виднейших в мире писателей и продолжает расти с каждым годом.

Дешевое гщеславие, желание всем нравиться приводит подчас к самым неожиданным последствиям. Надо трезво разбираться в том, кто именно и что у вас ценит, и не уподобляться той анекдотической солдатской незесте, которую «вся рота хвалит».

Репутация такой невесты весьма сомнительна.

Многие из наших молодых поэтов слишком долго засниживаются в молодых. «Блажен, кто смолоду был молод». Но плохо, если человек вовремя не почувствует, что ему пора повзрослеть. Задержаться на определенном возрасте так же невозможно и рискованно, как на эскалаторе метро.

Любопытно оглянуться на далекое и недавнее прошлое, чтобы хоть на нескольких наиболее наглядных примерах проследить, когда и при каких обстоятельствах выросли люди, оказавшие влияние на судьбы нашей литературы.

Резкую грань, отделяющую юность от зрелости, можно обнаружить, перечитывая Лермонтова. Этой гранью был для него роковой 1837 год, год гибели Пушкина.

Стихи Лермонтова «На смерть поэта», не обнародованные при его жизни, но ходившие по рукам в списках, принесли ему всенародную славу.

В этих стихах на всю Россию прозвучал голос зрелого и мужественного поэта. А ведь ему в это время шел всего только двадцать третий год. И если раньше у него были наряду с замечательными и посредственные стихи, то с 1837 года по 1841-й, то есть до последних его дней, все, что ни писал он в стихах и в прозе, было отмечено печатью зрелого ума и глубокого жизненного опыта.

Эта резкая черта, разделяющая два периода в творчестве Лермонтова, убедительно показывает, что дело тут не только в том, что поэт стал на какой-нибудь год старше.

Нет, прощаясь с Пушкиным, Лермонтов явственно осознал свое место в русской поэзии, понял, что ему выпало на долю быть прямым наследником, законным преемником погибшего поэта.

И это высокое, ответственное сознание не изменяло ему до конца жизни.

А разве не чувством ответственности, возникающим тогда, когда слово становится делом, объясняется ранняя зрелость Грибоедова, Добролюбова, Писарева?

Мы были свидетелями того, как с первых лет революции окреп, стал звучнее и богаче голос молодого Владимира Маяковского.

За последние годы у нас появилось немало талантливой молодежи. Пусть же она помнит, что настоящая зрелость приходит к человеку вместе с чувством ответственности.

Надо требовать от себя гораздо большего, чем мог бы потребовать самый строгий читатель или критик. Если бы Чехов был удовлетворен тем успехом,

каким он пользовался смолоду в юмористических журналах, он остался бы Антошей Чехонте и никогда не стал бы Антоном Чеховым.

Мы, старики, повинны во многих недостатках, присущих нашей молодежи. То мы слишком захваливали ее, то обрушивались на нее чересчур сурово. Такая резкая смена температур вряд ли способствует росту и развитию молодых талантов.

Наше самое доброе пожелание, обращенное к литературной молодежи, может быть выражено словами Пушкина:

...Наконец

Я слышу речь не мальчика, но мужа.

Зрелость поэта, твердая его поступь и уверенность в своих силах зависят также от того, насколько он знаком с поэзией предшественников и современников и умеет отличать новые побег от прошлогодней травы.

Помню, как в конце двадцатых или в начале тридцатых годов Борис Пастернак, собираясь писать книгу в стихах для детей, обратился ко мне в письме с просьбой посоветовать, что ему прочесть, чтобы «узнать традицию» и тем самым «избежать рутинны».

Без знания традиции невозможно подлинное новаторство. Открыватели нового в искусстве, в науке, в технике должны быть вооружены знанием. Иначе им грозит участь наивных изобретателей, тщетно пытающихся разрешить проблему «perpetuum mobile» или открывающих уже давно открытую Америку.

Самые бедные в истории искусства эпохи характеризуются короткой памятью, почти полным забвением всего, что достигнуто мировым и отечественным искусством. Такова была — за редкими исключениями — наша поэзия в восьмидесятые и девятые годы прошлого столетия. В стихах искреннего, далеко не бездарного, но отмеченного печатью безвременья поэта Надсона и большинства его современников трудно обнаружить какую бы то ни было родословную. Для многих поэтов этого периода будто вовсе и не существовало на свете не только Данте, Шекспира, Гёте и Гейне, но и нашего Пушкина, Баратынского, Тютчева. Поэзия была похожа тогда на провинциальное захолустье, откуда «три года скачи, ни до какого государства не доскачешь», как говорится в «Мертвых душах». Да и реальная жизнь весьма тускло отражалась в поэзии, в которой преобладали риторика и декламация. Консервативность формы, бедность языка, однообразие размеров и ритмов, банальность сравнений и эпитетов, превратившихся в какие-то стертые и шаблонные типографские вышметки, — вот типичные черты этого времени.

И при первых же признаках оживления, которое было подготовлено поэзией конца девятых годов и наступило в девятисотых годах вместе с назревавшей революцией, в поэзии начинают возрождаться традиции нашей и мировой литературы.

Правда, как протест против предшествовавшего застоя, поэзия этого времени часто грешит чрезмерным модернизмом, новаторством ради новаторства, подражанием зарубежным образцам.

И все же культура наиболее выдающихся поэтов этих лет куда выше, чем у их предшественников. В отличие от поэтов восьмидесятых и девятых годов Александру Блоку уже нужны Данте, Шекспир и Гейне, Пушкин, Жуковский, Тютчев, Фет и Некрасов. Особенно чувствуется пушкинское начало в его строгих и четких стихах последних лет.

И все эти глубоко и органически воспринятые традиции несколько не умаляют своеобразия поэзии Блока, а, напротив, обогащают ее.

Мы помним его прекрасное стихотворение о девушке-самоубийце («Под насыпью, во рву некошенном»):

Бывало, шла походкой чинною
На шум и свист за ближним лесом.
Всю обойдя платформу длинную,
Ждала, волнуясь, под навесом.

Три ярких глаза набегающих —
 Нежной румянец, круче локон.
 Быть может, кто из проезжающих
 Посмотрит пристальней из окон..

Лишь раз гусар, рукой небрежною
 Облокотясь на бархат алый,
 Скользнул по ней улыбкой нежною..
 Скользнул — и поезд в даль умчало..

Да что — давно уж сердце вынуто!
 Так много отдано поклонов,
 Так много жадных взоров кинуто
 В пустынные глаза вагонов..

Разве не напоминают эти стихи знаменитую некрасовскую «Тройку»?

Что ты жадно глядишь на дорогу
 В стороне от веселых подруг?
 Знать, забило сердечко тревогу —
 Все лицо твое вспыхнуло вдруг.

И зачем ты бежишь торопливо
 За промчавшейся тройкой вослед?..
 На тебя, подбоченясь красиво,
 Загляделся проезжий корнет..

Но при всем сходстве этих стихотворений («...жадно глядишь на дорогу» — «Так много жадных взоров кинуто»; гусар, облокотившийся на бархат алый, — и подбоченившийся корнет), в каждом из них так отчетливо и ярко проявилась индивидуальность их авторов, так явственно чувствуются подлинные черты времени.

С теми же стихами Александра Блока в какой-то степени перекликается и стихотворение английского поэта XIX века Томаса Гуда «Мост вздохов» — тоже о девушке-самоубийце.

Почти вполне совпадает строчка Блока:

Красивая и молодая...

со строчкой Томаса Гуда:

Young and so fair..
 (Молодая и такая красивая..)

Такая перекличка поэтов разных времен и стран объясняется совпадением жизненных фактов, да еще и тем, что чуткая память поэта бережет — иной раз даже без участия сознания — обрывок музыкальной фразы его собрата, предшественника или современника.

Кстати, как я неоднократно наблюдал, совпадение стихотворного размера и ритма часто влечет за собою и словесное совпадение. Очевидно, ритм не запоминается нами отвлеченно, отдельно от тех слов, в которых он дошел до нас.

У Лонгфелло есть стихи, напоминающие своим размером и ритмом известное стихотворение Гейне «Лорелея».

Очевидно, не даром, не случайно строчка Гейне: «Und ruhig fließt der Rhein» («И спокойно течет Рейн») так похожа на строчку Лонгфелло: «As the wind resembles the rain» («Как ветер напоминает дождь»).

Хоть заключительное и опорное слово у Гейне означает реку Рейн, а у Лонгфелло — дождь, но звучание их почти одинаково.

В стихотворении Лермонтова «Ветка Палестины» (1837) слышатся явные отзвуки пушкинского стихотворения «Цветок» (1828):

Цветок засохший, безуханный,
 Забытый в книге вижу я;
 И вот уже мечтою странной
 Душа наполнилась моя:
 Где цвел? когда? какой весной?
 И долго ль цвел? и сорван кем,
 Чужой, знакомой ли рукою?
 И положен сюда зачем?..
 И жив ли тот, и та жива ли?
 И нынче где их уголок?
 Или уже они увяли,
 Как сей неведомый цветок?

Не похожи ли эти мелодичные, проникнутые грустным раздумьем вопросы на такие же лирические вопросы, которыми кончаются восемь четверостиший «Ветки Палестины»?

Скажи мне, ветка Палестины:
 Где ты росла, где ты цвела?
 Каких холмов, какой долины
 Ты украшением была?..
 И пальма та жива ль поныке?
 Все так же ль манит в летний зной
 Она прохожего в пустыне
 Широколиственной главой?
 Или в разлуне безотрадной
 Она увяла, как и ты,
 И дольний прах ложится жадно
 На пожелтевшие листья?..

«Ветка Палестины» осталась в памяти гораздо более широкого круга читателей — и взрослых и юных, — чем небольшое и скромное стихотворение Пушкина «Цветок».

Но для меня — и, вероятно, не только для меня одного — в беглых и хрупких, как бы наскоро набросанных лирических строчках Пушкина таится больше очарования, как в почерке по сравнению со шрифтом.

Не эти ли строчки Пушкина («И вот уже мечтою странной...») нашли отдаленный и менее явный отзвук и в стихах Блока:

...Случайно на ноже карманном
 Найди пылинку дальних стран —
 И мир опять предстанет странным,
 Закутанным в цветной туман!

Поэты-современники и поэты разных веков и национальностей то и дело перекликаются между собою. Поэзия — это как бы общее большое хозяйство, в которое каждый народ и каждый поэт в отдельности вносят свой вклад, частицу своего гения. Это яснее ощущается в эпохи подъема, менее заметно — в эпохи упадка. В росписи Сикстинской капеллы участвовало множество художников, не боявшихся, что их индивидуальность затеряется, потонет в общем дружном хоре. Напротив, в эпоху декаданса каждый ревниво оберегает патент, взятый им на тот или иной стихотворный жанр, размер, ритм, круг тем, образов, эпитетов и метафор.

Верно и глубоко чувствовал общность поэтов своей страны и эпохи Владимир Маяковский, обращаясь к братьям:

Сочтемся славою,—
 ведь мы свои же люди,—
 пускай нам
 общим памятником будет
 построенный
 в боях
 социализм.

Чем крупнее поэт, тем больше чувствует он, что искусство — общее дело, а не какой-то отгороженный им участок. Чувствует это даже тогда, когда полемизирует, как Маяковский, с поэтами-современниками и классиками. Ведь примерно такую же полемику вели в своих стихах и Пушкин, и Лермонтов, и Байрон, и Бернс, и Гейне.

Пушкин установил далекие связи с поэзией и прозой различных времен — с греческими гекзаметрами, с Овидием и Горацием, с латинской прозой, с французскими поэтами, с Байроном, а потом с Шекспиром, с поэзией западных славян, с русской народной и предшествовавшей ему литературной поэзией — всех его связей в беглом перечне не охватишь.

Без питания нег роста. Добросовестно пройденный ученческий период ведет к выработке подлинного, а не поверхностного и мнимого своеобразия.

Только умственно ограниченный и наивный человек может думать, что знакомство со стихами поэтов-современников и предшественников грозит ему потерей оригинальности и самобытности. Сравнивая между собой различные эпохи, лишней раз убеждаешься, что потеря связи с культурой ведет к банальности, к бедности мысли, чувств и поэтических средств.

У поэта, как у всякого художника, два источника питания. Один из них — жизнь, другой — само искусство. Без первого нет второго. Недаром, как мы видели, во время падения культуры стиха поэзия теряет не только стиль и многообразие своих форм и средств, но и способность видеть, слышать и чувствовать окружающую жизнь.

С другой стороны, поэзия становится бескровной, формальной и книжной, если она оторвана от жизни и варится в собственном — поэтическом — соку.

Для нас уже стало прописной истиной, что Пушкин учился живой русской речи у простого народа — у нянюшки Арины Родионовны, в деревне, на дорогах и базарах — и что Лев Толстой — по его собственному признанию — учился говорить по-русски не только у крестьян, но даже у крестьянских ребят.

Не оттого ли стихи так часто похожи у нас на перевод с какого-то иностранного языка, что авторы их не прислушиваются к живой и естественной русской речи, не стараются уловить те богатые устные интонации, без которых фраза становится безжизненной, бессильной и бесцветной.

Эти интонации придают мощь и убедительность пушкинским, лермонтовским, Некрасовским, Тютчевским стихам, стихам Маяковского и Твардовского.

Пожалуй, многим поэтам следовало бы поучиться умению вслушиваться в народную речь у лучших прозаиков, у классиков, да и у современных писателей.

Вспомните глухого старика железнодорожника Кордубайло из рассказа А. Солженицына «Случай на станции Кречетовка». Что бы ему ни сказали, расслышал ли он или не расслышал, согласен или не согласен, — старик на все отвечает успокоительно и мирно:

— Ну, правильно.

А дальше он либо возражает говорившему, либо несет что-то свое, не имеющее отношение к сказанному.

Такую реплику нельзя было придумать. Ее надо было подслушать и запомнить.

Мне скажут: а что тут запоминать? Всего два обыкновенных слова: «Ну, правильно»!

Но в том-то и дело, что иной раз каких-нибудь два слова, а иной раз даже одно точное и меткое слово может создать образ человека или даже целую картину.

II

В произведениях искусства проявляется то, что у художника на душе и за душой. Каков человек, таково и его искусство. Этого-то человека требовательно и жадно ищет в строчках книги — или, вернее, за строчками — чуткий читатель.

Кормилица не столько заботится о своем молоке, сколько о своем здоровье. Будет здоровье — и молоко будет хорошее.

Так о своем духовном, нравственном здоровье должен прежде всего заботиться писатель.

Если он беден мыслью и чувством, откуда же возьмется богатое содержание в его стихах и в прозе? Если он полон только самим собой, — в его душе и в литературных его трудах не будет места жизни и тому неисчерпаемому богатству, которое в ней заключено. О таких людях Пушкин говорит:

...— Да ты чем полон, шут нарядный?
А, понимаю: сам собой;
Ты полон дряни, милый мой!

Самовлюбленность — одна из главных болезней, которой подвержены люди искусства. Она неизбежно ведет к обмелению души.

В искусстве, как на Монетном дворе, ничто не должно прилипать к рукам. Нельзя без ущерба своему искусству щеголять внешними данными, голосом, стихом, хоть заботиться о своем голосе и о качестве своего стиха надо постоянно.

Сальери гораздо больше думал о своем месте в искусстве, чем гениальный, щедрый, бескорыстно преданный искусству Моцарт.

Что ценим мы больше всего в Пушкине? Или, скажем, что больше всего ценил в своей поэзии он сам?

В зрелых его стихах, где взвешено каждое слово («Я памятник себе воздвиг нерукотворный»), он говорит:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу...

В этих строчках речь идет не об эстетической, а об этической и гражданской ценности того, что оставил поэт народу.

А разве не ценил Пушкин красоту, совершенство формы? И все же он, непревзойденный мастер стиха, не считает своей главной заслугой высокое мастерство само по себе. Нет, это мастерство подчинено высшей цели...

В сущности, эгим критерием -- этическим -- определяется величие писателя. Замечательным поэтом был Фет, но недостаток альтруизма, гражданственности, равнодушие к бедам и нуждам поработенного народа --- вот что не дает ему права стоять рядом с Пушкиным, как бы превосходны ни были его стихи о природе.

Очевидно, подлинной красоты не может быть там, где нет человечности и благородства.

Многие стихи Некрасова по сравнению со стихами Фета кажутся прозаичными и даже газетными. Но внимательно перечитывая Некрасова, находишь образцы высокой поэзии и гораздо больше узнаешь об его эпохе, чем по стихам таких талантливых его современников, как Фет и Полонский.

И потому стихи его богаче живыми интонациями, шире, разнообразнее, народнее его словарь.

Любопытно, что стихи Некрасова могли в свое время соревноваться в силе своего воздействия на читателей с прозой Тургенева, Достоевского, Гончарова, Льва Толстого.

А ведь позднее даже самые знаменитые поэты не могли соперничать в успехе с Толстым, Чеховым, Горьким.

Говоря здесь о человечности и гражданской ответственности, я имею в виду не тенденции, плавающие на поверхности литературных произведений, как жир в плохо сваренном супе, не холодные декларации, а поэзию, которая выражает глубоко личные чувства автора, живущего одной жизнью с народом. В такой поэзии личное и общественное неразделимы.

В одном из сонетов Шекспир говорит:

Красильщик скрыть не может ремесло.
 Так на меня проклятое занятие
 Печатью несмываемой легло.
 О, помоги мне смыть мое проклятье!

Очевидно, речь здесь идет о ремесле актера. На это указывает строчка, в которой говорится, что автор сонета осужден «зависеть от публичных подаяний».

Литературный цех, как и актерский, тоже накладывает свою печать на человека, если этот цех оказывается для него замкнутым кругом, заслоняющим широкий мир.

Мы знаем, что начинающему не слишком легко пробиться в литературу, в семью профессиональных писателей. И часто бывает так, что добившийся признания новичок становится завсегдатаем редакций и литературных клубов и встречается почти исключительно со своими собратьями по перу. У него сразу же появляются друзья и враги. Друзья — это те, кто признает его талант, враги — те, кто отрицает. Успех, место, которое он занимает в литературе, — вот что составляет главный его интерес в жизни. С более широкой средой он встречается главным образом на своих литературных выступлениях, как с публикой, или тогда, когда ездит в командировку.

Разумеется, я говорю здесь не обо всех наших молодых литераторах, но думаю, что те, кого я имел здесь в виду, не являются исключением.

Писатель должен быть профессионалом, а не любителем, но прежде всего он должен быть человеком и не терять непосредственного — а не только писательского — интереса к жизни и к людям.

Только при наличии такого интереса он не будет нуждаться в необходимом для литературной работы.

Он должен верить в свои силы — без этого невозможно писать. — но нельзя придавать чрезмерное значение временному успеху и похвалам окружающих людей...

III

У нас часто говорят о том, что старые писатели должны помогать молодым, делиться с ними своим зрелым опытом. Что ж, такое требование вполне справедливо и законно.

Но если говорить конкретно, то чему, собственно, может обучать молодых поэтов их старший собрат, накопивший за свою долгую жизнь немалый опыт?

Технике стихосложения? Искусству рифмовать или пользоваться разнообразными стихотворными размерами?

Но ведь мы знаем, что на рифмы и стихотворные размеры, как на вкус и цвет, товарища нет.

Возьмем поэтов одной и той же поры. Скажем, Маяковского, Есенина и Пастернака. Как различны их рифмы и размеры. Пастернак и Есенин не пользовались свободными размерами и не располагали стихи «лесенкой», как Маяковский или Асеев, и тем не менее стихи их звучали вполне современно.

А ведь у иных поэтов те же формы и размеры, что у Пастернака и у Твардовского, кажутся старообразными, старомодными.

Значит, дело в содержании, в словаре и в интонациях, которые заключены в этих размерах.

Мы понимаем, для чего Маяковскому нужна была его «лесенка». без которой многие не могли бы прочесть его еще необычный для того времени стих, но часто недоумеваете, зачем и чего ради пользуются той же «лесенкой» многие стихотворцы, которым она вовсе не нужна.

Оценивать богатство или бедность рифм или тех или иных стихотворных размеров нельзя без учета индивидуального характера того или иного автора. Это ведь не объективный товар, подлежащий рыночной оценке.

литературу дают не перепевы, а подлинные мысли, чувства и наблюдения. Все меньше у нас литературной провинции, живущей отголосками и отходами искусства. Чтобы убедиться в этом, достаточно почитать книги и сборники, выходящие в краях, далеких от центров. В них находишь немало страниц, проникнутых тем чувством собственного достоинства, которое не позволяет человеку жить чужим умом и повторять уже знакомое.

Но, пожалуй, еще больше, чем удачам и успехам нашей молодежи, должны мы радоваться ее неуспокоенности, ее все возрастающей требовательности к себе.

В этом смысле очень показательна статья одного из молодых поэтов, Владимира Цыбина, написанная резко и горячо.

Автор статьи¹ говорит:

«Вот уже наступило время, когда нам стало по двадцати восьми — тридцати двум годам. Мы перешагнули «лермонтовский», «есенинский» возраст. В наши годы уже были написаны «Тихий Дон», «Разгром». А что сделали мы? И по масштабу и по значению — неизмеримо меньше.

В чем же дело? Почему?..»

Ответить на это не так-то легко. Однако хорошо и то, что кое-кто из молодых поэтов задает себе этот вопрос. Хорошо, что молодежь не только мерится силами между собой, но и подвергает себя строгому экзамену, сравнивая свои успехи с тем, что успели сделать в ее возрасте крупные поэты и прозаики...

В этих заметках я хочу поделиться с читателями кое-какими своими впечатлениями от сборников стихов и отдельных стихотворений, прочитанных мною за последнее время.

Это, конечно, только впечатления, а не оценка. По-настоящему оценить поэта, как и всякого человека, с которым мы знакомимся, можно лишь с течением времени — после того, как он повернется к нам разными своими сторонами.

Пушкина долгое время — даже после того, как он написал «Евгения Онегина», — читающая публика и критика называли всего лишь певцом «Руслана и Людмилы», «Кавказского пленника» и «Бахчисарайского фонтана».

После «Стихов о Прекрасной Даме» и даже после «Нечаянной Радости» еще трудно было увидеть в Александре Блоке автора стихов «Петроградское небо мутилось дождем», «Под насыпью, во рву некошенном» и еще меньше «Двенадцати» и «Скифов».

А кто мог узнать в Антоше Чехонте будущего Антона Чехова?

Молодого поэта можно почувствовать или не почувствовать, принять его или не принять.

А рассматривать его стихи, как учебническую тетрадку, подчеркивая строчки и предостерегая автора восклицательными знаками на полях, — дело бесполезное, да и обидное, если только перед нами не первая робкая попытка начинающего.

Но человек, выступающий в печати, да не с отдельным стихотворением, а с целым сборником стихов, не может и не должен ждать скидки на молодость.

Мой друг, зачем о молодости лет
Ты объявляешь публике читающей?
Тот, кто еще не начал, — не поэт.
А кто уж начал, тот не начинающий?

¹ «Литературная газета», 4 августа 1962 года.

² В одном из черновых вариантов статьи далее следует: «В сущности, таким запоздалым совершеннолетием страдают не только молодые литераторы, но и многие из нашей молодежи. Взрослые парни и девушки часто называют себя уменьшительными именами — Васей, Шурой, Наташей, Дусей. Вероятно, ответственность за это несет и семья и школа. Родители и учителя иной раз не замечают, что с какого-то момента перед ними уже не мальчики в коротких штанишках и не девочки в коротких платьицах, а взрослые люди, отвечающие за свои поступки. Надо еще с младших классов, а с старших классов и подавно — относиться к ним с подлинным уважением. Тогда они и сами будут больше уважать себя и вовремя перестанут считать себя детьми.

Уважительно и требовательно должны мы относиться и к нашей литературной молодежи...»

Есть много признаков того, что за последние годы наша поэзия заметно оживилась и помолодела.

Вероятно, этим она обязана главным образом освобождению от сурового ригоризма и догматизма, связанного с «культом личности».

Да к тому же все больше дает о себе знать такое простое, но великое явление, как всеобщая грамотность, охватившая всю нашу страну и бесконечно расширившая резервуар, из которого выходят писатели, ученые, изобретатели. Вместе с новыми пополнениями в литературу врывается, обогащая ее, говор и быт разных краев и областей. А то, что большинство народа состоит у нас из людей, связанных в нынешнем или в предыдущих поколениях с землей, с природой и с трудом, придает или еще должно придать нашей литературе новую силу и богатство.

Когда-то Пушкин и Лев Толстой учились языку у народа. Теперь народ как бы сам заговорил о себе. Младшее поколение поэтов еще не успело проявить себя в той же мере. Но уже сейчас ясно, что среди молодежи немало сильных и своеобразных дарований.

Как всегда во время нового подъема поэтической волны, в стихах молодых еще много пены. Ну что ж, неплохо окунуться в пену, обдающую свежестью.

Но надо помнить, что пена обманчива. Иной раз она бьет через край, создавая впечатление изобилия и глубины. А там, глядишь, пена схлынет, и тут окажется, что кое-где никакой глубины под ней и не было.

Пусть же молодой задор не мешает новым поколениям поэтов накапливать подлинное, а не мнимое богатство мыслей, чувств, наблюдений.

От этого только и зависит их дальнейшая судьба — судьба, а не карьера поэта.

Один из самых «пенистых» — и вместе с тем один из самых талантливых молодых поэтов — Андрей Вознесенский.

Он пишет размашисто, безоглядно, безудержно, порой опрометчиво, сталкивая различные эпохи и стили. Подчас он не заботится об укреплении своих позиций, веря, что его поймут и с полуслова.

Неизвестно, куда бы завело поэта стремление к остроте — движение «по лезвию», — если бы его иной раз не спасали неожиданные при такой стремительности пристальность и зоркость.

Это особенно заметно в цикле стихотворений «Треугольная груша», который вызвал у нас столько споров.

В этом цикле автора часто «заносит», берет в плен игра созвучий, сумятица чувств и недоовлощенных мыслей.

И вдруг нас останавливает меткий и точный образ:

Я сплю, ворочаюсь спросонок
В ячейках городских квартир.

Мой кот как радиоприемник
Зеленым глазом ловит мир.

А как поэтично изображено стекло аэропорта, который автор противопоставляет старым тяжеловесным зданиям Нью-Йорка:

Вместо каменных истуканов
Стынет стакан синевы —
без стакана.

Или:

.. в аквариумном стекле
Небо,
приваренное к земле.

Остро и до наглядности убедительно переданы ощущения поэта, когда американские «стукачи» — агенты ФБР — снимают его своими фотоаппаратами врасплох, сквозь щелку, за разговором с пришедшей к нему гостьей, за едой и питьем:

17 объективов щелкали.
17 раз в дверную щелку
Я вылетал, как домовой,
Сквозь линзу — книзу головой!..

В поэзию наших молодых вполне законно и естественно врывается много современных понятий, научных и технических терминов.

Особенно это заметно у Вознесенского. Он как бы любит звучанием слов «парабола». «витраж», «дюралевый», «неон», «реторта», «аквариумный», «акредитованный» и т. д.

Встречаются у него строфы, чуть ли не наполовину состоящие из слов иностранного происхождения:

Брезжат дюралевые витражи...

Поневоле вспоминаешь чеховскую героиню с ее пристрастием к иностранным словам вроде «атмосферы».

Правда, современный язык не может обойтись без вошедших в нашу речь новейших терминов, из которых многие стали интернациональными.

В свое время и Пушкин смело вводил в русскую поэзию — к ужасу Шишкова и «Любителей русской словесности» — новые слова, заимствованные из иностранных языков и уже вошедшие в русскую разговорную речь:

Но панталоны, фрак, жилет.
Всех этих слов на русском нет...

Однако Пушкин никогда не щеголял модернизмами. Они были ему так же чужды, как и хвостовские архаизмы.

Времена менялись, менялся и ломался быт, и в русскую поэзию от Некрасова до Блока и Маяковского то и дело входили новые слова русского и нерусского происхождения. И все же в лучших своих образцах она сохраняла чистоту языка, не позволяла новым словообразованиям замутить — из щегольства или из стремления к новизне — русскую речь, драгоценное наследие веков.

Да и Вознесенскому такое щегольство свойственно далеко не всегда.

Мы знаем его как поэта, одаренного подлинным чувством русского языка и русской культуры.

Вспомним его поэму «Мастера» — о строителях храма Василия Блаженного.

Стихи о древнем мастерстве далеки у него от эстетского любования стариной, от стилизации, в которую впадали многие, оглядываясь на прошлое. Его старинные русские мастера — товарищи современных строителей, возводящих наши новые города. Василий Блаженный стоит у него рядом с новейшими стеклянными-металлическими конструкциями нынешнего и завтрашнего дня.

Он умеет отличать достойную уважения старину от доживающих свой век и давно уже переживших себя остатков прошлого.

С тонким мастерством и богатством словесных оттенков написан им портрет молодого парня — служки Загорской лавры:

Соня носами сизыми
И подоткнувши ясы —
Кто смотрит телевизоры,
Кто просто точит ясы.

Я рядом с бледным служкою
Сижу и тоже слушаю

Про денежки, про ледонки
И про родню на Ладоге...

Я говорю: — Эх, парень,
Тебе б дрова рубить,
На мотоцикле шпарить:
Девчат любить!

Тебе б не четки
И не клобук,—
Тебе б чечеткой
Дробить каблук!

Эх, впрысядку,
Чтоб пяжки — в небеса!
Уж больно девки падки
На синие глыза.

Он говорит: — Вестимо...
И прячет, словно вор,
Своей нестерпимо снгий,
Свой нестеровский взор.

И быстрою походкой
Уходит за решетку.

Мол, дружба — дружбой,
А служба — службой...

И колокол по парню
Гудит окрест.
Крест на решетке.
На жизни —
Крест.

Здесь Вознесенский нашел точные, веские, незаменимые слова. Созвучия, которыми он играет, органичны и убедительны. Не случайно рифмуются «клобук» и «каблук», «четки» с «чечеткой». Точно так же полны значения аллитерации в поэме «Мастера»: «ваятели» — «воители», «кисти» — «кистени».

Созвучия как бы облекают в плоть и подтверждают поэтическую мысль автора. Пользуясь аллитерациями, поэт как бы вскрывает самую структуру языка, в котором созвучия далеко не случайны. То, что близко по смыслу, близко и по звучанию: гром, гроза, грохот. А иные созвучия — иронические — подчеркивают противоположность понятий. Нельзя было сильнее скомпрометировать слово «либерал», чем это сделал Денис Давыдов злою рифмой «обирало» — «либерала».

Такое опорочение, передразнивание слова смешным созвучием бывает не только в сатирической поэзии и в народном дубке. Им часто пользуется народ в разговорной речи.

У Андрея Вознесенского московские дьяки, издеваясь над вдохновенным и дерзким трудом строителей храма Василия Блаженного, прыскают в ладони: «Не храм, а срам!..»

Но как часто встречаешь у Вознесенского случайные, очень не глубокие созвучия — «купе» и «купаться», «анонимки» и «анемоны».

Конечно, нельзя, да и не к чему накладывать запрет на такие мало значащие, модернистические аллитерации. Но совершенно очевидно, что именно эта легкая, поверхностная игра звуками порою заводит поэта — по его же собственному выражению — «куда-то не туда».

Слишком кудрявая, как бы зацветшая образами и созвучиями речь ведет к тому, о чем так гневно сказал когда-то Лев Толстой, получив письмо со стихами: «Писать стихи — это все равно, что пахать и за сохой танцевать...»

Особенно много случайных рифм и аллитераций в цикле стихотворений Вознесенского «Треугольная груша»: «алкоголики» — «глаголешь», «прибитых» — «прибытие», «небесных ворот — аэропорт».

Неизвестно, какое из слов в каждой из этих пар вызвало другое, созвучное ему: «прибитые» — «прибытие» или наоборот.

Вполне реалистично и убедительно сравнение аэропорта с «небесными воротами». Но в «Архитектурном отступлении» Вознесенского аэропорт — не просто ворота, а некий «апостол небесных ворот» (кроме того, что он еще и «автопортрет» поэта, и «реторта неона»). А это настраивает автора на какой-то библейский, чуть ли не апокалипсический лад. Отсюда и алкоголики-ангелы, которым аэропорт нечто «глаголет», возвещая некое «Прибытье». Речь здесь идет о прибытии самолетов, но рядом с глаголом «возвещать» — да еще и с большой буквы — это слово звучит почти мистически.

Поэтическое воображение позволяет нам видеть в самых обычных явлениях нечто значительное, торжественное, даже таинственное. Но в «Треугольной груше» на непосредственные ощущения автора воздействует еще цель звуковых ассоциаций, по-своему направляющая и отклоняющая в стороны поэтическую мысль. Он как бы пьянеет от аллитераций, найденных им же самим.

Вознесенский любит сближать идеи и понятия, которые Ломоносов называл «далековатыми». Что же, в этом-то и заключается задача и путь поэта — так же, как и ученого, который постигает мир, находя общее в явлениях, далеких одно от другого. Путь, а не самоцель.

И там, где это сближение у Вознесенского естественно и метко, оно доходит до ума и сердца читателя.

Вот отрывок из его «Сибирского блокнота»:

Ты куда, попрыгунья
С молотком на боку?
Ты работала в ГУМе,
Ты махнула в тайгу...

Ты о елочки колешься.
Там, где лес колдовал,
Забиваешь ты колышки:
«Домна», «Цех», «Котлован»,
Как в шекспировских актах —
«Лес», «Развалины», «Ров».

Героини в палатках.
Перекройка миров.

Казалось бы, что общего между колышками, отмечающими в тайге расположение будущих построек, и условными обозначениями места действия в театре Шекспира?

А между тем это меткое, осенившее автора сравнение придает подлинное величие скромному труду московской девушки, которой выпала честь обозначить колышками будущие стройки Сибири.

После этого так естественно звучат патетические строки, которыми кончается стихотворение:

Героини в палатках.
Перекройка миров.

Неожиданное сближение далеких образов и понятий находишь у Вознесенского и в цикле стихов «Треугольная груша». Но здесь оно далеко не всегда оправдано и убедительно. Вспомним «Отступление, в котором бьют женщину».

Бьют женщину. Блестит белок.
В машине темень и жара.
И бьются ноги в потолок,
Как белые прожектора!

Эта строфа своим четким ритмом, аллитерациями (бьют — блестит — белок — бьются — белые) и глухими ударами мужских рифм выразительно передает

и тесноту машины, в которой происходит избиение, и бешеную борьбу в тесноте и темноте.

Но не слишком ли это изысканно и литературно? Не слишком ли рассчитано на читателей из своего же поэтического цеха?

Несмотря на все ужасы изображенной сцены, она вряд ли кого-нибудь понастоящему взволнует.

Бьют женщину. Так бьют рабынь.
Она в заплаканной красе
Срывает ручку, как рубильник,
Выбрасываясь
на шоссе!
И взвизгивали тормоза.
К ней подбегали, тормоша.
И волочили и лупили
Лицом по лугу и крапиве...

Ничего не скажешь — даже чересчур изобразительно и выразительно. Но почему-то все это больше похоже на пересказ эпизода из какого-то фильма, чем на непосредственные впечатления от жестокого и безобразного зрелища.

Даже сцена избиения лошади в стихотворении Некрасова трогает и потрясает нас куда сильнее:

...Ноги как-то расставив широко,
Вся дымясь, оседая назад,
Лошадь только вздыхала глубоко
И глядела... (так люди глядят,
Покоряясь непревзвонным нападкам)...

К женщине, которую избивают в стихах Вознесенского, мы не чувствуем настоящего, сколько-нибудь глубокого сострадания, потому что ровно ничего не знаем о ней и видим только ее ноги, бьющиеся в потолок машины, «как белые прожектора».

Александр Блок не слишком много рассказал нам о женщине-самоубийце в стихотворении «Под насыпью, во рву некошленном».

Мы знаем только, что она «красивая и молодая» и что лежит она под железнодорожной насыпью «в цветном платке, на косы брошенном...».

Но как много говорят нам о ней приведенные выше немногие строчки:

Бывало, шла походкой чинною...
Не подходите к ней с вопросами,
Вам все равно, а ей — довольно:
Любовью, грязью иль колесами
Она раздавлена — все больно.

Эти простые, поставленные в конце строфы, да и в конце всего стихотворения — на падающем дыхании — слова «все больно» проникнуты такой глубокой, такой неподдельной скорбью.

Я знаю, что не следует противопоставлять одного поэта другому, особенно поэтов разных времен. У каждого из них свой мир, свой почерк, свои темы и ритмы.

И все же стоит иной раз напомнить современному поэту о глубине и высоте, достигнутой его предшественниками.

Разумеется, я далек от того, чтобы ставить рядом и сравнивать между собой неизвестную женщину, выбросившуюся из автомобиля в Нью-Йорке, и русскую пригородную девушку, жадно вглядывавшуюся в окна мимолетных поездов и раздавленную «любовью, грязью иль колесами».

Но нельзя не почувствовать, что в стихах, в которых так бесчеловечно избивают женщину, автор остается сторонним наблюдателем:

Сминая лунную купаву,
Бьют женщину...

Даже гневное восклицание поэта по адресу истязателя — «Стиляга, Чайльд-Гарольд, битюг!» — не согревает строк, в которых так мало непосредственности и человечности.

Кстати, совершенно непонятно, почему Чайльд-Гарольд попал в одну компанию со стилягой и битюгом. Может быть, он и был в некотором смысле «стилягой» своего времени, но уж с битюгом у него, кажется, нет ровно ничего общего.

В «Треугольной груше» есть и удачи. До предела впечатлительный поэт не мог не почувствовать всем своим существом разнузданность, растленность нью-йоркских вертелов, не мог не услышать в печальных и протяжных мелодиях негров, поющих низкими голосами, подавленную силу и тяжелую мужскую скорбь.

Однако все это тонет в какой-то истерической сумятице впечатлений и чувств. Тот, кто ценит Андрея Вознесенского, его бьющую мысль и остроту ощущений, не может закрывать глаза и на его слабости...

В мою задачу не входит обзор нашей молодой поэзии. Обозревать ряды поэтов, выстраивая их по росту и сравнивая между собой, могут только те, кто за лесом не видит деревьев, а потому и не видит леса.

Нельзя складывать поэтов и говорить об их сумме. Это американцы, любители больших сумм, придумали ансамбль из тридцати «girls» в расчете на то, что тридцать девушек пленят зрителей ровно в тридцать раз больше, чем одна.

И если я назову здесь несколько имен, то этот перечень отнюдь не охватывает всех поэтов, которых я считаю достойными внимания.

Я упомяну только тех, чье творчество представляется мне характерным примером в разговоре о путях нашей поэзии.

Из всех молодых поэтов, появившихся за последние годы, пожалуй, больше других сказал о себе и при этом с наибольшей открытостью Евгений Евтушенко.

Должно быть, поэтому его и заметили больше и раньше, чем многих других.

По традиции, проложенной Маяковским и так соответствующей революционной эпохе, Евтушенко и его сверстники завоевали на первых порах популярность устными выступлениями. Им были нужны не столько заочные читатели, сколько непосредственные и зримые слушатели, от которых можно ждать прямого и немедленного отклика. Это установило живую связь между поэтами и аудиторией и в какой-то степени помогло им освободиться от налета книжности, которым так часто покрывается лирическая поэзия.

Нечего греха таить, и в наше время не всегда легко молодому поэту (хоть и много легче, чем поэтам предшествующих поколений) пробиться к читателю. Иной раз для этого ему приходится изрядно поработать кулаками. И очень часто мы видим сначала кулаки этого пробивающего себе дорогу поэта, а потом уже и его самого.

Такими «кулаками» были, например, стихи молодого Валерия Брюсова «О, закрой свои бледные ноги!», в которых еще нельзя было провидеть классически-уравновешенного Брюсова поздних лет.

Аудитория, состоящая из молодежи, раньше признала Евтушенко, чем мы, люди более зрелого возраста. Что-то демагогическое, бьющее на эффект, какое-то самолюбование, а порой нескромная интимность заставляли нас настораживаться при чтении его стихов, изредка и случайно доходивших до нас.

Что-то изнеженное, родственное Игорю Северянину, а то и Вертинскому чувствовалось иной раз в его стихах:

...И улыбаясь как-то сломанно
и плача где-то в глубине,
маслины косточку соленую
губами протянула мне...

Но день за днем мы стали все больше узнавать Евгения Евтушенко, поэта разнообразного, неровного, может быть, еще не вполне проявившего себя, но всегда внятного и заставляющего прислушаться к своему голосу.

Хорошо сделала «Молодая гвардия», выпустив в этом году довольно большой том его стихов.

Многое в этом сборнике оказалось для меня — думаю, и для других читателей — неожиданным и новым.

По первым своим впечатлениям я никак не ожидал от Евтушенко таких полновесных и зрелых стихов, как, например, «Глубина».

Я не могу отказаться от желания процитировать их здесь полностью:

Будил захвоенные дали
рев парохода поутру,
а мы на палубе стояли
и наблюдали Ангару.
Она летела озаренно,
и дно просвечивало в ней
сквозь толщу волн светло-зеленых
цветными пятнами камней.
Порою, если верить глазу,
могло казаться на пути,
что дна легко коснешься сразу,
лишь в воду руку опусти.
Пусть было здесь немало метров,
но так вода была ясна,
что оставалась неприметной
ее большая глубина.
Я знаю: есть порой опасность
в незамутненности волны —
ведь ручейков журчащих ясность
отнюдь не признак глубины.
Но и другие мне знакомо,
и я не ставлю ни во грош
бессмысленно глубокий омут,
где ни черта не разберешь.
И я хотел бы стать волною
реки, зарей пробитой вносью,
с неизмеримой глубиною
и с каждым
камешком
насквозь!

Было бы хорошо, если бы Евтушенко всегда помнил эти строчки:

...с неизмеримой глубиною
и с каждым
камешком
насквозь!

В этих прозрачных до дна стихах Евтушенко следует основному направлению русской поэзии, ясной и глубокой, верной пушкинскому началу.

И вместе с тем он умсет остро чувствовать время, наш сегодняшний день.

Есть у него трогательные и умные стихи — о «временном»:

Рассматривайте временность гуманно.
На все невечное бросать не надо тень.
Есть временность недельного обмана
потемкинских поспешных деревень.
Но ставят и времянки-общезнатья,
пока домов не выстроят других...
Вы после тихой смерти их
скажите
спасибо честной временности их.

Евгению Евтушенко удалось здесь передать без громких слов ту обстановку строящейся страны, образ которой дал и Андрей Вознесенский в отличных стихах «Из Сибирского блокнота».

Всей Франции
она не по карману
Эй, улицы.—
понятно это вам?!

Неужели Евтушенко и в самом деле думал, что эта громко сказанная фраза — «Всей Франции она не по карману» — может быть воспринята как лестная аттестация строгой красноярской девушки?

Здесь мы опять встречаемся с тем эстрадным Евтушенко, который не жалеет пряностей при изготовлении горячих и острых блюд.

А между тем в его парижском цикле мы находим такие превосходные стихи, как «Верлен»:

.. Плохая память у Парижа,
и, как сам бог теперь велел,
у буржуа на полках книжных
стоит веленевый Верлен...

Естественны, метки и сатирически-значительны и рифмы и аллитерации в этом четверостишии («веленевый» — «Верлен»). Это не то, что «кокосы» — «коктки» и «луковый» — «лукавый» в других его стихах.

Стихотворение о Верлене подымается до высокого обличительного пафоса:

Вы под Верлена выпиваете
с набитым плотно животом.
Вы всех поэтов убиваете,
чтобы цитировать потом!

Столь же значительно и остро-современно другое стихотворение из того же заграничного цикла — «Тень»:

Вниманье, парижское утро!
Вдоль окон бистро и кафе
проходит по улице «ультра»,
обмотанный пестрым кашне...

Глаза он под шляпою прячет,
и каждую ночь или день
у дома Тореза маячит
его осторожная тень...

Ажаны от страха немеют,
с ней встретясь в полночную темь.
Не только маячить умеет —
умеет стрелять эта тень...

И кончаются эти слова сильной и действенной строфой:

Париж, не поддайся смятенью!
Я верю, -- сомкнувшись тесней,
расправишься с этою тенью
ты, город великих теней!

Как убедительно звучит здесь обычная у Евтушенко игра слов — «тень» и «город великих теней»!

Этот пример лишний раз показывает, что и рифмы, и аллитерации, и словесная игра оправдывают себя лишь в тех случаях, когда они мобилизованы поэтической мыслью, а не слоняются без дела.

Евтушенко пишет много и разнообразно. И он не прочь поиграть и даже подчас щегольнуть аллитерациями. Но он не опутывает себя их сетями настолько, чтобы потерять возможность свободного и толкового разговора с читателем. Он отзывается на самые острые темы сегодняшнего дня.

Это существенная и важная черта его дарования. Без живой связи с обществом, со своей страной и миром, без чувства гражданственности немислим настоящий поэт.

Но расхождение ритма и содержания, столь заметное в этом стихотворении, для чего не случайно.

И это объясняется прежде всего отсутствием сосредоточенности.

В лучших стихах размеры, ритмы, интонации рождаются вместе с поэтической мыслью.

Вы не можете себе представить «На холмах Грузии» Пушкина, «Выхожу один я на дорогу» Лермонтова или «Незнакомку» Блока написанными в другом размере и ритме. Музыкальная их тема возникла вместе со смысловой.

«Не искушай меня без нужды» Баратынского так и родилось в форме романса. Оно было романсом еще до того, как на него была написана знаменитая музыка.

... Наши великие поэты знали, в каком ключе, роде, жанре они пишут. И каждое их стихотворенье было не только поэтическим, но и музыкальным произведением.

То «бормотание», которое предшествовало у Маяковского писанию стихов, было, по всей видимости, нужно ему для выбора того или иного размера и ритма.

Этот выбор не должен быть случайным. Надо быть уверенным, что возок, на котором вы едете, — по выражению Некрасова, — «спокоен, прочен и легок» и довезет вас до цели, — как уверен был Данте, что его терцины могут с честью служить ему на протяжении всей его трилогии...



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Л. Левицкий. Стихи хорошие и стихи случайные.— И. Травкина. Автору роман нравится.— А. Наркевич. Книга о судьбах слова.— И. Дюшен. Дневник Гонкуров.

ПОЛИТИКА И НАУКА

М. Брагин. Не забывать час «Ч».— И. Карпенко. Намерения были благими.— А. Каздан. Между революцией и диктатурой.

Литература и искусство

СТИХИ ХОРОШИЕ И СТИХИ СЛУЧАЙНЫЕ

Константин Ваншенкин. Повороты света. Лирика. «Советский писатель». М. 1965. 136 стр.

Несколько лет назад Константин Ваншенкин — поэт, не склонный к широковещательным заявлениям и риторическим тирадам, — писал в одном из своих стихотворений:

Я ценю свой прочный дом,
Ясность мудрую в народе
И естественность во всем:
В жизни, в женщине, в природе.

Безыскусственность! Сестра
Высочайшего искусства!
Что мне громких слов игра,
Если сердце с ними пусто!

Есть в стихах твоих, поэт,
Коллизей и циркорама.
Старый Свет и Новый Свет,
Дарданеллы и Панама.

Но когда в тиши ночной
Я читаю этот опус,
Предо мной не шар земной,
Предо мною только глобус.

Еле слышный мысли всплеск --
Плод случайных наблюдений,
Афоризмов ложный блеск,
Приблизительность суждений.

Поэт ни единым словом не погрешил здесь против истины. В этих строках — его выно-

шенная и продуманная программа. И житейская и литературная. Ничто так не претит ему, как фанфаронство и красноречие, как мнимофилософские потуги и глобальные претензии. Безыскусственная простота и органическая естественность, скорее будничность, чем возвышенность интонации, ясность мысли и точность ее выражения, крепкий стих, равно далекий от языковой небрежности и словесной изощренности, — таковы отличительные свойства его поэтической манеры, в которой он работает вот уже пятнадцать лет. Модные веяния, время от времени сотрясавшие воздух, нет-нет да и соблазнявшие некоторых его сверстников по литературе, совершенно не коснулись его. Он был и остается сознательным и убежденным поборником классической традиции русского стихосложения.

Константин Ваншенкин тяготеет к обстоятельному, при всей его сжатости и скупости, повествованию, в котором последовательно разворачивается цепь событий, образуя законченное сюжетное целое. У него меткий глаз и цепкая на детали память. Он умеет

и со вкусом рассказывает о том, что ему довелось повидать на своем, быть может не таком уже долгом, но достаточно напряженном веку. Словом, не только в поэме «Сердце матери», но и в сравнительно небольших стихотворениях Ваншенкина явственно ощущается эпическое начало, которое, на мой взгляд, ничуть не уступает его лирике. Этот отчетливо выраженный повествовательный дар в сочетании с обостренным вниманием к жизни природы и бытовым подробностям — все это и раньше, когда поэт не печатал еще ни одной страницы прозы, заставляло думать, что в Ваншенкине подспудно живет прозаик, который рано или поздно начнет писать повести и рассказы. Так оно и случилось. Но успехи в прозе не охладили интереса Ваншенкина к стихам. Доказательство тому — новая поэтическая книга его «Повороты света».

Мы встречаем в этой книге лирического героя, хорошо знакомого нам по предыдущим стихотворным сборникам поэта.

Этого героя отличает большая внутренняя прочность. Он постоянен, устойчив, верен своему характеру. Он крепко стоит на ногах. Если он в чем-то убежден, то можете быть уверены — это не минутное, а всесторонне взвешенное убеждение, от которого он не отступится. Он основателен во всем, за что берется.

Ваншенкин привязан к устоявшемуся бытовому укладу, в котором царят размеренность и порядок. Кто ежедневно мог погибнуть, кто видел смерть в упор, тот ценит жизнь во всех ее бесчисленных и различных проявлениях — в том числе и тех, которые иногда игнорируются как частные и несущественные.

Поэт постоянно возвращается к годам войны. Он вспоминает товарищей: «Мой первый, ранний друг погиб в бою. Еще саднит та давняя утрата. Его любил я более, чем брата». Он вспоминает парашют, с которым покидал кабину самолета: «И пока на свете я живу, отдавая дань тому доверью, разве я забуду синеву в небе, за распахнутою дверью». Он вспоминает походные костры, которые разводил сам и у которых только грелся: «В дожди и в холода мне дорог их привет. Они — как города, струящие свой свет». Он вспоминает «сияющие поезда» вагонов метро, которые в тяжелые месяцы сорок первого года эвакуировали из Москвы в Сибирь: «Вставали реки в грозной яви, тайги пугающий наряд. А все казалось,

что объявят: «Дзержинская», «Охотный ряд». Он вспоминает, как рыл окопы и как дрался в них: «Мы слушали боя тревожные шумы, и опыта мы набрались в бою».

Это и веха биографии поэта, и главный рубеж в его судьбе. Именно война помогла понять ему, что такое подлинные ценности. Сила и убедительность этих стихов в их достоверности, во внутренней выношенности и душевной необходимости каждого слова.

Не менее убедительны стихи Ваншенкина, связанные с природой. Вот одно из них:

Как странно летней северною ночью
На палубе у поручней стоять
И наблюдать в безмолвии воочью
Всей этой белой ночи благодать.

Всех этих сил особое стеченье,
Когда чудесно, что ни говори,
Мир излучает легкое свеченье.
Как будто бы мерцает изнутри.

Стоит начало северного лета,
Сияют воды несколько мертво.
И так неярк сам источник света,
Что вы не замечаете его

Вы смотрите без устали, и вроде
Вам радость непонятная дана,
Хотя в холодной северной природе
Преобладают серые тона.

Так увидеть северную ночь, написать ее так зримо и точно может лишь тот, кто не только наблюдателен, но хорошо чувствует природу. Как и стихи, посвященные войне, эти поэтические пейзажи — а их много, и они разнообразны — самые удачные страницы в книге...

Ваншенкин признается:

Как изнашивается платье,
Так с годами, от суеты,
Притупляется воспринять
Окружающей красоты.

На ветру, на холме высоком,
Ощущаю при блеске дня:
То, что раньше пронзало током,
Умиляет сейчас меня.

В лучших стихах сборника восприятие поэта не притупилось, но порой лирический герой Ваншенкина предстает перед нами в этой книге человеком чрезмерно степенным и солидным, вставшим в душевное оцепенение, говорящим иногда скорее по инерции, чем в силу внутренней необходимости. Настроен он удивительно идилически и безмятежно, словно ни одна тревожная нота не доносится до его слуха. И в сборнике Ваншенкина появляются случайные и необязательные стихи. То поэт неожиданно ударяется в резонерство и начинает обличать Наталью Гончарову, то он клеймит

скрытность, от которой никому на свете ни гепло и ни холодно, то горячо берется доказывать (последнее время это стало «бродячим сюжетом»), что поэзия и эстрада — вещи разные. С поэтом тем более соглашаешься, что ты сам давно так думаешь, но поневоле недоумеваешь, зачем понадобились ему стихи, в которых все случайно и приблизительно — и тема, и ее поэтическое решение. Вот, скажем, стихотворение, которое может только поставить в тупик:

Кого-то обязательно виня,
Подходите с нелепыми словами,
Но значите так мало для меня,
Что мне совсем легко расстаться с вами.

Не ждите, чтоб себя я укорял,
Терзался, в примиренье наше веря.
Таких друзей я в жизни потерял,
Что это уж, ей-богу, не потеря.

Если лирический герой потерял так мало, как он говорит об этом, если утрата не принесла ему ничего, кроме чувства удовлетворения, то стоит ли распространяться об этом? Может быть, эти строки, продиктованные обидой и раздражением, ужалют больше ту или того, о ком они написаны, но место им не в сборнике, а в альбоме.

Не менее странное впечатление производят стихи о футболе. Рассказав об осенних

матчах, идущих при свете прожекторов, автор пишет:

Я сам болельщик, дом родной забывший,
И я судья (судить настал черед!),
Я грозный форвард, с ходу гол забивший,
И я вратарь, что мертвый мяч берет.

Вы нас пристрастьем этим не корите,
Оно вам чуждо — только и всего.
Хемингуэй привержен был к корриде,
А вы же почитаете его.

Зачем ломиться в открытую дверь и запальчиво, призывая в свидетели высокие литературные авторитеты, отстаивать то, на что никто не покушается? В стране, где миллионы людей увлекаются этим видом спорта, смешно доказывать, что в пристрастий к футболу нет ничего зазорного. Что же касается Хемингуэя, то автор напрасно потренировал его память. Коррида была для Хемингуэя не просто «хобби», говоря модным словечком, ей он обязан многими своими произведениями.

В сборнике «Повороты света» хороших стихов неизмеримо больше, чем случайных и приблизительных. Для талантливого и опытного поэта Ваншенкина это не должно служить утешением. Он вправе предъявлять себе самый высокий счет.

Л. ЛЕВИЦКИЙ.

★

АВТОРУ РОМАН ПРАВИТСЯ...

Аркадий Первенцев. Оливковая ветвь. Роман. «Октябрь», №№ 1, 2, 3, 1965.

К роману А. Первенцева я обратилась после того, как прочитала его статью в журнале «Новые книги» (№ 30, 1965). В статье этой автор вступил в полемику со своим нынешним (Д. Тевекелян) и возможными будущими критиками и сам — случай в литературе несчастный — дал весьма высокую оценку своему новому произведению. Автор сообщил о том, что этот роман вынашивался им десятилетиями, что подготовкой к нему служило все его раннее творчество, что прототипами его персонажей были замечательные люди, с которыми писатель познакомился в Подмосковье, на Урале и Украине. Вместе с тем в романе эти реальные лица обрели значение типическое. Об одном из своих героев — директоре завода — А. Первенцев написал: «Шершавины создавали нашу индустрию, трепали свои нервы, отдавали силы великому делу». Автор как бы указал тем са-

мым на создание им нового литературного типа. Ведь говоря «Молчалины», «Печорины», «Обломовы», мы обычно имеем в виду именно это.

Нельзя было также не обратить внимания на следующие строки статьи: «Груз прошлого и прошлых лет еще давит. Его не снять заклинаниями и постоянными упоминаниями о решениях партийных съездов, как это делают некоторые критики». (Автор не уточнил, о каком именно «грузе прошлого» идет речь, но если мы правильно его поняли, он имеет в виду последствия культа личности.) Из этих строк можно было заключить, что сам автор считал и считает необходимым бороться с «грузом прошлого», хотя и не хочет почему-то, как это делают «некоторые критики», «постоянно упоминать» о решениях партийных съездов, начавших эту борьбу.

Все эти, а также многие другие выска-

занные автором соображения по поводу его новой книги заинтересовали меня и заставили взять в руки роман «Оливковая ветвь».

Сюжет его несложен. Ученые — металлурги и ракетчики, руководители и рабочие сталелитейного завода работают над усовершенствованием ракет, над созданием нового сплава. Герои изображены не только в работе, но и в «чувственной», как говорит автор, «сфере». Один из них — ученый-ракетчик Павел Кареджи любит подругу своей дочери Вареньку, его дочь Людмила, тоже ученый, успешно справляется с неразрешимой, как ей вначале казалось, проблемой сочетания любви и науки — она любит рабочего-сталевара Матвея и сама любима им. Подробно обрисованы в романе образ жизни героев, их быт и взаимоотношения.

Рассказ о деле, которым заняты герои романа, складывается, грубо говоря, из трех компонентов:

1) Из авторских сообщений о том, что задание требовало «сплава мужества и воли», что «решить эту задачу трудно, не решить — невозможно», что «поиск — это раскопки в гряде предварительных знаний, рождение осязаемого из хаотического нагромождения абстрактных понятий, разрозненных и неуловимых», а также из рассуждений о летящей вперед науке, рождающей «тысячи соблазнительных гипотез, которые, минуя стадии опытов (?), стали немедленно внедряться в практику жизни».

2) Из описаний трудовых процессов, не очень, правда, ясных (во всяком случае для неспециалиста) — такого примерно типа: «Они заранее подготовили шихту из габаритных кусков и мелочи, просушили ее и тщательно взвесили под острым глазом (?) Пустовойта» (Пустовойт — персонаж романа).

3) Из разговоров и размышлений самих героев, тоже несколько, пожалуй, отвлеченных и замысловатых. Например: «Ученый — тот, для кого наука его сердце. Служение родине — его лаборатория (?), где его любовь, его упоение и постоянный творческий огонь — источник вечной бодрости и презрение к гибели собственной биологической клетки» (?).

Своих героев — в том, что касается их трудовой деятельности, — автор характеризует, можно сказать, оптом. Все они у него настойчивы и интеллектуальны, отдают

«силы великому делу», во имя его «треплют свои нервы» и жертвуют собой. В чем, скажем, проявляются особенности мышления одного ученого по сравнению с другим? Или чем, допустим, отличается преодолевающий трудности задания Павел Кареджи от преодолевающей подобные же трудности Людмилы? Мы узнаем лишь, что у обоих опыты сначала не удавались, а потом удались, — и дело с концом.

Когда же автор, чтобы ярче, как он говорит, дать образы, переходит из области производственной в «чувственную», его герои, оставаясь все такими же бестелесными, бесплотными в художественном смысле, в то же время как бы компенсируют это своим «пилотским», чисто «физиологическим», если можно так выразиться, отношением к любви. Показывая «одержимого страстью поздней любви» Павла Кареджи, писатель объясняет нам, что «пресловутый бес стучится в ребро его героя, что в нем все еще «ярко выражено мужское начало» (его друзей, правда, беспокоит, «как отзовется на нем перемена режима», но они надеются, что он с ней справится). Автор замечает, что Варенькину красоте могли бы изобразить только Серов и Кустодиев, потому что сегодняшним иностранным художникам «неприятна и страшна эта наступающая на мир (?) красота русской женщины», выразившаяся в «здоровой полноте, будто налитых щеках, изгибах ног, бедрах». В романе обстоятельно рассказано о том, как старому Кареджи удалось «проложить к ней мостки» и он целовал ее с жаром юности, будто боясь потерять, упустить это теплое, упругое тело». В истории любви Людмилы и рабочего-сталевара Матвея основную роль играют сначала размышления героини о «холодной, одинокой постели», затем ее впечатления от «модной спортивной куртки с воротником» и узких брюк будущего возлюбленного... Хотя автор и говорит в дальнейшем о том, что Людмилу пленила также дипломная работа Матвея — сплав, по ее мнению, «интеллекта и воли», но это сообщение мало меняет физиологическую направленность любовных отношений и этих персонажей.

Бытовой стороне жизни героев автор уделяет очень много внимания. Подробно и, я бы сказала, «вкусно» описывает он всевозможные яства и вина, потребляемые его героями, — лососину, грибы, коньяки,

сухое шампанское и т. д. Нужно прямо сказать, что здесь он проявляет незаурядную наблюдательность. Хороши также описания заграничной одежды («английские туфли с металлическими набойками на каблучках», «голубая вьетнамская пижама» и т. п.), выездов на персональных машинах, мундиров с золотым шитьем. Мы ни в коем случае не поставили бы в упрек его героям езду на «чайке», а тем более желание вкусно поесть и выпить. Мы просто не обратили бы на все это ни малейшего внимания, если бы автор снова и снова не возвращал нас к этим, на наш взгляд, малозначимым, а по его представлению, видимо, весьма важным подробностям. О главном конструкторе, названном «героем нового века», автор сообщает прежде всего, что тот, получив звание генерала, сравнился таким образом в знанности со своей женой, принадлежавшей «к старинному дворянскому роду, бравшему свое начало в степях великих кочевий». «Быстро сшитый мундир и золотые погоны,— пишет автор,— так же как грудь в орденах и лауреатских знаках, словно бы приблизили Кареджи к сиятельным жененым предкам».

Все эти подробности важны. А Первенцеву не только сами по себе, но еще и тем, что характеризуют значимость его героев, их человеческую ценность, придают им особое обаяние. Вопреки пословице «место» начинает красить у Первенцева человека, положение придает ему неотразимую привлекательность.

И чтобы мы в этом не сомневались, автор изображает быт руководителей на фоне быта простых смертных. Сообщив о том, что люди, старшие возрастом и положением, пили «болгарскую «гамзу» из оплетенной бутылки», он тут же добавляет: «Молодежь группировалась в другом отсеке. Их кормили «рядовым» обедом (нелепо, правда, что означают здесь авторские кавычки.— И. Т.) и поили только виноградным соком и боржомом». Описание развозов Кареджи на «чайке» автор всякий раз сопровождает картинками «развозов» простых людей, «обычного служащего народа», которые перемещались либо на своих на двоих, либо «спешили к метро и автобусу».

Автор, возможно, вполне искренне убежден, что ему удалось отразить в романе «новый этап коммунистических взаимоотно-

шений», показать кровную связь руководителей с рабочим классом. Но вот как это все выглядит в романе.

Наблюдая за тем, как помощник Сидорова (Сидоров — представитель «высокой координирующей Инстанции») «почтительно наклоняется» перед своим начальством, Кареджи бесстрастно размышляет: «Пройдет немного времени, и этот молодой человек опустится в кресло своего начальника и, если даст бог ему, Кареджи, здоровья, будет вызывать его к себе, снисходительно выражать свое благоволение и указывать».

Такие отношения кажутся автору, а вместе с ним и его героям, вероятно, достойными и нормальными. Во всяком случае других в романе нет. Идет ли речь о любви, о службе или о дружбе — все герои либо «указывают и снисходительно выражают свое благоволение», либо «почтительно наклоняются», либо ведут себя то так, то этак — в зависимости от обстоятельств. Снизу вверх смотрит на своего повелителя Варенька, даже в мыслях не смея называть его «ты». «Старалась применяться» к своему любимому четко сознающая свое превосходство Людмила. Она зовет его «Матвей», он ее «Людмила Павловна». Директор завода Шершавин, провожая на аэродроме вышестоящих товарищей, полон почтения к ним. «Сидоров,— сказал Шершавин почтительно.— Александр Клавдиевич. Из Комитета. Вы его не знаете, Людмила Павловна?» Или еще одна цитата: «Сидоров восторгался Иваном Ивановичем, а Кареджи понимал, что восторг этот вызван прежде всего тем, что «топливника» обласкали наверху».

И уж совсем грустно становится, когда познакомишься с тем, как показывает автор взаимоотношения руководителей и рабочих. Возьмем, к примеру, Шершавина. Перед рабочим классом он, по его собственным словам, благоговеет («колена преклонил перед монументом труженика, перед Сталеваром»), за что его даже ругают все: «Да вот все (?) обвиняют меня, будто я из рабочего человека иконы делаю, а потом молиться на них заставляю». Рабочие, в свою очередь, по свидетельству автора, любят его, в частности, за его «грубоватый демократизм». И автор демонстрирует нам этот «грубоватый демократизм» в действии. В гостях у Кареджи, куда приглашен и сталевар Матвей (между прочим, студент-дипломник), директор завода манит

Матвея пальцем, называет его «молодой человек» и «паренек», обращается к нему на «ты», хлопает его по плечу, учит, как брать грибки с тарелки, растолковывает ему, что к селедке хороша картошка. На заводе директор тоже «просто, демократично» обращается с рабочими: «одному пожмет руку, другому локоть, третьего полубонимет или похлопает по плечу. И найдет слова: «Э, ты, браток, потолок стел!», «Ну, ну, куда же дальше худеть, дружище? Жена плохо кормит?», «Читал, читал про тебя в газетке. Смотри не возгордись!»

Таков Шершавин в добром расположении духа. Иным предстает он перед нами в истории со сталеваром Иваном Шапкиным, которому не удалась опытная плавка. Шершавин приходит в ярость и приказывает Шапкина от работы отстранить. В ответ на возражения парторга он кричит: «Я не имею права?! Вы так считаете? А я считаю иначе. И в этом вы сейчас убедитесь... Парк, вы слышите меня? Так вот: портрет Шапкина со Стены почета снять! Да! А вы, товарищ Ушаков, можете возражать сколько вам угодно». — Шершавин выключил селектор и округлившимися, бешеными глазами уставился на Кареджи. Вся эта история кончается смертью большого Шапкина, и директор с запозданием расканвается. «Смерть Ивана Шапкина сильно, наотмашь ударила его по сердцу», «как проклинал он бешеный свой характер, необузданный нрав!»

Этому раскаянию, однако, трудно поверить. Несмотря на все «всхлипывания» Шершавина по поводу «его величества рабочего класса», на самом-то деле он убежден, что истинный творец и хозяин жизни именно он, Шершавин, а никакой не рабочий класс. «Он был доволен. И доволен прежде всего собой, а потом уже Шапкиным, — пишет автор. — Плавка шла хорошо, и в этом он видел прежде всего свою заслугу — заслугу директора, удачно сделавшего выбор сталевара. И здесь проявились его воля, его характер. Он еще крепко держал руль в руках. Правила уличного движения сочиняются коллективно, а машиной управляет один человек». После этого не очень убедительно звучат уверения Первенцева в статье, что, только «не разобравшись в нем (Шершавине. — И. Т.), можно отнести его в разряд сторонников культа личности». Нам думается, что, ра-

зобравшись, его можно отнести в этот разряд с еще большим основанием.

А. Первенцев, возможно, искренне убежден, что «звездает в своем романе рабочего человека как творца, создателя и хозяина жизни. Ведь рассказывает же он такую, например, историю: «Часто слышал Шершавин, да и сам любил повторять слова о простом советском человеке. Но знал, как он не прост, этот рабочий человек. Вот и сейчас убедился в этой истине, когда дверь его кабинета раскрылась и вошел без зова, без предупреждения, по-хозяйски смело старый сталевар Шапкин. Прошел и, не подавая руки, сел в кресло, стоявшее около директорского стола». Да, рассказывает. Но вот другая история, тоже о визите Шапкина, на сей раз в каморку начальника цеха. Увидев, что пришел не вовремя — там была летучка, — Шапкин раскланивается и уходит. Этот эпизод автор заканчивает очень любопытной сентенцией: «Ясным был мир, окружающий Ивана Шапкина. «Каждому отведено его место в жизни, — любил говорить он. — Исполняй хорошо свое дело и не лезь на чужую грядку со своими семенами».

Что означают эти слова? Не вступают ли они в противоречие с рассказом о «хозяйском» визите Шапкина в кабинет директора? Не выражают ли они ту самую философию, которая может быть охарактеризована и такой, например, поговоркой: «Всяк сверчок знай свой шесток»? И мы поневоле забываем предыдущие высказывания автора о значении рабочего человека и его гимн в честь рабочих рук и начинаем думать: уж не за то ли хвалит автор Шапкина, что он сохранил в себе ту самую злощастную, культивировавшуюся в годы культа личности психологию «винтика», которая зиждется на всем известных принципах: «мы люди маленькие», «наше дело маленькое», «за нас думает начальство».

Несколько слов о стиле романа. Читатель уже имел возможность познакомиться с ним по тем выдержкам, которые выше приведены. К ним можно было бы прибавить еще ряд необычных образов, таких, например, как металлургия шагала, бежала, «преодолевая одышку, хватаясь за грудь», «наука бежит впереди тебя, Иван, бежит, высунув язык», «Николаю Николаевичу... не терпелось сообщаться с планетами, летать со скоростью света, а его принуждали брести по Владимирке

металлургии, с монотонным кандалным звоном», и неожиданных оборотов речи вроде: «его угнетало самобичевание», «мог бессонно просиживать в лаборатории», «вооружился глупостью и сомнением» и т. д. и т. п.

Читатель, который даст себе труд познакомиться с романом, убедится, что приведенные здесь выдержки характерны для всей книги в целом.

В романе есть одно знаменательное высказывание. Принадлежа художнику Малунскому, оно, судя по всему, выражает представления об искусстве самого автора. «Трудно судить о деятельности ученого или инженера человеку постороннему в науке и технике. Дилетант немедленно получит по заслугам. А вот по искусству любой топчется как хочет. Умей только определить разницу между холстом и ки-

стью, между стопой бумаги и «Анной Карениной», между басом Шалапина и ревом мула,— и суди-ряди, выдавай аттестаты зрелости или стаскивай с Олимпа». Рискуя навлечь на себя неудовольствие автора, не дающего спуску своим критикам, я все же взяла на себя смелость судить-рядить о его произведении. Я решаюсь даже на большее и спрашиваю себя: имеет ли отношение к искусству роман, так «изысканно» названный «Оливковая ветвь»?

Кстати, при чем тут оливковая ветвь, какое отношение имеет она ко всему рассказанному в романе? Мне кажется, я отгадала загадку, заданную автором. Помните, как К. Чуковский объяснял, почему О. Генри назвал свою книгу «Короли и капуста»? Потому что в ней есть все, кроме королей и капусты.

И. ТРАВКИНА.

★

КНИГА О СУДЬБАХ СЛОВА

Ю. С. Сорокин. Развитие словарного состава русского литературного языка. 30—90-е годы XIX века. «Наука». М.—Л. 1965. 565 стр.

Книга Ю. Сорокина посвящена решающему этапу в развитии русского литературного языка. В двадцатых годах прошлого века Пушкин отмечал неразработанность русского «метафизического языка», то есть словаря отвлеченных понятий, а спустя двадцать лет, в 1845 году, Белинский, подчеркивая богатство, выразительность, художественную изобразительность русского языка, в то же время констатировал: «Но зато как еще беден русский язык для выражения предметов науки, общественной,— словом, всего отвлеченного, всего цивилизованного, глубоко и тонко развитого, даже ежедневных житейских отношений!»

В самом деле, неудержимый ход развития русской научно-философской мысли, бурное распространение критики и публицистики наткнулись на недостаток и отсутствие в языке слов для выражения необходимых понятий и их оттенков.

Стоит взглянуть хотя бы на приводимые в книге Ю. Сорокина списки слов, начинающих свой путь в русском языке со второй трети XIX века, чтобы понять его масштабы. Мы как бы переносимся в словарную лабораторию, в которой создаются отвечающие насущным запросам жизни новые

термины и фразеологические обороты. От разнообразных отраслей бурно развивавшихся естественных наук, от других специальных областей — производственно-технической, юридической, финансовой, торгово-промышленной, военной и других, — от терминологии литературы и искусства, от разговорных профессиональных, городских, областных, просторечных и иных сфер лексики, от иностранных языков, в первую очередь французского, немецкого и английского, идет мощный приток входящих в русский литературный язык слов и выражений.

Мы сталкиваемся здесь и с неожиданными резкими изменениями значений. Возьмем слово «научообразный», означающее сейчас только внешне, по виду научный. В 1830—1840-х годах оно (наряду с «ученый» и даже «научовый») употреблялось в значении «научный». Белинский писал: «У нас как будто никто и не понимает, что без изучения глубокого и напряженного, без наукообразного развития эстетического чувства нельзя понимать поэзии»; «Душу учения составляет система и наукообразность изложения» и многое другое. Когда в середине века возникло слово «научный», оно

вызвало удивление, а порой и возмущение. В 1852 году, незадолго до смерти Гоголя, в разговоре с ним употребили слово «научный». «Он вдруг перестал есть, смотрит во все глаза на своего соседа и повторяет несколько раз сказанное мною слово: «научный, научный, а мы все говорили «научообразный»: это неловко, то гораздо лучше». В том же 1852 году Ф. Булгарин возмущался: «Что это за слова научный, научное?.. Эта научность слово странное и дикое: оно дерет ухо!»

Не менее любопытна история слова «елейный». Оно имеет сейчас значение: приторный в обращении, чрезмерно умильный, ханжески ласковый. А когда-то Белинский и его друзья в период увлечения гегельянством употребляли его в переносном смысле с положительной оценкой. О человеке, воспитанном в началах гуманности, Белинский писал: «С ним тепло и отрадно и своему и чужому; он во всех внушает такую доверчивость, такую откровенность. В его душе столько теплоты и елейности, в его словах такая кротость и задумчивость, в его манерах столько мягкости и деликатности». Или: «Эта страсть, столь ужасная и гибельная в душах мощных, но не проникнутых елейною теплотою любви и правдивости». «В дальнейшем,— пишет Ю. Сорокин,— случилось то, что нередко бывает с высокими по тональности книжными словами, связанными с определенной переходящей ступенью в развитии мировоззрения. Когда этот этап в развитии Белинского и его круга миновал, слова елейный и елейность не могли нейтрализоваться и терминироваться,— для этого они были слишком эмоциональны, слишком «качественны». Явилось другое — смена эмоций, связанных со словом, его смысловое «ухудшение».

Подчас некоторые вполне привычные нам слова встречали удивляющие нас возражения. Пушкин осуждал «охотиться», предпочитая «ездить на охоту». «Охотиться», разъяснял он, принадлежит языку «дурного общества»; Белинский — «смаковать» и «направление» (в значении совокупность определенных взглядов), хотя сам нередко употреблял его. Уже давно все эти слова приняты языком, и первоначальная острота стала неощутимой.

Современники под впечатлением непрекращающегося потока новых слов, касавшихся философии, социальной жизни, тех-

ники и быта, публикуют специальные изыскания по поводу привлекающих к себе внимание словарных новинок: шовинизм, филлистер, пальто, шик, лев («светский лев») и других «Сколько введено русских слов на нашей памяти, начиная с Карамзина!» — восклицал Даль.

Приблизительно треть новых слов, вошедших в употребление с тридцатых по семидесятые годы, представляла собой заимствованные иноязычные слова. Ю. Сорокин правильно подчеркивает, что этот процесс заимствования отнюдь не носил пассивно-механического характера, а был явлением по преимуществу творческим, активным, предполагающим высокую степень самобытности и развития усваиваемого языка.

В современном русском языке можно считать некоторое количество случаев переносного употребления специальных научных терминов. Вспомним такие более или менее ходовые выражения, как «цепная реакция», «модель», «обратная связь», «индекс»; о воздействии научной терминологии свидетельствует и группа слов, созданных по образцу «антивещества» и «антимира» физиков: антигерой, антироман, антитеатр и даже антиязык.

Но насколько интенсивнее воздействие языка науки на русскую литературную фразеологию сказывалось в XIX веке, особенно в шестидесятые годы. Необычайно быстрое развитие русской научной мысли, ознаменовавшееся рядом исключительных по значению открытий, оказывало глубокое влияние на широкие круги общества и наложило ощутимый отпечаток на русский язык. Один из разделов книги Ю. Сорокина посвящен подробному рассказу об отражениях научного языка в литературной речи. Не только научные термины и характерные обороты специального языка — все эти «что и требовалось доказать», «свести к одному знаменателю», «торичеллиева пустота», «наклонная плоскость», «центр тяжести», «точка замерзания (опоры, кипения)» и великое множество других — в изобилии встречаются в публицистике и художественной прозе эпохи. Влияние науки проникало глубже. Оно и в характерных для шестидесятников «научных» методах изложения.

Подробно и увлекательно описанный автором бурный и в целом плодотворный процесс словообогащения не обходился без преувеличений и излишеств.

Наряду со словами, ставшими прочным достоянием языка, в немалом количестве заимствовались и создавались непривившиеся слова-однодневки. Ю. Сорокин извлекает из различных источников их примеры (глупицизм, дуризм, подъячи́зм, уделизм, четвертачи́зм, самодержки́ст и многое другое). Это — или эфемерные слова, созданные на случай, или мертворожденные образования, обреченные на быстрое исчезновение. Языковый отбор, своеобразная селекция, безошибочно закрепляет и сохраняет одни слова и отбрасывает другие. Это — проявление народного слуха и вкуса. Беллинский писал по поводу не удержавшихся в языке ненужных иностранных слов: «Страж чистоты языка — не академия, не грамматика, не грамотен, а дух народа».

Разумеется, нечего и думать о том, чтобы в рецензии дать читателю сколько-нибудь достаточное представление о всех наблюдениях автора. Но укажем хотя бы на содержащиеся в книге этюды по истории слов «факт», «интеллигент, интеллигентный, интеллигенция», «личность», «паровоз, паровод», «славянофил», «промышленность», «среда», «масса», «работа, работать, творчество», «субъект», «экземпляр», «поэзия, проза». Эти этюды наполнены любопытнейшими наблюдениями. Автор проявляет тонкое чувство смысловых оттенков, и мы то и дело встречаемся с указаниями на те особые смысловые наполнения, которые обрело слово в речи людей того или иного общественно-политического направления. Здесь сказалось то, что Ю. Сорокин, которому мы обязаны ценным (к сожалению, далеким от полноты) четырехтомным изданием Д. И. Писарева, является большим знатоком истории русской общественной мысли XIX века. О масштабе работы говорит пятнадцатилетний срок, затраченный на сбор лексико-фразеологических ма-

териалов, и приводимые в предисловии сведения о составленной автором картотеке из 35 тысяч карточек, иллюстрирующих употребление более 5 тысяч отдельных слов.

Количество замеченных нами сомнительных и неубедительных мест невелико. На странице 211 Ю. Сорокин говорит об «обычной стилевой ситуации в литературе 60—70-х гг... когда вслед за называнием того или иного действия являлось и «опредмеченное» его представление, с последующим разбором и анализом явления». Но большинство приводимых им примеров не иллюстрирует тезис автора. «В терминологическом употреблении 20—30-х гг., — пишет автор, — гл разлагать относился и к анатомированию, а также к явлениям спектрального анализа» (стр. 406). Но до спектрального анализа тогда было еще довольно далеко, он возник только в 1859 году. В приводимой цитате имеется в виду открытая Ньютоном дисперсия света. Есть еще несколько малоубедительных мест. Вероятно, внимательное чтение книги специалистами по русской лексикологии обнаружит какие-нибудь отдельные неточности, однако едва ли у кого-нибудь возникнет сомнение в исключительной ценности труда Ю. Сорокина. Список опечаток, к сожалению, не исчерпывает всех, имеющихся в книге.

Исследование Ю. Сорокина понадобится не только лингвистам. Ведь не только их волнуют судьбы нашего языка, главный характер которого, по слову Герцена, «состоит в чрезвычайной легкости, с которой все выражается на нем, — отвлеченные мысли, внутренние лирические чувствования, «жизни мышья беготня», крик негодования, искрящаяся шалость и потрясающая страсть».

А. НАРКЕВИЧ.

★

ДНЕВНИК ГОНКУРОВ

Эдмон и Жюль де Гонкур. Дневник. Записки о литературной жизни. Избранные страницы. В двух томах. Перевод с французского. «Художественная литература». М. 1964. Том 1, 710 стр. Том 2, 747 стр.

Эта книга вызвала острую дискуссию в печати с первого дня своего «гласного» существования, когда в 1887 году, через семнадцать лет после смерти своего брата

Жюля Гонкура, Эдмон Гонкур приступил к изданию их общего дневника.

В двух объемистых томах Гослигиздат опубликовал «Дневник» Гонкуров — гша-

тельно отобранные записи из двадцатидвухтомного французского издания 1956 года, осуществленного Гонкуровской академией.

Современники, писатели, критики, бывшие друзья Гонкуров, родственники сначала вволю негодовали по поводу тех записей, которые сделал в дневнике в период с 1851 по 1870 год Жюль. Затем настал и черед Эдмона Гонкура, который вел дневник до конца своей жизни (1896), выслушивать бесконечные нападки и попреки людей, возмущавшихся манерой Гонкуров говорить правду.

Писатели, весьма искушенные в отборе фактов, в поисках исторически конкретного и достоверного, вначале прославившиеся своими историческими работами о придворном обществе и нравах XVIII века, а затем и своими «документальными» романами («Шарль Демайн», «Сестра Филомена», «Жермини Ласерте»), — Гонкуры оставили нам тщательно проверенные записи, подчас стенографически точные, о своих беседах и встречах с Гюго, Готье, Бодлером, Флобером, Дюма, Золя, Тургеневым, Доде, Мопассаном, Сент-Беном, И. Тэнном, Брандесом. Эти записи ценны для историков литературы и искусства, но они как бы намеренно игнорируют сложившуюся точку зрения на того или иного художника. Оценка творчества Гюго, Беранже, Бодлера, Флобера, Мопассана и других остается в «Дневнике» остро дискуссионной, полемической. Гонкуры не являлись сторонниками «золотой середины».

Главной эстетической проблемой «Дневника» Гонкуров является проблема художественного мастерства, достигнутого в развитии реализма. Недавно умерший Бальзак, еще далеко не признанный официальной прессой, для Жюля Гонкура, как можно судить по записи 1857 года, «великий социальный мыслитель, единственный, кто проник в самую глубину нашего недуга... кто за законами разглядел нравы, за словами — дела... Он понял всю лживость программы 89-го года, понял, что на смену имени пришли деньги, на смену знати — банкиры и что все завершится коммунизмом, гильотинированием богатств. Удивительная вещь, что только романист, он один достигнул это».

В то время как французский театр жил рутинной, отвергая всякую попытку крупных писателей-реалистов выступить в качестве

драматургов, Гонкуры задумывались о том, что «смешные, забавные, подлинно провинциальные типы, поданные с легкостью Мюссе и юмором Гейне, при чуть-чуть намеченных реалистических особенностях, нужных лишь в качестве опоры, но без тяжеловесного протокольного реализма Шанфлера, могли бы внести в наш театр нечто новое».

Впоследствии, почти через тридцать лет, Эдмон Гонкур будет деятельно сотрудничать с режиссером Антуаном. Успех в театре, которого так долго добивались Гонкуры, оказался вполне закономерно связан для них с направлением «театрального реализма», которое возглавил Антуан.

Самой значительной фигурой среди писателей-современников и друзей для Гонкуров являлся Гюстав Флобер. Ему посвящены многие дневниковые записи, которые сохраняют для читателей исключительную ценность. Флобер делится с Гонкурами своими сокровенными мыслями, они наблюдают за его работой, в особенности в период создания романа «Саламбо».

Однако ни дружба, ни высокая оценка его таланта не помешают Гонкурам высказать резко критическое мнение о «Саламбо» после того, как Флобер в течение целого дня читал им свой роман «завывающим, громкоподобным голосом».

Скрытая причина их недовольства объясняется отходом художника от реалистической объективности: «Оригинальность состоит вовсе не в том, чтобы искать оригинальное в Карфагене, а в том, чтобы обнаружить его рядом с собой».

При разрешении вопросов, связанных с реалистическим искусством, Гонкуры ссылаются на авторитет Ивана Сергеевича Тургенева. «Скромный, растроганный овацией, устроенной ему сидящими за столом, — вспоминают Гонкуры об очередном обеде у Маньи, — он рассказывает нам о русской литературе, которая вся, от театра и до романа, идет по пути реалистического исследования жизни» (запись от 28 февраля 1863 года).

Помимо проблем эстетического характера, «Дневники» представляют немалый интерес и в социально-политическом отношении. Как известно, Гонкуры, как и многие окружавшие их писатели, скептически относились к развернувшейся во второй половине века революционной борьбе пролетарских масс. Гонкуры были приняты в придворном обществе Второй империи. И все же оценка об-

шественной жизни Франции, которую они дают, поражает своей острой антибуржуазностью и глубоко осознанным пониманием исторической перспектив. Для Гонкуров буржуазное общество — общество без будущего. Вокруг себя они постоянно видят лишь углубление и обострение социальных противоречий. Вот несколько коротких записей различных лет:

«Для меня самое отвратительное в нашей действительности, противное до тошноты, — это ложь и отсутствие логики... Ныне у нас — демократическое правительство с бог избранным императором во главе. Культ одного человека, идолопоклонство перед ним, покоящееся на принципах 89-го года. Равенство, лобзающее сапоги Цезаря! Нелепно и гадко!» (1862).

«Да, такова будет роль Империи в истории Прогресса: она наложит на все, даже на французское остроумие, печать низости, придаст всему привкус полицейского участка, гнусные, подлые черты агента-провокатора. Памфлет окажется одним из видов кантаты. Ювеналы пишут по подсказке, Мольтеры метят в сенаторы» (1862).

«Прогресс? Рабочие хлопчатобумажных фабрик Руана питаются сейчас листьями рапса, матери вносят имена своих дочерей в списки проституток» (1863).

Противоречивы высказывания Эдмона Гонкура о Парижской коммуне. И все же победа буржуазной реакции над народом воспринимается Эдмоном Гонкуром как трагедия и новое знамение углубившегося социального кризиса: «На мой взгляд, апофеоз президента Тьера, самого ярко выраженного представителя своей касты, возвещает конец буржуазии. По-моему, это все равно как если бы буржуазия, прежде чем умереть, своими руками возложила на себя венок».

Советские читатели «Дневника», те, что «переберутся» через немалые трудности ознакомления с такого рода «мемуарникалейдоскопом», несомненно, обратят внимание на одну важную черту этой книги, которая не была в должной мере отмечена исследователями: «Дневник» Гонкуров необычайно драматичен. В нем все находится в постоянной динамике, в постоянном движении к незримой цели, все имеет свой и, как правило, всегда весьма эффектный финал, все полно драматической тайны-истины, ибо ее раскрывают нам не авторы, а сам жизненный процесс.

Прежде всего драматична сама история борьбы Гонкуров за свое литературное признание. «Дневник» — это вопль художников-новаторов, которые постоянно чувствуют себя «оболганными» критикой и «обобранными» товарищами по ремеслу. Непризнание со стороны читателей и зрителей, сознание своей правоты, обиды на Золя, который «воспроизвел» в финале романа «Западня» фразу, поразившую его, когда Эдмон Гонкур читал ему вслух рукопись своего романа «Девка Элиза», ожидание успеха в театре и провал пьесы Гонкуров «Анриетта Марешаль»... «Дневник» объясняет нам, почему была учреждена премия имени Гонкуров, которая, помимо всего прочего, должна служить поддержкой «безвестным труженикам» пера.

Драматичны и «сюжеты» «Дневника» Гонкуров. В рецензируемом издании помещены записи, сделанные Гонкурами в связи с болезнью и смертью их служанки Розы. Они воспринимаются как совершенно связно написанная новелла, полная потрясающих неожиданностей. Это замечательный пример «документального повествования», которое Гонкуры положили в основу романа «Жермини Ласерте».

Через «Дневник» проходит и тема смерти. Гибель близких, а подчас и совсем далеких людей в освещении Гонкуров приобретает особый колорит. Современники упрекали Эдмона Гонкура в бесчувственности, поскольку он поместил в дневнике подробные записи о тяжелой болезни и смерти любимого брата. На самом же деле «документ» такого рода мог создать лишь человек, способный на нравственный подвиг. Смерть Жюль Гонкура — отпадение от Эдмона его второго «я» — одна из трагических кульминаций «Дневника».

Другая форма гонкуровского драматизма, его комическая сторона, связана с человеческой необъективностью, от которой не избавляет и писательская пронизательность. Двум выдающимся современникам особенно «не повезло» в оценке Гонкуров. Это Мопассан и Франс. Свое мнение о Мопассане-художнике Эдмон Гонкур выразил в 1892 году ясно и безапелляционно, по сути дела не сказав ничего: «Мопассан — пусть это замечательный *povellière*, очаровательный рассказчик, но стилист или большой писатель — нет, нет и нет!»

«Давняя желчь Флобера, Гонкуров, Готье отравила меня; мне была вприсынута их

абстрактная ненависть к человеку, выдаваемая за любовь», — писал недавно Жан-Поль Сартр в своей автобиографической повести «Слова»¹. Мы напоминаем читателям Гонкуров это суждение не в качестве окончательного вывода, а как подтверждение того, что «Дневник» представляет богатейший материал для размышлений...

Еще несколько слов о весьма существенном — о рецензируемом издании.

Хотя на титульном листе «Дневника» и сказано, что читателям предлагаются «избранные страницы» мемуаров Гонкуров, по существу двухтомник содержит примерно треть полного текста «Дневника», его наиболее существенную часть. Читатель получит представление о «Дневнике» в целом, о его идейном и художественном разнообразии. Составительница двухтомника С. Лейбович не «исправляет» текст Гонкуров при помощи сокращений, не пытается завуалировать его субъективность и противоречивость. Ею тщательно выявлены основные «сюжетные линии» «Дневника», отброшено лишь случайное и второстепенное.

Тот же научный принцип сохраняется и во вступительной статье В. Шора, а также в

обстоятельном комментарии. Вместе с читателями комментатор «Дневника» совершает путешествие в прошлое, в чужую страну, поскольку многие упоминания и высказывания Гонкуров требуют пояснений и уточнений. В комментарий вошли документы о литературной борьбе эпохи, письма Гонкуров, Золя, Ж. Санд, Флобера, извлечения из высказываний современной Гонкурам прессы и т. д. Обстоятельно прокомментирован «русская тема» в «Дневнике», а также многие важные исторические факты. Составлены девятитомное издание «Дневника», осуществленное Эдмоном Гонкуром, и последнее, полное академическое французское издание.

Можно не сомневаться, что советское издание «Дневника» Гонкуров привлечет к себе внимание специалистов и молодежи, занятых изучением самых различных областей истории, культуры и искусства. Историки литературы, искусства и театра не раз будут возвращаться к этой книге, доступной теперь и для широкого круга читателей.

И. ДЮШЕН.

★

Политика и наука

НЕ ЗАБЫВАТЬ ЧАС «Ч»

П. А. Жилин. Как фашистская Германия готовила нападение на Советский Союз. «Мысль». М. 1965. 167 стр.

Генерал-майор П. А. Жилин, доктор исторических наук, выступает с этой книгой как публицист, раскрывающий читателю сложные проблемы истории второй мировой войны.

Мне хотелось бы привлечь внимание читателей прежде всего к последней странице книжки, где впервые в нашей печати публикуется примечательная фотография. Под ней такая подпись:

«До нападения на СССР осталось 15 минут. Штаб танковой группы Гудериана ожидает огневой подготовки на берегу Буга севернее Бреста».

Этот снимок весьма символичен. Перед нами силуэты семи генералов и офицеров в длинных немецких шинелях и плащах, в фуражках с высокой тульей и пилотках. Серый,

мглистый рассвет. Нечетко изображение лиц. Но все фигуры выражают напряженное, настороженное ожидание. Чудится, что эта стая хищников собралась на исходе злойшей ночи, чтобы напасть на людей.

Отъявленный гитлеровец генерал-полковник Гейнц Гудериан был известен до войны своей книгой «Внимание, танки» и успешными боевыми операциями в Польше и Франции. Командуя мощной танковой группой, нацеленной на Минск—Смоленск—Москву, Гудериан со штабом появился близ советской границы, у Бреста. Вот что он написал об этом в книге «Записки солдата»:

«Тщательное наблюдение за русскими убеждало меня, что они ничего не подозревают о наших намерениях. Во дворе крепости Бреста, который просматривается с наших наблюдательных пунктов, под звуки оркестра они проводили развод караулов.

¹ «Новый мир», № 11, 1964, стр. 87.

Береговые укрепления вдоль Западного Буга не были заняты русскими войсками. Работы по укреплению берега едва ли хоть сколько-нибудь продвинулись вперед за последние недели. Перспективы сохранения момента внезапности были настолько велики, что возник вопрос, стоит ли при таких обстоятельствах проводить артиллерийскую подготовку в течение часа, как это предусматривалось приказом. Только из осторожности, чтобы избежать излишних потерь в результате неожиданных действий русских в момент форсирования реки, я приказал провести артиллерийскую подготовку в течение установленного времени»...

Именно тогда между командующим 2-й танковой группой генералом Гудерианом и фельдмаршалом фон Клюге, командовавшим на том же направлении 4-й пехотной армией, возник спор, кому первому врываться в СССР.

Доводом Гудериану служило соображение, что обозы пехотных дивизий (если эти дивизии атакуют первыми) помешают его танкам сразу развить с берегов Буга бешеный темп и прорваться через всю глубину русской обороны, так же как они с берегов реки Маас прорвались по Франции к Ла-Маншу.

Гудериан намеревался снова применить на практике свою теорию наступления без оглядки на фланги и тыл, он утверждал, что каждый немецкий танкист получает с началом атаки проездной билет без пересадки до конечной цели наступления.

Итак, сопротивление русских в расчет не принималось: помешать наступлению немецких танковых войск могли главным образом обозы своей же пехоты.

Тогда же немецкая разведка установила, что неподалеку от границы находятся советские танковые части, но в гитлеровском штабе опасались, как бы советское танковое соединение не ушло из-под нацеленного на него внезапного удара.

Обо всем этом и сейчас тяжело читать. Как же это так получилось? Почему героическая советская пехота, горстка которой оборонялась в той же Брестской крепости и надолго задержала полки врага, не бралась им в расчет?

Почему советские танки остановили танки Гудериана, когда он приблизился к Москве (он писал тогда: «Я лежу ночи без сна, испытываю свой мозг, но не знаю, что предпри-

нять»), а тут у границы оказались под неотразимым ударом врага?»

Почему те же советские командиры, которые привели свои танковые армии в Берлин, к рейхсканцелярии Гитлера, откуда Гудериан, ставший начальником генерального штаба, заблаговременно бежал, не смогли разбить его в 1941 году на советской границе?

Не ясно ли, что не будь такого начала войны, весь ее ход был бы иным и наша страна не понесла бы таких невозвратимых потерь?

Что же надо делать, чтобы внезапное нападение не повторилось снова? Ведь в условиях ракетно-ядерной войны на исправление ошибок не будет времени.

Эпиграфом книги служат слова В. И. Ленина: «Надо объяснить людям реальную обстановку того, как велика тайна, в которой война рождается...» Это ленинское указание необходимо выполнять сейчас настойчивее, чем когда бы то ни было, ибо тайна подготовки войны стала еще сокровенней.

Нападения фашистской Германии на Польшу, Францию и СССР, нападение Японии на США готовились в тайне, совершались вероломно и внезапно. Если это было возможно во второй мировой войне, когда к границам сосредоточивались многомиллионные войсковые массы, то ныне, когда армии оснащены ракетно-ядерным оружием, возможности тайной подготовки войны невероятно возросли. Вот почему так верно утверждение автора, что с войной надо бороться до того, как начнут падать бомбы.

Агрессор получил новое опасное оружие, но и силы миролюбивых народов не те, что были перед второй мировой войной. В их борьбе за мир большое значение имеет знание предвоенной истории. В. И. Ленин писал: «Надо изучить политику перед войной, политику, ведущую и приведшую к войне»...

Этому и отведены основные страницы книги. В памяти читателя восстанавливается международная обстановка после поражения Германии в 1918 году. Государства-победители, главным образом США, поставили тогда на ноги поверженную Германию, обеспечили огромными займами рост ее экономики, снабдили ее вооружением, помогли вскормить фашизм.

Многочисленна публикуемая в книге таблица роста вооруженных сил Германии. За семь лет, с 1932 по 1939 год, число дивизий немецкой армии возросло в десять раз (их стало 103). Подсчитано, что численность армии возросла за этот период в тридцать пять раз и достигла внушительной цифры — 3 754 104 человека. Вооруженная до зубов гитлеровская Германия предъявила требования на «жизненное пространство», на главенствующую роль в Европе, заявила свои претензии на мировое господство.

К этому же периоду относятся агрессия Японии против Китая, Италии против Абиссинии (Эфиопии), вмешательство немецких и итальянских фашистов в национально-революционную войну испанского народа.

После разгрома гитлеровской Германии в 1945 году те же империалистические силы Европы, и особенно США, сохранили военный потенциал Западной Германии, оказали помощь ее экономике, обеспечили воссоздание вооруженных сил, прокладывают им дорогу к ракетно-ядерному оружию и всячески питают идеи реваншизма. По-прежнему политика империалистических правительств направлена на удушение демократии в своих странах и вне их, без чего невозможно вести войны. По-прежнему внешняя политика Запада ведет к сколачиванию агрессивных блоков, созданию баз для нападения, к усилению всеобщей «холодной войны» и развязыванию «локальных» «горячих войн», которые могут стать грозной прелюдией мировой бойни.

Автор показывает, что перед второй мировой войной империалистов всех стран (так же, как и сейчас) сближала ненависть к Советскому Союзу, потому что он является неодолимой преградой на пути любого агрессора, мечтающего о господстве над миром, и потому что он является маяком свободы для всех трудящихся.

Вступая в конфликт друг с другом, империалистические государства в то же время стремились «канализировать» агрессию на Восток — на СССР.

Для этого они с первых месяцев Октябрьской революции вооружали соседние с Советской Россией капиталистические страны; для этого вскормили гитлеровскую Германию; для этого пошли на сговор с Гитлером в Мюнхене, предав свою союзницу Чехословакию.

Эта историческая тема злободневна, потому что и ныне империалистические прави-

тельства стремятся «канализировать» агрессию в сторону СССР. Мало того: СССР, подвергшийся нападению гитлеровской Германии, сейчас обвиняется фальсификаторами истории в стремлении к союзу с Гитлером.

Фактами и документами книга разоблачает этих фальсификаторов. Она напоминает читателям о том, как в 1939 году правительства Англии и Франции затягивали переговоры с Советским Союзом. В критические дни, когда требовалась быстрота решений, военные миссии Англии и Франции ехали в СССР не спеша, на товаро-пассажирском пароходе. Когда они прибыли, выяснилось, что у них нет полномочий подписать военное соглашение. В те же дни велись тайные переговоры между английскими и германскими дипломатами.

Советский Союз предлагал выставить в случае нападения гитлеровской армии сто двадцать дивизий, десять тысяч танков, пять тысяч пятисот самолетов, пять тысяч тяжелых орудий; военная миссия СССР предложила практический план борьбы с агрессией. Англо-французская делегация не ответила на это каким-либо разумным предложением. К тому же готовность Советской Армии выступить против агрессора сводилась на нет запрещением польского правительства вводить советские войска на территорию Польши. Переговоры были бесплодны.

В книге дана таблица возможного соотношения сил СССР, Франции, Англии, Польши с одной стороны и Германии с другой. Она убеждает, что при том громадном перевесе миролюбивых сил над силами Гитлера его агрессию можно было в 1939 году укротить и второй мировой войны могло не быть. От этой спасительной возможности тогда отказались правители Англии, Франции, Польши, поддерживаемые США, в надежде направить агрессию на СССР. Опыт кануна второй мировой войны (ценный и сейчас) учит, что империалистические правительства в своей ненависти к СССР готовы на любое вероломство, на предательство союзников, на заклятие своих народов — на самоубийственный сговор с агрессором.

Но этот же исторический опыт еще и еще раз подтверждает ленинское положение о том, что война — вещь архипестрая, сложная.

Согласно примитивной логике буржуазных дипломатов им казалось, что, предавая своих союзников, помогая Гитлеру подвести

войска через Чехословакию и Польшу к советским границам, они сами оградятся от опасности нападения и им останется лишь наблюдать, как СССР и Германия истощаются в борьбе, а потом диктовать свою волю в Европе. Но все совершилось иначе.

Опыт показал, что, как ни направляй агрессию на СССР, на Восток, она может повернуть и на Запад, прийти в свой же дом; что, отказываясь от помощи СССР, от демократических сил своей нации, вступая в сговор с агрессором, можно найти свою гибель.

Особое значение имеет сейчас тема превентивной войны, рассматриваемая в книге. Вся империалистическая пропаганда перед второй мировой войной муссировала тезис о коммунистической угрозе со стороны СССР. Германия, Италия, Япония подписали антикоминтерновский пакт, направленный против Советской страны. Нашему государству навязывались вооруженные конфликты на Дальнем Востоке — у озера Хасан и на реке Халхингол.

Все это проводилось под знаком превентивной войны, необходимой, чтобы упредить Советский Союз, отразить коммунистическую опасность, якобы угрожающую миру.

Утром 22 июня 1941 года, когда гитлеровские войска уже вторглись в СССР, Риббентроп передал советскому послу в Берлине меморандум, в котором начатая гитлеровцами война объявлялась войной превентивной, предупредительной. Об этом же твердили гитлеровские пропагандисты и генералы во время войны и после нее. Это же утверждают ныне профашистские историки и пропагандисты США, Западной Германии, Англии.

Неопровержимыми фактами по пунктам, по датам доказывается в книге, что война против СССР была подготовлена всей политической империалистов задолго до ее начала.

Все это приобретает в наше время особую остроту. Тезисы Гитлера о коммунистической угрозе миру со стороны СССР, о необходимости превентивной войны приняты на вооружение не только историками, пропагандистами, но и официальными лицами государственной службы США и Западной Германии.

В книге разоблачается и еще одна фальсификация. Генералы гитлеровской армии, представители ее генерального штаба, под-

готовившие и развязавшие вместе с Гитлером войну, открещиваются теперь от своего «авторства», изображают себя лишь солдатами, исполнявшими приказы. Они обеляют себя в мемуарах не только для того, чтобы предстать в лучшем виде перед потомками. Нельзя вести население Западной Германии на новую, еще более страшную Голгофу, нельзя вести молодые поколения солдат бундесвера на смерть, не убедив их, что битые генералы вермахта не повинны в поражениях и что их ученики способны выигрывать сраженья.

Читатель узнает из этой книги, кто именно из генералов разрабатывал авантурные планы, какова подлинная роль генерального штаба, соткавшего в подземном логове в Цоссене, близ Берлина, паутину, опутывавшую земной шар.

Автор объясняет, в чем гитлеровская политика и стратегия были авантюристичны и коварны, в чем их порочность и в чем была несомненная опасность. Одержав в 1939—1940 годах ряд побед, завладев почти всей Европой, гитлеровская Германия приобрела огромные ресурсы. Немецкий генералитет освоил военное искусство того времени и применил его на полях боев в Польше, Франции, на Балканах, в Норвегии. Определилась решающая роль крупных танковых и моторизованных соединений и авиации.

Против армий Польши, Франции, Англии были успешно проведены глубокие маневренные операции, удавались и стремительные прорывы к стратегическим объектам атакуемых стран: оказались возможными скрытые быстрые сосредоточения и развертывания миллионных армий вторжения. Все это сделало гитлеровскую армию крайне опасной.

Автор оговаривается, что тема его небольшой книги исчерпывается описанием подготовки нападения на СССР, но что он считает нужным в последней главе «хотя бы в самом общем виде» ответить на неизбежный вопрос, что же делалось в СССР для отражения нападения.

Многое из его ответа уже известно читателям. Но сопоставление исторических фактов в тексте таково, что они обретают большую остроту, снова приковывают внимание к трагическим дням начала войны. К этим дням будут обращаться и наши подрастающие читатели, и мало искушенные еще читатели за рубежом.

У Советского государства были объективные возможности успешно отразить нападение гитлеровской армии в самом начале войны. Но для этого требовалось неизмеримо больше усилий при иных темпах подготовки к войне. У нас все еще отставала черная металлургия; новейшие образцы вооружения медленно внедрялись в производство, и Красная Армия оставалась вооруженной устаревшим оружием. Приграничные районы не были подготовлены к обороне.

По многим каналам сообщалось о сосредоточении армий Гитлера на наших границах, указывался и день их нападения.

П. А. Жилин передает свою беседу с Маршалом А. М. Василевским, который в ноябре 1940 года находился в Берлине на переговорах В. М. Молотова с Гитлером. А. М. Василевский был убежден, что Гитлер нападет на СССР. Но, как отмечается в книге, чем больше поступало сведений о подготовке Германии к войне, тем настойчивей Сталин отрицал их достоверность.

Полно драматизма упоминание автора о том, что 14 июня — в день, когда немецкие генералы докладывали Гитлеру о полной готовности войск к вторжению в СССР, — именно в этот же день, 14 июня, было опубликовано сообщение ТАСС о том, что Германия соблюдает договор с Советским Союзом о ненападении. Это дезориентировало партию, народ, Красную Армию, обезоруживало всех, кто хотел бы усилить бдительность советских людей. Все это и привело к пагубной для наших войск внезапности нападения гитлеровских полчищ на СССР.

Об удавшейся внезапности свидетельствует начальник штаба 4-й пехотной армии генерал Блюментрит. В книге «Роковые решения» он писал:

«Час «Ч».

Напряжение в немецких войсках непрерывно нарастало. Как мы предполагали, к вечеру 21 июня русские должны были понять, что происходит, но на другом берегу Буга перед фронтом 4-й армии и 2-й танковой группы, то есть между Брестом и Ломжей, все было тихо. Пограничная охрана русских вела себя как обычно.

Вскоре после полуночи, когда вся артиллерия пехотных дивизий первого и второго эшелонов готова была открыть огонь, международный поезд Москва—Берлин беспрепятственно проследовал через Брест. Это был роковой момент...

К 3 часам 30 минутам—это был час «Ч»—начало светать, небо становилось каким-то удивительно желтым. А вокруг по-прежнему было тихо. В 3 часа 30 минут вся наша артиллерия открыла огонь. И затем случилось то, что показалось чудом: русская артиллерия не ответила...

Мы обязаны всегда помнить этот роковой час «Ч».

Книга П. А. Жилина тем и полезна, что она привлекает внимание читателей к одной из острейших проблем современности.

М. БРАГИН,

старший научный сотрудник Института истории Академии наук СССР.

★

НАМЕРЕНИЯ БЫЛИ БЛАГИМИ

Пути ликвидации текучести кадров в промышленности СССР.
Сборник. «Мысль». М. 1965. 174 стр.

Приняться за чтение этой книги меня заставили две вещи. Во-первых, девиз авторов: «Только подлинно научное исследование текучести кадров позволит разработать конкретные и наиболее эффективные предложения, направленные на успешную борьбу с ней». И, во-вторых, обещание «восполнить пробелы» в знаниях читателя — в «таких вопросах, как экономическое содержание и определение текучести, классификация ее причин, методика изучения, определение экономического ущерба, который наносится текучестью, формы и

методы борьбы с текучестью кадров, и другие», которые, к сожалению, не получили в нашей литературе освещения. Правда, авторы — сотрудники экономического факультета МГУ — оговариваются: «Отдельные немногие статьи в газетах и журналах посвящались этой проблеме, но затрагивали ее в основном в общем плане».

Итак, книга называется «Пути ликвидации текучести кадров в промышленности СССР». Уже сам заголовок обещает практические рекомендации, столь нужные работникам предприятий. И если бы они

быть разработаны, то можно было бы примириться с некоторыми недостатками книги. Но странное обстоятельство: материал весьма скромного раздела книги, посвященный рекомендациям, фактически никак не опирается на уникальные по сложности исследования, проведенные авторами, абсолютно не связан с их методикой. Все без исключения практические предложения по ликвидации текучести взяты из официальных документов и тех самых газетных и журнальных статей, которые критиковались авторами за то, что они затрагивают проблему текучести «в основном в общем плане».

Причем даже и эти материалы используются подчас неумело, без глубокого анализа и хотя бы самого простого сопоставления. Так, сетуя на разнობой в нормах на одинаковые работы, вызывающий неравномерную оплату, а следовательно, и текучесть, авторы утверждают: «Положительно сказывается на устранении причин текучести кадров введение вместо единовременного пересмотра норм нового порядка постепенной замены устаревших норм». А ведь именно отмена централизованного порядка пересмотра норм и явилась одной из причин возникновения этого разнобоя.

Настораживает, что с первых же страниц авторы атакуют решительно все, что написано до них по вопросу о текучести кадров — от разнородностей ее определения и статистических форм отчетности до методики исследований, рекомендуемой Научно-исследовательским институтом труда.

Может быть, это правомерно? Бывали же в любой науке моменты, когда во имя истины приходилось перечеркивать добытое предшественниками и начинать с чистой страницы. Давайте попробуем проанализировать, так ли это необходимо в данном конкретном случае. Начнем с определения текучести.

Рассмотреть опровержение авторами всех формулировок невозможно, поэтому ограничимся лишь последней. «Определение текучести кадров, — утверждают они, — содержащееся в «Кратком экономическом словаре», сводится к тому, что текучесть рабочей силы — это стихийный процесс перемещения рабочей силы из одних предприятий, отраслей хозяйства, экономических районов в другие. Это определение, правильно ограничивая текучесть лишь **неорганизованным, стихийным движением**

кадров, вместе с тем неверно определяет текучесть как двустороннее движение — увольнение с работы и прием на работу. Между тем масштабы текучести определяются числом уволенных с предприятия по причинам, которые не вызваны ни общегосударственными интересами, ни производственными нуждами предприятия».

Позвольте, но при чем же здесь масштабы текучести? Речь-то ведется о ее сущности! В логике такой прием мягко именуют подменой тезиса. И потом как же вяжется утверждение об односторонности процесса со всей методикой, предложенной в книге, где предписывается изучать данные как об уволившись, так и о поступивших на работу, анализировать последствия текучести и на заводе, откуда человек ушел, и там, куда он устроился работать?

Может быть, разница станет ясней, если сравнить определение исследователей с тем, что дано в словаре? Но в книге оно не приводится. Авторы сочли задачу выполненной, заявив: не подходит — и дело с концом.

Не устроила исследователей и принятая практиками система изучения текучести кадров по данным учета и статистики. То есть они соглашались, что до последнего времени она вполне удовлетворяла народное хозяйство. больше того — сами отмечают, что метод прост и не требует больших трудовых затрат. Но «в современных условиях развития народного хозяйства его использование не может дать необходимых результатов». А почему не может? Что произошло за это самое последнее время? Разве текучесть приняла угрожающие масштабы? Напротив. Из статистических данных, приведенных в книге, видно, что в 1956 году она по сравнению с 1932 годом сократилась более чем в четыре раза, а в 1960-м против 1956-го — еще вдвое. Очевидно, что и за последние годы изменений к худшему здесь не случилось.

Бедновато выглядят аргументы, с помощью которых авторы критикуют действующие формы учета и статистики. Создается впечатление, что они слишком много теоретизируют на сей счет, и это уводит их от главного — поисков путей ликвидации текучести кадров.

Вот, например, их рассуждение по вопросу об увольнении работника по собственному желанию: «Уход «по собственному желанию» — это юридическая форма экономиче-

ского факта перемены места приложения труда или временного выбытия из общественного производства. В основе этого экономического факта лежат те или иные экономические причины, которые юридическая форма скрывает». Далее для непосвященных раскрывается смысл столь мудреного изречения. Оказывается, «собственное желание» может совпадать с экономическими потребностями общества. Например, в тех случаях, когда увольняющийся уезжает в дальние или вновь осваиваемые районы страны, когда идет в вуз, на стройки большой химии или наконец вступает в брак. Правда, по утверждению авторов, последний «вид сменяемости хотя и излишен, однако избежать его невозможно». Поэтому предлагается не квалифицировать все перечисленные разновидности «собственного желания» как текучесть.

Невинное и на первый взгляд логичное стремление отделить друг от друга экономические причины, которые юридическая форма скрывает, оказало медвежью услугу исследователям, потребовало чрезвычайного усложнения методики. Достаточно представить лишь предлагаемый ими «инструментарий» обследования — два вида опросных листов, содержащих по двадцать с лишним пунктов (на расшифровку некоторых из них едва хватает алфавита), столь же сложные типы справок, особые формы выписок из отчетов, варианты шифров по группам признаков, два десятка аналитических карт и т. д.

Авторы понимают, что нельзя поручить заполнение таких документов отделам кадров и даже предостерегают против таких попыток. Справиться с подобной работой, по их мнению, могут лишь преподаватели, аспиранты и студенты старших курсов. Но и этого, оказывается, недостаточно.

Анкетному опросу предлагается подвергнуть «всех без исключения выбывающих и прибывающих работников независимо от причин увольнения с данного или предыдущего предприятия». Для чего же предлагается так расширить объем исследований? Чтобы ответ не прозвучал анекдотом, придется полностью процитировать формулировку авторов: «Это делается для того, чтобы анкеты анализировались непосредственно в лаборатории сведущими специалистами, которые могут определить, в результате текучести выбыл работник или нет».

Между прочим, это выглядит только смешно. Искренне жаль того бедного «сведущего специалиста», которому придется решать в каждом конкретном случае, совпадает ли увольнение «по собственному желанию» с экономической потребностью общества. Труд грандиозный и неблагодарный. Так, незаметно для себя, авторы перешли разумную грань научных поисков...

В статистике существует понятие «мнимая точность». Известно, что стремление к такой ненужной точности приводит к обратным результатам — выводы оказываются искаженными, практически пользоваться ими невозможно. Именно так получается в данном случае. Стремление придать «научную солидность» материалу, «по-ученому» изложить самые простые мысли подчас оборачивается наукообразием, ставит авторов в курьезное положение.

Как же иначе, например, расценить «разъяснения» такого типа: «Если работник поступил на данное предприятие после демобилизации из Советской Армии, после окончания учебного заведения или пришел из домашнего или личного подсобного хозяйства, то в опросном листе соответственно записывается: «Советская Армия, учеба, домашнее хозяйство». «Если обследуемый работник холост, но проживает в семье родителей, он учитывается как одинокий». На кого они рассчитаны, подобные глубокомысленные определения? Кстати, вопрос это далеко не праздный. В книге нет обычной издательской аннотации, из которой было бы видно, каким читателям она адресуется. Умалчивают об этом и авторы труда.

Оно и понятно. Ведь, по их собственному признанию, работникам предприятий методика не под силу. Научным же работникам вряд ли понадобятся советы вроде того, что холостого следует считать одиноком. И, кроме того, нельзя же всерьез полагать, что учет, анализ и разработку мероприятий по борьбе с текучестью можно целиком переложить на плечи ученых.

Все это и заставляет сделать вывод, что название книги не соответствует ее содержанию. Обещания, которые даются читателям во введении, в значительной степени остаются невыполненными, и потому ценность такого рода изданий представляется весьма сомнительной.

И. КАРПЕНКО.

МЕЖДУ РЕВОЛЮЦИЕЙ И ДИКТАТУРОЙ

С. Л. Утченко. Кризис и падение Римской республики. «Наука». М. 1965. 288 стр.

Шекспир вложил в уста Гамлета слова: «Великий Цезарь ныне прах, и им замазывают щелл». Не думаю, что великим английским драматургом руководила мысль о неактуальности исторической науки, изучающей далекое прошлое, — иначе он, вероятно, не написал бы трагедию о Цезаре, о падении Римской республики.

Книга доктора исторических наук Сергея Львовича Утченко — тоже о падении Римской республики, о событиях двухтысячелетней давности.

В последние годы понятие актуальности и неактуальности все чаще всплывает на страницах исторических журналов, все решительнее направляет издательские планы и вузовские программы. Как часто при этом об актуальности судят по заголовку, по тематике, словно убогое сочинение может стать актуальным, коль скоро оно посвящено злободневнейшей теме! Истинная актуальность заключена не в теме, а в исполнении.

Но может ли стать актуальной книга о древнем Риме? Может ли заинтересовать она нас, вступающих в космическую эру? Может ли быть полезным современному человеку опыт давно протекшего столетия? Не будем искать ответа на эти вопросы в собственном вкусе — ведь вкусы отдельного человека, читатель он или критик, всегда субъективны. Пусть развитие исторической науки само послужит нам ответом.

Будь человечество безразличным к своему прошлому, оно не меняло бы своих привязанностей и антипатий, — но это не так. В разные исторические эпохи мы выбираем для себя разные исторические сюжеты. В восемнадцатом столетии излюбленными темами оказались афинская демократия, Римская республика, свободный средневековый город. Наши современники предпочитают Периклу Августа и занимаются главным образом эллинистическими монархиями, Римской империей и Византией. Исторический опыт, который в ту пору приковывал всеобщее внимание, сейчас не кажется столь важным; поколение, пережившее ужасы фашизма, долго еще будет зато обращаться к проблеме тоталитарного государства, в том числе тоталитарного государства давно прошедших веков.

Когда оценивают историческое исследо-

вание, подчеркивают обычно воплощенную в нем ученость автора: сколько источников им использовано, какую бездну научной литературы он прочитал и критически переварил. Однако подобные характеристики имеют скорее биографическое, нежели общественное значение, они определяют черновую работу, а не результат ее. Поэтому я позволю себе пройти мимо обильных сносок, мимо щедрых цитат по-гречески и по-латыни — важно, что получилась книга умная, критическая, изящно построенная и эмоционально написанная. В несущественной, казалось бы, детали автор умеет выразить существо важнейшего процесса: недаром он завершает книгу рассказом о том, как убитого заговорщиками Цезаря уносят домой на носилках и с них бессильно свешивается его рука — рука, что за несколько минут до того властно управляла миром. И эта деталь отчетливо подчеркивает незавершенность того, что вознамерился свершить Цезарь.

О чем же написана книга?

Она посвящена событиям середины I века до нашей эры. Ее последний эпизод — иды марта, убийство Цезаря, и только из заключения мы узнаем об установлении империи Августа — «режима, основанного на политическом лицемерии, да еще возведенном в принцип»; режима, опорой которого были прежде всего бюрократический аппарат и армия. Книга начинается с того момента, как завершилась италийская революция. (Разумеется, говоря о революции, Утченко отнюдь не имеет в виду тот фантом — «революцию рабов», — который не так давно был общепринятым и который никто не в силах был понять.) Книга посвящена сложному и противоречивому периоду римской истории, когда революционный накал уже сник, а диктатура еще не могла установиться.

Потомки, обдумывая и оценивая эти события, знали уже, во что они вылились, и понятно, что во взглядах и оценках потомков проявилась своеобразная аберрация: им стало казаться (и этот взгляд утвердился в исторической науке), что сами политические деятели переходного периода отчетливо представляли себе будущее и сознательно устанавливали диктаторский режим — одни (как гениальный Цезарь) последова-

тельно и смело, другие (как нерешительный и туповатый Помпей) — с бесчисленными отступлениями, колебаниями, сомнениями. Такая точка зрения соблазнительна и проста. Но в науке нет ничего опаснее соблазнительных своей простотой решений, и Утченко прослеживает, насколько действительность была сложнее установившейся схемы. Шаг за шагом показывает он, что участники событий, и Цезарь в их числе, еще не сознавали, что творят монархию — их деятельность сводилась к конкретным, повседневным мерам, подсказанным злобой дня, а из этих повседневных мер с пугающей необходимостью вырастали, становясь все более ощутимыми, черты будущей диктатуры, первые признаки режима Августа.

Так выясняется, что Римская империя была не порождением воли какого-нибудь Суллы или Цезаря, а результатом объективного исторического процесса. Французская буржуазная революция вынесла на своем гребне Наполеона; поколения, пережившие италийскую революцию, закономерно, хотя и ощупью, приходили к диктатуре.

В основе политических преобразований лежат социальные сдвиги, и Утченко уделяет большое внимание изменению форм собственности и трансформации господствующего класса. В результате этих сдвигов старый господствующий класс — в Риме он назывался нобилитет — потерял господствующее положение и в производстве, и в армии, и в культурной жизни; чтобы удержаться ключевые позиции, он должен был превратиться в замкнутую и косную олигархию, в живое воплощение противодействия новому. И тогда вспыхнула италийская революция, которая нанесла сокрушительный удар по старым формам собственности и по старому господствующему классу с его архаичными привилегиями.

Таковы предпосылки италийской революции — их Утченко раскрывает интересно и убедительно. Но можно ли считать, что социальные корни италийской революции и римской монархии были одними и теми же? Что изменение форм собственности и трансформация господствующего класса, породив революцию, уже сами собой подготовили и диктатуру?

Утченко не ставит этого вопроса. Впрочем, в одной из последних глав он мимоходом касается одного факта, который, мне кажется, объясняет в какой-то степени, что

произошло в Риме в середине I века до н. э. «Еще перед началом гражданской войны, — пишет Утченко, имея в виду войну Цезаря с Помпеем, — когда, казалось, вся Италия должна была находиться в состоянии крайнего напряжения, Цицерон жаловался, что с ним «много говорят люди из муниципиев, много говорят сельские жители, но они ни о чем не заботятся, кроме своих полей, своих усадеб и своих денег». Рим вступал в полосу экономического подъема, деловитости, роста материального благосостояния, порожденного в значительной мере успехами италийской революции, и людям зажиточным начинало казаться, что они могут добиться успеха и счастья вне общества, вне общественной жизни, просто обогащаясь, воздвигая новые городские дома и загородные виллы, покупая рабов и племенной скот. Иллюзия, которую рассеяли проскрипции, казни, ссылки, конфискации имущества, — но уже было поздно.

Помимо социальных сдвигов, становлению империи предшествовали, подготавливая ее, и политические перемены: постепенно отмирали демократические формы управления, создавалась армия, обособившаяся от народа. И вот что чрезвычайно существенно в ходе рассуждений Утченко: неверно думать, будто римская армия была лишь инструментом, лишь исполнителем в руках претендента на власть. Нет, она выступала самостоятельной политической силой, опережавшей своих полководцев и представлявшей к ним далеко идущие требования: не только материальные (солдаты хотели землю и денег), но и политические. Солдаты, собранные из самых разных слоев населения (в том числе из неграждан), были чужды исконных римских традиций и римских моральных устоев. Конечно, старые нравственные принципы своекорыстно перетолковывали идеологи нобилитета, но разве стало лучше, когда понятия мудрости, справедливости, верности — главных римских добродетелей — уступили место специфическим солдатским ценностям, таким, как воинская честь, величие римского народа или лозунг «Государство и император!»?

Так затрагивает Утченко роль социальной психологии в становлении римской диктатуры. Этому вопросу, пожалуй, следовало бы уделить особое внимание. Бесспорно, римская монархия была подготовлена изменениями в сфере общественного устройства, права, политической организации, но

колоссальную роль должна была сыграть в психологическая ломка. Ведь население Рима не просто оставалось индифферентным к совершившимся переменам (об этом справедливо говорится в книге), что можно было бы объяснить улучшением экономического положения ряда общественных групп, — нет, совершается своеобразная смена идеалов. Если совсем недавно образцом государственного деятеля рисовался полуполулегендарный консул Цинциннат, который прямо от сохи торопился на заседание сената, поспешно обтирая руки подолом рубахи, то современники Цезаря хотели видеть во главе государства божественное существо, обутое в красные сандалии, восседающее на позолоченном кресле. Утченко знакомит нас с настоящим культом Цезаря: его статую из слоновой кости торжественно несли на роскошных носилках, его изображения воздвигали в храмах — жаль только, что в книге остается без ответа вопрос о побудительных причинах сдвигов в социальной психологии Рима I века до н. э.

Пожалуй, в какой-то степени к пониманию этого своеобразного явления приближает нас та глава в книге Утченко, которая посвящена понятию народного суверенитета у римлян. Там прослежено, сколь однозначащими, тождественными были в те времена термины «народ» и «государство». «Народ» как бы сливался с «государством» — и это было наследием той архаической общины, которой первоначально (и не так уж давно) был Рим.

В архаической городской общине нормы поведения корпоративно обусловлены, определяются принадлежностью к общине. Тот, кто стоит вне общины, кто не является ее гражданином, тот вне права, и наоборот: человек, почти как муравей или пчела, прежде всего принадлежит общине и уже потом себе и своей семье.

Нормальное развитие должно было привести к распаду общины с ее корпоративностью, к формированию свободы личности, к получению человеком самостоятельной ценности, независимо от его принадлежности к любым корпорациям. Но этого не произошло представления о ценности отдель-

ной личности, о ценности человека еще не успело сложиться в Риме, как архаическая община уже исчезла, уступив место могущественному римскому государству. Попадись ужасы императорского режима, чтобы человеческая мысль осознала, что дорого не только «человечество» (или его избранная часть — «народ»), но и «человек», — в I веке до н. э. политические деятели отстаивали не благо человека, но общее благо или благо народа. Но вспомним — «народ» отождествлялся здесь с «государством», и, следовательно, благо народа воплощалось (зрительно, образно, символически) в блеске главы государства.

Рождение нового государственного порядка протекало в упорной борьбе. Интереснейшие страницы книги Утченко как раз посвящены тем силам, которые составили оппозицию нарождающемуся режиму. С первой страницы первой главы в книгу вступает Цицерон, представленный в трагическом ракурсе: в грозную эпоху, когда армия все откровеннее превращалась в решающую политическую силу, Цицерон сохранил убежденно в том, что разум и мораль могут противостоять силе, что войско должно отступить перед ораторским искусством. Так и не удалось ему понять, что главный фактор в борьбе за власть — это организация, в римских условиях — армия. Первые успехи вскружили Цицерону голову, внушив уверенность в действенности его принципов, но за этим последовала цепь ошибок и поражений, детских просчетов, неверных решений, отчаянных предсмертных метаний, завершившихся гибелью, мужественной, героической, хотя и бессильной повернуть историю вспять.

Мы встречаемся с Цицероном и на последних страницах книги: идут сорочковые годы, у власти — всемогущий Цезарь, а Цицерон давно уже не консул и не «отец отечества», но частный человек, скомпрометированный к тому же связью с врагами Цезаря (по терминологии того времени, с врагами римского народа). Цицерон остается в живых, потому что Цезарь сообразовал его простить. Но даже в эту пору Цицерон находит силы и средства для борьбы с диктатурой: он выступает как литера-

тор, он воздействует на общественное мнение.

И Цезарь, любимец армии, властелин мира, все-таки вынужден сделать уступку общественности, вынужден отвечать на критику Цицерона.

...На протяжении ряда лет простые и не подлежавшие критике формулы приучали нас упрощать действительную проблематику истории античного мира: рабовладельцы, верили мы, эксплуатировали рабов, рабы поднимались на борьбу, испуганные рабо-

владельцы консолидировали свои силы и создавали империю — и никто не осмеливался задуматься, зачем это рабовладельцам в борьбе со своим классовым врагом, с рабами, понадобилась беспощадная резня в собственных рядах. Книга Утченко родилась в борьбе с иллюзорной, обманчивой простотой научных псевдоистин — и в этом прежде всего ее значение и ее актуальность.

А. КАЖДАН.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

Е. ЖУКОВА. *Здесь жил и работал Ленин. «Молодая гвардия».* М. 1965. 112 стр.

Группа советских журналистов совершила поездку по Германской Демократической Республике, Чехословакии и Польше. Они побывали в местах, где в годы эмиграции жил Владимир Ильич Ленин. Журналистка Е. Жукова, художник В. Медведев, фотокорреспонденты З. Зельма и А. Григорьев решили рассказать о том, что они увидели во время своего путешествия. Так родилась эта книга.

Берлин, Лейпциг, Краков, Поронин... Здесь жил Владимир Ильич, тут он напряженно работал, руководя революционным движением в России, направляя деятельность партии. Ленин смотрел далеко вперед, он прозорливо предвидел события, которые должны были вскоре развернуться в России, и готовил к ним партию.

В ГДР, Польше и Чехословакии любовно сохранено все, что напоминает о пребывании в этих странах великого пролетарского вождя. В квартирах, где жил В. И. Ленин, восстановлена обстановка того времени, на зданиях библиотек, где он работал, — мемориальные доски. В Лейпциге воссоздана типография, в которой напечатан первый номер ленинской «Искры». Проведена огромная работа по розыску рукописей Владимира Ильича. Во многих городах созданы музеи В. И. Ленина, которые ежегодно посещают сотни тысяч людей.

...В Берлине, на Унтер-ден-Линден, на здании Государственной библиотеки мемориальная доска: «Здесь работал В. И. Ленин в 1895 г.» В 1963 году выставку, открытую библиотекой к 93-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина, за две недели посетило более шестидесяти тысяч человек.

Прага. Дом № 7 на Гибернской улице, где в 1912 году проходила историческая VI Пражская конференция РСДРП, о результатах которой В. И. Ленин писал А. М. Горькому: «Наконец удалось — вопреки ликвидаторской сволочи — возродить партию и ее Центральный Комитет. Надеюсь, Вы порадуетесь этому вместе с нами». Теперь в Народном доме — Музей В. И. Ленина.

Вместе с советскими журналистами читатель совершает поездку в Поронин, идет по тропам, по которым не раз ходил Владимир

Ильич во время кратких часов отдыха. Члены местного краеведческого общества в польском городе Закопане составили даже карту прогулок Ленина по Польским Татам. Она называется «Здесь ходил Ильич».

В Германии, Польше и Чехословакии немало людей, которым посчастливилось видеть Ленина, разговаривать с ним. В Лейпциге советские журналисты встретились с супругами Ремер, у которых Владимир Ильич в 1914 году прожил две недели. Марта Ремер и ее муж Курт рассказали им о тех незабываемых днях...

Книга «Здесь жил и работал Ленин» — документальный рассказ о жизни Ильича за рубежом, о глубокой любви трудящихся к великому вождю.

В. Ростовский.

★

ЮРИЙ УЗИКОВ. *60 дней с В. И. Лениным (Из жизни С. П. Желтышева, бывшего солдата Вольнского полка, порученца В. И. Ленина).* Башкирское книжное издательство. Уфа. 1965. 62 стр.

Это книга о бывшем солдате Вольнского полка, крестьянине Уфимской губернии Степане Павловиче Желтышеве. Но главное в ней — рассказ о Ленине.

В период октябрьских событий 1917 года Степан Желтышев служил в пулеметной команде запасного батальона гвардейского Вольнского полка. Пулеметчики несли караульную службу в Смольном, охраняли помещение Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов.

Рабочий день Владимира Ильича длился с утра до поздней ночи, Надежда Константиновна все дни проводила в Наркомпросе, и им был необходим человек, который выполнял бы небольшие личные поручения. И случилось так, что Желтышев стал порученцем Владимира Ильича. В течение двух месяцев солдат Желтышев ежедневно встречался с В. И. Лениным, видел его во время работы, в приемной Совнаркома, при беседах с посетителями, наблюдал Ильича в домашней обстановке.

О Ленине написано много книг, статей, воспоминаний. Их писали соратники по революционной борьбе, родные и близкие Владимира Ильича, деятели партии и государ-

ства, писатели, историки. Ю. Узиков взглянул на Ленина глазами простого, неграмотного солдата-крестьянина, каким был С. Желтышев в те годы. Желтышев был наивен, прост, совсем не знал условий городской жизни. По выражению Н. К. Крупской, он был «самым первобытным солдатом Воынского полка». Доброжелательное отношение Владимира Ильича и Надежды Константиновны помогло Степану Желтышеву быстро освоиться в их доме. Он помогал Ленину и Крупской устроить их несложный быт. Впоследствии в своих воспоминаниях о Ленине Н. К. Крупская писала: «К Ильичу был присажен один из пулеметчиков, т. Желтышев, крестьянин Уфимской губернии. Ильича он очень любил, относился к нему с большой заботой, обслуживал его, носил ему обед из столовки, которая в то время была в Смольном». Много интересных деталей сохранила память С. П. Желтышева. Они хорошо дополняют образ В. И. Ленина — величайшего государственного деятеля и человека.

В книге есть несколько забавных эпизодов. Степан раздобыл где-то в подвалах Смольного поломанный складной стул, попробовал его починить, но ничего не вышло, и вот уж вернувшийся домой Владимир Ильич, сидя на полу вместе с Желтышевым, пытается разгадать конструкцию «буржуазной вещи».

Автор приводит в книге несколько писем Н. К. Крупской к Желтышеву. В одном из них читаем: «Товарищ Желтышев, получила от Вас письмо и была очень рада. Я вас хорошо помню, помню, как Вы помогали нам в устройстве. С тех пор много воды утекло. Я совсем старуха стала. Работаю с утра до вечера, только тем и держусь, а то после смерти Владимира Ильича трудно было бы выдержать». Надежда Константиновна в своих письмах учитывает уровень и подготовку своего адресата. Но простота и доступность писем Надежды Константиновны отличаются от преднамеренной, иногда слишком откровенной упрощенности стиля всей книги.

Есть в книге Узикова и неточности, которых можно было бы избежать. Так, автор несколько раз говорит о приемах Лениным иностранных дипломатов. Это не совсем верно, так как в первые месяцы советской власти официальные представители дипломатических кругов посетили Совнарком всего два-три раза. Возможно, Желтышев помнит многочисленные посещения иностранных журналистов, деятелей международного рабочего движения, коммерсантов, которые стремились завязать отношения с главой первого Советского государства. В этом случае автору следовало помочь С. П. Желтышеву уточнить эти факты.

Небольшая, но не совсем обычная книжка ленинского порученца представляет несомненный интерес для читателя.

Л. Ванханен.

★

СТРОКИ, ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ. Сборник. Новосибирск. 1965. 164 стр.

Летом 1942 года по инициативе трудящихся Новосибирска началось формирование добровольческой стрелковой дивизии. Уже в июле от рабочих и колхозников только Новосибирской области поступило сорок две тысячи заявлений. А в Омске, Барнауле, Красноярске уже шло формирование полков и бригад. Так родился Сибирский добровольческий корпус. Боевое крещение корпус получил в боях на Смоленщине, а позже стал гвардейским.

Доброе дело сделали работники партийного архива Новосибирского обкома партии и обкома комсомола, подготовив к публикации сборник документов, куда вошла переписка фронтовиков с коллективами предприятий и колхозов, родными и близкими.

Собранные воедино, документы эти очень убедительно передают накал борьбы, настроение людей не только на фронте, но и в тылу.

Более двадцати лет прошло с тех пор, как написаны письма, собранные в этой небольшой книжке, но они по-прежнему волнуют. И кто бы ни был их автором — известный полководец или моряк Северного флота, успешно сражавшийся на подводной лодке «Новосибирский комсомолец», — в каждом письме звучит благодарность людям Сибири, гордость за их вклад в дело победы.

Сборник иллюстрирован документальными фотографиями, репродукциями рисунков фронтовых художников.

В. Ярцев.

★

В. И. МОНАХОВ. Пожнешь судьбу (Заметки о воспитании). Политиздат. М. 1965. 160 стр.

Несколько лет тому назад в журнале «Новый мир» была напечатана большая статья В. Монахова «Преступник и общество». Статья вызвала много откликов. Верный своей задаче — анализу причин преступности в нашем обществе и выявлению реальных путей устранения этого зла, автор выпустил с того времени несколько общедоступных книг и брошюр. Последняя среди них — «Пожнешь судьбу».

О значении этой книги — так же как вообще серьезной литературы на аналогичные темы — можно судить уже по тому, что в Программе нашей партии впервые в истории выдвинута задача искоренения преступности и устранения всех причин, ее порождающих. Нужны объединенные усилия школы, семьи, всей советской общественности с тем, чтобы подавлять преступление в самом зародыше, а уж если преступление совершилось, то умно и твердо исправлять виновных. Особенно тревожат преступления, совершаемые молодыми людьми, несовершеннолетними.

Книга В. Монахова, не лишенная некоторой дидактичности, почти неизбежной в такого рода работах, в то же время богата конкретным фактическим материалом. Он-

го и позволяет автору уходить от голой назидательности, каждый раз с новой стороны развивать мысль, что в деле воспитания особенно важен индивидуальный подход. Много и интересно автор говорит о воспитателях. «...воспитатель сам должен быть воспитан», — писал Маркс. Но и одной воспитанности мало, нужна заинтересованность в судьбах людей. В главе «Воспитание верой» автор рассказывает о московском адвокате Светлане Михайловне Буниной. Не ограничиваясь рамками должности, она годами следит за своими бывшими подзащитными, переписывается с ними, ненавязчиво тонко руководит ими. Число ее «подшефных» сейчас близко к сотне. И десятки из них живут новой жизнью.

Профилактика преступности, кара и меры воспитательного воздействия, исправление преступника трудом, перевоспитание в коллективе — таковы темы отдельных глав и подглавок книги. Автор рассказывает о трудных судьбах и не скрывает сложности воспитательной работы. Серьезность тона, с которым ведется нелегкий разговор, вызывает особое доверие к книге.

В. С.

★

Л. ТАМАШИН. Владимир Киршон. Очерк творчества. «Советский писатель». М. 1965. 200 стр.

Драматургия Вл. Киршона — явление сложное и противоречивое. Его пьесы почти не получили объективной оценки. Им сопутствовали сначала панегирики — достаточно вспомнить, как в 1934 году целый номер журнала «Театр и драматургия» был заполнен славословием в адрес Киршона, — а затем двадцатилетнее молчание. Книга Л. Тамашина — по сути первое обстоятельное исследование творчества советского драматурга. Л. Тамашин был критиком глубоким и чутким. С горечью пишем «был», так как известие о его смерти пришло, когда книга находилась еще в типографии. Л. Тамашин не просто любил литературу, но относился к таланту писателя уважительно и потому требовательно. Его книгу о Киршоне отличает вдумчивый анализ успехов и неудач драматурга, глубокая заинтересованность в определении корней сильных и слабых сторон литературы тридцатых годов, широта исследования и острое «чувство театра».

Критик соединяет разбор пьес Киршона с показом картины литературной борьбы двадцатых—тридцатых годов. Деятельность Киршона-драматурга, отмечает Л. Тамашин, протекала в один из сложных исторических периодов жизни нашей страны; В. Киршона нельзя понять вне особенностей той эпохи, он весь пропитан ее духом, на его человеческом и писательском облике лежит ее печать.

Критик показывает путь драматурга от искусства плакатной агитки к психологической драме, исследует пьесу «Рельсы гу-

дят», много места уделяет «Городу Ветров» — первой советской трагедии. Проблема, поднятая в пьесе, — проблема взаимоотношений партии и народа в революции. Эта линия в драматургии получила затем достойное продолжение в «Оптимистической трагедии» и «Гибели эскадры».

Рассматривая сценическую судьбу «Города Ветров», Л. Тамашин обращает внимание на то, как пагубно отразились на театре тридцатых годов веяния складывающегося культа личности.

Для современников Киршон был не только драматургом, но и видным общественно-литературным деятелем. Естественно, автор книги останавливается и на этой стороне жизни писателя. Интерес к актуальным, жизненно важным проблемам отличал публицистические выступления драматурга. Но недооценка эстетической стороны творчества зачастую приводила к узости в понимании им природы социалистического реализма. В главе, посвященной «Чудесному сплаву» и «Большому дню», Л. Тамашин подробно анализирует обстоятельства, в которых увлечение администрированием, снижение требовательности к себе притупили талант драматурга.

Серьезная, объективная работа Л. Тамашина исполнена истинного пафоса гражданственности.

А. Шерель.

★

А. РУБАШКИН. Публицистика Ильи Эренбурга против войны и фашизма. «Советский писатель». Л. 1965. 380 стр.

Книга А. Рубашкина — обстоятельное исследование, необходимость в котором уже давно ощущалась всеми читателями Ильи Эренбурга. Можно говорить о стихах И. Эренбурга, о его романах и повестях, о литературных портретах и эссе, но вряд ли, говоря обо всем этом, можно обойтись без напоминания о его публицистике. Для И. Эренбурга это не просто один из жанров, которым он владеет не хуже, чем другими, это существо его писательского метода, характернейшая особенность его мировосприятия, обусловленная повышенной активностью гражданского гемперамента. Поскольку публицистичность пронизывает у И. Эренбурга буквально все его сочинения, легко представить себе трудность, какую пришлось преодолеть автору этой книги. Он, естественно, не мог обойтись без разговора о романах писателя и других его вещах, находящихся в непростом родстве с публицистикой. Все же ему удалось ограничить себя, и материал его книги локализован, как правило, довольно удачно.

Читатель найдет в этой книге не только анализ произведений И. Эренбурга-публициста, таких, например, как очерки и статьи об Испании или всем памятные произведения периода Великой Отечественной войны, но и менее известных, а также и впервые открытых. К числу последних относятся статьи и заметки Поля Жюслена: под

таким псевдонимом И. Эренбург печатал свои корреспонденции из Франции в 1938—1939 годах. Их оказалось немало. С большим интересом читаются и страницы, посвященные раннему творчеству писателя. А. Рубашкин на основе анализа статей и очерков И. Эренбурга, написанных во время первой мировой войны и первые годы революции, убедительно документирует быстро сменявшие друг друга этапы формирования и роста мировоззрения писателя тех лет.

Центральной идеей книги является мысль о том, что движущей силой публицистики И. Эренбурга (и можно сказать шире — всего его творчества) была идея гуманизма. Окрашенная поначалу в абстрактные и пацифистские тона, а затем скепсисом и иронией, она постепенно стала воинствующей защитой коммунистических идеалов. Лучший и убедительнейший пример этого — статьи Ильи Эренбурга в годы войны с фашизмом, его неустанная и плодотворная деятельность всемирно известного борца за мир.

А. Павловский.

Ленинград.

★

ГАЛИНА ГАМПЕР. Крыши. Стихи. Ленинград. 1965. 58 стр.

«Крыши» — первая поэтическая книга Галины Гампер. Она невелика по объему, в ней около сорока стихотворений, но они дают отчетливое представление о характере и круге интересов автора, человека сдержанного и пытливого.

У Галины Гампер небольшой голос, но этот голос звучит чисто и естественно. Стихи для нее — настоящая внутренняя необходимость; она пишет только о том, что серьезно ее занимает: о природе, о любимых книгах, о том, без чего она не может обойтись. В сборнике нет прямых откликов на события дня, но в нем то явственнее, то глуше ощущается атмосфера нашего времени. Я имею в виду не столько внешние приметы сегодняшнего быта, встречающиеся в стихах, сколько внутренний склад лирического героя этой книги, знающего, что такое подлинное горе и потому особенно ценящего жизнь.

В стихотворении «Памяти отца» Галина Гампер пишет:

Там за синими перелесками
Лишь фанерные монументы.
Мы убитым отцам ровесники —
Так развязываются легенды.

Даже стариться вы не можете...
Только карточки выгорают.
Только матери ждут: «А может быть...»
Только дочери вырастают.

За этими безыскусственными подробностями — не литературные ассоциации, а реальная биография тех, кто был слишком мал, чтобы сознательно чувствовать тяготы войны, но в чьей жизни и душе она оставила память о себе.

Искренностью, внутренней сосредоточенностью, спокойным достоинством человека,

не сгибающегося под ударами судьбы и не ищущего снисхождения и жалости, подкупает эта маленькая книга стихов. Предисловие к книге написал Михаил Дудин.

Л. А.

★

ИГОРЬ ЗОЛУТУССКИЙ. Обитаемый остров. Очерки. «Библиотечка писателей Верхней Волги». Ярославль. 1965. 95 стр.

Игорь Золотусский выступает в печати как критик. В его книге путевых заметок о поездке на Сахалин и Печору привлекает то же, что и в литературных статьях, — он думает и пишет своеобразно, самостоятельно.

В одном из очерков он рассказывает о незаметном, но чрезвычайно важном и полезном труде рыбоведа. Там, где самоуверенный администратор указательным перстом «высокие горы сдвигает, меняет движения рек», человек, действительно знающий и любящий природу, активно воздействуя на нее, проявляет и огромную осторожность и предусмотрительность в использовании ее благ («Кочетков, гибриды и кадры»). Энтузиаст Тимофей Тимофеевич вынужденно совмещает несколько профессий, ему приходится ежесезонно побыть и грузчиком, и изобретателем, а то и архитектором (надзе же кому-то исправлять ошибки Гипропрома, «спускающего» порой негодные проекты).

Энтузиасты, пионеры, капитаны сейнеров, ловцы сайры, воздушные разведчики рыбы, изыскатели Гидропроекта... И человек профессии отнюдь не романтической — скромный учитель истории из Усть-Цильмы Яков Носов. Но разве не родственны его интересы благородной деятельности Кочеткова? Один охраняет богатства природы, другой возвращает нам наше богатое прошлое, несправедливо забываемое и полузабытое. Носов «болеет» историей родного края, открывает в прошлом подлинных героев, вроде пионера в освоении Севера Андрея Владимировича Журавского, некогда устроившего на Печоре, на свой страх и риск, опытную агрономическую станцию. «Журавский не сделал и трети того, что хотел. После него осталось четыреста научных работ, остались ученики и идеи. Все это постепенно рассеялось, и опытное поле сейчас — не то, что оно было при его основателе. Даже память о Журавском бережется здесь плохо, хотя поле носит его имя».

Чудесных людей встретил Золотусский в своих поездках на Сахалин и Печору. В его в целом хорошей, удачной книжке, пожалуй, только один эпизод не убедит читателя. Очеркист попадает вместе с молодым инженером в гости к капитану дальневосточного сейнера Вавилову. Капитан, прошедший всю Отечественную войну, некогда спас под Москвой «мальчонку». И вдруг, когда гости рассматривают семейный альбом, молодой инженер на давней фотографии узнает в спасенном себя. Исключительность этой ситуации «выпирает» в документальной книжке, идет враз-

рез со всем деловым, будничным тоном ее. В этом месте даже стиль, простой и чистый, затвердевает в психологическом шаблоне. Но этот единственный эпизод не делает погоды. Очерки И. Золотуского серьезны, интересны, содержательны.

О. Михайлов.

★

А. КИТАЙГОРОДСКИЙ. Моя профессия. «Молодая гвардия». М. 1965. 176 стр.

Автор книги четко сформулировал ее цели: во-первых, она написана для того, чтобы показать роль и место физики в современной культуре и, во-вторых, чтобы убедить читателя, что все естествознание покоится на законах физики, как на прочном фундаменте. Эта задача решается на протяжении всей книги, во всех пятнадцати ее главах, каждая из которых снабжена остроумной стилизованной ремаркой. При этом изложение ведется в стиле непринужденной беседы с читателями, в которых автор не предполагает знакомства с вузовским курсом физики. Книгу с интересом и без напряжения прочтут и те, кто еще не приступил к прослушиванию этого курса, и те, кто слушал его довольно давно. И наконец она рассчитана на ту многочисленную категорию читателей, которые связали свою жизнь с другими профессиями, но понимают, что в наш век не подобает не знать основных законов природы и проблем физики (как, разумеется, нельзя физикам не знать классическую и современную литературу, музыку, живопись). И не только потому, что неудобно чувствуешь себя в обществе физиков (частенько играющих ныне роль «свадебных генералов» в гостях у гуманитариев), а просто потому, что такое незнание обедняет духовный мир человека.

Автор, влюбленный в свою профессию, естественно, агитирует за нее. Если на минуту принять тот полусуточный тон, который им часто и очень удачно используется, то можно было бы заметить, что человеку, решившему посвятить себя физике, совершенно необязательно поступать на физические факультеты: прочитав книгу, приходишь к выводу, что все дороги ведут в Рим и что чем бы ты ни занялся — от физики не убежишь, будь то даже, как утверждает сам автор, психология или филология. В этом есть преувеличение, особенно ясно заметное, например, на страницах, посвященных описанию того, как физики находят-ся на службе филологии. Примеры, которыми автор иллюстрирует «службу физики», в последнем случае относятся скорее к вокальному искусству (анализаторы звуков, о которых идет речь, взяты на вооружение в консерваториях) или представляют «посягательства» физика на сферу влияния математики.

Не исключено, что иной читатель с рядом положений, высказанных автором, не согласится. А. Китайгородский пишет, например, что в наши дни «не приходится говорить о

координации науки в широком масштабе». А Международный геофизический год?

«Наглядность, модельность представлений о природе... — утверждает он далее, — оказалась несостоятельной». Думается, что просто модели, которыми оперирует современная физика, еще недостаточно привычны, а не изгнаны вообще из ее арсенала.

Может быть, надо было убрать спорные положения, гипотезы? Нет, этого не следовало делать. Составленная из неоспоримых истин, книга была бы, пожалуй, скучной. Она просто не могла бы быть написана в том жанре, который избрал профессор Китайгородский. Именно тем и хороша его книга, что она не подавляет читателя, а напротив, будит его мысль.

В. Френкель.

★

Д. МЕЛЬНИКОВ, Л. ЧЕРНАЯ. Двухликий адмирал. Политиздат. М. 1965. 127 стр.

Двухликий адмирал — это Вильгельм Канарис, руководитель гитлеровской военной разведки — абвера. Фигура мрачная и сложная. На Западе создано множество всяческих легенд, которые обеляют, даже облагораживают Канариса, изображая его врагом гитлеризма: ведь Канарис был казнен гестапо за месяц до капитуляции разваливавшегося нацистского рейха.

Авторы этой книжки на основе исторических фактов, почерпнутых из архивов, воспоминаний современников и показаний свидетелей, разоблачают легенды и показывают подлинное лицо Канариса — убежденного антикоммуниста и человеконенавистника, политического авантюриста и прожженного интригана, который, служа кровозому фашистскому режиму, сделал для него, для его захватнических войн так много. Но как всякий политический авантюрист, он не чувствовал под собой прочной почвы и исподволь готовил запасный выход — возможность найти новых хозяев, оставаясь при этом верным человеконенавистничеству и антикоммунизму. Именно Канарис был основоположником концепции «тотального шпионажа» и первым осуществил его на практике, превратив германскую военную разведку в мощную и разветвленную организацию с собственными вооруженными силами.

Перед читателем проходит вся жизнь Канариса — от первых шагов его военной карьеры до могущественного положения в нацистской Германии и до конца на виселице в концлагере Флоссенбург.

«Тотальный шпионаж» и абвер — эти детища Канариса — оказались куда живучее их создателя: они продолжают действовать и поныне, хотя и под другим названием.

Обо всем этом в книге рассказано живо и убедительно, приведено много красноречивых фактов. «Двухликий адмирал», несомненно, заинтересует самые широкие круги читателей.

Л. Лерер.

★

Г. Н. КАССИЛЬ. Боль и обезболивание. «Наука». М. 1965. 317 стр.

Что такое боль? Каково ее значение для каждого из нас? Друг она или враг? На первый взгляд, конечно, враг, и притом нередко беспощадный, злобный. Вспомните о том, как болели у вас зубы, и вы, что называется, лезли на сцену. Следовательно, речь идет о враге, страшном и опасном?

Нет, это не так. Боль нужна человеку. Она его охраняет, его сторожевой подг. Боль — это сигнал о наступившей или грозящей опасности, и человек, на которого она обрушилась, принимает срочные меры к ее нейтрализации, к освобождению от нее.

Представим себе на минуту, что человек ни от чего не испытывает боли. Каким же большим опасностям он подвергается! Например, обжигает себе руки, не замечая этого. Он — несчастный человек. И такие люди, страдающие поражением спинного мозга, встречаются.

Исследованию проблем боли и обезболивания профессор Г. Н. Кассиль посвятил много лет плодотворного труда. Автор объясняет читателю сущность болевой ощущения, освещает важные механизмы нервной системы, знакомит с ее устройством и жизнедеятельностью. Большое внимание при этом уделяется нервным импульсам. Рассказывается о химической переда-

че нервных токов, о так называемой гуморальной регуляции, мозговом барьере и т. д.

Большой познавательный интерес для массового читателя имеет раздел о разных видах боли, в частности о головной, мышечной, фантомной боли, о ведущих симптомах, характерных для каждого из этих видов болей. Особый интерес представляют так называемые фантомные боли, возникающие в пространстве — там, где раньше был живой орган человека. Так была, предположим, произведена ампутация правой ноги до бедра, а человек ощущает мучительные боли в том месте, где раньше были пальцы ноги.

Хотя боль — друг человека, наука нашла пути освобождать от боли, когда причины ее познаны и уже отпадает необходимость в ее предупреждающей сигнализации. Современная физиология в контакте с практикой накопила богатейший арсенал средств, предупреждающих и снимающих ставшую ненужной боль. В книге рассказывается об общем и местном наркозе, приводятся любопытные сведения об обезболивании родов. Много внимания уделяется путям и перспективам окончательного решения болевой проблемы. Книга написана добротным литературным языком.

Л. Сухаревский,
доктор медицинских наук.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ПОЛИТИЗДАТ

- Н. Бочин.** За все в ответе. 56 стр. Цена 7 к.
В. Зорин. Династия Морганов. 64 стр. Цена 6 к.
Культура, наука, искусство СССР. Словарь-справочник. 320 стр. Цена 1 р. 4 к.
Н. Макарова. Высокая должность — отец! 152 стр. Цена 13 к.
В. Михайлов. Повесть о чекисте. 400 стр. Цена 52 к.
Н. Рубакин. Среди тайн и чудес. 240 стр. Цена 28 к.
С. С. Смирнов. Первая шеренга. 184 стр. Цена 19 к.
Л. Таксиль. Священный вертеп. 544 стр. Цена 1 р. 10 к.
Ем. Ярославский. Библия для верующих и неверующих. 432 стр. Цена 66 к.

«МЫСЛЬ»

- Н. Васильев.** Специализация и размещение сельскохозяйственного производства в СССР. 453 стр. Цена 1 р. 53 к.
Из опыта идеологической работы партийных организаций. 303 стр. Цена 1 р. 6 к.
Р. Кент. В диком краю. Дневник мирных приключений на Аляске. Перевод с английского. 191 стр. Цена 62 к.
Л. Кочетков, В. Ребров, Н. Тележкин. Химизация и комбинирование в промышленности СССР. 150 стр. Цена 24 к.
А. Леонтьев. Проблемы развития психики. 572 стр. Цена 1 р. 93 к.
А. Кудряшов. Современная научно-техническая революция и ее особенности. 176 стр. Цена 56 к.
Л. Максимова. В рядах воюющего народа. 310 стр. Цена 93 к.
Б. Носик. От Дуная до Лены. 199 стр. Цена 35 к.
Партийность, время, художник. Сборник статей. 486 стр. Цена 1 р.
С. Трапезников. Исторический опыт КПСС в осуществлении ленинского кооперативного плана. 613 стр. Цена 2 р. 12 к.
И. Фролов. Очерки методологии биологического исследования. 285 стр. Цена 1 р. 5 к.
О. Шпаро. Освобождение Греции и Россия. 279 стр. Цена 73 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

- Г. Добин.** Сила жизни. Роман и рассказы. Перевод с еврейского. 352 стр. Цена 70 к.
А. Имерманис. Спутник бросает тень. Роман-памфлет. Перевод с латышского. 212 стр. Цена 32 к.
М. Кахана. Незабываемое. Рассказы. Перевод с молдавского. 312 стр. Цена 59 к.
И. Нехода. Чудесный сад. Стихи. Перевод с украинского. 128 стр. Цена 19 к.
Н. Рыбан. Рядом с нами. Рассказы. Перевод с украинского. 384 стр. Цена 45 к.
Ф. Тихонов. Земля и хлеб. Роман. 792 стр. Цена 1 р. 24 к.
Е. Шевелева. Будни в Индии. Очерки. 180 стр. Цена 34 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

- А. Беннет.** Львиная доля. Рассказы. Переводы с английского. 360 стр. Цена 66 к.
А. Блон. Записные книжки. 1901—1920. 664 стр. Цена 1 р. 3 к.
Ф. Богусевич. Стихи. Перевод с белорусского. 168 стр. Цена 25 к.
Вьетнамские сказки. Перевод с вьетнамского. 231 стр. Цена 46 к.
С. Данилов. Север мой. Стихи и поэма. Перевод с якутского. 208 стр. Цена 36 к.
А. Зарицкий. Орлиный родник. Стихи. Перевод с белорусского. 160 стр. Цена 33 к.
Кабир. Лирика. Перевод с хинди. 175 стр. Цена 27 к.
А. Каххар. Птичка-невеличка. Рассказы. Повесть. Перевод с узбекского. 320 стр. Цена 65 к.
Э. Мёрике. Моцарт на пути в Прагу. Новелла. Перевод с немецкого. 95 стр. Цена 12 к.
Русские народные сказки. 384 стр. Цена 73 к.
М. Слущикс. Увертюра и три действия. Рассказы. Перевод с литовского. 344 стр. Цена 50 к.
Уйгун. Жизнь зовет. Избранная лирика. Перевод с узбекского. 112 стр. Цена 19 к.
Н. Ушаков. Есть такая сторона. Стихотворения и поэмы. 416 стр. Цена 78 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

- Абэ Кобо.** Четвертый ледниковый период. Повесть. Тоталоскоп. Рассказ. Перевод с японского. 239 стр. Цена 59 к.
Два мира — две юности. Сборник очерков. 208 стр. Цена 43 к.
О. Игнатьев. Амазонка глазами москвича. 256 стр. Цена 61 к.
Л. Кабо. Повесть о Борисе Беклешове. 318 стр. Цена 57 к.
М. Карим. Избранная лирика. 32 стр. Цена 5 к.
Д. Ковалев. Избранная лирика. 32 стр. Цена 6 к.
Э. Людвиг. Гёте. Перевод с немецкого. 608 стр. (Жизнь замечательных людей). Цена 1 р. 12 к.
Г. Марков. Отец и сын. Роман. 368 стр. Цена 94 к.
Л. Моасир. Мария и Ситонио. Роман. Перевод с португальского. 254 стр. Цена 64 к.
Л. Осповат. Гарсиа Лорка. 432 стр. (Жизнь замечательных людей). Цена 83 к.
Б. Саулит. До последней прямой. Повесть. Перевод с латышского. 240 стр. Цена 49 к.
Э. Сиприан. Люди города. Роман. Перевод с английского. 224 стр. Цена 31 к.
Б. Слущкий. Избранная лирика. 32 стр. Цена 6 к.
В. Тихомиров. Небо закрыто льдами. Документальная повесть о моряхках подводного атомохода, их плавании подо льдами Арктики и Северному полюсу. 112 стр. Цена 15 к.
Н. Ушаков. Вдоль горячего асфальта. Роман в 3-х частях. 224 стр. Цена 46 к.
Час поэзии. Сборник стихов. 191 стр. Цена 28 к.
Юность Венгрии. Сборник. 128 стр. Цена 19 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

- А. Высикан.** В пещере Святой Магдалины. Повесть. Перевод с украинского. 126 стр. Цена 31 к.
- Н. Даули.** Между жизнью и смертью. Повесть. Перевод с татарского. 192 стр. Цена 55 к.
- К. Золотовский.** Рыба-одеяло. Сборник рассказов. 157 стр. Цена 40 к.
- М. Ивин.** Тайники жизни. 192 стр. Цена 39 к.
- А. Кандан.** У стен Царьграда. Повесть. 144 стр. Цена 31 к.
- Р. Канделани.** Мятая молодость. Повесть о передвижниках. 1863—1871. 160 стр. Цена 37 к.
- И. Мионов.** Третий триумvirат (О рождении и развитии биноники). 271 стр. Цена 52 к.
- В. Николаев.** Дорогами мечты и поиска. Творческий путь Льва Кассила. 200 стр. Цена 51 к.
- В. Пистоленко.** Памятное лето Сережки Зотова. Повесть. 271 стр. Цена 65 к.

«НАУКА»

- А. Абрикосов.** Академик Л. Д. Ландау. 48 стр. Цена 12 к.
- К. Анош.** Думают ли животные? Перевод с венгерского. 94 стр. Цена 15 к.
- Аун Сан.** Бирма бросает вызов. Статьи и речи. Перевод с бирманского и английского. 312 стр. Цена 1 р. 10 к.
- Б. Ахмедов.** Государство кочевых узбеков. 196 стр. Цена 80 к.
- Л. Баттин.** Данте и его время. 198 стр. Цена 28 к.
- Е. Беляев.** Арабы, ислам и арабский халифат в раннее средневековье. 280 стр. Цена 1 р. 20 к.
- И. Брауде.** Эрозия почв, засуха и борьба с ними в ЦЧО. 140 стр. Цена 60 к.
- В. Вернадский.** Химическое строение биосферы Земли и ее окружения. 374 стр. Цена 2 р. 44 к.
- Время, пафос, стиль.** Художественные течения в современной советской литературе. Сборник статей. 272 стр. Цена 86 к.
- Второй групповой космический полет и некоторые итоги полетов советских космонавтов на кораблях «Восток».** Научные результаты медико-биологических исследований... 228 стр. Цена 1 р. 17 к.
- Г. Диавара.** Рождение Мали. Стихи. Перевод с французского. 80 стр. Цена 12 к.
- Л. Дробничева.** Ленин и использование местного опыта хозяйственного строительства. 136 стр. Цена 43 к.
- А. Зворыкин.** Наука, производство, труд. 260 стр. Цена 1 р. 30 к.
- В. Зубов.** Развитие атомистических представлений до начала XIX века. 371 стр. Цена 1 р. 75 к.
- Н. Иванов.** Технический переворот и рабочий класс в главных капиталистических странах. Квалификация и занятость. 189 стр. Цена 57 к.
- Искусство Японии.** Сборник статей. 149 стр. Цена 70 к.
- А. Клибанов.** История религиозного сектанства в России. 60-е годы XIX в.—1917 г. 348 стр. Цена 1 р. 88 к.
- В. Крашенинников.** Джайпурские рассказы. 64 стр. Цена 17 к.
- В. Кулиш.** Раскрытая тайна. Предыстория второго фронта в Европе. 470 стр. Цена 1 р. 67 к.
- Марксистско-ленинская философия и социология в СССР и европейских социалистических странах.** 550 стр. Цена 2 р.

- И. Можейко.** Не только память... Рассказ об одной поездке в Вирму. 136 стр. Цена 43 к.
- Мори Коити.** Философия трудящихся. Перевод с японского. 180 стр. Цена 40 к.
- Общая генетика.** Сборник статей. 300 стр. Цена 1 р. 33 к.
- Общественное движение в пореформенной России.** Сборник статей. К 80-летию со дня рождения В. П. Козьмина. 382 стр. Цена 1 р. 41 к.
- И. Стеблева.** Пoesия тюрков VI—VIII веков. 148 стр. Цена 57 к.
- Е. Тепер.** Пламя над Овьедо (Астурийская эпопея). 192 стр. Цена 30 к.
- Л. Фрейман.** Что такое высшая математика. Чем она отличается от школьной. Зачем она нужна. 149 стр. Цена 20 к.
- А. Фурсенко.** Нефтяные тресты и мировая политика. 1880-е годы — 1918 г. 496 стр. Цена 2 р. 21 к.
- А. Хеммат.** Рассказ о персидском поэте. Жизнь и творчество Ибн Ямина. 95 стр. Цена 28 к.
- Г. Штоль.** Пещера у Мертвого моря. Перевод с немецкого. 272 стр. Цена 85 к.
- А. Эйнштейн, Л. Инфельд.** Эволюция физики. Развитие идей от первоначальных понятий до теории относительности и квантов. Перевод с английского. 327 стр. Цена 1 р. 8 к.
- Т. Эллингер.** Солнце заходит... Перевод с датского. 152 стр. Цена 50 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

- В. Богомолов.** Сердца моего боль. Рассказы. 168 стр. Цена 30 к.
- К. Воробьев.** Седой тополь. Рассказы. 72 стр. Цена 9 к.
- Н. Воронов.** Бег в ночи. Повести и рассказы. 200 стр. Цена 46 к.
- Б. Горбачевский.** Кресты, костры и книги. 200 стр. Цена 54 к.
- А. Злобин.** Самый далекий берег. Роман. 344 стр. Цена 70 к.
- А. Зябров.** Пожар под сибирскими недрами. Повесть. 208 стр. Цена 37 к.
- А. Коваленков.** Пoesия простых слов. 88 стр. Цена 11 к.
- А. Котов.** Белые и черные. Роман. 408 стр. Цена 83 к.
- И. Кривелев.** Раскопки в «библейских» странах. 318 стр. Цена 79 к.
- Л. Кузнецова.** Охотник за метеоритами. 152 стр. Цена 27 к.
- Ю. Либединский.** Первые шаги. 128 стр. Цена 16 к.
- М. Ниниточкин.** Иду Прагой... Репортажи. 114 стр. Цена 27 к.
- Орошение и урожай.** 160 стр. Цена 17 к.
- Л. Парфенов.** Добро—для добрых. Роман. 240 стр. Цена 54 к.
- И. Парфентьев.** Прошлое в настоящем. Документальная повесть. 190 стр. Цена 45 к.
- Руководство — искусство.** 184 стр. Цена 19 к.
- С. Сергеев-Ценский.** Слово к молодым. 64 стр. Цена 8 к.
- Н. Тимченко.** Последователи. Эстафета новаторов. 112 стр. Цена 11 к.
- Н. Щеголев.** Полимер вездесущий. 160 стр. Цена 15 к.

ЯКУТКНИГОИЗДАТ

- Г. Васильев.** Якутское стихосложение. 126 стр. Цена 54 к.
- Сборник якутских пословиц и поговорок.** 246 стр. Цена 71 к.

ОТ РЕДАКЦИИ

I

Год, который подходит сейчас к концу, был для «Нового мира» особым. В январе 1965 года журналу исполнилось сорок лет. В связи с этой датой «Новый мир» напечатал ряд историко-литературных материалов, освещающих путь, пройденный журналом, и статью А. Твардовского «По случаю юбилея», где редакция подвела некоторые итоги своей деятельности за прошедшие годы и высказала свои взгляды на принципы и практику журнальной работы.

Мы получили большое количество писем и приветственных телеграмм от общественных организаций, редакций журналов и газет, от писателей, от подписчиков и читателей из разных городов и сел страны и таким образом имели возможность лишний раз выслушать дружеские советы и критические замечания по адресу журнала. Мы сердечно благодарим всех, кто прислал нам свои поздравления и пожелания. Доброе и требовательное отношение литературной общественности и читателей к журналу является для нас стимулом к дальнейшей работе.

Информацию о сорокалетней годовщине «Нового мира» поместили на своих страницах центральные газеты. Откликнулись на юбилей «Нового мира» и многие периодические издания за рубежом, прежде всего коммунистические газеты и журналы («Дейли уоркер», «Унита», «Борба», «Юманите», «Фольксштимме», «Твурчосць», «Элет эш иродалом» и другие). Мы весьма признательны за внимание нашим зарубежным друзьям.

Специфический интерес проявили к юбилею «Нового мира» и некоторые органы буржуазной печати. Их отклики в большей части были основаны на непонимании или открыто тенденциозном толковании направления и задач нашего журнала. В этой связи, выступая в апреле 1965 года на совещании редакторов тридцати четырех европейских журналов, созванном в Белграде Европейским сообществом писателей, заместитель главного редактора «Нового мира» А. Г. Дементьев сказал:

«...Что касается буржуазных изданий, то они нередко просто дезинформируют своих читателей на наш счет. Даже в том случае, когда хвалят журнал, льстят ему.

Вот в литературном приложении к «Таймсу» говорится что-то вроде того, что «Новый мир» надо читать между строк и тогда станет ясно, что это журнал критического, негативного характера.

Но почему же наш журнал нужно читать между строк? То, что мы хотим сказать, мы говорим прямо и открыто.

Мы критикуем те явления, которые достойны критики, и нередко выступаем с произведениями, направленными против последних культа личности, догматизма, бюрократизма и других недостатков нашей жизни. Но мы утверждаем дело Ленина, борьбу партии, труд и стремления нашего народа и всего трудового человечества, строительство коммунизма и являемся непримиримыми врагами тех, кто несет

миру рабство и войну, фашизм и колониализм, тех, кто нападает на наш строй, на наш народ и партию, на нашу литературу — литературу социалистическую и гуманистическую».

Таковы действительное направление, действительная позиция нашего журнала, находящие понимание и поддержку среди наших советских читателей и среди наших истинных доброжелателей за рубежом. Советская литература, советская журналистика едины в выполнении идеологических задач, поставленных Программой партии, решениями XX и XXII съездов. В свете этих задач и следует рассматривать работу любого органа советской печати, в том числе и «Нового мира».

Это единство, разумеется, не мешает нам вести литературные споры, отстаивая свою точку зрения на ряд важных проблем, выдвигаемых сегодняшним днем. На некоторых из этих проблем мы считаем полезным хотя бы вкратце остановиться и в этой статье, подводящей предварительные итоги журнального года.

Как показала литературная полемика последнего времени и, в частности, некоторые отклики на произведения художественной прозы, напечатанные в «Новом мире», и на статью «По случаю юбилея», в центре споров оказалась старая проблема правды в искусстве. Сама по себе мысль, что правда является основой искусства социалистического реализма, не оспаривается никем. Но при оценке конкретных художественных произведений, таких, скажем, как последние повести В. Тендрякова или В. Семина, понятие правды подвергается весьма спорным переосмыслениям.

Время от времени в критических статьях вновь всплывает не раз опровергнутое самой практикой литературы противопоставление «большой правды» — «малой правде», «правды фактов» — «правде века» и т. п. Как относятся эти формулы к действительному существу проблемы истины в искусстве и почему они выражают превратное, вульгаризаторское понимание природы реалистической типизации — вопрос особый, и мы в ближайших номерах журнала еще вернемся к нему. Но когда, обнаружив в произведении что-то новое и непривычное, в особенности если писатель говорит о недостатках и трудностях, критика спешит отнести все это за счет некоей «малой правды», недостойной отражения в искусстве, — это уже выходит за пределы специальной стороны вопроса. Здесь перед нами уже тенденция, которая в наиболее открытом виде выражается в формуле: «Не всякая правда нам нужна».

На это мы отвечаем: нет, нашему искусству нужна вся полнота правды. Мы глубоко верим в правильность марксистско-ленинского учения, в историческую справедливость борьбы рабочего класса — и именно поэтому нам нечего бояться: нет такой правды, если это действительно правда, которая была бы для нашей литературы не нужна, опасна или малозначительна, так же как нет такой лжи, которая могла бы ей быть хоть сколько-нибудь полезной.

С точки зрения философии марксизма рассуждения о разных правдах совершенно неосновательны как очевидный крен к признанию множественности истин, субъективизму и прагматическому выводу: «Правда то, что выгодно ею считать». В хозяйственно-практической деятельности такая позиция порождает очковтирательство и разного рода «приписки», в искусстве же она ведет к оправданию всевозможных антиреалистических тенденций. И что, как не бессодержательная, «красивая» фраза, эта «правда века» без всего многообразия проявлений жизни, без того пути, который состоит не из одних победных итогов, но также из противоречий, борьбы, преодоления трудностей?

Присущий нашему общественному сознанию оптимизм, уверенность в победном ходе нашей жизни находят себе опору не в иллюзорно-благо-

получной картине действительности, отражающей наши добрые пожелания, а в трезвом понимании жизни, какова она есть, и в сознательном стремлении партии и народа сделать ее лучше, счастливее. Именно потому мы можем лишь вновь повторить уже сказанное однажды в статье «По случаю юбилея»: «Все, что талантливо и правдиво в искусстве,— все нам на пользу. И, наоборот, всякая фальшь, всякая ложь, как и всякое наше недомыслие,— во вред нам и вернее всего может быть использовано нашими врагами против нас».

В нашей критике встречается еще недоверчивое, подозрительное отношение к такому коренному, определяющему художника качеству, как талант. Некоторые критики до сих пор употребляют странную формулу, что, мол, талант усугубляет недостатки произведения. Выводом отсюда может быть лишь одно: поощрение бездарности, относительно которой легко быть уверенным, что она ничего не «усугубит».

Надо ли объяснять, что талант есть первое и неперемное условие творчества, без которого искусства просто не существует. И не может талант, то есть органическая способность художника глубоко схватывать в образах суть явлений жизни, усугубить недостатки произведения. На деле происходит как раз иное — талант помогает художнику понять жизнь, даже преодолеть те или иные свои заблуждения.

Приходится вновь и вновь напоминать о ленинском отношении к таланту. Ленин называл художественный талант «редкостью», призвал «систематически и осторожно» поддерживать его. Выдвинувший и обосновавший идею партийности литературы, ее открытого служения делу рабочего класса, всех трудящихся, Ленин неизменно подчеркивал особый, специфический характер этой части «общепролетарского дела». В статье «Партийная организация и партийная литература», шестьдесят лет со дня создания которой мы отмечаем в этом году, Ленин писал: «Спору нет, в этом деле безусловно необходимо обеспечение большего простора личной инициативе, индивидуальным склонностям, простора мысли и фантазии, форме и содержанию».

Прошло более полувека с той поры, когда были написаны эти строки. Но идеи ленинской партийности, дух требовательного и заботливого отношения к таланту художника сохраняют все свое значение для нынешнего дня нашего искусства.

Коммунистическая принципиальность, верность правде и высокому призванию искусства, доверие к таланту — эти требования, единые для всех наших литературно-художественных журналов, определяют и деятельность «Нового мира».

II

В этом году на страницах «Нового мира» увидели свет новые главы романа Конст. Федина «Костер». Сочувственно была встречена читателями и критикой повесть казахского писателя Т. Ахтанова «Буран». Привлекли к себе внимание повесть В. Тендрякова «Подёнка — век короткий», посвященная острым проблемам современного села, и повесть В. Семина «Семеро в одном доме», рассказывающая о жизни городской рабочей окраины в послевоенные годы.

Впервые выступивший на страницах «Нового мира» молодой ростовский прозаик Виталий Семин показал отличное знание описываемой им жизни и настоящую художественную одаренность. Каковы бы ни были частные недостатки повести, созданный автором образ простой женщины-работницы Мули может считаться на наш взгляд, одним из бесспорных успехов литературы последнего времени. Что же касается

повести В. Тендрякова, то нельзя не отметить, что писатель вернулся здесь к деревенской теме, в которой его талант всегда проявлял себя с особой силой и подлинностью.

Тем более странно выглядело письмо читателей Н. Каниной, И. Бабушкина, В. Колчина, напечатанное 17 августа 1965 года газетой «Сельская жизнь». Напомним, что в статье «По случаю юбилея» уже приводился пример, когда та же газета «грубо и до крайности несправедливо отозвалась на «Деревенский дневник» Е. Дороша, оперируя разработанными в памятные всем времена наихудшими приемами критики». На этот раз те же самые приемы газета применила для «разноса» повести «Подёнка — век короткий».

Кроме названных выше повестей, «Новый мир» напечатал также новые произведения И. Грековой, Е. Дороша, В. Лихоносова, В. Некрасова, В. Войновича, И. Соколова-Микитова, А. Яшина и других авторов. Впервые выступили на страницах журнала молодые прозаики В. Гусев, Ю. Аракчеев. Особое место в разделе художественной прозы заняла публикация «Театрального романа» Михаила Булгакова. Извлеченная из архива видного советского писателя, эта рукопись привлекла редакцию своими художественными достоинствами, смелым гротеском, веселым, победительным юмором.

Новинки иностранной прозы были представлены в этом году повестями Д. Сэлинджера и Г. Бёля, рассказами Д. Чивера и Дж. Болдуина.

Мы не раз уже говорили о том, какое значение придает редакция публикации дневников, записок, воспоминаний и иных жанров этой свободной от претензий на «беллетристичность» дельной прозы. Мы считаем, что материалы этого рода в своей совокупности могут служить своеобразной летописью эпохи и их публикация приобретает особое значение в связи с приближающейся полувековой годовщиной советской власти.

В этом году «Новый мир» завершил печатание шестой книги мемуаров И. Эренбурга «Люди, годы, жизнь». Мы опубликовали также продолжение записок летчика-испытателя Героя Советского Союза М. Галлая «В полетах и после полетов», записки художницы-киевлянки Ады Рыбачук о советском Севере, печатаем воспоминания художника В. Кошачевича, написанные в осажденном Ленинграде.

Двадцатилетие победы над немецким фашизмом было отмечено публикацией целого ряда воспоминаний, принадлежащих перу видных советских военачальников, писателей, дипломатов. Записки сотрудника советского посольства в Берлине В. Бережкова о периоде подготовки к войне и о первых ее днях, блокадный дневник писателя-ленинградца Л. Пантелеева, воспоминания генерал-лейтенанта Н. Антипенко о работе фронтового тыла, академика И. Майского — о дипломатической борьбе вокруг второго фронта, наконец записки Маршала Советского Союза И. Конева о военных операциях 1945 года — должны были, по замыслу редакции, воскресить страницы живой истории минувшей войны, с разных сторон показать великий подвиг армии и народа.

По традиции «Новый мир» охотно предоставляет место путевым очеркам наших писателей, побывавших за рубежом. В этом году журнал опубликовал очерки М. Алигер «Чилийское лето» и В. Некрасова «Месяц во Франции».

В разделе поэзии «Новый мир» напечатал лирические циклы М. Луконина, Кайсына Кулиева, М. Светлова, А. Твардовского, стихи А. Ахматовой, П. Бровки, Е. Евтушенко, М. Карима, В. Корнилова, А. Кулешова, Д. Самойлова, П. Панченко, стихотворения У. Блейка в переводах С. Маршака. Вниманию читателей была предложена обширная публикация стихов и прозы Б. Пастернака, стихов Марины Цветаевой.

Как всегда, большое место в этом году было уделено в «Новом мире» публицистике и очерку. Статьи К. Буковского, Г. Лисичкина, Л. Иванова, Н. Верховского, Ю. Черниченко и других авторов были посвящены острым народнохозяйственным и общественным вопросам. Опубликованная в разделе «Дневник писателя» статья Г. Троепольского о малых реках вызвала широкие отклики общественности, множество писем читателей и послужила поводом к работе специальной правительственной комиссии, принявшей ряд мер по охране природных ресурсов Воронежской области.

Редакция уже не раз говорила о своем желании лучше поставить отдел науки, привлечь к сотрудничеству в нем ученых разных специальностей. Скромным началом этой работы можно считать статьи доктора физико-математических наук Е. Фейнберга, члена-корреспондента АН СССР Б. Кедрова, кандидата философских наук Г. Волкова, а также главы из книги польского физика Леопольда Инфельда.

Важное значение редакция «Нового мира» придает литературной критике. Мы с удовлетворением отмечаем, что литературно-критические статьи и рецензии стали привлекать внимание более широкого круга наших читателей, входя наряду с материалами художественных разделов в обычный для них обиход чтения. Критика придает законченный облик журналу, яснее очерчивает его физиономию. С этой точки зрения мы надеемся, что напечатанные нами в текущем году статьи Л. Азадовской, Ф. Бирюкова, И. Виноградова, В. Лакшина, Е. Поляковой, Е. Стариковой и других авторов, посвященные самым разным произведениям и темам, вместе с рецензиями «Книжного обозрения» дают читателю представление о критериях «Нового мира» применительно к искусству. Мы убеждены, что читатель ждет от критики не робкой уклончивости, а внятной и громкой поддержки всего яркого, идейно значительного, талантливого, смелого в литературе и бескомпромиссного осуждения любой бездарности и подделки — под чьим бы именем она ни явилась в свет.

В предстоящем 1966 году «Новый мир» предполагает напечатать: заключительные главы романа **Конст. Федина** «Костер», повесть **В. Астафьева** «Кража», роман белорусского писателя **Василя Быкова** «Мертвым не больно», повесть **Н. Воронова** «Гибель такси», новые главы записок генерала армии **А. В. Горбатова**, роман **В. Дудинцева** «Неизвестный солдат», окончание «Деревенского дневника» **Ефима Дороша**, роман **С. Залыгина** «Соленая падь», новую повесть **Анатолия Кузнецова**, камчатские рассказы **Виктора Некрасова**, исторические повести **В. Пановой**, повесть **Виталия Семина** «Исполнение надежд», дневники 1941 года **К. Симонова**, воспоминания **Анастасии Цветаевой** «Из прошлого».

В портфеле редакции находится большая рукопись **Е. Драбкиной** о последних годах жизни В. И. Ленина, написанная по личным воспоминаниям и историческим документам.

В журнале выступают писатели и поэты: **Ч. Айтматов**, **А. Ахматова**, **А. Бек**, **О. Берггольц**, **Г. Бакланов**, **М. Бажан**, **Ю. Бондарев**, **Г. Владимов**, **В. Войнович**, **Л. Вольтинский**, **Р. Гамзатов**, **Е. Герасимов**, **И. Грекова**, **Ю. Домбровский**, **Н. Дубов**, **Е. Евтушенко**, **В. Каверин**, **Ю. Казаков**, **А. Кулешов**, **К. Кулиев**, **С. Липкин**, **В. Лихоносов**, **Э. Межелайтис**, **В. Овечкин**, **К. Паустовский**, **А. Побожий**, **Е. Ржевская**, **А. Рыбаков**, **Д. Самойлов**, **С. Славич**, **Я. Смеляков**, **И. Соколов-Микитов**, **А. Солже-**

ницын, А. Твардовский, В. Тендряков, Г. Троепольский, В. Фоменко, В. Шефнер, С. Щипачев, И. Эренбург, А. Яшин.

В новом году «Новый мир» по-прежнему будет публиковать лучшие образцы зарубежной прозы. Среди других иностранных гостей летом 1965 года наш журнал посетили писатели Генрих Бёль и Хуан Гойтисоло. Г. Бёль, произведения которого мы уже неоднократно печатали на своих страницах, обещал вскоре познакомить нас со своей новой повестью. Х. Гойтисоло подготовил для нас публикацию стихов известного испанского поэта Сернуды, которую он сопроводил своим обширным предисловием. В настоящее время писатель заканчивает работу над большим романом «Удостоверение личности», который, как мы предполагаем, также будет интересен для читателей «Нового мира».

По-прежнему широко будут представлены в «Новом мире» разделы публицистики и науки, критики и библиографии.

В своих письмах некоторые из наших подписчиков справедливо сетуют на то, что редакция не всегда выполняет свои обещания, относящиеся к произведениям, объявленным заранее в проспекте. Но те читатели, которые знакомы с «Новым миром» не один подписной сезон и составляют как бы постоянную аудиторию журнала, могли заметить, что редакция пусть порой с запозданием, но всегда стремится выполнить свои обещания, хотя иной раз и не в границах подписного года.

Особенности литературной работы таковы, что писатели, обещавшие нам свои произведения, иной раз не укладываются в ранее обусловленный срок, и мы не считаем возможным торопить их, зная, что в конечном счете от серьезности и сосредоточенности их работы читатель только выиграет.

Но наряду с этими в нашем журнальном плане года, несомненно, появятся другие, более приятные для нас поправки. Редакция постоянно имеет дело с рукописями, имена авторов которых ничего не говорят сегодня читателю, а завтра становятся столь же притягательными, как и имена других, хорошо известных писателей.

И еще об одном — об опозданиях журнала, вызывающих справедливое недовольство читателей. Редакция принимает в этом отношении все зависящие от нее меры и надеется в недалеком будущем добиться того, чтобы журнал поступал к подписчикам вовремя.

В новом, 1966 году «Новый мир», как всегда, будет стараться оправдать те добрые надежды, которые возлагаются на нас взыскательным читателем.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

И. И. Виноградов, А. Г. Дементьев (зам. главного редактора), **Б. Г. Закс** (ответственный секретарь), **А. И. Кондратович** (зам. главного редактора), **В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, И. А. Сац, К. А. Федин**

Редакция. Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. К 9-81-77.
Почтовый адрес: Москва, К-6, пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 6/III 1965 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 27/IX 1965 г.
А 03876. Формат бумаги 70×108^{1/16}. 9 бум. л. (24,66 усл. п. л.)
Зак. 1857. Тираж 130 100.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.

70636